

КЛАЙВ БАРКЕР

КЛАЙВ БАРКЕР

КНИГА КРОВИ



КЛАЙВ
БАРКЕР





А.Н. Миронов 94

КЛАЙВ БАРКЕР

КНИГА КРОВИ



ЖУКОВСКИЙ
1994 Г.

Clive Barker

"BOOKS OF BLOOD"

Художник А.Н.Миронов
Главный редактор Б.И.Самарханов

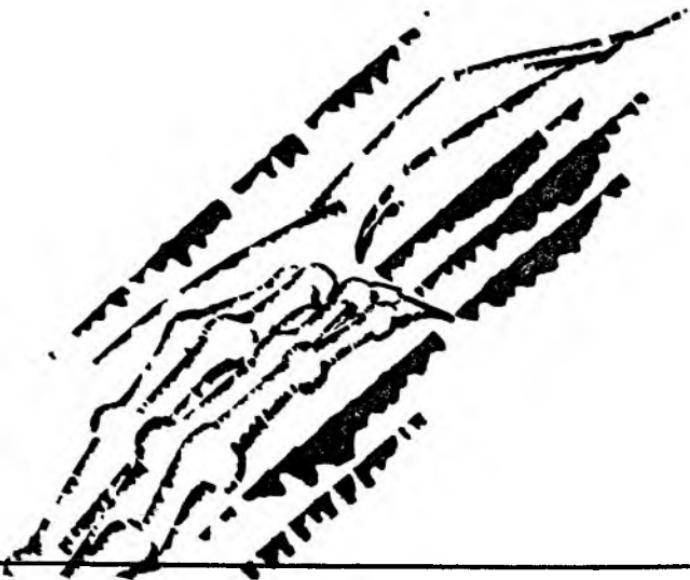
Клайв Баркер
Книга крови: Сборник рассказов

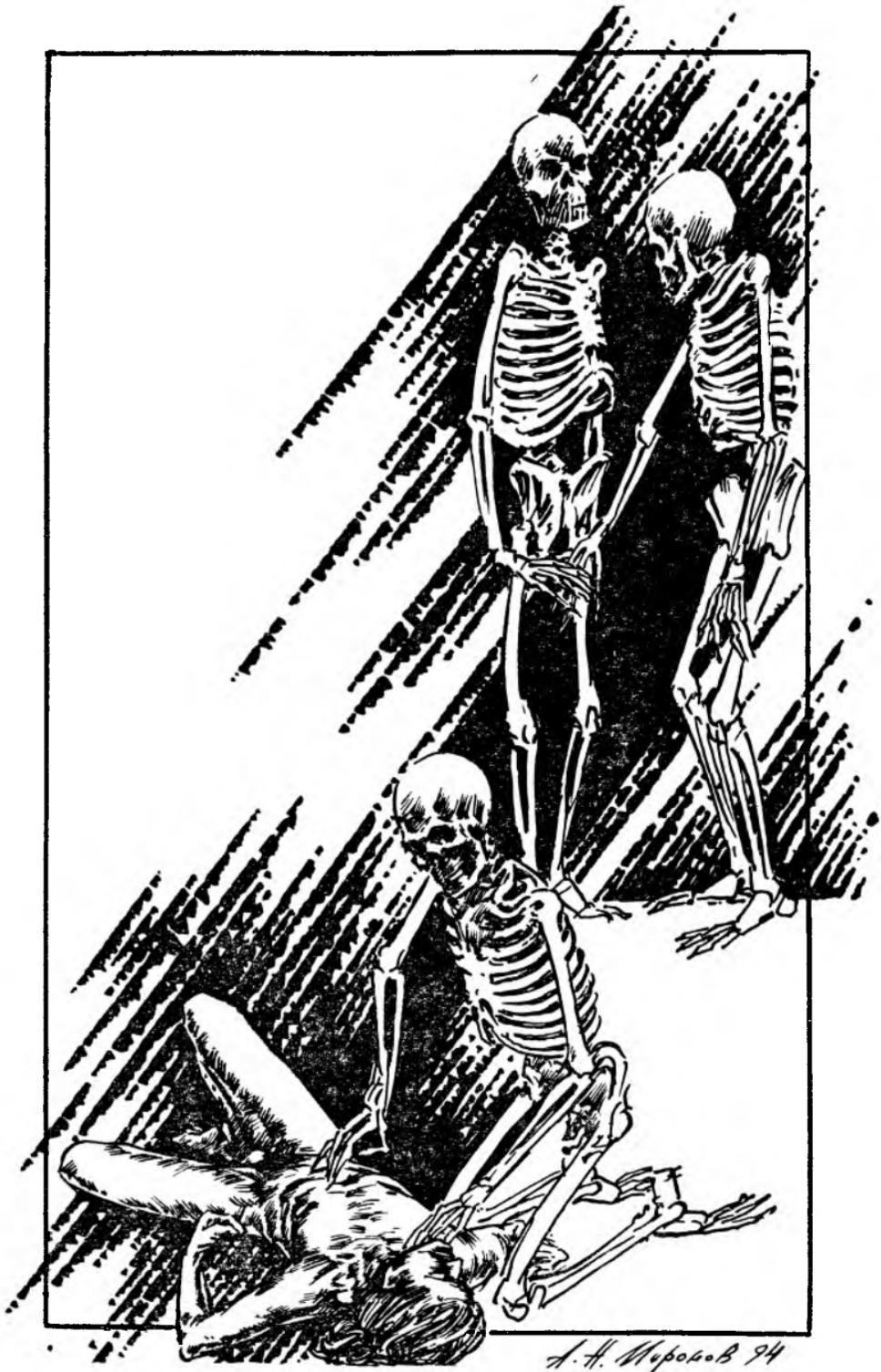
ISBN 5-85743-024-0

Copyright © by Clive Barker 1984

© А.Н.Миронов, 1994, оформление суперобложки, иллюстрации
© Издательство «КЭДМЭН», 1994, перевод

КНИГА КРОВИ





А. Н. Мурзаков 94

*Каждый человек — это Книга Крови;
вы можете открыть ее в любом месте
и прочитать.*



мертвых есть свои магистрали. Проложенные в тех неприветливых пустырях, что начинаются за пределами нашей жизни, они заполнены потоками уходящих душ. Их тревожный гул можно услышать в глубоких изъянах мироздания, сквозь выбоины и трещины, оставленные жестокостью, насилием и пороком. Их лихорадочную суетолоку можно мельком увидеть, когда сердце готово разорваться на части, а взору открывается то, чему положено быть тайным.

У них, у этих магистралей, есть свои дорожные указатели, развилики и мосты. У них есть свои тупики и перекрестки.

Именно на этих перекрестках эти запретные пути иногда могут коснуться нашего мира. Толпы мертвцевов здесь встречаются друг с другом, и их голоса звучат громче, чем где-либо. Здесь бесчисленными ступнями подточены барьера, отделяющие одну реальность от другой.

Такое перепутье дорог мертвых находилось по адресу в Толлингтон Плейс, 65. Во всех прочих отношениях Номер Шестьдесят Пять был ничем не примечателен — просто старый кирпичный особняк, выстроенный в условном Георгиевском стиле. Заброшенный и лишенный даже той дешевой помпезности, на которую некогда претендовал, этот дом пустовал целыми десятилетиями, а порой и дольше.

Но не сырость, поднимавшаяся снизу, изгоняла обитателей Шестьдесят Пятого, не плесень в подвалах и не фундамент, осевший настолько, что по всему фасаду от входной двери до

мансарды протянулась огромная трещина. Причиной их бегства был невыносимый шум чьих-то незримых хождений через дом. На верхнем этаже грохот движения не умолкал ни на минуту. От него осыпалась штукатурка и дрожали балки под крышей. От него дребезжали стекла и трескали оконные рамы. Мозги тоже сдавали. Номер Шестьдесят Пять на Толлингтон Плейс напоминал проходной двор, и никто не мог жить в нем, не теряя здравого рассудка.

Когда-то в истории этого дома произошло нечто такое, после чего в нем поселился ужас. Никто не знал, когда и что именно здесь случилось. Но даже неподготовленный наблюдатель обращал внимание на гнетущую атмосферу особняка, особенно ощущимую на верхнем этаже Номера Шестьдесят Пять, какие-то жуткие воспоминания и обещания крови, неотвратимо проникавшие за пазуху и выворачивавшие самые крепкие желудки. Этого здания избегали мыши, птицы и даже мухи. Ни одно насекомое не заползало на кухню, ни один скворец не пытался свить гнездо под крышей. Каким бы ни было совершенное здесь насилие, оно пронзило сверху донизу весь дом подобно ножу, вспарывающему рыбье брюхо; и вот, через этот порез, через эту рану бытия выглядывали мертвецы — и вылезали наружу.

Во всяком случае, так утверждали многие...

Шла третья неделя исследований на Толлингтон Плейс, Шестьдесят Пять. Третья неделя беспрецедентных успехов в царстве парапротивных явлений. Используя в качестве медиума двадцатидвухлетнего новичка по имени Саймон Макнил, отделение парапсихологии Эссексского университета записало на пленку все, кроме неопровергнутого доказательства существования посмертной жизни.

На верхнем этаже дома, в комнате с клаустрофобическим коридором молодому Макнилу удавалось вызывать мертвых; по его просьбе они оставляли многочисленные свидетельства своих визитов — в виде сделанных разными почерками надписей на бледно-коричневых стенах. Казалось, они записывали все, что приходило им на ум. Конечно же, свои имена, даты рождения и смерти. Обрывки воспоминаний и пожелания живущим потомкам; странные эллиптические фразы, намекающие на их теперешние мучения и на скорбь об утерянном счастье. Некоторые надписи были сделаны грубой мужской рукой, некоторые — весьма аккуратно —

изящной женской ручкой. Были какие-то малопонятные наброски и разрозненные строчки из романтической поэзии. Одна плохо нарисованная роза. Расчерченное поле с незаконченной игрой в крестики и нолики. Перечень вещей, купленных в каком-то магазине.

К этой стене плача приходили знаменитости — здесь побывали Муссолини, Джон Леннон, Джейнис Джоплин — и никому неизвестные люди, расписавшиеся под именами великих. Это была какая-то перекличка мертвых; она разрасталась изо дня в день, как будто некий клич распространился среди ушедших племен и искушал каждого изгнанника отметить эту пустую комнату своим священным присутствием.

Проработав большую часть жизни на поприще психологических исследований, доктор Флореску привыкла мириться с неудачами. Было даже почти комфортно, когда всякий раз приходилось возвращаться к уверенности в том, что искомое доказательство не появится никогда. И вот, столкнувшись с неожиданным и несомненным успехом, она чувствовала себя окрыленной и в то же время сконфуженной.

Как и все эти три немыслимые недели, она сидела посреди самого большого помещения второго этажа, в одном лестничном пролете от верхней комнаты с ее настенными росписями, и, прислушиваясь к доносившемуся оттуда шуму, едва осмеливалась поверить в то, что ей позволено присутствовать при чуде. До сих пор были танталовы муки поисков, намеки на существование голосов из другого мира, но теперь их область сама настойчиво взвыла о том, чтобы быть услышанной.

Шум наверху прекратился.

Мери взглянула на часы: было шесть семнадцать вечера. По каким-то причинам, лучше известным незримым посетителям дома, контакт с ними никогда не продолжался намного позже шести часов. Она решила подождать до половины седьмого. Что-то будет сегодня? Кем окажется тот, кто придет в эту убогую комнату и оставит там свою отметину?

— Включить камеры? — спросил Рег Фаллер, ее ассистент.

— Да, пожалуй, — изнывая от ожидания, прошептала она.

— Любопытно — что у нас будет сегодня?

— Мы дадим ему десять минут.

— О'кей.

Наверху Макнил грузно опустился на пол в углу комнаты и взглянул на октябрьское солнце в крошечном окне. Ему было немного одиноко, запертому в этом проклятом месте, но он все равно улыбнулся — той чарующей улыбкой, от которой таяли самые сухие женские сердца. Особенно сердце доктора Флореску: о да, эта женщина была ослеплена его обаянием, его глазами, его заговорщицкими взглядами...

У них была забавная игра.

По крайней мере, сначала. Теперь Саймон Макнил знал, что они играли по-крупному; то, что прежде выглядело как некая разновидность теста на детекторе лжи, быстро превратилось в серьезное состязание: Макнил против Истины. Истина была проста: он был мошенником. Все эти «послания призраков» он написал обломком грифеля, который прятал под языком: если же стучал кулаками в стены, катался по полу и кричал во все горло, то исключительно ради собственного удовольствия; а все неизвестные имена, которыми была испещрена комната, — ха, о них нельзя было вспоминать без смеха — их он нашел в телефонном справочнике.

Да, их игра и в самом деле была чудесной забавой.

Она сулила ему очень многое; обольщала славой, поощряя каждую сочиненную ложь. Обещала богатство, бесчисленные выступления по телевизору и поклонение, которого он еще не знал. Но — лишь до тех пор, пока он вызывал духов.

Он еще раз улыбнулся. Она называла его Промежуточником: невинным почтальоном, приносящим послания из ниоткуда. Скоро она поднимется наверх — посмотрит на его тело и будет готова прослезиться от патетического возбуждения, когда увидит новую серию каракулей и прочей настенной чепухи.

Ему нравилось, когда она смотрела на его наготу — точнее, на все, кроме наготы. Во время своих оккультных сеансов он надевал только узкие плавки, что должно было исключить применение каких-либо запрещенных вспомогательных средств. Смехотворные предосторожности. Все, что ему было нужно, — это лишь грифель под языком и некоторый избыток энергии, чтобы полчаса крутиться волчком и выть во весь голос.

Он вспотел. Выемка на груди блестела от пота, волосы прилипли к бледному лбу. Сегодня выдалась тяжелая работа:

ему не терпелось выбраться из комнаты и ненадолго расслабиться. Млея от удовольствия, Промежуточник закрыл глаза. Его рука проникла в плавки и стала поигрывать плотью. Где-то в комнате застряла муха — или мухи. Лето уже давно прошло, но он явственно слышал их неподалеку от себя. Они жужжали и бились то ли в окно, то ли в колбу электрической лампы. Он различал их тонкий писк, но не придавал ему никакого значения, слишком поглощенный мыслями о своей игре и своим невинным занятием.

А они жужжали и жужжали, эти безобидные твари. Жужжали, пищали и жаловались. Они жаловались.

Мери Флореску барабанила пальцами по столу. Сегодня ее обручальное кольцо почти свободно болталось на оправляемой им фаланге — она чувствовала, как оно подпрыгивало в ритме постукиваний по дереву. Иногда кольцо сидело плотно, иногда нет: одно из небольших чудес, которые она не анализировала, а просто принимала как необъяснимую реальность. Сегодня оно болталось больше, чем обычно, — оно чуть не сваливалось. Она вспомнила лицо Алана. Дорогое, желанное. Мери подумала о нем, глядя в отверстие обручального кольца — как в некий переносный туннель, за которым была только темнота? Она повертела кольцо перед глазами. Держа его кончиками указательного и большого пальцев, она почти ощущала металлический привкус — как будто попробовала кольцо на язык. Любопытное ощущение, своего рода иллюзия.

Чтобы отогнать от себя горькие воспоминания, она снова стала думать об этом юнце. Его лицо плавно — очень плавно — всплыло перед ее мысленным взором, непривлекательное и немужественное. Совсем как у девочки: округлое, с нежной и чистой кожей, почти непорочное.

Кольцо оставалось в пальцах, а металлический привкус во рту постепенно усиливался. Она подняла глаза. Фаллер колдовал над аппаратурой. Вокруг его лысины мерцал и переливался нимб бледно-зеленого света...

Внезапно у нее закружилась голова.

Фаллер ничего не видел и ничего не слышал. Он полностью сосредоточился на своем деле. Мери не сводила взгляда с ореола над ассистентом и чувствовала, как в ней просыпались новые, захватывающие ощущения. Воздух вдруг показался ожившим: сами молекулы кислорода, водорода и азота

теснились вокруг, обнимая ее — крепко и жарко. Нимб над головой Фаллера расширился, постепенно обволакивая все предметы комнаты. Неестественное ощущение в кончиках ее пальцев тоже разрасталось. Она могла видеть цвет своего дыхания — клубящееся розовое облако перед глазами. Она могла слышать голос стола, за которым сидела: жалобный стон под его твердой поверхностью.

Мир открывался ей: смешивая все чувства в каком-то диком первобытном экстазе. Внезапно она подумала, что способна понять мир не как систему политических или религиозных взглядов, а как совокупность чувств, которые распространяются от живой плоти к неодушевленному дереву письменного стола, к потускневшему золоту обручального кольца.

И дальше, вглубь. За дерево, за золото. Перед ней расползлась трещина, выходившая на широкую дорогу. В голове зазвучали голоса, которые не могли принадлежать живущим.

Она взглянула наверх — точнее, какая-то грубая сила оттолкнула ее голову назад, и она вдруг поняла, что смотрит в потолок. Тот был сплошь покрыт червями. Нет, этого не могло быть наяву! Он казался живым, он кишел жизнью — пульсирующей, извивающейся, пляшущей.

Сквозь потолок она видела мальчика. Он сидел на полу, держа руку между ног. Его голова была запрокинута так же, как и ее. Он был погружен в экстаз, как и она. Ее новое зрение различало пульсирующий свет вокруг его тела — источавшийся из нижней части живота. Он изнывал от наслаждения.

Она видела его ложь, отсутствие силы там, где, как ей казалось, могло быть нечто феноменальное. Он не обладал талантом общения с духами — не обладал никогда. Она ясно это видела. Он был маленьким лжецом, наивным белокурым обманщиком, не имевшим понятия о сострадании и не разумевшим того, что осмелился вытворять.

Дело было сделано. Ложь была произнесена, шутки сыграны, и мертвцы, разгневанные надругательством над ними, толпились у трещины в стене, требуя возмездия.

Эту трещину разверзла она — бессознательно расшатала и вскрыла незаметными движениями. Все свершили ее чувства к мальчику: бесконечные мысли о нем, отчаяние,

пылкие желания и отвращение к собственной пылкости раздвинули эту трещину. Из всех сил, которые могли действовать, самыми властными были любовь, ее спутница — страсть, и их спутница — утрата. Она была воплощением всех трех сил. Она любила и желала близости, и остро ощущала невозможность того и другого. Ослепленная агонией чувств, в которых не могла признаться самой себе, она полагала, что любит мальчика просто как посредника между собой и чем-то высшим. Как Промежуточника.

Да! Именно так. Она хотела, хотела его сейчас, желала всем своим существом. Только сейчас было слишком поздно. Те широкие пути больше не могли сворачивать перед препятствиями: они требовали — да требовали — доступа к этому маленькому шалуну и проказнику.

Она ничего не могла предотвратить. Что она могла — лишь вздрогнуть от ужаса, когда увидела широкую дорогу, открывшуюся перед ней, и поняла, на каком перекрестке они находились.

Фаллер услышал какой-то звук.

— Доктор?

Краем глаза она увидела его обеспокоенное лицо. Оно было объято голубоватым свечением.

— Вы что-то сказали? — спросил он.

Не в силах проглотить комок, застрявший в горле, она подумала о том, чем все это должно было кончиться.

Восковые лица мертвецов отчетливо проступали перед ней. Она понимала глубину их страдания и сочувствовала им жажде быть услышанными.

Она явственно видела, что магистралি, пересекавшиеся на Толлингтон Плейс, не были заурядным перепутьем. Она смотрела отнюдь не на счастливое, беззаботное блуждание обычных мертвых. Нет, этот дом отворился на дорогу, по которой шагали только жертвы и творители насилия. Здесь были мужчины, женщины и дети, которые перед смертью испытали всю боль, доступную рассудку и нервам. Их память запечатлела собственную агонию, их глаза красноречиво говорили о ней, а тела еще хранили раны, умертвившие их. Среди безвинных она видела их мучителей и убийц. Обезумевшие исчадия человеческого рода; они болтали какие-то бессвязные слова и тревожно озирались вокруг.

Теперь и мальчик наверху ощутил их присутствие. Она увидела, как он повернул голову — до него дошло, что голоса, которые он слышал, не были жужжанием насекомых, жалобным мышиным писком. Он внезапно осознал, что жил в крохотном уголке мироздания и что остальные части этого монолитного целого — Третий, Четвертый и Пятый миры — вплотную прикасались к его холодеющей спине. Да, она чувствовала его так, как давно и страстно желала, но их ощущения объединил не поцелуй, а панический страх. Он заполнял ее: проникновение было полным. Ужас в глазах принадлежал ему так же, как и ей; из их пересохших гортаней вырвалось одно и то же короткое слово:

— Пожалуйста...

Которому учат детей.

— Пожалуйста...

Которое завоевывает улыбки, заслуживает прощение.

— Пожалуйста...

Которое даже мертвые — о, даже они! — должны знать и уважать.

— Пожалуйста...

Она знала наверняка, что сегодня такой милости не будет. Призраки, шедшие по дороге печали, отчаялись в надежде избавиться отувечий, с которыми умерли, и от безумия, с которым убивали. Они не вынесли его легкомыслия и наглости, его дерзких проделок, высмеивавших их скорбный удел.

Фаллер вглядывался в нее более пристально, чем прежде. Его лицо сейчас плавало в море пульсирующего оранжевого света. Она почувствовала его руки на своей коже. У них был привкус уксуса.

— С вами все в порядке? — хрипло спросил он.

Она покачала головой.

Нет, с ней не все было в порядке. Ничего не было в порядке — вообще ничего.

Трещина расширялась с каждой секундой; сквозь нее уже виднелось другое небо — тяжелое и серое, нахмутившееся над дорогой. Оно подавляло обыденность внутренней обстановки дома.

— Пожалуйста, — проговорила она, тараща глаза на рассыпавшуюся поверхность потолка.

Шире. Шире.

Мир, к которому она привыкла, был напряжен до последнего предела.

Затем он разломился, и в образовавшуюся брешь хлынула черная вода. Она быстро затопляла комнату.

Фаллер знал — что-то было не так, неправильно (в цвете его ауры появился испуг), — но не понимал того, что случилось.

Она почувствовала, как у него по спине забегали мурашки; увидела смятение его мыслей.

— Что здесь происходит? — громко произнес он. Пафос его вопроса чуть не рассмешил ее.

Наверху бурлила вода, низвергавшаяся в комнату, как в кувшин с расписными стенками.

Фаллер отпрянул и опрометью бросился к двери. Та уже ходила ходуном — как если бы снаружи в нее стучались все обитатели преисподней. Ручка бешено крутилась то в одну, то в другую сторону. Краска пузырилась. Ключ в замке раскалился докрасна.

Фаллер оглянулся на доктора, которая сидела в прежнем гротескном положении, с запрокинутой головой и широко раскрытыми глазами.

Он потянулся к ручке, но дверь распахнулась прежде, чем он дотронулся до нее. Коридора не было. Вместо знакомого интерьера открылся вид на простиравшуюся до самого горизонта широкую дорогу. Эта панорама мгновенно уничтожила Фаллера. Его рассудок не смог вынести такого зрелища — слишком велико было напряжение, сковавшее каждый его нерв. Его сердце остановилось; желудок сжался, мочевой пузырь лопнул; у него подкосились ноги. Когда он рухнул на пороге комнаты, его лицо начало пузириться, как краска на двери, а тело задергалось, как дверная ручка. От него осталась лишь косная материя; не более восприимчивая к подобным унижениям, чем дерево или сталь.

Где-то далеко на Востоке его душа ступила на дорогу, ведущую к перекрестку, на котором секундой раньше он умер.

Мери Флореску видела, что осталась одна. Наверху ее дивный мальчик, ее очаровательный шалопут корчился и пронзительно визжал в мстительных руках мертвецов, обхватывавших его обнаженное тело. Она знала их намерение — в нем не было ничего нового. Предания издавна рассказывали ей об этой пытке.

Он должен был стать их исповедальной книгой, сосудом их воспоминаний. Книгой крови. Книгой, сотворенной из крови. Книгой, написанной кровью. Она подумала о маньяке, который сшил для себя одежду из человеческой кожи: такие вещи вызывали у нее смешанное чувство ужаса и омерзения. Она подумала о татуировках, которые ей доводилось видеть: демонстрации уродства на низкопробных шоу; наколотые на спинах мертвых подростков послания, предназначавшиеся их матерям. Да, подобное не было невиданным или неслыханным делом — писать книгу крови.

Но на этой коже, на этой сияющей, нежной коже — о Господи, вот где совершилось настояще преступление! Когда осколки разбитого оконного стекла вонзились в его плоть, он истошно завопил. Она ощущала его боль так, как если бы была на его месте — и эта боль была не так кошмарна...

Он все еще кричал. И вырывался, и проклинал своих мучителей. Они же не обращали никакого внимания на его душераздирающие вопли. Глухие к мольбам и оскорблению, они сгрудились вокруг него и работали с ожесточенностью существ, которые были обречены на слишком долгое бездействие. Мэри слушала его крики и боролась со страхом, сковывавшим ее тело. Она чувствовала, что должна была подняться в ту комнату. Что бы ни происходило за дверью или на лестнице — достаточно было того, что он нуждался в ней.

С волосами, развевавшимися, как змеи на голове Медузы Горгоны, она встала и сделала первый шаг. Почти гребок — едва ли можно было назвать полом то, что виднелось у нее под ногами. Из-за призрачных стен дома на нее уставился зияющий, жуткий мрак. Ощущая в себе какую-то бессильную вялость, она взглянула на дверь.

Там явно не желали ее появления. «Может быть, даже побаивались», — подумала она. Эта мысль придала ей решимости: разве стали бы запугивать ее, если бы она, отворившая их мир, не представляла для них какую-то угрозу?

Облупившаяся дверь была открыта. За ней реальная обстановка жилого дома уже целиком уступила место чудовищному хаосу дороги мертвых. Она переступила порог, чувствуя под ногами твердую поверхность, которой не видела глазами. Над ней нависло небо цвета берлинской глазури, дорога была широкой и ветреной, а по обеим

сторонам навстречу шли мертвецы. Она расталкивала их, как толпу живых людей, и они с ненавистью заглядывали ей в лицо.

«Пожалуйста» было забыто. Теперь она ничего не говорила: лишь стиснула зубы, зажмурила глаза и осторожно передвигала ступни, пытаясь нашупать лестницу, которая должна была находиться где-то здесь. С каждым прикоснением к ее телу толпа поднимала вой и свист. Она не могла понять, смеялись ли она над ее неуклюжестью или предупреждали о том, что она зашла слишком далеко.

Шаг. Другой. Третий.

Она с трудом пробиралась вперед. Там была дверь комнаты, в которой, широко раскинув руки, лежал ее маленький лжец. Над ним склонились его мучители. Плавки на нем были спущены до лодыжек: происходившее напоминало сцену изнасилования. Он больше не кричал, но в обезумевших глазах застыли боль и ужас. Она видела, что он был еще жив. Его молодое сознание только наполовину воспринимало то, что творили с его телом, — и только поэтому он до сих пор не умер.

Внезапно он судорожным движением поднял голову и через дверь посмотрел прямо на нее. В этой экстремальной ситуации в нем проснулся дар, — несоизмеримый со способностями Мери, но достаточный для того, чтобы почувствовать ее приближение. Их глаза встретились. В море синего мрака, отовсюду окруженного миром, который они оба не знали и не понимали, их сердца устремились друг к другу.

— Прости меня, — беззвучно сказал он. Его терзало раскаяние. — Прости меня, прости.

Он отвел взгляд.

Она была уверена в том, что поднялась почти на вершину лестницы. Ее ступни все еще переступали в воздухе. Сверху, снизу, слева и справа она различала искаженные ненавистью лица путников, шедших ей навстречу. Впереди смутно темнело кубическое пространство комнаты, где лежал Саймон. Он был окровавлен с головы до пят. Она могла рассмотреть багровые отметины, иероглифы агонии на каждом дюйме его торса, лица и конечностей. На какой-то короткий момент он попал в некое подобие оптического фокуса, и она увидела его лежащим в пустой комнате, в луче света, падавшем сквозь разбитое окно. Затем эту картину вновь затмил тот

невидимый мир, в котором он висел в воздухе, разрезаемый вдоль и поперек кусками стекла — вонзившегося в его кожу, выбивавшего волосы с головы и тела, впивавшегося в его подмышки и глазные веки, чертившего на гениталиях, в ямке между ягодиц и на подошвах ступней.

Каждые два соседних знака объединялись одной раной. Видела ли она его окруженным авторами этих писем или одиноко распростертым в комнате, он истекал и истекал кровью.

Она уже достигла двери. Ее дрожащая рука протянулась вперед, но не нашупала никакой твердой поверхности. Со средоточив всю свою волю, она попыталась отвлечься от посторонних звуков и видений. Ей повезло. Что-то вдруг прояснилось, и на короткий миг из хаоса простирали дверная ручка. Она схватила ее, повернула и распахнула комнату с письменами.

Он был там, прямо перед ней. Их разделяли не больше трех ярдов обезумевшего пространства. Их глаза снова встретились, они обменялись взглядом, общим для живого и мертвого миров. В этом взгляде были жалость и любовь. Вместо наигранных улыбок у мальчика была неподдельная нежность, отраженная на его лице.

И мертвые в страхе отпрянули от этого взгляда. Их лица вытянулись, кожа стала быстро темнеть, а голоса превратились в жалобный писк. Они почувствовали свое поражение. Она бросилась к нему, больше не обращая внимания на орды мертвецов; они отваливались от своей жертвы и падали на пол, как высокие мухи сыплются из распахнутого после зимы окна.

Она осторожно коснулась его лица. В ее прикосновении было что-то от благословения. У него из глаз хлынули слезы — потекли по обозображенными щекам, смешиваясь с кровью и разъедая свежие раны.

От мертвецов не осталось ни голосов, ни ртов, еще недавно искаженных ненавистью. Они пропали на своей дороге, их злодейство было проклято.

Постепенно комната стала приобретать свой прежний вид. Стали видны каждый гвоздь и каждая залитая кровью доска паркета под всхлипывающим телом. Отчетливо прояснилось разбитое окно — с вечерней улицы доносился гомон детских криков. Магистраль мертвых исчезла из поля зрения

живых. Ее путники ушли во тьму, канули в забвение, оставив после себя только свои знаки и талисманы.

На втором этаже Номера Шестьдесят Пять лежало обугленное и чадящее тело Рега Фаллера. Оно вздрагивало всякий раз, когда проходившие по перекрестку наступали на него. Наконец собственная душа Фаллера пришла и посмотрела сверху на то, что раньше было ее жилищем. Затем напирающая сзади толпа подтолкнула ее дальше, и она двинулась туда, где должен был вершиться суд над ней.

В полутемной комнате на третьем этаже Мери Флореску стояла на коленях перед молодым Макнилом и осторожно притрагивалась к его окровавленной голове. Она не хотела покидать дом и звать на помощь, не убедившись в том, что его истязатели не вернутся. Сейчас вокруг не было слышно ни звука, если не считать жалобного воя реактивного самолета, прокладывавшего в стратосфере путь к утреннему свету. Даже дыхание юноши было тихим и спокойным. Каждое чувство обрело свое место. Зрение. Слух. Осязание.

Осязание.

Она прикасалась к нему так, как не посмела бы никогда прежде — ласково поглаживала тело, нежно проводила кончиками пальцев по вспухшей коже: как слепая, читающая азбуку Брайля. На каждом миллиметре его тела теснились десятки микроскопических слов, написанных множеством разных почерков. Даже сквозь запекшуюся кровь она могла осязать дотошную отчетливость слов, врезанных в живую плоть. Даже в сумерках можно было прочитать некоторые случайные фразы. Они были неопровергимым свидетельством. Они были тем доказательством существования загробной жизни, которое она ожидала всю свою жизнь. Но, Господи, как она желала никогда не получать его!

Она не сомневалась в том, что мальчик выживет. Его бесчисленные раны уже начали затягиваться. В конце концов, у него был здоровый и крепкий организм, и ему не нанесли смертельных телесных повреждений. Конечно, его красота пропала навсегда. Отныне он в лучшем случае должен был стать объектом любопытства; в худшем — отвращения и ужаса. Но она знала, что будет защищать его и что когда-нибудь он научится понимать ее и доверять ей. Теперь их сердца были неразрывно связаны друг с другом. Теперь они стали одним нераздельным целым.

Придет время, слова на его теле превратятся в струпья и шрамы, и тогда она прочтет его. С бесконечной любовью и терпением она будет вникать в то, что мертвые поведали на нем.

В письмена, старательно выведенные на его животе. В каллиграфические строки заветов, покрывавшие его лицо и темя. В исповеди, испещрившие его спину, горло и пах.

Она вчитается в них, тщательно перепишет все до последней буквы, горящей и сочащейся под ее чуткими пальцами, и мир узнает рассказы тех, кто жил в нем.

Он был Книгой Крови, и она была ее единственным переводчиком. Когда спустилась темнота, она оставила свое тревожное бдение и повела его, обнаженного, в целебную прохладу ночи.

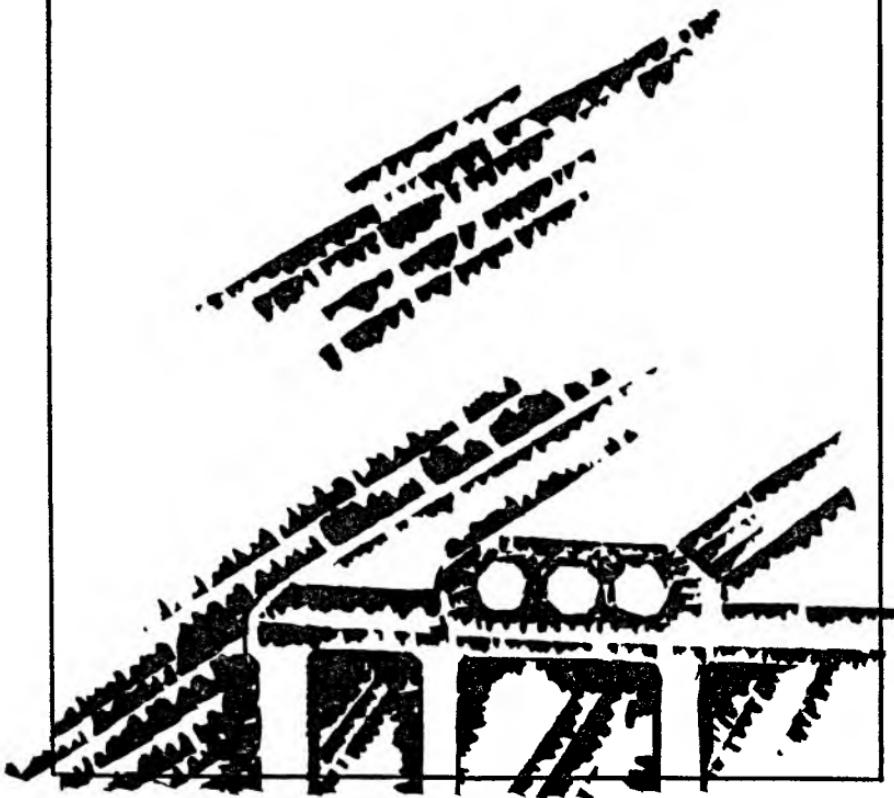
Это рассказы, написанные в Книге Крови. Читайте, если хотите, и запоминайте.

Они — карта той мрачной дороги, что ведет из жизни в неизвестность окончательного забвения. Немногим суждено ступить на нее. Большинство мирно пойдут по светлым улицам, напутствуемые заботами и молитвами живущих. Но немногим — немногим избранным — явятся те ужасы, чтобы повлечь за собой, на дорогу проклятия.

Так что, читайте. Читайте и запоминайте.

Все-таки лучше быть готовым к худшему, и вы поступите мудро, если научитесь ходить раньше, чем испустите дух.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПОЕЗД
С МЯСОМ





А. А. Морозов 94



еон Кауфман уже хорошо знал этот город. Дворец Восторгов — так он называл его раньше, в дни своей невинности. Но тогда он жил в Атланте, а Нью-Йорк еще был неким подобием обетованной земли, где сбывались все самые заветные мечты и желания.

В этом городе грез Кауфман прожил три с половиной месяца, и Дворец Восторгов уже не восторгал его.

Неужели вправду миновало всего четверть года с тех пор, как он сошел с автобуса на станции возле Управления порта и взгляделся в заманчивую перспективу 42-й улицы, в сторону ее перекрестка с Бродвеем? Такой короткий срок и так много горьких разочарований.

Теперь ему было неловко даже думать о своей прежней наивности. Он не мог не поморщиться при воспоминании о том, как тогда замер и во всеуслышание объявил:

— Нью-Йорк, я люблю тебя.

Любить? Никогда.

В лучшем случае это было слепым увлечением.

И после трех месяцев, прожитых вместе с его воплощенной страстью, после стольких дней и ночей, проведенных с нею и только с нею, та утратила даже ауру былого великолепия.

Нью-Йорк был просто городом. Может быть, столицей городов.

Столицей — буквально. Он видел ее утром просыпавшейся, как шлюха, и выковыривавшей трупы убитых из щелей в зубах и самоубийц из спутанных волос. Он видел ее поздно ночью, бесстыдно соблазнявшей пороком на грязных боко-

вых улицах. Он наблюдал за ней в жаркий полдень, вялой и безразличной к жестокостям, которые каждый час творились в ее душных переходах.

Нет, этот город не был Дворцом Восторгов.

Он таил не восторг, а смерть.

Все, кого встречал Кауфман, были отмечены клеймом насилия; таков был непреложный факт здешней жизни. Было даже что-то утешительное в том, чтобы вновь узнать о чьей-нибудь насильственной смерти. Это свидетельствовало о жизни в этом городе.

Но он почти двадцать лет любил Нью-Йорк. Свою будущую любовную связь он планировал большую часть своей сознательной жизни. Поэтому ему нелегко было забыть о своей страсти, как будто ее не существовало. Порой очень рано, задолго до воя полицейских сирен, все еще выдавались минуты, когда Манхэттен по-прежнему был чудом.

Вот за эти-то редкие мгновения и ради лучших снов юности он дарил бывшей возлюбленной свои сомнения в ней — даже если она вела себя не так, как положено добродорядочной леди.

Она не дорожила его щедротами. За те несколько месяцев, что Кауфман прожил в Нью-Йорке, на улицы города были выплеснуты целые потоки крови.

Точнее, не на сами улицы, а в тоннели под ними.

«Подземный убийца» — таково было модное выражение, если не пароль того времени. Только на прошлой неделе сообщалось о трех новых убийствах. Тела были найдены в одном из вагонов сабвея, на Авеню оф Америка — разрубленные на части и почти полностью выпотрошенные, как будто какой-то умелый оператор скотобойни не успел закончить свою работу. Эти убийства были совершены с таким отточенным профессионализмом, что полицейские допрашивали каждого человека, который, по их сведениям, когда-либо имел дело с торговлей мясом. В поисках улик или каких-нибудь зацепок для следствия были тщательно осмотрены мясоперерабатывающие фабрики в портовом районе и дома, где жили жертвы преступления. Газеты обещали скорую поимку убийцы, но никто так и не был арестован.

Недавние три трупа были не первыми из обнаруженных в аналогичном состоянии; в тот самый день, когда Кауфман

приехал в город, «Таймс» разразился статьей, которая до сих пор не давала покоя впечатлительным секретаршам из его офиса.

Повествование начиналось с того, что некий немецкий турист, заблудившись в сабвее поздно ночью, в одном из поездов набрел на тело. Жертвой оказалась хорошо сложенная, привлекательная тридцатилетняя женщина из Бруклина. Она была полностью раздета. На ней не было ни одного лоскута материи, ни одного украшения. Даже клипсы были вынуты из ушей.

Не менее экстравагантной выглядела та систематичность, с которой вся одежда была свернута и упакована в отдельные пластиковые мешки, лежавшие на сиденье возле трупа.

Здесь орудовал не обезумевший головорез. Тот, кто это сделал, должен был быть чрезвычайно организованным и хладнокровным субъектом; каким-то лунатиком с весьма развитым чувством опрятности.

Еще более странным, чем заботливое оголение трупа, было надругательство, совершенное над ним. В сообщении говорилось — хотя полицейский департамент не брался подтверждать сведения репортера, — что тело было тщательнейшим образом выбрито. На нем был удален каждый волос: на голове, в паху и в подмышках; волосы сначала срезали чем-то острым, а потом опалили. Даже брови и ресницы были выщипаны.

И наконец, это чересчур обнаженное изделие было подвешено за ноги к поручням на потолке вагона, а прямо под трупом была поставлена пластиковая посудина, в которую стекала кровь, сочившаяся из ран.

В таком состоянии нашли обнаженное, обритое, повешенное вниз головой и практически бескровленное тело Лоретты Дайс.

Преступление было омерзительным, педантичным и бескураживающим.

Оно не было ни изнасилованием, ни каким-то изощренным истязанием. Женщину просто убили и разделали, как мясную тушу. Мясник же как в воду канул.

Отцы города поступили мудро, запретив посвящать прессу в обстоятельства убийства. Было решено, что человека, обнаружившего тело, необходимо отправить в Нью-Джерси, где он находился бы под защитой местной полиции и где до него не смогли бы добраться вездесущие журналисты. Однако

уловка не удалась. Один нуждающийся в деньгах полицейский поведал все детали преступления репортеру из «Таймс». Теперь эти тошнотворные подробности обсуждались всюду. Они были главной темой разговоров в каждом баре и в каждой забегаловке; и, разумеется, в сабвее.

Но Лоретта Дайс была только первой из многих.

Вот и еще три тела были найдены в метро; хотя на этот раз работа была явно прервана на середине. Тела не все были обриты, а кровь из них не совсем вытекла, потому что вены остались неперерезанными. И другое, более важное, отличие было в новой находке: на трупы наткнулся не турист из Германии, а хроникер из «Нью-Йорк Таймс».

Кауфман как раз проглядел репортаж, занявший всю первую полосу газеты. Проглядел и поморщился. Сmakование подземных ужасов не увлекало его, чего нельзя было сказать о соседе слева, который сидел вместе с ним за стойкой кафе. Леон отодвинул яичницу. Статья лишний раз свидетельствовала о загнивании его города. Она не прибавляла аппетита.

Тем не менее, он не мог вовсе не обращать внимания на страницу с репортажем (убогая притязательность описания усиливала чувство сострадания к жертвам). Он также не мог мысленно не полюбопытствовать, кто же стоял за этими жестокостями. Сoverшил ли их какой-нибудь один психически ненормальный человек или несколько, одержимых ма-нией копирования оригинала? Возможно, настоящий кошмар только начинался. Он подумал, что, может быть, произойдет еще немало убийств, прежде чем последний убийца, перевозбужденный кровью или уставший от нее, потеряет бдительность и попадется в руки полиции. А до тех пор весь город, обожаемый город Кауфмана, будет жить в состоянии между истерикой и экстазом.

Сидевший рядом бородатый мужчина ударил кулаком по стойке, опрокинув чашку Кауфмана.

— Дерьмо! — выругался он.

Кауфман отодвинулся от растекшегося кофе.

— Дерьмо, — повторил мужчина.

— Ничего страшного, — сказал Кауфман.

Он презрительно взглянул на соседа. Неуклюжий бородач достал носовой платок и теперь пытался вытереть кофейную лужицу, еще больше размазывая ее по стойке.

Кауфман поймал себя на мысли о том, насколько этот неотесанный субъект был способен убить кого-нибудь. Был ли в его цветущем лице или в маленьких глазках какой-нибудь знак, выдающий истинную натуру их владельца?

Мужчина снова заговорил:

— Заказать другую?

Кауфман кивнул.

— Кофе. Одну порцию. Без сахара, — сказал субъект девушки за стойкой. Та подняла голову над грилем, с которого счищала застывший жир:

— Мм?

— Кофе. Ты что, глухая?

Мужчина повернулся к Кауфману.

— Глухая, — ухмыльнувшись, объявил он.

Кауфман заметил, что у него не хватало трех зубов в нижней части рта.

— Неприятно, а?

Что он имел в виду? Пролитый кофе? Отсутствие зубов?

— Сразу трое. Ловко сработано.

Кауфман еще раз кивнул.

— Поневоле призадумавшись, — добавил сосед.

— Еще бы.

— Сдается мне, нам хотят запудрить мозги, а? Они знают, кто это сделал.

Бестолковость разговора начала досаждать Кауфману. Он снял очки и положил их в футляр. Бородатое лицо больше не было так отчетливо назойливым. Стало немного легче.

— Ублюдки, — продолжал бородач, — паршивые ублюдки, все они. Ручаюсь чем угодно, они хотят запудрить нам мозги.

— Зачем?

— У них есть улики, просто они скрывают их. Держат нас за слепых. Так люди не поступают.

Кауфман понял. Некая теория всеобщей конспирации, вот что проповедовал этот субъект. Панацея на все случаи жизни, он был хорошо знаком с ней.

— Что-то здесь неладно. Все эти истории, они плодятся с каждым днем. Вегетативный период. Небось, вырастают какие-то дерьямовые монстры, а нас держат в темноте. Говорю же, хотят запудрить нам мозги. Ручаюсь чем угодно.

Кауфман оценил его уверенность — в ней была заманчивая перспектива. Незримо крадущиеся чудовища. С шестью головами, двенадцатиглазые. Почему бы и нет?

Он знал, почему. Потому что это извиняло бы его город. А Кауфман ни на минуту не сомневался в том, что монстры, поселившиеся в подземных тоннелях, были абсолютно человекообразны.

Бородач бросил деньги на стойку, скользнув широким задом по запачканному кофейными пятнами стулу.

— Может быть, какой-нибудь паршивый легавый, — сказал он на прощание, — пробовал сделать какого-нибудь паршивого супермена, а сделал паршивого монстра.

Он гротескно ухмыльнулся.

— Ручаюсь чем угодно, — добавил он и неуклюже заковылял к выходу.

Кауфман медленно, через нос выпустил воздух из легких — напряженность в теле постепенно спадала.

Он ненавидел этот сорт конфронтаций; в подобных ситуациях у него отнимался язык и появлялось чувство какой-то неловкости. И еще он ненавидел этот сорт людей: мнительных скотов, которых во множестве производил Нью-Йорк.

Было почти шесть, когда Махогани проснулся. Утренний дождь к вечеру превратился в легкую изморось. В воздухе веяло чистотой и свежестью, как обычно на Манхэттене. Он потянулся в постели, откинул грязную простыню и встал босыми ступнями на пол. Пора было собираться на работу.

В ванной комнате слышался равномерный стук капель, падающих с крыши на дюралевую коробку кондиционера. Чтобы заглушить этот шум, Махогани включил телевизор: безразличный ко всему, что тот мог предложить его вниманию.

Он подошел к окну. Шестью этажами ниже улица была заполнена движущимися людьми и автомобилями.

После трудного рабочего дня Нью-Йорк возвращался домой: отдохнуть, заниматься любовью. Люди торопились покинуть офисы и сесть в машины. Некоторые будут сегодня вспыльчивы — восемь потогонных часов в душном помещении непременно дадут знать о себе; некоторые, безропотные, как овцы, поплещутся домой пешком: засеменят ногами, подталкиваемые неиссякающим потоком тел на авеню. И

все-таки многие, очень многие уже сейчас втискивались в переполненный сабвей, невосприимчивые к похабным надписям на каждой стене, глухие к бормотанию собственных голосов, нечувствительные к холоду и грохоту туннеля.

Махогани нравилось думать об этом. Как-никак, он не принадлежал к общему стаду. Он мог стоять у окна, свысока смотреть на тысячи голов внизу и знать, что относится к избранным.

Конечно, он был так же смертен, как и люди на улице. Но его работа не была бессмысленной суетой — она больше походила на священное служение.

Да, ему нужно было жить, спать и испражняться, как и им. Но его заставляла действовать не потребность в деньгах, а высокое призвание.

Он исполнял великий долг, корни которого уходили в прошлое глубже, чем Америка. Он был ночным сталкером: как Джек-Потрошитель и Жиль де Ре; живым воплощением смерти, небесным гневом в человеческом обличье. Он был гонителем снов и будителем страхов.

Люди внизу не знали его в лицо и не посмотрели бы на него дважды. Но его внимательный взгляд вылавливал и взвешивал каждого, выбирая самых пригодных, селекционируя тех молодых и здоровых, которым суждено было пасть под его сакральным ножом.

Иногда Махогани страстно желал объявить миру свое имя, но на нем лежал обет молчания, и эту клятву нельзя было нарушить. Он не смел ожидать славы. Его жизнь была тайной, и только лишь неутоленная гордость могла жаждать признания.

В конце концов он полагал, что жертвенному тельцу вовсе не обязательно приветствовать жреца, стоя на коленях и трепеща перед ним.

Во всяком случае, он не жаловался на судьбу. Сознавать себя частью великого обычая — вот в чем состояло искупление и вознаграждение неудовлетворенного тщеславия.

Правда, были кое-какие недавние открытия... Нет, он ни в чем не был виноват. Никто не смог бы упрекнуть его. Но времена были не из лучших. Жизнь стала не такой легкой, как десять лет назад. Он постарел, работа уже давно измотала его; а на плечи ложилось все больше забот и обязанностей. Он был Избранным, и эта привилегия была нелегка.

Он все чаще подумывал о том, как передать свои знания кому-нибудь более молодому человеку. Конечно, нужно было посоветоваться с Отцами, но рано или поздно преемника предстояло найти, и он чувствовал, что для него не могло быть большего преступления, чем пренебрежение таким драгоценным опытом.

В его работе слишком многое значили навыки. Как лучше всего подкрасться, нанести удар, раздеть и обескровить. Как выбрать наилучшее мясо. Как проще всего избавиться от останков. Так много подробностей, так много приемов и уловок.

Махогани прошел в ванную комнату и включил душ. Перед тем, как встать под теплый, упругий дождь, он оглядел свое тело. Небольшое брюшко, поседевшие волосы на груди, фурункулы и угри, испещрившие бледную кожу. Он старел. И все же этой ночью, как и в любую другую ночь, у него было много работы...

Купив пару сэндвичей, Кауфман вбежал обратно в вестибюль, опустил воротник пиджака и смахнул с волос капли дождя. Часы над лифтом показывали семь шестнадцать. Работать предстояло до десяти, не дольше.

Лифт поднял его на двенадцатый этаж, в общий зал конторы. Немного поплутав в лабиринте пустых столов с зачехленными компьютерами, он добрался до своего крохотного рабочего места, над которым все еще горел свет. Уборщицы уже покинули помещение и теперь переговаривались в коридоре; кроме них здесь никого не было.

Он снял пиджак, стряхнул его, насколько мог, от водяных брызг и повесил на спинку стула.

Затем уселся перед ворохом ордеров, с которыми возился в последние три дня, и принялся за работу. Он хотел побыстрее закончить баланс, а сосредоточиться было легче, когда вокруг не стучали пишущие машинки и не жужжали принтеры.

Развернув пакет с сэндвичами, он достал ломтик ветчины с густым слоем майонеза, а остальное отложил на вечер.

Было девять.

Махогани оделся на ночную работу. На нем был его обычный строгий костюм с аккуратно заколотым коричне-

вым галстуком; серебряные запонки (подарок первой жены) торчали в манжетах безукоризненно выглаженной сорочки, редеющие волосы были смазаны маслом, ногти острижены и отполированы, а лицо освежено одеколоном.

Его чемоданчик был собран. В нем лежали полотенца, инструмент, крючки и кожаный фартук.

Он придиরчиво взгляделся в зеркало. Ему подумалось, что с виду его можно было принять за человека лет сорока пяти, от силы — пятидесяти.

Всматриваясь в собственное лицо, он не переставал думать о своих обязанностях. Кроме всего прочего, ему нужно было соблюдать осторожность. Сегодня ночью к нему будет приглядываться множество глаз. Его вид не должен был вызывать никаких подозрений.

«Если бы они только знали, — подумал он, — те люди, что проходят и пробегают мимо него на улице; те, что наталкиваются, задевают локтями и не извиняются; те, что сочувственно улыбаются ему; те, что посмеиваются за его спиной, глядя на этот мешковатый костюм. Если бы они только знали, кем он был, что делал и что носил с собой!»

Он еще раз предупредил себя о том, что нужно быть осторожным, и выключил свет. Комната погрузилась во мрак. Он подшел к двери и открыл ее, привычный к темноте. Рожденный в ней.

Дождевых облаков уже не было. Махогани направился к станции сабвея на 145-й улице. На эту ночь он выбрал «Авеню оф Америка», свою излюбленную и, как правило, наиболее продуктивную линию.

С жетоном в руке он спустился по лестнице. Прошел через автоматический турникет. В ноздри дохнуло запахом метро. Пока что не из самих туннелей. У тех был свой собственный запах. Но уже этот спрятый, наэлектризованный воздух подземного вестибюля — уже он один придавал уверенности. Исторгнутый из легких миллиона пассажиров, он циркулировал в этом кроличьем загоне, смеясь с дыханием гораздо более древних существ: созданий с мягкими, как глина, голосами и отвратительными аппетитами. Как он любил все это! И запах, и мрак, и грохот.

Он стоял на платформе и критически рассматривал тех, кто спускался сверху. Его внимание привлекли два или три тела, но в них было слишком много шлаков: далеко не все

могли удостоиться охоты. Физическое истощение, переедание, болезни, расшатанные нервы. Тела, испорченные излишествами и плохим уходом. Как профессионала они огорчали его, хотя он и понимал слабости, свойственные даже лучшим из людей.

Он пробыл на станции больше часа, прогуливаясь от платформы к платформе, с которых уходили поезда с людьми. Отсутствие качественного материала приводило его в отчаяние. Казалось, день ото дня предстояло выжидать все дольше и дольше, чтобы найти плоть, пригодную для использования.

Было уже почти половина одиннадцатого, а он еще не видел ни одной по-настоящему идеальной жертвы.

«Ничего, — говорил он себе, — время терпит. Вот-вот толпа народа должна хлынуть из театра. В ней всегда были два-три крепких тела. Откормленные интеллектуалы, перелистывающие программки и обменивающиеся своими соображениями об искусстве, — да, среди них можно было подыскать что-нибудь ценное».

Иначе (бывали же ночи, когда здесь не встречалось ничего подходящего) ему пришлось бы подняться в город и подстеречь за углом какую-нибудь припозднившуюся парочку влюбленных или одного-двух спортсменов, возвращающихся из гимнастического зала. Обычно они поставляли неплохой материал — правда, с подобными экземплярами всегда был риск натолкнуться на сопротивление.

Он помнил, как больше года назад подловил двух черных самцов, различавшихся возрастом чуть не на сорок лет, — может быть, отца и сына. Они защищались с ножами в руках, и он потом шесть недель отлеживался в больнице. Та бешеная схватка заставила его усомниться в своем мастерстве. Хуже — она заставила его задуматься о том, что сделали бы с ним его хозяева, если бы те раны оказались смертельными. Был бы он тогда перевезен в Нью-Джерси, к своей семье, и предан должностному христианскому погребению? Или его плоть была бы скинута в этот мрак, на их собственное потребление?

Заголовок «Нью-Йорк Поста», оставленного кем-то на лавке, уже несколько раз попадался на глаза Махогани: «Все силы полиции брошены на поиски убийцы». Он вновь не удержался от улыбки. Сразу исчезли мысли о неудачах,

старости и смерти. Как-никак, а ведь именно он был этим человеком, этим убийцей, но предположение об аресте вызывало разве только смех. Ни один полисмен не смог бы отвести его в участок, ни один суд не смог бы вынести ему приговор. Те самые блюстители закона, что с таким рвением изображали его преследование, служили его хозяевам не меньше, чем правопорядку: иногда ему даже хотелось, чтобы какой-нибудь безмозглый легавый схватил его и торжественно предал суду, — посмотрел бы он на их лица, когда из той темноты придет весть о том, что Махогани находится под покровительством высшей власти. Самой высшей: Подземной.

Время близилось к одиннадцати. Поток театралов уже заполнил станцию, но все еще не было ничего примечательного. Он решил пропустить толпу, а потом с одной или двумя особями доехать до конца линии. Как любой настоящий охотник, он умел терпеливо выжидать.

Кауфман не закончил даже к одиннадцати, на час позже установленного им самим срока. Спешка и отчаяние намного затрудняли работу; колонки цифр на бумаге уже давно начали плыть перед глазами. В десять минут двенадцатого он бросил авторучку на стол и признал поражение. Затем тыльными сторонами ладоней протер воспаленные веки.

— Фак ю, — сказал он.

Он никогда не ругался в компании. Но порой это слово было его единственным утешением. Он собрал документы и с влажным пиджаком на локте направился к лифту. От усталости у него ломило спину, глаза слипались.

Снаружи холодный воздух немного взбодрил его. Он пошел к сабвею на 34-й улице. Оставалось лишь поймать экспресс до «Фар Рокуэй». Все. Дорога домой обычно занимала не больше часа.

Ни Кауфман, ни Махогани не знали того, что в это время под пересечением 96-й и Бродвея в поезде, следовавшем из центра, полицейские обезвредили и арестовали человека, которого приняли за подземного убийцу. Европеец по происхождению, довольно щуплый, он был вооружен молотком и пилой, которой грозил во имя Иеговы разрезать пополам молодую женщину, оттесненную им в угол второго вагона.

Едва ли он был способен привести в исполнение свою угрозу. Тем более что такая возможность ему просто не представилась. Пока остальные пассажиры (включая двух морских пехотинцев) следили за развитием событий, потенциальная жертва нападения ударила его ногой в пах. Он выронил молоток. Она подобрала этот инструмент и размозжила им правую скулу обидчика, после чего в дело вступила морская пехота.

Когда поезд остановился на 96-й, «палача сабвея» уже поджидали полицейские. Они ворвались в вагон, крича от ярости и готовые наложить в штаны от страха. Изувеченный «палач» лежал в луже крови. Торжествуя победу, они выволокли его на платформу. Женщина дала показания и поехала домой в сопровождении морских пехотинцев.

Это происшествие сыграло на руку ничего не ведавшему Махогани. Полицейские почти до самого утра не могли установить личность задержанного — главным образом потому, что тот едва шевелил свернутой челюстью и вместо ответов на вопросы издавал только нечленораздельное мычание. Лишь в половине четвертого на дежурство пришел капитан Девис, который в арестанте узнал бывшего продавца цветов, известного в Бронксе как Хэнк Васерли. Выяснилось, что Хэнка регулярно арестовывали за угрожающее поведение и непристойные выходки, почему-то всегда совершающиеся во имя Иеговы. Его поступки были обманчивы; сам он был не опасней, чем Истер Банни. Он не был Подземным Убийцей. Но к тому времени, когда полицейские удостоверились в этом, Махогани уже давно покончил со своим делом.

В одиннадцать пятнадцать Кауфман вошел в экспресс, следовавший через Мотт-авеню. В вагоне уже были двое пассажиров: пожилая негритянка в лиловом плаще и прыщавый подросток, тупо взирающий на потолок с надписью «Поцелуй мою белую задницу».

Кауфман находился в первом вагоне. Впереди было тридцать пять минут пути. Разморенный монотонным громыханием колес, он прикрыл глаза. Поездка была утомительной, а он устал. Он не видел, как замигал свет во втором вагоне, не видел и лица Махогани, выглянувшего из задней двери.

На 14-й Стрит негритянка вышла. Никто не вошел.

Кауфман приподнял веки, посмотрел на пустую платформу станции и вновь закрыл глаза. Двери с шипением ударились

одна о другую. Он пребывал в безмятежном состоянии между сном и бодрствованием; в голове мелькали какие-то зачаточные сновидения. Ощущение было почти блаженным. Поезд опять тронулся и, набирая скорость, помчался в глубь туннеля.

Возможно, подсознательно Кауфман отметил, что дверь между первым и вторым вагонами ненадолго отворилась. Может быть, он почувствовал, как на него дохнуло подземной сыростью, а стук колес внезапно стал громче. Но он предпочел не обращать внимания на перемены обстановки.

Возможно, он даже слышал шум драки, когда Махогани расправлялся с туповатым подростком. Но все эти звуки были слишком далеки, а сон был слишком близок. Он задремал.

По каким-то причинам сновидение перенесло его в кухню матери. Она резала репу и ласково улыбалась, отделяя от овощей крепкие, хрустящие дольки. Во сне он часто оказывался ребенком и видел ее за работой. Хрум. Хрум. Хрум.

Он вздрогнул и открыл глаза. Его мать исчезла. Вагон был пуст.

Как долго продолжалась его дрема? Он не помнил, чтобы поезд останавливался на «Уэст 4-й Стрит». Все еще полусонный, он поднялся и чуть не упал от сильного толчка под ногами. Состав разогнался до едва ли допустимого предела. Вероятно, машинисту не терпелось поскорей очутиться дома, в постели с женой. Они во весь опор летели вперед; было довольно жутковато.

Окно между вагонами затемняли шторы, которых (насколько он помнил) раньше не было. Кауфман окончательно пробудился, и в его мысли закралось смутное беспокойство. Он заподозрил, что спал чересчур долго и служащие метро просмотрели его. Может быть, они уже миновали «Фар Рокуэй», и теперь их состав мчался туда, где поезда оставляют на ночь.

— Фак ю, — вслух сказал он.

Следовало ли ему пройти вперед и спросить машиниста? Вопрос был бы совершенно идиотским: простите, где я нахожусь? Разве в такое время ночи не ожидал бы его в лучшем случае поток ругани вместо ответа?

Затем состав начал тормозить.

Какая-то станция. Да, станция. Поезд вынырнул из туннеля на грязный свет «Уэст 4-й Стрит». Он не пропустил ни одной станции.

Так где же сошел мальчик?

Либо тот проигнорировал предупреждение на стене, запрещающее передвигаться между вагонами во время движения, либо прошел вперед, в кабину управления. Скривив губы, Кауфман подумал, что подросток вполне мог очутиться между ног машиниста. Такие вещи не были неслыханной редкостью. Как-никак, это был Дворец Восторгов, и в нем каждый имел право на свою долю восторгов в темноте.

Кауфман еще раз криво усмехнулся и пожал плечами. Какое ему дело до того, куда направился тот подросток?

Двери закрылись. В поезд никто не сел. Тронувшись со станции, состав перешел на запасной путь, и лампы вагона снова замигали — поезду потребовалась почти вся мощность, чтобы набрать прежнюю скорость.

Кауфмана уже не клонило в сон. Страх потеряться впрыснул немалую дозу адреналина в его артерии; все мышцы сразу напряглись.

Обострились сразу и чувства.

Даже сквозь стук и лязганье колес на стыках он услышал звук разрываемой ткани, доносившийся из второго вагона. Может быть, там кто-нибудь рвал на себе одежду?

Он стоял и держался за поручень, чтобы сохранять равновесие.

Окно между вагонами было полностью зашторено, но он внимательно всматривался в него и хмурился, как если бы внезапно его зрение обрело проницательность рентгеновских лучей. Вагон бросало из стороны в сторону. Состав стремительно мчался вперед.

Снова треск материи.

Может быть, изнасилование?

Как загипнотизированный, он медленно двинулся в сторону задней двери, надеясь найти какую-нибудь щель в шторе. Его взгляд был все еще прикован к окну, и он не замечал крови, растекшейся на дрожавшем полу.

Затем его нога поскользнулась. Он посмотрел на пол. Его желудок опознал кровь раньше, чем мозг, и выдавленный спазмами комок теста с ветчиной мгновенно подкатил к горлу. Кровь. Сделав несколько судорожных глотков сперто-го воздуха, он отвел взгляд — назад к окну.

Его рассудок говорил: кровь. От этого слова некуда деться. Между ним и дверью оставалось не больше одного ярда. Ему нужно было заглянуть за нее. На его ботинках была кровь, и кровь узкой полосой тянулась в следующий вагон, но ему все равно нужно было глянуть за дверь.

Ему нужно было глянуть за нее.

Он сделал еще два шага и начал исследовать окно, надеясь найти какую-нибудь щель в шторе: ему хватило бы даже микроскопической прорези от нити, случайно вытянутой из ткани. Оказалось, что там было крошечное отверстие. Он приник к нему зрачком.

Его разум отказался воспринять то, что разглядел глаз. Открывшееся зрелище представилось ему какой-то нелепой, кошмарной галлюцинацией. Но если разум отвергал увиденное, то голос плоти убеждал в обратном. Его тело окаменело от ужаса. Глаз, не мигая, смотрел на тошнотворную сцену за шторой. Он стоял перед дверью шаткого грохочущего поезда, пока кровь не отхлынула от его конечностей и голова не закружилась от недостатка кислорода. Багровые вспышки света замелькали перед его взором, затмевая картину содеянного злодейства.

Затем он потерял сознание.

Он был без сознания, когда поезд прибыл на Джей-стрит. Он не слышал, как машинист объявил, что пассажиры, следующие дальше этой станции, должны пересесть в другой состав. Если бы он услышал подобное требование, то мог бы задать вопрос о его смысле. Ни один поезд не высаживал пассажиров на Джей-стрит: эта линия тянулась к Мотт-авеню, через Водный Канал и мимо Аэропорта Кеннеди. Он мог бы спросить о том, что же это был за поезд. Мог бы — если бы уже не знал. Истина находилась во втором вагоне. Она ухмылялась и подмигивала ему, жалко покачиваясь на окровавленных крючьях.

Это был Полночный Поезд с Мясом.

В глубоком обмороке отсутствует счет времени. Прошли секунды или часы, прежде чем глаза Кауфмана открылись и мысли сосредоточились на его новом положении.

Он лежал под одним из сидений, вплотную прижатый к вибрирующей пыльной стене и полностью скрытый от взгля-

дов снаружи. Раньше других у него появилась мысль о том, что судьба благоволила к нему: должно быть, от тряски его бесчувственное тело перекатилось сюда, в единственное безопасное место этого поезда.

Он подумал об ужасах второго вагона и едва подавил в себе рвотные спазмы. Где бы ни находился дежурный по составу (скорее всего, убитый), звать на помощь было невозможно. Но машинист? Лежал ли он мертвым в кабине управления? Мчался ли поезд навстречу гибели в этом неизвестном, нескончаемом туннеле без станций?

Если ему не грозило смертью крушение на рельсах, то был Палач, все еще орудовавший за дверью, перед которой лежал Кауфман.

Что бы ни случилось, эта дверь именовалась: Смерть. Его, Кауфмана, Смерть.

Грохот колес заглушал все звуки — особенно теперь, когда он лежал на полу. От вибрации у Кауфмана ныли зубы; лицо онемело; даже череп болел.

У него уже давно затекли конечности. Чтобы восстановить кровообращение, он принял осторожно сжимать и разжимать пальцы рук.

Ощущения вернулись вместе с тошнотой. Перед глазами все еще стояла омерзительная картина, увиденная в соседнем вагоне. Конечно, ему приходилось видеть фотографии с мест преступлений; но здесь были необычные убийства. Он находился в одном поезде с Мясником сабвея — монстром, который подвешивал свои жертвы за ноги, нагими и безволосыми.

Как скоро этот убийца должен был выйти из этой двери и окликнуть его? Он был уверен, что умрет — если не от рук Палача, то от мучительного ожидания смерти.

Внезапно за дверью послышалось какое-то движение. Инстинкт самосохранения взял верх. Кауфман забился глубже под сиденье и сжался в крохотный полуживой комок с бледным лицом, повернутым к грязной стене. Он втянул голову в плечи и зажмурил глаза, как ребенок, скрывающийся от кошмаров Богимена.

Дверь начала открываться. Щелк. Чик-трак. Порыв воздуха с рельсов. Запах чего-то незнакомого: незнакомого и холодного. Воздух из какой-то первобытной бездны. Он заставил его содрогнуться.

Щелк. Дверь закрылась.

Кауфман знал, что Мясник был совсем рядом. Без сомнения, тот стоял в нескольких дюймах от сиденья.

Может быть, сейчас он смотрел на неподвижную спину Кауфмана? Или уже занес руку с ножом, чтобы выковырять его отсюда, как улитку, спрятавшуюся в свой жалкий домик?

Ничего не произошло. Он не почувствовал злорадного дыхания в затылок. Лезвие, обагренное чужой кровью, не вонзилось ему под лопатку.

Просто послышалось шарканье ног возле головы; неторопливый, удаляющийся звук.

Сквозь стиснутые зубы Кауфмана вырвался выдох. В легких осталась боль от задержанного в них воздуха.

Махогани почти расстроился от того, что спавший мужчина вышел на Уэст 4-й Стрит. Он рассчитывал заниматься делом вплоть до прибытия к месту назначения. Увы, нет: мужчина пропал. «Впрочем, это тело выглядело не совсем здоровым, — сказал он себе, — вероятно, оно принадлежало какому-нибудь малокровному еврею-бухгалтеру. Его мясо едва ли могло быть сколько-нибудь качественным». Успокаивая себя такими мыслями, Махогани пошел через весь вагон, в кабину управления. Он решил провести там оставшуюся часть поездки.

Кауфман задышал судорожными рывками. У него не хватало духа предупредить машиниста о приближающейся опасности.

Послышался звук открываемой двери. Затем низкий и хриплый голос Мясника:

— Привет.

— Привет.

Они были знакомы друг с другом.

— Сделано?

— Сделано.

Кауфман был потрясен банальностью этих реплик. О чем они? Что сделано?

Несколько последующих слов он пропустил из-за того, что поезд загромыхал по рельсам какого-то другого, особенно глухого туннеля.

Больше Кауфман не мог выносить неизвестности. Он осторожно выпрямился и через плечо взглянул в дальний конец вагона. Из-под сиденья виднелись только ноги Па-

лача и нижняя половина открытой двери. Проклятье! У него появилось желание еще раз посмотреть в лицо этого монстра.

Там засмеялись.

Кауфман быстро оценил ситуацию: впал в арифметическую форму паники. Если продолжать оставаться на месте, то Мясник рано или поздно заметит его и превратит в отбивную котлету. С другой стороны, если рискнуть покинуть убежище, то можно оказаться обнаруженным еще раньше. Что хуже: бездействовать и встретить смерть загнанным в нору или попробовать прорваться и испытать Судьбу в середине вагона?

Кауфман сам удивился своей храбрости: он уже отодвинулся от стены.

Не переставая следить за спиной Палача, он медленно выбрался из-под сиденья и пополз к задней двери. Каждый преодоленный дюйм давался ему с мучительным трудом, но Палач, казалось, был слишком увлечен разговором, чтобы оборачиваться.

Кауфман добрался до двери. Затем начал подниматься на ноги, заранее готовясь к зрелицу, которое ожидало его во Втором Вагоне. Дверная ручка поддалась почти без нажима; он отворил дверь.

Грохот колес и смрад, какого никогда не бывало на земле, на мгновение оглушили его. Боже! Наверняка Палач услышал шум или почувствовал запах. Сейчас он обернется.

Но нет. Кауфман проскользнул в дверной проем и через два шага очутился в залитом кровью вагоне.

Чувство облегчения сделало его неосторожным. Он забыл как следует прикрыть за собой дверь, и она, качнувшись вместе с поездом, распахнулась настежь.

Махогани повернул голову и внимательно оглядел ряды сидений.

— Что за черт? — спросил машинист.

— Не захлопнул дверь, вот и все.

Кауфман услышал, как Палач подошел к двери. Всем телом вжалвшись в торцевую стену и оцепенев от ужаса, он внезапно подумал о том, что его мочевой пузырь переполнен. Дверь затворилась, и шаги начали удаляться.

Опасность вновь миновала. Теперь по крайней мере можно было перевести дыхание.

Кауфман открыл глаза, стараясь не смотреть на то, что находилось перед ним.

Этого невозможно было избежать.

Это заполоняло все его чувства: запах выпотрошенных внутренностей; вид багрово-красных тел; ощущение липких сгустков на его ладонях, которыми он опирался на пол, когда полз; скрип крючьев и веревок, вытягивавшихся под тяжестью трупов; даже воздух, разъедавший небо соленым привкусом крови. Он угодил в жилище смерти, на всей скорости мчавшееся сквозь тьму.

Но тошноты уже не было. Остались только редкие приступы головокружения. Неожиданно он поймал себя на том, что с некоторым любопытством разглядывал тела.

Ближе всего были останки того прыщеватого подростка, которого он встретил в первом вагоне. Его труп, подвешенный за ноги, при каждом повороте поезда раскачивался в такт с тремя другими, видневшимися поодаль: омерзительный танец смерти. Руки мертвецов болтались, как плети: под мышками были сделаны глубокие надрезы, чтобы тела висели ровнее.

Все анатомические части подростка гипнотически колыхались. Язык, вывалившийся из открытого рта. Голова, подергивавшаяся на неестественно длинной шее. Даже пенис, перекатывавшийся из стороны в сторону по выбритому лону. Из большой раны в затылке кровь капала в черное пластиковое ведро, предусмотрительно подставленное снизу. Во всем этом было нечто от элегантности: печать хорошо выполненной работы.

Немного дальше висели трупы двух белых женщин и одного темнокожего мужчины. Кауфман наклонил голову, чтобы разглядеть их лица. Они были полностью обескровлены. Одна из девушек еще недавно была настоящей красавицей. Мужчина показался ему пуэрториканцем. Все головы и тела были тщательно острижены. Волосы лежали в отдельном пластиковом пакете. Кауфман отодвинулся от стены, и как раз в этот момент тело женщины повернулось к нему спиной.

Он не был готов к такому ужасу.

Ее спина была разрезана от шеи до ягодиц; в рассеченных мускулах сверкала белая кость позвоночника. Это был отточенный штрих Мастера, финальное торжество его искусства.

О, жалкие человеческие останки, безволосые, истекшие кровью, распоротые, как рыбы, предназначенные для не менее жуткого пожирания.

Кауфман почти рассмеялся над законченностью своего ужаса. Он чувствовал, как им овладевало безумие, сулившее помутненному рассудку забвение и полное безразличие к окружающему миру.

Он чувствовал, как стучали его зубы; как тряслось все тело. Он знал, что его голосовые связки пытались издать какое-то подобие крика. Ощущение было невыносимым: только способность кричать еще отличала его от того, что находилось перед ним, и она могла в несколько секунд превратить его в такую же окровавленную, неодушевленную массу.

— Фак ю, — сказал он громче, чем намеревался.

Затем плечом оттолкнулся от стены и пошел по вагону, разглядывая аккуратные стопки одежды на сидениях. Слева и справа мерно раскачивались трупы. Пол был липким от высыхающей желчи. И даже сквозь прищуренные веки он слишком отчетливо видел кровь в пластиковых ведрах: она была черной и густой, с тяжело колебавшимися световыми бликами.

Он миновал тело подростка. Впереди была дверь в третий вагон. Путь к ней пролегал между двумя рядами воплощенных кошмаров его вчерашней и позавчерашней жизни. Он старался не замечать их, сосредоточившись на дороге, которая должна была вывести его из этого невменяемого состояния.

Он прошел мимо первой женщины. Он знал, что ему нужно было пройти всего лишь несколько ярдов; не больше десяти шагов, если ничего не случится.

Затем погас свет.

— О, Боже, — простонал он.

Поезд качнуло, и Кауфман потерял равновесие.

В кромешной тьме он взмахнул руками и ухватился за висевшее рядом тело. Ладони ощутили холодную и скользкую плоть, пальцы погрузились в рассеченные мышцы на спине женщины, ногти вцепились в столб позвоночника, царапая его, как громадную рыбью кость. Щека вплотную прижалась к липкой поверхности бедра.

Он закричал; его крик еще не затих, когда начали вновь зажигаться лампы на потолке.

Неоновые трубы еще мигали, не успев разгореться своим ровным мертвенным свечением, когда из первого вагона послышались шаги Палача.

Его руки выпустили тело, за которое держались. Лицо было вымазано еще не свернувшейся трупной кровью. Он ощутил ее у себя на щеке: как воинственную раскраску индейца.

Крик привел его в чувство — и неожиданно придал силы. Он понял, что бегство не спасло бы его: в этом поезде он не скрылся бы от преследования. Предстояла примитивная схватка двух человек, встретившихся лицом к лицу в логовище смерти. И он был готов не раздумывая воспользоваться любым средством, которое помогло бы ему уничтожить противника. Это был вопрос выживания, простой и ясный.

Дверная ручка начала поворачиваться.

Кауфман быстро огляделся в поисках какого-нибудь оружия. Мозг лихорадочно, но четко просчитывал возможные варианты обороны. Внезапно взгляд упал на аккуратную стопку одежды возле тела пуэрториканца. На ней лежал нож с рукояткой, инкрустированной под золото. Длинное, безукоризненно чистое лезвие. Почти кинжал; вероятно, гордость бывшего владельца. Шагнув вперед, Кауфман подобрал нож с сиденья. С оружием в руке, он почувствовал себя увереннее; пожалуй, даже — веселее.

Дверь стала отворяться. Показалось лицо убийцы.

Их разделяли два ряда раскачивавшихся трупов. Кауфман пристально посмотрел на Махогани. Тот не был чересчур безобразен или ужасен с виду. Всего лишь лысеющий, грузный мужчина лет пятидесяти. Тяжелая голова с глубоко посаженными глазами. Небольшой рот с изящной линией губ. Совершенно неуместная деталь: у него был женственный рот.

Махогани не мог понять, откуда во втором вагоне появился незваный гость, но осознавал, что допустил еще один просчет, еще одну промашку, свидетельствующую об утере былой квалификации. Он должен был немедленно распотрошить этого маленького человечка. Как-никак, до конца линии осталось не более одной-двух миль. Новую жертву предстояло разделать и повесить за ноги прежде, чем они прибудут к месту назначения.

Он вошел во второй вагон.

— Ты спал, — узнав Кауфмана, сказал он. — Я видел тебя.

Кауфман промолчал.

— Тебе следовало бы сойти с этого поезда. Что ты здесь делал? Прятался от меня?

Кауфман продолжал молчать.

Махогани взялся за рукоятку большого разделочного ножа, торчавшего у него за поясом. Из кармана фартука высовывались молоток и садовая пила. Все инструменты были перепачканы кровью.

— Раз так, — добавил он, — мне придется покончить с тобой.

Кауфман поднял правую руку. Его нож выглядел игрушкой по сравнению с оружием Палача.

— Фак ю, — сказал он.

Махогани ухмыльнулся. Попытка сопротивления казалась ему просто смешной.

— Ты не должен был ничего видеть. Это не для таких, как ты, — проговорил он, шагнув навстречу Кауфману. — Это тайна.

В голове Кауфмана промелькнули отрывочные воспоминания о варварских жертвоприношениях, о которых он читал еще в школе. Они кое-что объясняли.

— Фак ю, — снова сказал он.

Палач нахмурился. Ему не нравилось подобное безразличие к его работе и репутации.

— Все мы когда-нибудь умрем, — негромко произнес он. — Тебе повезло больше, чем другим. Ты не сгоришь в крематории, как многие из них: я могу использовать тебя, чтобы накормить твоих праотцев.

Кауфман усмехнулся в ответ. Он уже не испытывал суеверного ужаса перед этим тучным, неповоротливым мясником.

Палач вытащил из-за пояса нож и взмахнул им.

— Маленькие грязные евреи вроде тебя, — сказал он, — должны быть благодарны, если от них есть хоть какая-то польза. Ты пригоден только на мясо!

Бросок был сделан без предупреждения. Широкое лезвие стремительно рассекло воздух, но Кауфман успел отступить назад. Оружие Палача распороло рукав его пиджака и с размаху погрузилось в голень пуэрториканца. Под весом

тела глубокий надрез стал расползаться. Открывшаяся плоть была похожа на свежий бифштекс: сочный и аппетитный.

Палач начал вытаскивать свое орудие из ноги трупа, и в этот момент Кауфман кинулся вперед. Он метил в глаз Махогани, но промахнулся и попал в горло. Острое ножа насквозь пронзило шейный позвонок и узким клином вышло с той стороны шеи. Насквозь. Одним ударом. Прямо насквозь.

У Махогани появилось такое ощущение, будто он чем-то подавился — будто у него в горле застряла куриная кость. Он издал нелепый, нерешительный, кашляющий звук. На губах выступила кровь — окрасившая их, как помада у женщины, пользующейся слишком яркой косметикой. Тяжелый нож со звоном упал на пол.

Кауфман отдернул руку. Из двух ран заструилась кровь.

Удивленно опершись на оружие, которое убило его, Махогани опустился на колени. Маленький человечек безучастно смотрел на него. Он что-то говорил, но Махогани был глух к словам: будто находился под водой.

Внезапно Махогани ослеп. И, сnostальгией по утраченным чувствам, понял, что уже никогда не будет слышать или видеть. Это была смерть: она обхватывала его со всех сторон.

Его руки еще ощущали горячий и влажный воротник сорочки. Его жизнь еще колебалась, привстав на цыпочки перед черной бездной, пока пальцы еще цеплялись за это последнее чувство... затем тело тяжело рухнуло на пол, подмяв под себя его руки, священный долг и все, что казалось таким важным.

Палач был мертв.

Кауфман глотнул спретого воздуха и, чтобы удержаться на ногах, ухватился за поручень. Его колотила дрожь. Из глаз хлынули слезы. Они текли по щекам и подбородку и капали в лужу крови на полу. Прошло какое-то время: он не знал, как долгоостоял, погруженный в апатию своей победы.

Затем поезд начал тормозить. Он почувствовал и услышал, как по составу прокатилось лязганье сцеплений. Висящие тела качнулись вперед, колеса прерывисто заскрежетали по залитым слизью рельсам.

Кауфманом завладело смутное любопытство.

Свернет ли поезд в какое-нибудь подземное убежище, украшенное коллекцией мяса, которое Палач собрал за свою

карьеру? А этот смешливый машинист, такой безразличный к сегодняшней бойне, — что он будет делать, когда поезд остановится? Но что бы ни случилось, вопросы были чисто риторическими. Ответы на них должны были появиться с минуты на минуту.

Щелкнули динамики. Голос машиниста:

— Дружище, мы приехали. Не желаешь занять свое место, а?

Занять свое место? Что бы это значило?

Состав сбавил ход до скорости черепахи. За окнами было по-прежнему темно. Лампы в вагоне замигали и погасли. И уже не зажигались.

Кауфман очутился в кромешной тьме.

— Поезд тронется через полчаса, — объявили динамики, точно на какой-нибудь обычной линии.

Состав двигался только по инерции. Стук колес на стыках, к которому так привык Кауфман, внезапно исчез. Теперь он не слышал ничего, кроме гула в динамиках. И ничего не видел.

Затем — шипение. Очевидно, открывались двери. Вагон заполнялся каким-то запахом: таким едким, что Кауфман зажал ладонью нижнюю часть лица.

Ему показалось, что оностоял так целую вечность — молча, держа рот рукой. Боясь что-то увидеть. Боясь что-нибудь услышать. Боясь что-нибудь сказать.

Затем за окнами замелькали блики каких-то огней. Они высветили контуры дверей. Они становились все ярче. Вскоре света было уже достаточно, чтобы Кауфман мог различить тело Палача, распростертное у его ног, и желтоватые бока трупов, висевших слева и справа.

Из гулкой темноты донесся какой-то слабый шорох, невнятные чавкающие звуки, похожие на шелест ночных бабочек. Из глубины туннеля к поезду приближались какие-то человеческие существа. Теперь Кауфман мог видеть их силуэты. Некоторые из них несли факелы, горевшие мутным коричневым светом. Шуршание, вероятно, издавали их ноги, ступавшие по слою ила; или, может быть, их причмокивающие языки; а может, то и другое.

Кауфман был уже не так наивен, как час назад. Можно ли было сомневаться в намерениях этих существ, вышедших из подземной мглы и направлявшихся к поезду? Палач

сабвея убивал мужчин и женщин, заготавливая мясо для этих каннибалов; и они приходили сюда, как на звон колокольчика в руке камердинера, чтобы пообедать в вагоне-ресторане.

Кауфман нагнулся и поднял нож, который выронил Палач. Невнятный шум становился громче с каждой секундой. Он отступил подальше от открытых дверей — обнаружил, что противоположные двери тоже были открыты и за ними тоже слышался приближающийся шорох.

Он отпрянул. Он уже собирался укрыться под одним из сидений, когда в проеме ближней двери показалась рука — такая худая и хрупкая, что она выглядела почти прозрачной.

Он не мог отвести взгляда. Но его охватил не ужас, как у окна. Им снова завладело любопытство.

Существо влезло в вагон. Факелы, горевшие сзади, отбрасывали тень на его лицо, но очертания фигуры отчетливо вырисовывались в дверном проеме.

В них не было ничего примечательного.

Оно было таким же двуруким, как и он сам. Голова была обычной формы, тело — довольно хилым. Забравшись в поезд, оно хрюпло переводило дыхание. В его одышке сказывалась скорее врожденная немощь, чем минутная усталость; поколения людоедов не наделили его физической выносливостью. Пожалуй, в нем было что-то изначально старческое.

Сзади из темноты поднимались силуэты таких же существ. Больше того — они карабкались во все двери.

Кауфман очутился в ловушке. Взвесив в руке нож, примерившись к его центру тяжести, он приготовился к схватке с этими дряхлыми чудовищами. Одно из них принесло с собой факел, и лица остальных озарились неровным светом.

Они были абсолютно лысыми. Их иссущенная плоть обтягивала черепа так плотно, что, казалось, просвечивала насквозь. Кожу покрывали лишай и струпья, а местами из черных гнойников выглядывала лобная или височная кость. Некоторые из них были голыми как дети, — с сифилитическими, почти бесполыми телами. Болтались сморщеные гениталии.

Еще худшее зрелище, чем обнаженные, представляли те, кто носил покровы одежды. Кауфману не пришлось напря-

гать воображение, чтобы догадаться, из чего были сделаны полуистлевшие рваные лоскуты, наброшенные на плечи и повязанные вокруг их животов. Напяленные не по одному, а целыми дюжинами или даже больше, как некие патетические трофеи.

Предводители этого гротескного факельного шествия уже достигли висящих тел и с видимым наслаждением поглаживали своими тонкими пальцами их выбритую плоть. В разинутых ртах плясали языки, брызгавшие слюной на человеческое мясо. Глаза метались из стороны в сторону, обезумев от голода и возбуждения.

Внезапно один из монстров заметил Кауфмана.

Его глаза перестали бегать и неподвижно уставились на незнакомца. На лице появилось вопросительное выражение, сменившееся какой-то пародией на замешательство.

— Ты, — пораженно протянул он.

Возглас был таким же тонким, как и губы, издавшие его.

Мысленно прикидывая свои шансы, Кауфман поднял руку с ножом. В вагоне было десятка три чудовищ — гораздо больше находилось снаружи. Однако они выглядели совсем слабыми, и у них не было никакого оружия — только кожа да кости.

Оправившись от изумления, существо заговорило снова. В правильных модуляциях его голоса зазвучали нотки некогда обаятельного и культурного человека:

— Ты приехал с остальными, да?

Оно опустило взгляд и увидело тело Махогани. Ему понадобилось не больше двух-трех секунд, чтобы уяснить ситуацию.

— Ладно. Слишком старый, — объявило оно и, подняв водянистые глаза на Кауфмана, принялось осторожно изучать его.

— Фак ю, — сказал Кауфман.

Существо попыталось улыбнуться. Забытая техника этого мимического упражнения проявилась в гримасе, оскалившей два ряда острых зубов.

— Теперь ты должен будешь делать это для нас, — проговорило оно, и его ухмылка стала плотоядной. — Мы не можем жить без мяса.

Его рука похлопала одно из человеческих тел. Кауфман не знал, что ответить. Он с отвращением следил за пальцами

монстра, скользнувшими в щель между ягодиц и ощупывавшими выпуклую мякоть.

— Оно нам так же отвратительно, как и тебе, — добавило чудовище. — Но мы обязаны есть это мясо. Чтобы не умереть. Господь знает, что оно не вызывает у меня аппетита.

Все-таки у монстра было какое-то чувство юмора.

К Кауфману вернулся дар речи. Он удивленно вслушался в собственный голос — в нем было больше смятения, чем страха.

— Кто вы? — Он вспомнил бородача из кафе. — Что с вами произошло? Какой-нибудь несчастный случай?

— Мы — отцы Города, — сказало существо, — и матери, и дочери, и сыновья. Строители, творцы законов. Мы создали этот город.

— Нью-Йорк? — спросил Кауфман, вспомнив Дворец Восторгов.

— Задолго до твоего рождения, до рождения всех живущих.

Продолжая разговаривать, оно засунуло пальцы в рану висящего тела и начало ногтями раздирать жировую ткань под его обритой поверхностью. За спиной Кауфмана послышались восторженные возгласы и звон крючьев, освобождаемых от трупов. Там тоже снимали кожу — с таким же деловитым возбуждением, с каким на скотобойне освежевывают туши телят.

— Ты принесешь нам больше, — сказал отец Города. — Больше мяса. Предыдущий был слишком слаб.

Не веря своим ушам, Кауфман уставился на него.

— Я? — наконец выговорил он. — Кормить вас? За кого ты меня принимаешь?

Хрупкая рука протянулась в сторону окна.

Последовав за этим указующим жестом, взгляд Кауфмана вонзился во мрак. Совсем рядом с поездом находилось нечто такое, чего он до сих пор не видел: гораздо большее, чем что-либо человеческое.

Существа расступились, чтобы Кауфман мог подойти и рассмотреть поближе то, что было снаружи. Однако его ноги не двигались с места.

— Иди, — сказал отец.

Кауфман подумал о городе, который любил. В самом деле они были его старейшинами, его философами и создателями?

Ему верилось в это. Возможно, там, на поверхности, преспокойно жили люди — бюрократы, политики, представители всех видов власти, — которые знали эту страшную тайну и все время поддерживали существование этих чудовищных тварей; кормили их, как дикари выкармливают ягнятами своих богов. Так ужасающее отлажен был начинавшийся ритуал. Он, словно удар колокола, изнутри потряс Кауфмана. Он отзывался не в сознании, а в более глубокой, более древней его части: в его *существе*.

Его ноги, больше не подчинявшиеся рассудку и повиновавшиеся только инстинкту поклонения, сделали шаг вперед. Он прошел сквозь коридор тел и вышел из вагона.

Зыбкие огни факелов едва освещали мглу, простирающуюся снаружи. Воздух казался почти окаменелым; таким крепким и застоявшимся был смрад первобытной тверди. Но Кауфман не чувствовал запахов. Он нагнулся голову — только так он мог бороться с новым приближающимся обмороком.

Вот где он был: предшественник человека. Самый первый американец, чей дом находился здесь задолго до Алgonкинов или Шауни. Его глаза — если у него были глаза — смотрели на Кауфмана.

У Кауфмана затряслось тело; мелкой дробью застучали зубы.

Он различил звуки, доносящиеся из утробы этого исполнинского чудища: пыхтение, хруст.

Оно пошевелилось в темноте.

Даже шум его движения был способен вызвать благоговейный страх. Точно гора — вспутилась и осела.

Внезапно подбородок Кауфмана задрался кверху, а сам он, не раздумывая о том, что и для чего делает, повалился на колени, в липкую жижу перед Прапорителем Отцов.

Вся его прожитая жизнь вела к этому дню. Все бесчисленные мгновения складывались в ней для этого момента священного ужаса — ужаса, который полностью подавил его.

Если бы в этой доисторической пещере было достаточно света, чтобы полностью разглядеть увиденное, то его трепещущее сердце, вероятно, разорвалось бы на части. Он чувствовал, как надсадно гудели мышцы у него в груди.

Оно было громадно. Без головы и конечностей. Без каких-либо черт, сравнимых с человеческими, без единого органа, назначение которого можно было бы определить. Оно

было похоже на все, что угодно, и напоминало стаю рыб. Тысячу больших и малых рыб, сгрудившихся в один общий организм: ритмично сокращавшихся, жевавших, чавкавших. Оно переливалось множеством красок, цвет которых был глубже, чем любой из знакомых Кауфману.

Все, что видел Кауфман, и было больше того, что он хотел видеть. И еще больше оставалось скрытым в темноте: колыхавшимся и вздрагивавшим в ней.

Не в силах смотреть, Кауфман отвернулся. И краем глаза заметил, что из поезда вылетел футбольный мяч, шлепнувшийся в лужу перед Праородителем.

Он думал, что это был футбольный мяч, пока не взгляделся и не узнал в нем человеческую голову. Голову Палача. С его лица были содраны широкие лоскуты. Блестя от крови, голова замерла возле Повелителя.

Кауфман отвел взгляд и пошел обратно в вагон. Все его тело содрогалось, как от рыданий, и только глаза не могли оплакать прошлую жизнь. Слишком много испепеляющей ярости оставалось у него за спиной — она иссушила все его слезы.

Внутри уже началось пиршество. Одно существо склонилось над трупом женщины и выковыривало нежную студенистую мякоть из глазницы. Другое засунуло руку в ее рот. У двери лежало обезглавленное тело Палача; из обрубленной шеи все еще струилась кровь.

Перед Кауфманом стоял тот низкорослый отец Города, который недавно говорил с ним.

— Будешь служить нам? — спросил он с такой кротостью, с какой можно попросить корову пойти за человеком.

Кауфман уставился на тяжелый нож Палача, символ его службы. Существа покидали поезд, волоча за собой полуусыпанные тела. Когда унесли факелы, вагон снова стал погружаться во мрак.

Перед тем как огни полностью исчезли в темноте, отец шагнул вперед и, обхватив ладонью голову Кауфмана, повернул его лицо к грязному стеклу вагонного окна.

Отражение было мутным, но Кауфман мог различить, насколько он изменился внешне. Мертвенно бледный, заляпанный гримом крови.

Рука существа еще не выпускала лица Кауфмана, а ее пальцы уже проникли в его рот, залезая все дальше в горло

и царапая ногтями горталь. Кауфмана тошило, но у него не было воли противиться этому вторжению.

— Служи, — сказало существо. — Молча.

Слишком поздно Кауфман осознал намерение этих пальцев.

Внезапно его язык был крепко сжат, повернут вокруг корня. Оцепенев, Кауфман выронил нож. Он силился закричать, но не сумел издать ни звука. В его горле бурлила кровь, он слышал, как чужие когти раздирали его плоть — и окаменел от боли.

Затем рука вылезла наружу и застыла перед его лицом, держа большим и указательным пальцами его багровый, покрытый пеной язык.

Кауфман навсегда утратил способность говорить.

— Служи, — повторил отец и, отправив его язык себе в рот, с явным удовольствием начал жевать.

Кауфман упал на колени, изрыгая потоки крови и остатки сэндвича.

Отец заковылял прочь, в темноту; остальные старцы уже исчезли в своей пещере, чтобы остаться в ней до следующей ночи.

Щелкнули динамики.

— Возвращаемся, — возвестил машинист.

С шипением захлопнулись двери, загудели электродвигатели. Лампы замигали, погасли и снова зажглись.

Поезд тронулся.

Кауфман лежал без движения, а по его лицу текли слезы — слезы покорности и смирения. Он решил, что истечет кровью и умрет на этом липком полу. Смерть его не пугала. Этот мир был отвратителен.

Его разбудил машинист. Он открыл глаза. Над ним склонилось черное негритянское лицо. Оно дружелюбно улыбалось. Кауфман хотел что-то сказать, но его рот был залеплен спекшейся кровью. Он замотал головой, как слюнявый дегенерат, старающийся произнести какое-нибудь слово. У него не выходило ничего, кроме мычания и хрюканья.

Он не умер. Он не истек кровью.

Машинист усадил его к себе на колени, обращаясь и разговаривая с ним так, будто он был трехлетним ребенком:

— У тебя будет важная работа, дружище: они очень довольны тобой.

Он облизал свои пальцы и прикоснулся к опухшим губам Кауфмана, пробуя разлепить их:

— До ночи нужно многому научиться...

Многому научиться. Многому научиться.

Он вывел Кауфмана из поезда. Они находились на станции, подобной которой тот еще никогда не видел. Платформу окружала первозданная белизна кафеля: безукоризненная нирвана станционных служителей. Стены не были обезображенны корявыми росписями. Не было сломанных турникетов; но не было и эскалаторов или лестниц. У этой линии было только одно назначение: обслуживать Полночный Поезд с Мясом.

Рабочие утренней смены уже смывали кровь с сидений и пола поезда. Двое или трое уже снимали одежду с тела Палача, готовя его к отправке в Нью-Йорк. Все люди были заняты работой.

Сквозь решетку в потолке струился мутный поток утреннего света. В нем клубились мириады пылинок. Они падали и снова взвивались, как будто старались взобраться вверх, против светового напора. Кауфман восторженно следил за их дружными усилиями. Такие чудесные зрелища ему встречались только в раннем детстве. Волшебные пылинки. Вверх и вниз, вверх и вниз.

Наконец машинисту удалось разлепить его губы. Изувеченный и онемевший рот еще не двигался, но, по крайней мере, уже можно было вздохнуть полной грудью. И боль уже начала утихать.

Машинист улыбнулся ему, а потом повернулся к работавшим на станции.

— Хочу представить вам преемника Махогани. Он наш новый Мясник, — объявил он.

Рабочие посмотрели на Кауфмана. Их лица выразили несомненное почтение, которое он нашел довольно трогательным.

Кауфман поднял глаза на потолок, где квадрат света становился все ярче. Мотнув головой, он показал, что хочет выйти наверх, на свежий воздух. Машинист молча кивнул и повел его через небольшую дверь, а потом по узкой лестнице, выходящей на тротуар.

Начинался хороший, погожий день. Голубое небо над Нью-Йорком было подернуто тающей пеленой бледно-розовых облаков. Отовсюду веяло запахом утра.

Улицы и авеню были почти совсем пустыми. Вдали через перекресток проехал автомобиль, едва проурчавший двигателем и сразу скрывшийся за поворотом; по противоположной стороне дороги трусцой пробежал пожилой мужчина в спортивном костюме.

Очень скоро эти безлюдные тротуары должны были заполниться толпами народа. Город продолжал жить в неведении: не подозревая о том, на чем был построен и кому обязан своим существованием. Без малейшего колебания Кауфман встал на колени и окровавленными губами поцеловал грязный бетон. Он давал клятву верности этому вечному творению.

Дворец Восторгов снисходительно принял его поклонение.

ЙЕТТЕРИНГ И ДЖЕК





A H Mup-408 94



ачем высшие силы (такие занятые, такие утомленные возней с обреченными на вечное проклятие) подослали его к Джеку Поло, этого Йеттеринг никак не мог выведать. Всякий раз, когда он пробовал навести справки и через все инстанции обращался к хозяину с простым вопросом: «Что я здесь делаю?», его сразу же упрекали в излишнем любопытстве. «Не твое дело, — отвечали ему, — твое дело — выполнить порученное». Выполнить или умереть. И после шести месяцев охоты на Джека самоликвидация стала казаться ему не самым худшим из возможных исходов. Эта нескончаемая игра в прятки никому не шла на пользу, а Йеттерингу уже давно истрепала все нервы. Он боялся язвы, боялся психосоматической проказы (болезнь, к которой предрасположены низшие демоны), но больше всего опасался, что однажды потеряет остатки терпения и убьет человека, приводившего его в такое отчаяние.

Кем же был Джек Поло?

Импортером корнишонов. Во имя всех назиданий Левита, он был самым заурядным импортером корнишонов! Его жизнь была серой, семья — подлой и обыкновенной, у него не было ни устойчивых политических взглядов, ни каких-либо религиозных убеждений. Человеком он был совершенно ничтожным, одним из безликого множества. К чему же стараться из-за таких? Он не был доктором Фаустом: творцом договоров, торговцем собственной душой. Если бы ему представился случай заключить сделку с самим Сатаной, он бы хмыкнул, пожал плечами и вернулся к импорту корнишонов.

И вот Йеттеринг был обязан находиться в его доме до тех пор, пока не превратил бы своего подопечного в лунатика или нечто подобное. Такая работа обещала быть долгой, если не бесконечной. О да, бывали времена, когда даже психосоматическая проказа была бы спасительна, если бы освободила его от этого невыполнимого задания.

Со своей стороны Джек Джей Поло продолжал сохранять исключительное неведение относительно того, что творилось вокруг. Он всегда был таким: его прошлое было усеяно жертвами его наивности. О том, что его несчастная бывшая жена наставляла ему рога (по крайней мере два раза он сам присутствовал в доме, сидя перед телевизором), он узнал в последнюю очередь. А сколько улик они оставляли после себя! Слепой, глухой, слабоумный — и тот заподозрил бы неладное. Слепой, глухой, слабоумный — но не Джек. Он был занят скучными перипетиями своего бизнеса и не замечал ни запаха чужого мужского одеколона, ни поразительной регулярности, с которой его жена меняла постельное белье.

Не проявил он особого интереса к семейным делам и тогда, когда его младшая дочь Аманда призналась ему в своих лесбийских наклонностях.

— Ну, до тех пор, пока тебе не грозит беременность... — смущенно пробормотал он и, отведя взгляд, продефирировал в сад обрабатывать розовые кусты.

Разве можно было привести в ярость такого человека?

Для существа, обученного бередить раны людских душ, Поло представлял абсолютно ровную, неуязвимую поверхность, сравнимую разве что с гладью ледника на скалистой твердыне.

Казалось, ни одно событие не могло поколебать его полного безразличия к окружающему миру. Жизненные неурядицы и катастрофы не задевали ни его чувств, ни мыслей. Когда, наконец, ему пришлось узнать правду о неверности супруги (он застал их плескавшимися в ванной), у него отнюдь не потемнело в глазах.

— Что ж, бывает и такое, — сказал он себе, выходя из ванной комнаты, чтобы не мешать им закончить начатое.

— Ке сера, sera*.

* Che sera, sera (лат.) — будь, что будет. (Прим. пер.)

Ке сера, сера. Эту проклятую фразу он произносил с монотоннейшей регулярностью. Создавалось впечатление, будто философия фатализма помогала ему не замечать унижений, со всех сторон сыпавшихся на него — сыпавшихся и отскакивавших, как капли дождя от его лысины.

Йеттеринг сам слышал, как жена Джека во всем призналась своему мужу (невидимый для обоих супругов, он висел вниз головой на люстре). Разыгравшаяся сцена заставляла его морщиться, как от боли. Несчастная блудница умоляла обвинить ее, наказать, даже ударить, а Джек Поло, вместо того чтобы утолить жажду возмездия, только пожимал плечами и, ни разу не перебив оступившуюся спутницу жизни, дал ей говорить до тех пор, пока у нее было, что сказать. В конце концов она тихо вышла из комнаты — больше расстроенная, чем пристыженная; Йеттеринг слышал, как она плакала в ванной, жалуясь зеркалу на оскорбительное отсутствие гнева у некоторых людей. Вскоре она выбросилась с балкона в Рокси Синема.

Ее самоубийство в каком-то смысле могло послужить тому, что ей не удалось при жизни. Оставшись без жены и без дочерей (те сразу ушли из дома), Джек должен был испытать на себе самые изощренные уловки Йеттеринга, которому теперь не нужно было скрывать свое присутствие от существ, не обозначенных высшими иерархами как объекты нападения.

Правда, опустевший дом уже через несколько дней стал навевать невыносимую скуку на Йеттеринга. Время с девяти до пяти часов часто казалось ему целой вечностью. Он бродил взад и вперед, измерял шагами комнаты и замышлял новые козни против Поло, сопровождаемый только потрескиванием остывших радиаторов или щелканьем и гудением включающегося и выключающегося холодильника. Положение быстро стало таким отчаянным, что он начал ждать дневной почты как кульминации всего дня и погружался в глубокую меланхолию, когда почтальон, не имея ничего для Джека, проходил мимо.

Оживлялся он лишь с возвращением Поло. В качестве затравки для игры у него всегда был припасен старый прием: он встречал Джека у двери и не давал ему повернуть ключ в замке. Борьба, как правило, продолжалась минуту или две, пока Джек не выяснял меру сопротивления Йеттеринга и не

одерживал победу. После чего в доме начинали раскачиваться все люстры. Впрочем, рассеянный домовладелец редко обращал внимание на их исступленную пляску. В лучшем случае он пожимал плечами и бормотал:

— Верно, фундамент оседает...

И, вздохнув, ронял неизменное:

— Ке сера, сера.

В ванной комнате Йеттеринг обычно выдавливал зубную пасту на сиденье унитаза и обматывал туалетной бумагой водопроводные краны. Он даже принимал душ вместе с Джеком, незримо свисая с никелиированной трубы и нашептывая ему на ухо различные неприличные предложения. Это всегда приносило нужный результат, так учили демонов в академии. Непристойности, навязчиво звучавшие в ушах, неминуемо выводили клиентов из состояния душевного равновесия, заставляли их заподозрить себя в пагубных пристрастиях, вызывали сначала отвращение к себе, затем самонеприятие и, наконец, помешательство. Конечно, иные через склер восприимчивые натуры после таких нашептываний выбегали на улицу и принимались рьяно исполнять то, что считали велением внутреннего голоса. В этом случае жертву чаще всего арестовывала полиция. Тюрьма приводила к новым преступлениям, а постепенное расшатывание моральных устоев — опять-таки к победе. Так или иначе, сумасшествие им было обеспечено.

Исключая Поло, который почему-то не подходил под эту закономерность: он был непоколебим — незыблемый столп благочестия.

Пожалуй, дело шло к тому, что надломиться должен был Йеттеринг. Он устал, очень устал. Эти бесчисленные дни, которые он коротал, то мучая кота, то читая всякую чушь во вчерашних газетах, то сидя перед телевизором, — они иссушали его ярость. С недавних пор у него даже появилась страсть к женщине, жившей через дорогу от Поло. Она была молодой вдовой и, казалось, наибольшую часть жизнитратила на то, чтобы обнаженной фланировать по своим апартаментам. Порой это становилось просто невыносимо — в середине дня, когда почтальон снова проходил мимо, наблюдать за той женщиной и знать, что он никогда не сможет переступить порог дома, принадлежавшего Джеку Поло.

Таков был Закон. Йеттеринг относился к числу низших демонов, чья охота за душами ограничивалась периметром жилища его жертвы. Сделав всего один шаг наружу, он оказался бы во власти хозяина дома; он был бы вынужден сдаться на милость человеческого существа.

Весь июнь, июль и август он трудился, как каторжник, заточенный в самой надежной из тюрем, и все эти месяцы Поло сохранял полнейшее безразличие к его стараниям.

Йеттеринг был сбит с толку. Он терял веру в собственные силы. Ему было больно видеть, как его плешивая добыча ускользала из всех ловушек, стоявших такого труда и терпения.

Йеттеринг плакал.

Йеттеринг кричал.

От отчаяния и обиды он вскипятил воду в аквариуме, заживо сварив в нем десяток гуппи и одну золотую рыбку.

Поло ничего не видел и ничего не слышал.

Наконец, в середине сентября, Йеттеринг не выдержал и, нарушил одну из первых заповедей демона, представив прямо перед своими хозяевами.

Осень — время года, специально созданное для Преисподней: демоны высших рангов были настроены благодушно. Они милостиво согласились выслушать своего посланца.

— Ну, чего тебе? — спросил Вельзевул и при звуке его голоса в резиденции потемнел воздух.

— Этот человек... — нерешительно начал Йеттеринг.

— Ну?

— Поло...

— Ну?

— Я ничего не могу с ним поделать. Мне не удается запугать его, не удается заставить запаниковать или даже просто встревожиться. Повелитель Мух, я оказался бессилен и желаю избавиться от моих страданий.

Лицо Вельзевула ненадолго показалось в зеркале над камином.

— Желаешь — чего?

Внешне Вельзевул напоминал что-то среднее между словом и осой. Йеттеринг задрожал.

— Желаю — умереть.

— Ты не можешь умереть.

— Только для этого мира. Пожалуйста. Только перейти в другое измерение.

— Ты не умеешь.

— Но я не могу сломить его, — простонал Йеттеринг.

— Ты должен сломить его.

— Почему?

— Потому что так мы тебе велели, — Вельзевул всегда употреблял королевское «мы», хотя не имел на это никакого права.

— Мне нужно хотя бы знать, зачем меня послали в его дом, — взмолился Йеттеринг. — Кто он? Никто! Он ничтожество!

Его отчаяние показалось Вельзевулу забавным. Он трубно расхохотался.

— Джек Джей Поло — сын прихожанина Церкви Утраченного Спасения. Он принадлежит нам.

— Но зачем он Вам? Он так глуп!

— Его душа была обещана нам, но его мать не передала ее нам. Так же, как и свою. Ей удалось провести нас. Она умерла на руках священника и благополучно попала на...

Последовавшее слово было анафемой. Повелитель Мух с трудом заставил себя выговорить его.

— ...на небо, — бесконечно печальным голосом докончил Вельзевул.

— На небо, — повторил за ним Йеттеринг, тщетно пытаясь вникнуть в значение сказанного.

— Поло должен быть доставлен сюда по воле своего отца. Кроме того, он должен понести наказание за преступок его матери. Никакие мучения не достаточны для семьи, обманувшей нас.

— Я устал, — умоляюще произнес Йеттеринг и осмелился приблизиться к камину. — Пожалуйста. Прошу Вас.

— Передай нам этого человека, — сказал Вельзевул, — или окажешься на месте, которое предназначено для него.

Изображение в зеркале взмахнуло черно-желтым хоботом и начало таять.

— Где твоя гордость? — донесся до него голос хозяина, когда того уже не было видно. — Гордость, Йеттеринг, гордость!

Йеттеринг вернулся в ненавистный ему дом.

От расстройства он схватил кота и швырнул в огонь, где тот был немедленно кремирован. «О, как бы все было просто, если бы точно так же можно было поступить с человеческой плотью», — подумалось ему. Если бы. Если бы. Тогда он заставил бы Поло испытать адские мучения, не покидая этого света. Но Йеттеринг знал законы: недаром столько лет их вдалбливали в него. А Первый Закон гласил: «Не смей прикасаться к своей жертве».

В Академии учителя не объясняли — почему. Просто заставляли повторять за ними, и все.

«Не смей прикасаться...»

И он не смел. И поэтому страдал так же, как и прежде. Проходили дни, а человек не проявлял ни малейших признаков капитуляции. В течение последующих нескольких недель Йеттеринг убил еще двух котов, которых Поло принес на смену своему бесценному Фредди (испепеленному и удобряющему почву под яблоней).

Вторая из этих несчастных жертв однажды оказалась утопленной в унитазе. Было приятно видеть выражение лица Поло, когда он расстегнул ширинку и взглянул вниз. Однако удовольствие от его замешательства было полностью уничтожено тем сосредоточенным и умиротворенным видом, с которым он вытащил из толчка комок мокрого меха, завернув его в полотенце и, не произнеся ни слова, похоронил в саду.

Третий принесенный Джеком кот был настолько умен, что с самого начала учゅял незримое присутствие демона. Тогда, в середине ноября, Йеттеринг на одну неделю даже ощутил некоторый интерес к жизни, играя в кошки-мышки с Фредди Третьим. Фред был мышкой. Правда, коты не относятся к числу особенно храбрых животных, и их игру едва ли можно было назвать великим интеллектуальным развлечением, но, во всяком случае, его появление стало хоть какой-то переменой в унылой череде надежд и разочарований. В конце концов это существо смирилось с присутствием Йеттеринга. Тем не менее, однажды, когда Йеттеринг снова пребывал в скверном настроении (по причине вторичного замужества обнаженной вдовы), оно все-таки вывело демона из терпения. Когти животного постоянно скребли понейлоновому ковру, царапали обивку дивана и кресел. Демона передергивало от этих звуков. В один прекрасный

момент он не выдержал и бросил на кота такой взгляд, что тот разлетелся на мелкие куски, будто проглотил гранату с выдернутой чекой.

Эффект был зрелищным. Кошачьи мозги, шерсть, внутренности — теперь они были повсюду.

В тот вечер Поло пришел домой усталым. Он долго стоял на пороге комнаты и сурово разглядывал то, что осталось от его Фредди Третьего.

— Проклятые собаки, — наконец сказал он. — Паршивые, паршивые псы.

В его голосе явно звучала злость. Йеттеринг чуть не подпрыгнул от радости. Этот человек впервые вышел из себя: его эмоции были написаны на лице.

Воспрянув духом и решив закрепить успех, демон заметался по дому. Он хлопал каждой дверью. Он смахивал на пол вазы. Он раскачивал люстры.

Пол начал соскабливать со стен останки кота.

Йеттеринг опрометью слетел вниз по лестнице и в клочья разорвал подушку. Затем поднялся наверх и, обмотавшись простыней, изобразил привидение. Он носился под потолком, хихикал и издавал запахи, неаппетитные для людей.

Пол всего лишь похоронил Фредди Третьего рядом с могилой Фредди Второго и прахом Фредди Первого.

Потом улегся в постель, без простыни и подушки.

Демон тяжело рухнул на пол. Если этого человека только на миг обеспокоило то, что его кот взорвался в обеденной комнате, то как же можно было справиться с ним?

Оставалась только одна, последняя, возможность.

Приближалась Христова Месса, и дети Джека должны были навестить лоно семьи. Может быть, они смогли бы убедить ее главу в том, что не все в мире так хорошо и спокойно; может быть, им удалось бы запустить ногти под толстокожую плоть этого болвана и изнутри подточить его безразличие. Пугаясь собственных надежд, Йеттеринг провел три недели декабря, вынашивая планы самых изощренных злодейств, на какие только было способно его воображение.

Между тем жизнь Джека Поло текла своим чередом. Казалось, он жил отдельно от ее течения, как автор какого-нибудь романа, наперед знающий описываемые им события и не слишком углубляющийся в них. Некоторое исключение,

впрочем, составляли надвигающиеся праздники. Он тщательно прибрал комнаты дочерей. Застелил их постели бельем с ароматной отдушкой. Очистил ковер от последних пятнышек кошачьей крови. Он даже водрузил рождественскую ель посреди большой комнаты, увешав зеленую хвою яркими игрушками, гирляндами и сувенирами.

Во время этих приготовлений Джек не раз задумывался об игре, в которую решился играть, и перебрал в уме все ее вероятные испытания. Ему приходилось учитывать не только свои собственные силы, но и силы дочерей, которые тоже были брошены на весы, на другой чаше которых лежал всего лишь один шанс на победу. Но сколько бы он ни занимался своими расчетами, возможность успеха всегда перевешивала меру предстоящей опасности.

Поэтому он продолжал писать книгу своей жизни — и терпеливо ждать.

Вскоре пошел снег, его пушистые белые хлопья закружились за окнами, постепенно устилая сад и дорогу перед домом. Во двор ватагой прибежали дети, распевавшие веселые рождественские гимны, и он был щедр с ними. На какое-то короткое время можно было поверить, что на земле царит мир.

Поздно вечером двадцать третьего декабря приехали дочери, засыпавшие его подарками в бумажных свертках и поцелуями. Первой появилась младшая, Аманда. С наблюдательного пункта на шкафу Йеттеринг недобро осмотрел ее. Она не выглядела идеальным материалом для внедрения во вражескую оборону. У нее были чересчур внушительные габариты. Джина последовала двумя часами позже: стройная и довольно миловидная, она казалась такой же неуправляемой особой, как и ее сестра. Они с хохотом бросились хозяйничать в доме: вытащили все содержимое из морозильника; переставляли мебель; носились по всем комнатам и кричали друг дружке (и отцу), как им не хватало семейной компании. Через несколько часов унылое жилище одинокого вдовца засияло чистотой, опрятностью и любовью.

Йеттерингу стало не по себе.

Он сунулся в ванную комнату, намереваясь перевернуть вверх дном всю ее обстановку, но внезапно его охватило какое-то оцепенение. Он был способен только сидеть, слушать и обдумывать планы возмездия.

Джек радовался тому, что дочери навестили родной дом. Аманда, такая же решительная и сильная, как ее мать. Джина, больше напоминавшая его мать: сообразительностью, лукавством. Их присутствие было трогательным до слез: и вот он, гордый отец, был вынужден подвергать их обеих жуткой опасности. Но разве у него был другой выход? Если бы он отменил рождественские праздники, то это выглядело бы крайне подозрительно. Это могло нарушить его стратегический замысел, насторожить врага и сорвать всю игру.

Нет; он должен был по-прежнему прикидываться круглым идиотом и не делать того, чего враг ожидал от него.

Его время еще не наступило.

В 3 часа 15 минут рождественского утра Йеттеринг открыл военные действия, сбросив Аманду с постели. Сонно потирая ушибленную голову, она забралась обратно — только для того, чтобы ее ложе мгновенно затряслось и встало на дыбы, как норовистый жеребец.

От грохота и воплей проснулся весь дом. Первой в комнате очутилась Джина:

- Что случилось?
- Там кто-то под кроватью.
- Что?

Джина взяла со стола пресс-папье и громко потребовала, чтобы злоумышленник вылез наружу. Йеттеринг незримо сидел на подоконнике и строил женщинам неприличные жесты.

Джина заползла под кровать. Йеттеринг уже вскарабкался на люстру и раскачивал ее, отчего тени прыгали по стенам, как на корабле во время четырехбалльного волнения.

- Там ничего нет.
- Есть.

Аманда знала, что говорила.

— Есть, Джина, — сказала она. — Мы не одни в этой комнате, я уверена.

- Нет, — насупилась Джина. — Здесь никого нет.

Аманда пыталась заглянуть за гардероб, когда вошел Поло:

- Что за шум?
- Папа, в доме что-то неладное. Меня кто-то сбросил с кровати.

Джек посмотрел на скомканные простыни, на перевернутый матрац и перевел взгляд на Аманду. Предстояло первое испытание: нужно было солгать по возможности небрежно.

— Похоже, тебе приснился нехороший сон, дочурка, — сказал он и изобразил невинную улыбку.

— Под кроватью что-то было, — продолжала настаивать Аманда.

— Сейчас там никого нет.

— Но я же чувствовала.

— Хорошо, я проверю весь дом, — предложил он без особого энтузиазма, — а вы обе оставайтесь здесь, на всякий случай.

Когда Поло покинул комнату, люстра закачалась еще сильнее, чем прежде.

— Фундамент, — сказала Джина. — Осадка.

Внизу было нетоплено, и Поло мог бы обойтись без шлепанья босиком по холодному кафелю кухни, но его радовало то, что битва началась с подобной мелочи. Он немного боялся, что с такими хрупкими жертвами в руках враг окажется куда более свирепым. Но нет: он не ошибся, оценивая характер этого существа. Оно было из разряда низших. Могучее, но несообразительное. И способное потерять самообладание. Теперь он знал, что делать. Главное — соблюдать осторожность.

Он побродил по всему дому, добросовестно открывая шкафы и заглядывая за мебель; потом вернулся к дочерям, которые молча сидели на лестнице, у двери в комнату. Аманда выглядела маленькой и бледной — снова ребенок, а не двадцативосьмилетняя женщина.

— Никого и ничего, — с улыбкой объяснил он. — Рождество наступило, но в нашей избушке...

Джина договорила за него.

— Никого не слыхать: даже мышки-норушки.

— Даже мышки-норушки, дочка.

В этот момент Йеттеринг дал о себе знать, смахнув с этажерки тяжелую хрустальную вазу.

Даже Джек подскочил на месте.

— Дерьмо, — вырвалось у него.

Ему хотелось спать, но Йеттеринг явно не намеревался оставлять его в одиночестве.

— Ке сера, сера, — пробормотал он, подбрав осколки вазы и завернув их в газету.

— Видите, дом оседает на левый бок, — добавил он немного громче. — Это продолжается уже несколько лет.

— Осадка фундамента, — со спокойной уверенностью проговорила Аманда, — не вышвырнула бы меня из моей постели.

Джина промолчала. Число альтернатив было ограниченным. Ситуация складывалась неприятная.

— Ну, значит, это был Санта-Клаус, — почти развязно предположил Поло. Он взял обеими руками сверток с осколками вазы и направился в кухню, ничуть не сомневаясь в том, что каждый его шаг внимательно прослеживается.

— А кто же еще? — крикнул он снизу, запихивая сверток в мусорную корзину. — Единственное другое объяснение, — тут он осмелел настолько, что позволил себе вплотную приблизиться к истине, — единственное другое возможное объяснение было бы сейчас слишком неуместным.

У него екнуло сердце от собственной наглости. И все-таки забавно было поменяться ролями с тем, чье присутствие он ощущал каждую минуту.

— Ты имеешь в виду полтерgeist? — спросила Джина, когда он вернулся к ним.

— Я имею в виду все, что мешает спокойно спать по ночам. Но ведь мы уже взрослые, да? Мы уже не верим в Богомена?

— Нет, — решительно сказала Джина. — Я не верю, как не верю и в оседание фундамента.

— Ну, теперь придется поверить, — беззаботно отрезал Джек. — Начинается Рождество. Мы не хотим испортить его разговорами о гоблинах, полагаю.

Они все вместе рассмеялись.

Гоблины. Это было уж слишком. Назвать посланника Ада гоблином.

До боли стиснув зубы, Йеттеринг едва заставил себя сдержаться.

Нет, у него еще будет время посмотреть, как эта проклятая атеистическая ухмылка сползет с гладкого, жирного лица Джека. Скоро, скоро пробьет его час. Отныне никаких полумер. Никаких утонченностей. Начинается наступление по всему фронту.

Пусть прольется кровь. Пусть здесь воцарится Ад.
Они все пропали.

Аманда была на кухне и готовила рождественский обед, когда Йеттеринг предпринял свою следующую атаку. По дому плавали напевные рефрины хора Королевского колледжа, исполнявшего «О городок Вифлеем, ты стоишь перед нашими взорами...»

Подарки были распакованы, свечи зажжены, весь дом с крыши до подвала был объят семейным теплом и уютом.

В жаркой кухне пронесся порыв холода, заставивший Аманду внезапно задрожать; она подошла к окну и закрыла форточку. Вероятно, она немного простыла.

Йеттеринг со спины наблюдал за тем, как она занималась праздничным салатом. Аманда отчетливо почувствовала чей-то взгляд. Она обернулась. Никого, ничего. Она продолжила мыть брюссельскую капусту и укладывать ее на блюдо.

Все так же пел хор.

В столовой Джек о чем-то разговаривал с Джиной.

Затем раздался какой-то странный грохот. Как будто кто-то стучал кулаками в дверь. Аманда бросила нож на стол и осмотрелась, пытаясь определить источник шума. Он становился все громче и громче. Если бы это был какой-нибудь незнакомый дом, то можно было бы подумать, что кто-то оказался запертый в одном из буфетов и теперь сilitся выбраться наружу. Точно кот попал в ящик или...

Птица.

Звуки доносились из печи.

Вообразив худшее, Аманда ощутила какую-то тошнотворную пустоту в желудке. Неужели она заперла кого-то в печи, когда ставила туда индейку? Крикнув отца, она взяла в руки сухую тряпку и приблизилась к дверце плиты, которая сотрясалась от ударов паникующего узника. Ей представилось, как оттуда на нее выпрыгивает несчастный кот — с опаленной шерстью, обугленным мясом и дико вытарашенными глазами.

На пороге кухни появился Джек.

— Там кто-то в печи, — сказала она ему, как будто он нуждался в ее словах. Печь ходила ходуном; странно, что ее беснующееся содержимое еще не вышибло дверцу.

Он взял у нее тряпку. Он ничего не понимал. Это было что-то новое. Враг вполне мог быть умнее, чем ему казалось. Это было нечто оригинальное.

В кухню подоспела Джина.

— Что жарим? — язвительно спросила она.

Шутка осталась незамеченной, потому что в этот момент печь пустилась в пляс, как живая, и с горелок на пол опрокинулись кастрюли с кипятком. Разлившейся водой ошпарило ногу Джека. Он заорал от боли, отскочив в сторону, натолкнулся на Джину и ринулся на печь с воплем, который не посрамил бы любого самурая.

Ручка заслонки была скользкой от сажи и жара, но ему удалось схватить ее и распахнуть дверцу.

Его обдало клубами пара и сочным запахом печеной индейки. Но птица, которую Аманда положила внутрь, явно не желала быть съеденной. Она носилась по противнику, стуча костяными культишками и разбрызгивая во всех направлениях мелкие капли подливки. Ее поджаренные, с румянной корочкой крылья бешено колотились в стенки печки, яростно били по чугунным крышкам и поддону.

Затем она словно почувствовала открытую дверцу. Изрезанные крылья вытянулись вдоль нафаршированного туловища, и, глумясь над всякой живой тварью, дичь вылетела наружу. Обезглавленная, сплошь покрытая кипящим жиром и разбрасывающая липкие комки фарша, она заметалась по кухне — сейчас ни один здравомыслящий человек не сказал бы, что она неживая.

Аманда завизжала.

Джек отпрянул к двери, а птица взмыла в воздух, со слепой, исступленной свирепостью кидаясь из стороны в сторону. Что она намеревалась делать, если бы настигла хоть одну из своих съежившихся жертв, это оставалось загадкой для всех троих. Джина подхватила Аманду и выскочила в коридор. Следом за ними ретировался Джек. Он едва успел захлопнуть за собой дверь — секундой позже та затрещала под ударами ничего не видящей птицы. Из нижней щели по полу потекла темная, жирная подливка.

Дверь не запиралась на ключ, но Джек был вправе думать, что взбесившаяся индейка не сумеет повернуть дверную ручку. Отступая назад, он проклинал свою самонадеянность. Противник оказался куда более коварным, чем он предполагал.

Прислонившись к стене, Аманда всхлипывала и не замечала пятен подливки у себя на лице. Казалось, она была способна только лишь отрицать увиденное, мотая головой и одними губами повторяя слово «нет», как заклинание против издевательского кошмара, который продолжал ломиться в дверь коридора. Джек отвел ее в сторону. Унылые гимны, все еще звучавшие по радио, несколько приглушали грохот ударов и падающей посуды, но обещания небесной благодати уже не доставляли никакого комфорта.

Джина налила для сестры полный бокал бренди и, сев рядом на софу, принялась ободрять ее всеми доступными словами. Но они не производили большого впечатления на Аманду.

— Что это было? — спросила наконец Джина, обратившись к отцу.

Вопрос был задан тоном, требовавшим немедленного ответа.

— Не знаю, — ответил Джек.

— Массовая истерия?

Джина не скрывала недовольства, у ее отца была какая-то тайна: он знал, что происходит в доме, но по неизвестной причине отказывался говорить об этом.

— Кого мне позвать: полицию или экзорциста?

— Никого.

— Ради Бога...

— Ничего не происходит, Джина. Поверь мне.

Ее отец отвернулся от окна и посмотрел на нее. Его глаза сказали то, о чем умолчал язык, — началась война.

Джек был испуган.

Дом внезапно превратился в тюрьму. В игре наметился летальный исход. Враг бросил свои дурацкие проделки и теперь намеревался причинить зло, настоящее зло им всем.

В кухне индейка наконец признала свое поражение. В радиоприемнике вялые гимны незаметно сменились рождественской проповедью.

Нежная улыбка на его лице прокисла и скорее походила на гримасу отчаяния. Он затравленно посмотрел на Аманду и Джину. Обе дрожали, у каждой был свой повод для страха. Еще немного, и Поло рассказал бы им обо всем. Но эта проклятая тварь должна была находиться совсем рядом —

он был уверен в том, что сейчас она пожирала их злорадным взглядом.

Он ошибался. Йеттеринг, удовлетворенный достигнутым эффектом, вернулся на чердак. Птица — он это чувствовал — была находкой гения. Теперь он мог немного отдохнуть: восстановить силы. Пусть враг сам потреплет себе нервы. Потом наступит время решающего удара.

Гордясь собой, он даже позволил себе праздный вопрос: что если бы какие-нибудь инспектора увидели его операцию с индейкой? Вероятно, тогда ее впечатляющий результат улучшил бы его служебные перспективы. В самом деле, не для того же он учился столько лет, чтобы возиться с такими простаками, как Поло! Ему нужно было задание, достойное его способностей. Он почти осязал победу: ощущение было приятным.

Охота на Поло, конечно, подходила к концу. Его дочери должны были убедить отца (тут у Йеттеринга не было никаких сомнений), что вокруг него происходит нечто ужасное. Поло не сможет устоять. Он должен рухнуть. Может быть — превратиться в классического сумасшедшего: вымазать себя своими собственными экскрементами и выкрикивать что-нибудь нечленораздельное.

О да, победа была близка. И она открывала дорогу к почестям, наградам, похвалам хозяев.

Оставалось устроить только одно небольшое представление. Одно, последнее нападение — и Поло будет повержен в прах.

Усталый, но уверенный в успехе, Йеттеринг спустился в столовую.

Аманда спала, вытянувшись во всю длину софы. Очевидно, ей снилась индейка. Ее глаза двигались под сомкнутыми веками, губы вздрогивали. Джина сидела у радиоприемника, который теперь безмолвствовал. У нее на коленях лежала раскрытая книга, но она не читала ее.

Импортера корнишонов в комнате не было. Не его ли шаги слышались на лестнице? Ну конечно, он пошел облегчить свой мочевой пузырь, изнемогавший от выпитого бренди.

Идеальный момент.

Йеттеринг пересек комнату. Во сне Аманда увидела что-то темное и угрожающее — что-то такое, от чего у нее во рту появился горький привкус.

Джина оторвала взгляд от книги.

Серебряные шары на рождественской ели тихо покачивались. И не только шары. Ствол и ветви — тоже.

Вообще — все дерево. Вся ель раскачивалась, как будто кто-то схватил ее.

Ель начала крутиться вокруг ствола.

— Господи, — прошептала она. — Господи Иисусе.

Аманда спала.

Ель накренилась.

Джина встала. Затем, ступая по возможности ровными шагами, подошла к софе и попыталась растолкать сестру. Аманда спросонок стала отбиваться.

— Отец, — сказала Джина. Ее голос был достаточно громким, чтобы достичь холла. Он также разбудил Аманду.

Спускаясь по лестнице, Поло услышал звук, похожий на вой собаки. Нет, двух собак. Пока он добегал до нижней ступени, дуэт превратился в трио. Ворвавшись в столовую, он был готов увидеть там все войско Ада — с песьими головами, пляшущее на растерзанных телах его дочурок.

Вместо этого он увидел рождественскую ель, с безумной скоростью крутящуюся на месте, завывающую, как стая голодных псов.

Лампы уже давно были выкручены из патронов. В воздухе стоял запах жженого пластика и еловая смолы. Сама ель с виду напоминала какую-то огромную юлу, которая с щедростью спящего Санта-Клауса расшвыривала игрушки и подарки.

Джек оторвал взгляд от этого зрелища и увидел Джину и Аманду, скorchившихся за спинкой софы.

— Убирайтесь отсюда! — заорал он.

Не успел он выкрикнуть эти слова, как телевизор дерзко повернулся на одной ножке и, быстро набрав скорость, стал вращаться вместе с елью. К их пируэтам присоединились часы, до тех пор спокойно стоявшие на камине. Затем — кочерга перед очагом. Подушки софы. Вазы и украшения. Каждый предмет добавлял свою ноту в аккорды надсадного воя, который по своей силе был сравним со звучанием мощного органа. Запахло паленым деревом — трение разогревало крутящиеся части до точки воспламенения. Комната начала заполняться дымом.

Джина схватила Аманду за руку и потащила к двери, заслоняясь одной ладонью от града еловых иголок, которые выпустило им вслед дерево, вращающееся с нарастающей скоростью.

Теперь крутились и лампы.

Книги, высыпавшиеся с полок, тоже присоединились к этой тарантелле.

Джек мысленно видел врага, метавшегося от одного предмета к другому и, как жонглер в цирке, пытавшегося заставить их двигаться одновременно. Такая работа была явно изнурительной. Демон, вероятно, уже изнемогал. Он был ослеплен собственной яростью. И уязвим. Если когда-либо Поло мог вступить в битву с ним, то более подходящего момента невозможно было представить. Сейчас это существо можно было заманить в ловушку.

Что касается Йеттеринга, то он наслаждался оргией разрушения. Ему давно хотелось дать выход энергии, накопившейся в нем за месяцы вынужденной бездеятельности.

Ему нравилось смотреть на суетившихся женщин; он почти смеялся, глядя на пожилого мужчину, который неподвижно уставился на этот безумный танец.

Глаза мужчины были дико вытаращены. Не спятил ли он, а?

Не замечая еловых иголок, впивавшихся в волосы и кожу, дочери добрались до двери. Поло не видел, как они выползли за порог. Он зигзагами добежал до стола и, уворачиваясь от дождя настенных украшений, схватил длинную металлическую вилку, которую проглядел враг. Вокруг него с устрашающей скоростью замелькали различные безделушки и столовые приборы. У него сразу появилось несколько ушибов и порезов. Увлечененный боевым азартом и не обращавший внимания на полученные раны, он принялся протыкать книги, вдребезги разбивать часы и крошить блюдца из китайского фарфора. Как человек, сражающийся с тучами саранчи, он носился по комнате, нанося удары направо и налево, разя подвернувшуюся под руку томики любимых стихов, смахивая на пол дрезденскую посуду, пронзая гардины и абажуры. Обрывки и черепки истребляемой собственности заполоняли пространство комнаты, но при этом продолжали сохранять все

признаки жизни. Каждая разбитая вещь превращалась в дюжины бешено вращающихся и воющих осколков. От них стало трудно уклоняться.

Он услышал, как Джина из-за двери кричала ему, чтобы он все бросил и бежал к ним.

Но до чего же упоительно было играть с врагом так открыто, как он еще никогда не позволял себе! Нет, ему не хотелось сдаваться. Он желал, чтобы демон показал себя, предстал во всем своем обличье.

Он желал в первый и последний раз схватиться с послаником Ада.

Внезапно дерево уступило диктату центробежной силы и взорвалось. Звук получился оглушительным — точно сама смерть рявкнула где-то рядом. Ветви, сучья, остатки хвои, шары, лампочки, провода и гирлянды — все эти рождественские аксессуары разлетелись по комнате подобно шрапNELи артиллерийского снаряда. Джек, стоявший спиной к месту взрыва, почувствовал сильный толчок в спину и упал на пол. Его затылок и шея были поражены множеством острых щепок и еловых иголок. Довольно большая, лишенная хвои ветка просвистела над его головой и вонзилась в спинку софы. Мелкие обломки дерева усеяли ковер.

Следом стали взлетать на воздух другие предметы, структура которых не выдерживала нарастающей скорости вращения. Взрывом разметало телевизор, и смертоносная волна стеклянных осколков ударилась в противоположную стену. Их раскаленная лавина рикошетом накрыла Джека, который, как солдат во время бомбейки, на локтях полз к двери.

Заградительный огонь был так силен, что границы комнаты казались скрытыми в густом тумане. Разодранные подушки внесли свою лепту в ее пейзаж, устлав ковер белыми хлопьями перьев. Куски фарфоровых статуэток — то глазированная рука всадника, то голова куртизанки, то еще что-нибудь — со звоном падали прямо перед его носом.

За порогом Джина, стоя на коленях, срывающимся головом умоляла его поспешить. Когда он добрался до дверного проема и почувствовал, как ее руки обхватили его, то мог поклясться, что из столовой послышался хохот. Отчетливый, раскатистый, довольный хохот.

Аманда, зеленая от еловой хвои, неподвижно стояла в холле и тупо смотрела на него. Он втянул ноги за порог, и Джина захлопнула дверь.

— Что это? — спросила она. — Полтергейст? Призрак? Мамин призрак?

Мысль о том, что его мертвая жена несла ответственность за это массовое разрушение, показалась Джеку довольно забавной.

На лице Аманды появилась блуждающая улыбка. Он обрадовался, подумав, что она отходит от первого потрясения. Затем увидел ее отсутствующий взгляд, и истина прояснилась. Она не выдержала, ее покинул рассудок, не справившийся с тем, что она испытала.

— Что там было? — настойчиво спрашивала Джина. Ее пальцы сжимали его локоть с такой силой, что рука почти онемела.

— Я не знаю, — солгал он. — Аманда!

Улыбка не исчезла. Аманда просто смотрела куда-то сквозь него.

— Ты знаешь.

— Нет.

— Ты лжешь.

— Кажется.

Он тяжело поднялся на ноги и стряхнул с себя осколки фарфора, стекла и перья.

— Кажется... Мне нужно прогуляться.

За его спиной в столовой утихли последние звуки кошмарного воя. Воздух в холле был наэлектризован от незримого присутствия врага. Тот был поблизости — невидимый, как всегда, но почти ощущимый. Наступило самое опасное время. Ему нельзя было терять спокойствия. Он должен был действовать так, будто ничего не случилось: должен был предоставить Аманду самой себе и не пускаться ни в какие объяснения, пока все это не закончится.

— Прогуляться? — недоверчиво переспросила Джина.

— Да... прогуляться... мне нужно немного свежего воздуха.

— Ты не можешь нас бросить.

— Я позову кого-нибудь на помощь.

— Но Менди! Посмотри на нее!

Это было жестоко. Это было почти непростительно. Но слова были уже сказаны.

Нетвердыми шагами он направился к входной двери, чувствуя тошноту после карусели в столовой. Джина рассвирепела.

— Ты не можешь так уйти! Ты что, свихнулся?

— Мне нужен свежий воздух, — сказал он настолько небрежно, насколько позволяли его гулко колотившееся сердце и пересохшее горло. — Я ненадолго. Я скоро вернусь.

«Нет, — закотелось крикнуть Йеттерингу — Нет, нет, нет!»

Он был сзади. Поло чувствовал его. Такого разъяренного, готового в любую секунду сорваться и броситься на Поло. Вот только его запрещалось трогать. Но он ощущал злобу, лютую злобу этого существа — так же, как и его присутствие.

Он сделал еще один шаг к двери.

Тот не отставал. Поло чувствовал его и упрямно продвигался вперед. Джина заорала во весь голос:

— Ты, сукин сын, посмотри на Менди! Она сошла с ума!

Нет, ему нельзя было обрачиваться. Если бы он взглянул на Менди, то мог бы разрыдаться, мог бы потерять самообладание, чего и добивалась эта тварь, и тогда все пропало бы.

— С Менди все будет в порядке, — чуть не шепотом проговорил он.

Он добрался до ручки входной двери. Демон сразу же задвинул запор — с резким, громким щелчком. У него уже не хватало терпения для притворства.

Тщательно контролируя свои движения, Джек отодвинул засов. Тот задвинулся снова.

Игра была упоительной, настолько же, насколько и ужающей. Мог ли он заставить демона позабыть все свои угрозы?

Плавно и неторопливо он снова отпер дверь. Настолько же плавно и неторопливо, насколько быстро Йеттеринг запер ее.

Джеку стало любопытно, как долго еще мог продолжаться этот поединок. Ему нужно было каким-то образом выйти наружу: выманить врага из дома. По его расчетам, требовался всего один шаг. Один простой шаг.

Задвинуто. Отодвинуто. Задвинуто.

Джина стояла тремя ярдами позади своего отца. Она не понимала того, что видела; ей было ясно одно: ее отец с кем-то или с чем-то борется.

— Папа... — начала она.

— Заткнись, — мягко перебил он и, усмехнувшись, в седьмой раз отпер дверь. В его усмешке было что-то лунатическое — слишком беззаботное и слишком кроткое.

Как ни странно, она улыбнулась в ответ. Улыбка была мрачной, но не фальшивой. Что бы здесь ни творилось, она любила его.

Джек попробовал прорваться через заднюю дверь. Демон опять опередил его и запер замок прежде, чем он успел коснуться дверной ручки. Ключ повернулся, вылез из замочной скважины и рассыпался в воздухе, стертый в порошок невидимой рукой.

Джек сделал движение в сторону окна и двери, но там сразу же опустились жалюзи и хлопнули ставни. Впрочем, Йеттеринг был слишком занят окном и не уследил за тем, что происходило в доме.

Когда же демон увидел, какую шутку с ним сыграли, то опрометью кинулся назад — чуть не столкнувшись с Джеком на гладко отполированном полу. Катастрофы он избежал лишь благодаря фантастическому балетному пируэту, который удался ему в самый последний момент. Крушение было бы смертельной, досаднейшей оплошностью: коснуться человека, почти победив его!

Пока Йеттеринг и Джек боролись возле заднего окна, Джина уразумела стратегию своего отца и отперла входную дверь. Джек молился в душе за то, чтобы его дочь успела открыть ее. Она успела. Щелкнул замок. В холл ввалились клубы морозного воздуха.

Несколько оставшихся до двери ярдов Джек преодолел одним рывком, всей кожей чувствуя ярость Йеттеринга, от которого ускользнула такая долгожданная и почти пойманная добыча.

Йеттеринг не относился к числу чересчур амбициозных созданий. Все, что он хотел в этот миг и что стало бы для него самым лучшим сбывшимся сном, — лишь крепко схватить череп этого человека, а потом превратить его в жидкое месиво. И навсегда расстаться с Джеком Джей Поло.

Разве много он просил у судьбы?

Поло ступил в скрипучий сугроб. Брючины и домашние тапочки, надетые на босу ногу, погрузились в колючий холод. К тому времени, когда его рассвирепевший преследователь достиг порога, он уже был в трех ярдах от крыльца и уходил в сторону ворот. Уходил. Уходил.

Йеттеринг взвыл от злости, забыв обо всем, чему его столько лет учили. Все правила и уроки, которые так настойчиво вколачивали в его сознание, уступили место всепоглощающему желанию завладеть жизнью Поло.

Он покинул человеческое жилье и бросился в погоню. Его проступок был непростителен. Где-то в Аду высшие власти (такие занятые, такие утомленные возней с обреченными на вечное проклятие) поняли, что битва за душу Джека Джей Поло была ими уже проиграна.

Джек тоже это понял. Он слышал приближающееся шипение воды, вскипавшей под ногами демона. Тот погнался за ним! Эта тварь нарушила первый закон своего существования. Ее ждала горькая расплата. Он торжествовал победу.

Демон обогнал его уже у самых ворот. Его дыхание отчетливо различалось в морозном воздухе, хотя тело еще было незримым.

Джек попытался открыть ворота, но Йеттеринг захлопнул их прямо перед его носом.

— Ке сера, сера, — сказал Джек.

Йеттеринг больше не мог выносить подобных издевок. Он обхватил голову Джека, намереваясь немедленно стереть ее в порошок.

Это касание было его вторым грехом. Агония последовала мгновенно. Он взвыл, как смертельно раненный зверь, и упал в снег, отброшенный какой-то чудовищной, неведомой силой.

Он осознал свою ошибку. Уроки, которые столько лет вдялбливали в него, теперь дали о себе знать пронзительной, ни с чем не сравнимой болью. Он знал, за что ему было послано наказание: за то, что покинул дом; за то, что дотронулся до этого человека. Отныне он был обязан подчиняться новому хозяину, пресмыкаться перед гадким, безмозглым кретином, который сейчас стоял перед ним.

Поло победил.

Он улыбался, глядя на место в снегу, где проступали контуры демона. Его облик проявлялся, как на фотоснимке.

Нарушенный закон делал свою работу постепенно, но неотвратимо. Йеттеринг больше не мог скрываться от нового хозяина. Он предстал перед глазами Поло во всем своем неприглядном величии. С коричневой безволосой кожей, с горящими, лишенными ресниц глазами, с дрожащими руками и с длинным хвостом, пляшущим на снегу.

— Ублюдок, — сказал поверженный. У него был акцент австралийскогоaborигена.

— Ты будешь говорить только тогда, когда тебя попросят, — со спокойной властностью в голосе приказал Поло. — Понятно?

Лишенные ресниц веки чуть-чуть дрогнули.

— Да, — сказал Йеттеринг.

— Да, мистер Поло.

— Да, мистер Поло.

Хвост поджался, как у побитой собаки.

— Можешь встать.

— Благодарю, мистер Поло.

Он встал. Вид у него был не из приятных, но тем не менее Джек наслаждался им.

— Они все равно доберутся до вас, — мрачно сказал Йеттеринг.

— Кто они?

— Вы знаете, — в некотором замешательстве произнес демон.

— Назови их.

— Вельзевул, — ответил он, гордясь именем своего бывшего хозяина. — Власти. Сама Преисподня.

— Не думаю, — усмехнулся Поло. — Во всяком случае, ты постараешься засвидетельствовать мое умение постоять за себя. Разве я не сильнее их всех?

Глаза потупились.

— Разве я не сильнее?

— Да, — с горечью признал бывший посланник Ада. — Да. Ты сильнее их всех.

Его начала колотить мелкая дрожь.

— Тебе холодно? — спросил Поло.

Он кивнул с видом потерянного ребенка.

— Тогда тебе будет полезно заняться кое-какими физическими упражнениями, — сказал человек. — Ступай в дом и приступай к уборке.

Казалось, пришелец из другого мира был озадачен, даже разочарован этой инструкцией.

— И ничего больше? — недоверчиво протянул он. — Никаких чудес? Ни Прекрасной Елены? Ни полетов на метле?

При мысли о полетах в такой морозный, снежный день Джек почувствовал довольно сильный озноб. Он был человеком весьма простых вкусов: от жизни ему хотелось получить только любовь своих дочерей, уютную обстановку дома и выгодную цену за корнишоны, импортом которых он занимался.

— Никаких полетов, — решительно произнес он.

Возвращаясь к крыльцу, Йеттеринг вспомнил об одной вещи, от осознания которой немного воспрянул духом. Он вновь повернулся к Поло —rabолепно, но и торжественно.

— Могу я кое-что сказать? — спросил он.

— Говори.

— В качестве моей первой услуги я хочу довести до вашего сведения, что контакт с такими, как я, считается не лучшим фактом человеческой биографии. Точнее сказать, ересью.

— В самом деле?

— О, да, — заверил Йеттеринг, воодушевленный своим пророчеством, — за это по меньшей мере сжигают.

— Ну, только не в наше время, — ответил Поло.

— Но Серафим все увидит, — упрямо сказал демон. — Ты никогда не попадешь в это место.

— В какое место?

И тогда у Йеттеринга вырвалось слово, которое он слышал от Вельзевула.

— На небо, — торжественно объявил он. Его лицо искалигла глумливая ухмылка: он поступил исключительно мудро, проделав этот фокус; он никогда не думал, что сможет так ловко жонглировать всякими теологическими штуковинами.

Джек прикусил нижнюю губу и медленно кивнул головой.

Это существо, пожалуй, говорило правду: факт общения с ему подобными едва ли мог быть благосклонно воспринят Ликом Святых и Ангелами. Вероятно, теперь для него была закрыта дорога в рай.

— Ну, — сказал он, — ты ведь знаешь, что я скажу об этом, не так ли?

Йеттеринг хмуро уставился на него. Нет, он этого не знал. Затем он понял, куда клонил Поло, и удовлетворенная усмешка сползла с его лица.

— Так что я скажу? — спросил Поло.

Окончательно сраженный Йеттеринг с трудом выдавил из себя эту фразу.

— Ке сера, сера.

Поло улыбнулся.

— Для тебя не все потеряно, — похвалил он и пошел домой, тщательно сохраняя подобие суровости на своем лице.

СВИНИЙ ТИФЕРДАЧНА





A.H. Meyer 1994



алолеток можно было бы узнать, даже не видя их, — по застоявшемуся слабому запаху мочи в коридорах с голыми окнами, по спротому прокисшему воздуху, по атмосфере уныния и покорности, царившей в здании. И уже потом — по голосам, нивелированным правилами внутреннего распорядка.

Не бегать. Не кричать. Не свистеть. Не драться.

Это называлось Специальным Центром для несовершеннолетних правонарушителей, но больше всего напоминало тюрьму. Тут были и замки, и ключи, и надзиратели. Ростков либерализма было немного, и они не слишком тщательно маскировали истину: Тифердаун был худшей из тюрем, его обитатели хорошо знали это.

Нельзя сказать, что Рэдмен испытывал какие-то иллюзии в отношении своих будущих учеников. Они были закоренелыми преступниками, и их не без причины изолировали от общества. Почти все при первом же удобном случае постарались бы обчистить вас до нитки, изувечить. Если бы это было им нужно, не стали бы рассусоливать. Он слишком много лет проработал в детских исправительных учреждениях, чтобы все еще верить социологическим эвфемизмам. Да, он имел возможность узнать этих заложников демографической политики и родительского воспитания. Они вовсе не были беспомощными недоумками — нет, они были исключительно сообразительны, коварны и аморальны. И не нуждались ни в чьих сантиментах.

— Добро пожаловать в Тифердаун.

Как была фамилия этой женщины? Левертон? Или Леверфолл? Или...

— Доктор Ловерхол.

Ловерхол. Да. Та отпетая стерва, которую он встретил...

— Мы встречались на интервью.

— Да.

— Мы рады видеть вас здесь, мистер Рэдмен.

— Нейл. Пожалуйста, зовите меня Нейл.

— Мы стараемся не обращаться друг к другу по именам, когда поблизости могут быть мальчики. Не следует давать им повода думать, будто здесь позволено совать нос в чужую частную жизнь. Поэтому я бы предпочитала, чтобы вы оставили имена на нерабочее время.

Своего имени она, конечно, не назвала. Вероятно, что-нибудь кремнеподобное. Ирэна. Кларисса. Итак, ему предстояло подобрать какой-нибудь подходящий заменитель. Она выглядела на пятьдесят, а была лет на десять моложе. Никакой косметики, волосы заплетены на затылке так туго, что он удивлялся, почему у нее до сих пор не лопнули глаза.

— Уроки вы начнете вести послезавтра. Наш директор попросил меня познакомиться с вами и от его имени извиниться за то, что он сам не смог приехать сюда. У нас неотложные проблемы с бюджетными ассигнованиями.

— Они у вас часто возникают?

— К сожалению, да. Боюсь, здесь мы плывем против течения: основные общественные настроения в этой стране не ориентированы на закон и порядок.

Любопытно, что подразумевало это высказывание? Может, прикажете сажать за решетку каждого подростка, перешедшего улицу в неподходящем месте? Да, в свое время он и сам держался таких взглядов, но они уводили в тупик — еще худший, чем излишняя сентиментальность.

— Дело идет к тому, что мы вообще можем потерять Тифердаун, — сказала она, — а это было бы слишком грустно. Я понимаю, он выглядит не так, как хотелось бы...

— Но обстановка в нем самая уютная, — улыбнулся он. Шутка не нашла никакого отклика. Казалось, ее даже не расслышали.

— Ваше, — в ее голосе появились ледяные нотки, — прошлое... (или она сказала — пошлое?) ...связано с пол-

ицией. У нас есть надежда, что, пригласив вас, мы заручимся поддержкой органов бюджетного финансирования.

Вот оно что. Жетон бывшего полицейского, призванный задобрить власти и засвидетельствовать почтение к департаменту гражданской дисциплины. Сам он не был им нужен. Их вполне устроил бы любой преподаватель социологии, способный строчить отчеты о том, как система классного воспитания отражается на жестокости среди тинэйджеров. Итак, она спокойно объявляла ему, что он здесь лишний.

— Я говорил вам, почему оставил службу.

— Вы упоминали об этом. По инвалидности.

— Я не хотел заниматься канцелярской работой, а от привычных обязанностей меня отстранили. Из-за опасности для моей собственной жизни, если верить некоторым утверждениям.

Казалось, она была немного смущена его объяснениями. Так же, как и он сам; ей предстояло проглотить горькую пилюлю, ему же не улыбалась перспектива обсуждать здесь свои личные обиды. Но перед Богом он желал предстать с чистой совестью.

— Поэтому я уже не связан со своим прошлым, — он запнулся, но остальное досказал почти равнодушным тоном. — У меня нет даже полицейского жетона, я вообще не отношусь к полиции. Моя бывшая служба и я — это теперь две разные вещи. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Хорошо, хорошо!

Она, разумеется, не поняла ни черта. Он попробовал подступить с другой стороны:

— Хотелось бы знать, что сказали мальчикам.

— Сказали?

— Обо мне.

— Ну, кое-что о вашем прошлом.

Да, они уже предупреждены. Внимание, дети, вы имеете дело с порядочной свиньей.

— Это нужно было сделать. Вы согласны со мной?

Он хмыкнул — если не хрюкнул.

— Видите ли, очень многие беды этих подростков заключаются в проблеме агрессивности. Вот откуда берется большинство их трудностей. Они не могут контролировать себя, и сами же страдают от этого.

Она взглянула на него так, как если бы он собирался спорить с ней.

— О да, страдают. Вот почему мы так настойчиво стараемся научить их ценить свое нынешнее положение: им нужно показать, что для них существуют альтернативы.

Она подошла к окну. Со второго этажа открывался почти такой же вид, как и с первого. Тиффердаун был своего рода поместьем, и к главному зданию примыкал довольно большой земельный участок. Игровое поле, трава на котором пожухла после июльской засухи. За ним — хаотично разбросанные пристройки, несколько хилых деревьев и пустырь, тянувшийся вплоть до самой стены. Он видел эту стену с другой стороны дома. Алькатрац* гордился бы ею.

— Мы стараемся дать им немного свободы, немного образования и немного любви. Почему-то бытует мнение, будто правонарушители восторгаются своими поступками. Мой опыт свидетельствует об обратном. Я не могу не пожалеть их...

Один из таких жалких правонарушителей сделал за ее спиной жест из двух повернутых вверх пальцев (Ловерхол уже вела нового сотрудника по коридору). Волосы у подростка были взъерошены. На руке мелькнула какая-то незаконченная татуировка.

— Тем не менее, они совершали уголовные преступления, — заметил Рэдмен.

— Да, но...

— И им необходимо напоминать об этом факте.

— Не думаю, что им нужно напоминать об этом, мистер Рэдмен. Я думаю, они родились с сознанием своей вины.

Вину она ставила во главу угла, что его нисколько не удивило. Ни один из этих психоаналитиков не был первооткрывателем кафедры, с которой они возвещали свои ошеломительные откровения. Их место досталось им по наследству от суровых толкователей Библии, не менее вдохновенных, но не обладавших таким пестрым лексиконом. Они проповедовали почти то же самое, включая обещание полного

* Алькатрац (букв. «Остров Пеликанов») — остров в заливе св. Франциска, местонахождение федеральной тюрьмы Испании.

исцеления — разумеется, при соблюдении должных ритуалов. И в обоих случаях правоверным завещалось Царство небесное.

На игровом поле происходило какое-то действие, привлекшее его внимание. Преследование, которое быстро завершилось пленением. Один маленький охотник догнал свою маленькую добычу, поверг на землю и ударил ногой — игра оказалась довольно жестокой.

Ловерхол заметила эту сцену одновременно с Рэдменом.
— Извините меня. Мне нужно...

Она стала спускаться по лестнице.

— Ваша мастерская за третьей дверью слева, если хотите взглянуть, — бросила она через плечо. — Я скоро вернусь.

Едва ли она могла скоро вернуться. Судя по сцене, разыгравшейся на поле, разнять соперников сумел бы только дюжий рабочий с очень прочным ломом.

Рэдмен побрел в мастерскую. Дверь оказалась запертой, но сквозь небольшой глазок были видны лавки, наглядные пособия, инструменты. Зрелище в общем-то утешало. Если бы у него было достаточно времени, то он мог бы даже обучить ребят столярной работе.

Немного расстроенный тем, что не попал внутрь, он пошел туда, куда недавно направилась Ловерхол. Лестница привела прямо на игровую площадку. Место драки, точнее — побоища, было окружено редкой толпой зрителей. Посредине стояла Ловерхол. Она молча взирала на мальчика, лежавшего на земле. К его голове склонился один из надзирателей; рана на затылке подростка выглядела серпентиной.

Некоторые зрители оглянулись на приближившегося Рэдмена. Донесся приглушенный шепот; замелькали улыбки.

Рэдмен оглядел жертву. Мальчику было лет шестнадцать. Он лежал, уткнувшись щекой в траву, как будто прислушивался к чему-то, доносившемуся из-под земли.

— Лью, — Ловерхол назвала фамилию мальчика специально для Рэдмена.

— Сильно пострадал?

Мужчина, стоявший на коленях перед Лью, отрицательно покачал головой.

— Нет, не слишком. Ушибся при падении. Кости не повреждены.

По лицу мальчика текла кровь, и она же сочилась из разбитого носа. Глаза были закрыты. Выражение было мирным и отстраненным — почти как у мертвого.

— Ну, где же эти чертовы носилки? — раздраженно произнес надзиратель. Ему явно было невмоготу стоять на коленях и хотелось побыстрее встать с твердой, пересохшей земли.

— Уже несут, сэр, — сказал кто-то.

Рэдмену показалось, что это был нападавший. Худощавый паренек лет девятнадцати, не больше. С такими глазами, от взгляда которых молоко может свернуться за несколько минут.

И верно, из главного здания вышла небольшая группа подростков с носилками и красной простыней. Новые действующие лица радостно ухмылялись.

Толпа зрителей начала таять: лучшая часть представления была уже закончена. Невелико удовольствие подбирать останки.

— Погодите, погодите, — окликнул Рэдмен. — Или нам не нужны свидетели? Кто это сделал?

Некоторые неопределенно пожали плечами, большинство решили притвориться глухими.

Рэдмен сделал вторую попытку.

— Мы все видели. Из окна.

Ловерхол посмотрела в сторону здания.

— Разве нет? — спросил он ее.

— Думаю, с такого расстояния невозможно было разглядеть зачинщика. Но я не желаю принимать участие в подобных разбирательствах. Надеюсь, вы меня понимаете?

Она увидела и узнала Лью. Почему же не разглядела его обидчика? Рэдмен упрекнул себя в несобранности: не ознакомившись заранее со своими будущими воспитанниками, он едва ли мог различить их по лицам. Слишком велика была вероятность ошибки — пусть даже он почти не сомневался в том, что нападавшим был паренек с кислым взглядом. Сейчас у него не было права на неверные обвинения, и поэтому оставалось лишь смириться со своей пассивной ролью в данной ситуации.

Ловерхол не принимала никакого участия в происходящем.

— Лью, — спокойно произнесла она. — Как всегда.

— Он сам напрашивался на это, — встяхнув белокурой челкой, сказал один из мальчиков с носилками. — Он не понимает другого обращения.

Проигнорировав его замечание, Ловерхол проследила за тем, как Лью положили на носилки, а затем в сопровождении Рэдмена направилась к главному зданию. Инцидент был исчерпан.

— Не так уж он безобиден, этот Лью, — в качестве объяснения загадочно проговорила она и больше ничего не добавила. Никаких сожалений или обещаний наказать виновных.

Рэдмен оглянулся на красную простыню, покрывавшую неподвижное тело Лью. И тогда — почти одновременно — случились две вещи.

Первая: кто-то в толпе произнес слово «свинья».

Вторая: Лью открыл глаза и посмотрел прямо на Рэдмена — ясным и чистым взглядом.

Почти весь следующий день Рэдмен приводил в порядок мастерскую. Большинство инструментов оказались сломанными или пришедшиими в негодность из-за неумелого обращения с ними: в пилах недосчитывалось зубьев, напильники были затуплены, на тисках была сорвана резьба. Чтобы восстановить рабочие места, требовалось немало денег, но время для претензий еще не наступило. Сейчас приходилось довольствоваться более скромными задачами. Просто ждать. Как и на прежней службе: в полиции тоже ни одно дело не решалось сразу, без проволочек и канцелярской волокиты.

Приблизительно в четверть пятого начал звенеть звонок — можно было собираться домой. Сначала он проигнорировал его, но вскоре инстинкт взял верх. Звонок мог быть сигналом тревоги, а сигнал тревоги предназначался для того, чтобы настораживать людей. Он прекратил приборку и, заперев мастерскую, пошел туда, куда его вел собственный слух.

Звонок доносился из места, издевательски называемого больничным отделением, которое на самом деле было двумя или тремя комнатами, отгороженными от основных помещений здания, а также условно декорированными парой дешевых

вых картин на стенах и занавесками на окнах. Дымом не пахло, следовательно, причиной тревоги был не пожар. Тем не менее, слышались крики. Больше чем крики. Настоящие вопли.

Он ускорил шаги и за поворотом одного из нескончаемых коридоров столкнулся с небольшой человеческой фигуркой, со всех ног бежавшей навстречу. Столкновение было неожиданным для обоих, но Рэдмен успел ухватить паренька раньше, чем тот смог снова дать деру. Пленник ответил незамедлительным ударом босой ноги по его голени. Удар достиг цели, но не подействовал.

— Пусти меня, ты, паршивый...

— Спокойно! Спокойно!

Его преследователи были совсем близко.

— Держи его!

— Легавый! Свинья!

— Держи его! Держи!

Бороться с ним было не легче, чем с крокодилом: страх удесятерил силы подростка. Однако весь заряд ярости был почти истрачен. Из его подбитых глаз брызнули слезы, а изо рта вырвался плевок, растекшийся по лицу Рэдмена. В руках бывшего полицейского был Лью, все тот же небезобидный Лью, пострадавший во вчерашнем инциденте.

— О'кей. Он у нас...

Отступив на шаг, Рэдмен поручил Лью надзирателю, который сжал локоть мальчика с силой, достаточной для перелома кости. Из-за угла появились трое других преследователей: двое подростков и воспитательница с малопривлекательной внешностью.

— Пусти меня... Пусти... — Лью все еще кричал, но сил для борьбы уже не было. Его лицо исказила гримаса отчаяния, широко раскрытые глаза с беспомощным укором уставились на Рэдмена. Он выглядел моложе своих шестнадцати лет — почти ребенок. Вчерашние синяки и ссадины были смазаны йодом, на переносице белел плохо приклеенный пластырь, но лицо было совсем как у девочки. Как у невинной девочки. И с такими же невинными глазами.

Показалась Ловерхол — слишком поздно, чтобы найти себе применение в этой сцене.

— Что здесь происходит?

Надзиратель шумно, всей грудью вобрал воздух. Погоня сбила его дыхание и отняла воинственный дух.

— Он заперся в туалетной комнате. Пытался сбежать через окно.

— Почему?

Вопрос относился ко взрослому, не к ребенку. Надзиратель сконфузился. И смущенно пожал плечами.

— Почему? — Рэдмен обратился к Лью.

Тот смерил его таким взглядом, будто впервые столкнулся с необходимостью отвечать на чьи-либо расспросы.

— Ты — свинья? — шмыгнув носом, внезапно проговорил он.

— Свинья?

— Он хотел сказать — полицейский, — недовольно произнес один из мальчиков. Это разъяснение было сделано таким тоном, каким обычно обращаются к слабоумным.

— Спасибо, парень. Я знаю, что он хотел сказать, — проговорил Рэдмен, не сводивший глаз с Лью. — Я очень хорошо знаю, что он хотел сказать.

— Неужели?

— Не зарывайся, Лью, — подала голос Ловерхол, — у тебя и так достаточно неприятностей.

— Хорошо, сынок. Я — свинья.

Противоборство взглядов вступило в решающую фазу — поединок должен был чем-то закончиться.

— Вы ничего не знаете, — сказал Лью. В его реплике не было никакой озлобленности. Он просто высказал свою версию истины, его глаза смотрели не мигая.

— Ладно, Лью, пока хватит. — Надзиратель попытался увести подростка за собой; из-за пояса пижамы вылезла складка бледно-молочной кожи.

— Пусть он договорит, — сказал Рэдмен. — Чего я не знаю?

— Свою интерпретацию случившегося он сможет изложить директору, — произнесла Ловерхол прежде, чем успел ответить Лью. — Вас это не касается.

Нет, это его очень даже касалось. Он почти непосредственно ощущал на себе взгляд Лью, отчаянный, затравленный, умолявший о защите и спасении.

— Пусть он скажет, — повторил Рэдмен, властностью голоса отменяя распоряжение Ловерхол.

Надзиратель немного ослабил свое объятие.

— Лью, почему ты пытался убежать?

— Потому, что он вернулся.

— Кто вернулся? Имя, Лью! О ком ты говоришь?

Несколько секунд Рэдмену казалось, что мальчик пробовал пересилить себя; затем встрихнул головой, разорвав незримую связь между ним и взрослым. Точно мысленно перенесся куда-то и затерялся там, на него напало какое-то оцепенение.

— Не бойся, тебе ничего не будет.

Лью нахмурился и принял смотреть себе под ноги.

— Я хочу вернуться в постель. Сейчас мне хочется спать, — тихо сказал он.

— Тебе не сделают ничего плохого, Лью. Я обещаю.

Это обещание не произвело немедленного эффекта, даже наоборот. Лью еще больше замкнулся в себе. Тем не менее, оно было обещанием, и Рэдмен надеялся, что позже Лью мог бы оценить его. Сейчас подросток выглядел изможденным усилиями, которые потратил на неудачное бегство, на попытку скрыться от погони и на битву взглядов. Его лицо побледнело. Он безропотно позволил надзирателю повернуть себя и повести за собой. Прежде чем исчезнуть за углом, он, казалось, внезапно передумал; попробовал высвободиться — не смог, но успел оглянуться на своего недавнего визави.

— Хенесси, — сказал он, в последний раз обменявшиесь взглядом с Рэдменом. Произнесенное слово тоже было последним. Он пропал из виду раньше, чем смог что-нибудь добавить.

— Хенесси? — недоумевая, произнес Рэдмен. — Кто такой Хенесси?

Ловерхол достала сигарету и закурила. У нее дрожали руки. Вчера он этого не заметил, но сейчас не удивился. Он еще не встречал такого блюстителя нравов, у которого не было бы своих личных проблем.

— Мальчик врет, — сказала она. — Хенесси у нас нет.

Короткая пауза. Рэдмен не торопил ее — любые расспросы сейчас были преждевременны.

— Лью довольно умен, — продолжала она, поднеся сигарету к своим бесцветным губам. — Он всегда знает, где можно найти слабое место.

— Мм?

— Вы здесь новый человек, и он хочет создать у вас впечатление, будто у нас есть какая-то тайна.

— Значит, это не тайна?

— Хенесси? — фырнула она. — Господи, конечно, нет. Он сбежал от нас в начале мая... (Она против воли замешкалась). Между ним и Лью что-то было. Мы так и не выяснили, что именно. Может быть, наркотики. Может быть, токсикомания или взаимная мастурбация — одному Богу известно.

Она и в самом деле не испытывала удовольствия от этого разговора. Ее лицо выражало отвращение.

— Как Хенесси удалось сбежать отсюда?

— Мы до сих пор не знаем, — сказала она. — Однажды его просто не оказалось на утренней поверке. Были осмотрены все помещения и лазейки. Но он исчез. Бесследно исчез.

— А может он вернется?

Снисходительная улыбка.

— Боже! Конечно, нет. Он ненавидел это место. Да и как он смог бы пробраться сюда?

— Выбрался же он наружу.

Ловерхол задумчиво стряхнула пепел и вздохнула.

— Он не был особенно отважен, но сообразительности у него хватало. В общем-то я не удивилась, когда он пропал. За несколько недель до своего исчезновения он полностью ушел в себя. Я не могла добиться от него ни слова, хотя до тех пор он был довольно общителен.

— А Лью?

— Был у него под пятой. Такое случается. Младшие мальчики нередко пресмыкаются перед старшими, более опытными и более яркими личностями. И у Лью несчастное семейное прошлое.

Рэдмен подумал, что ситуация была изображена весьма доходчиво. Настолько доходчиво, что он не поверил ни единому слову. Нарисованные детали не были картинами на какой-нибудь выставке: педантично пронумерованными и расположенным в порядке возрастания важности, от имеющим «Сообразительный» до «Впечатляющий». Они скорее напоминали каракули — грязные настенные росписи с подтеками краски, непредсказуемые и хаотичные.

А маленький мальчик Лью? Он был как картинка на воде.

* * *

Занятия начались на следующий день. Солнце палило так, что к одиннадцати часам мастерская превратилась в раскаленную жаровню. Тем не менее, подростки быстро и охотно усваивали все, что объяснял им Рэдмен. Они признали в нем человека, которого могли уважать, не утруждаясь особой любовью или привязанностью. И не ожидая от него излишне дружелюбных чувств, они не удостаивались их. Это было чем-то вроде взаимного соглашения.

Рэдмен заметил, что служащие и преподаватели Центра были менее общительны, чем их воспитанники. Каждый взрослый здесь держался в стороне от другого. Он решил, что среди них не было ни одного сколько-нибудь незаурядного человека. Казалось, рутинные порядки Тифердауна перемалывали их в серую, унылую массу. Вскоре он поймал себя на том, что стал избегать разговоров с равными по возрасту и социальному статусу. Его постоянным убежищем стала мастерская, манившая запахом свежей древесной стружки и ребячих тел, разогретых дружной работой.

Здесь он проводил большую часть своего времени: вплоть до следующего понедельника, когда один из мальчиков впервые упомянул о ферме.

До тех пор никто не говорил ему, что на территории Центра расположена ферма, и сама идея ее существования поначалу представилась ему совершенно нелепой.

— Туда мало кто ходит, — сказал Крили, один из тех подростков, кого Господь не наделил склонностями к столярному ремеслу. — Там смердит.

Всеобщий смех.

— Спокойнее, ребята. Ну-ка, угомонитесь.

Смех затих, уступив место каким-то негромким перешептываниям.

— Где же находится эта ферма, Крили?

— Это даже не совсем ферма, сэр, — пожевав губами, объяснил Крили. — Это просто несколько старых бараков. И они очень смердят, сэр. Особенно сейчас.

Он показал за окно, в сторону деревьев за игровой площадкой. С того дня, когда Рэдмен рассматривал их вместе с Ловерхол, пустырь от засухи разросся. Теперь в отдалении виднелась часть кирпичной стены, окруженной почти облетевшим кустарником.

— Видите, сэр?

— Да, Крили, вижу.

— Это хлев, сэр.

Снова приглушенное хихиканье.

— Что здесь смешного? — строго оглядел класс, проговорил он.

Две дюжины голов тотчас склонились над работой.

— Я бы не пошел туда, сэр. Там очень нечистый дух.

Крили не преувеличивал. Даже в сравнительно прохладную предвечернюю пору запах, доносившийся от фермы, грозил вывернуть желудок. Миновав игровую площадку, Рэдмен всего лишь пошел вслед за указаниями своего носа. Постройки, часть которых он разглядел из окна мастерской, появились довольно скоро. Несколько обветшальных бараков, поднимавшихся из груды искореженной металлической арматуры и гнилых деревянных досок, загородка для цыплят да кирпичный хлев — вот и все, что представляла собой эта ферма. И, как сказал Крили, на самом деле она едва ли была фермой. Скорее она была небольшим Дахау для домашних животных, заброшенным и запустевшим. По всей видимости, кто-то еще кормил нескольких содержавшихся в нем узников — кур, полдюжины гусей, свиней, — но, казалось, никто не заботился об уходе за ними. Отчего и был весь этот тошнотворный смрад. Свиньи лежали на подстилке из собственного навоза, на солнце запекались горы отбросов, над ними роились тысячи мух.

Сам хлев состоял из двух отделений, разгороженных высокой кирпичной стенкой. Прямо у входа в луже нечистот валялся поросенок, его бок шевелился от полчищ клещей и блох. Другой, более крупный, виднелся поодаль, на куче изгаженного сена. Ни один из них не проявил ни малейшего интереса к Рэдмену.

Второе помещениеказалось пустым, в нем не было экскрементов и почти не слышалось жужжания мух над соломой. Тем не менее, застоявшийся смрад старых фекалий здесь был ничуть не слабее, а потому Рэдмен едва не отпрянул, когда внутри что-то шумно зашевелилось и в проеме показалась огромная свинья. Грузно ступая, она приблизилась к невысоким воротам с висящим замком.

Животное вышло, чтобы посмотреть на него. Оно было в три раза крупнее любых своих сородичей и могло быть родительницей поросят, обитавших в смежном помещении, но если помет прозябал в грязи, то сама она содержалась в безукоризненной чистоте, ее сияющие розовые бока дышали отменным здоровьем. Рэдмена поразили исполинские размеры свиньи. Она, как ему показалось, должна была весить в два раза больше, чем он: весьма впечатляющая туша. Понастоящему великолепный экземпляр. С нежной кожей на рыле, переходящей в лоснящуюся щетину вокруг оттопыренных ушей, с загнутыми рыжими ресницами и сытыми, маслянистыми глазами.

Горожанин, Рэдмен не часто имел возможность видеть одушевленные мясные изделия. Этот превосходный живой окорок был для него открытием, почти откровением. Представление о нечистоплотности свиней, создавшее им такую скверную репутацию, казалось варварским заблуждением.

Эта хавронья была просто чудом — от похрюкивавшего пятака до штопором завитого хвостика и соблазнительных ляжек.

Ее глаза разглядывали его как равного — он не сомневался в этом — и восхищались им гораздо меньше, чем он восхищался ею.

Она была по-своему уверена в своей безопасности, он по-своему знал свою силу. И оба были равны под этими знаймыми августовскими небесами.

Даже вблизи она не издавала никакого дурного запаха. Очевидно, кто-то приходил утром и заботливо мыл ее. Рэдмен заметил, что корыто, стоявшее за перегородкой, было до краев наполнено помоями, остатками вчерашнего ужина. Она не притрагивалась к нему: она не была обжорой.

Вскоре она составила какое-то мнение о нем и, повернувшись на проворных ногах, вернулась в прохладу своего жилища. Аудиенция завершилась.

В тот же вечер Рэдмен пошел навестить Лью. Мальчика уже выписали из больничного отделения и поместили в убогую комнатенку на втором этаже. В спальне его все еще задирали остальные ребята, и единственной альтернативой было это одиночное заключение. Рэдмен застал его сидев-

шим на ворохе старых комиксов и уставившимся в обшарпанную стену. По сравнению с яркими книжными обложками его лицо выглядело даже более бледным, чем раньше. Пластирь на носу отсутствовал, синяк на щеке отливал желтизной.

Он слегка потряс Лью за плечо, и мальчик поднял на него взгляд. Со времени их последней встречи в нем произошла очень заметная перемена. Лью был на редкость спокоен и покорен. На рукопожатие Рэдмена он ответил вяло и равнодушно.

— Ну как? Тебе лучше?

Мальчик кивнул.

— Тебе нравится быть одному?

— Да, сэр.

— Когда-нибудь тебе придется вернуться в спальню.

Лью покачал головой.

— Но ты же знаешь, что не сможешь оставаться здесь вечно.

— Знаю, сэр.

— Ты должен будешь вернуться.

Лью кивнул. Логические доводы, казалось, не действовали на него. Он открыл один из комиксов и уставился в страницу, не разглядывая ее.

— Послушай, Лью. Я хочу, чтобы мы правильно поняли друг друга. Да?

— Да, сэр.

— Я не смогу помочь тебе, если ты не скажешь мне правды. Не смогу?

— Нет, сэр.

— Почему ты на прошлой неделе упомянул о Хенесси? Я знаю, что его здесь больше нет. Он ведь убежал, разве не так?

Лью смотрел на трехцветного супермена, занимавшего полстраницы комикса.

— Разве не так?

— Он здесь, — очень спокойно произнес Лью.

Внезапно им овладело какое-то недеятельное помешательство. Оно было в его голосе и в отрешенном выражении лица.

— Если он сбежал, то зачем ему возвращаться? Мне это кажется довольно бессмысленным, а тебе?

Лью замотал головой. У него к горлу подступили слезы, они мешали ему говорить, но глаза оставались сухими.

— Он никуда не убегал.

— Как? Что значит, никуда не убегал?

— Он умный, сэр. Вы не знаете Кевина. Он умный. Он закрыл комикс и взглянул на Рэдмена.

— В каком смысле умный?

— Он все спланировал заранее, сэр. Он все предвидел.

— Ты не можешь говорить яснее?

— Вы не поверите мне. Со мной все кончено, потому что вы не поверите мне. Вы не знаете — он все слышит, он всюду. Стены для него не имеют значения. Для мертвых ничего не имеет значения.

Мертвый. Короткое слово, всего два слога. Но оно заслонило все остальные.

— Он может прийти и уйти, — сказал Лью, — тогда, когда захочет.

— Ты говоришь, Хенесси мертв? — тихо произнес Рэдмен. — Осторожней, Лью!

Мальчик заколебался: он знал, что шел по натянутому над пропастью канату без единой возможности как-нибудь подстраховаться.

— Вы обещали, — вдруг сказал он ледяным голосом.

— Обещал, что тебя не накажут. Я не нарушу своего слова. Но, Лью, это не значит, что ты можешь лгать мне.

— Лгать о чем, сэр?

— Хенесси не умер.

— Умер, сэр. Об этом все знают. Он повесился. В хлеву, сэр.

Рэдмену не раз приходилось слышать ложь, изрекаемую куда более опытными устами, и он думал, что научился распознавать лжецов. Ему были известны все признаки умышленного обмана. Но мальчик не проявлял ни одного из них. Он говорил правду. Рэдмен кожей ощущал это.

Правда, полная правда, ничего, кроме правды.

Это не значило, что слова мальчика соответствовали истине. Он высказывал то, что считал ею. Он верил в смерть Хенесси. Это ничего не доказывало.

— Если Хенесси умер...

— Он умер, сэр.

— Если так, то как он может до сих пор оставаться здесь?

Мальчик не без лукавости взглянул на Рэдмена.

— Вы не верите в духов, сэр?

Столь очевидное решение, что Рэдмен даже опешил. Хенесси был мертв, и Хенесси все-таки был здесь. Следовательно, Хенесси был призраком.

— Не верите, сэр?

Мальчик задавал вопрос, который вовсе не был риторическим. Он хотел — нет, требовал! — разумного ответа на свой резонный вопрос.

— Нет, парень, — сказал Рэдмен. — Не верю.

Такое несовпадение взглядов, казалось, ничуть не смущило Лью.

— Вы увидите, — просто сказал он. — Увидите, сэр.

В хлеву, окруженному пожухлым кустарником, безымянная свинья мучилась от голода.

Она имела свое представление о ритме чередующихся дней и ночей: с их прогрессией увеличивались ее страдания. Она знала, что время прокисших помоев в корыте уже давно миновало. В ней проснулся другой, более взыскательный аппетит.

У нее с самого первого раза развилось пристрастие к пище с определенным запахом и определенным вкусом. В этой пище она нуждалась нечасто. Однако когда потребность в ней возникала, то была весьма настойчивой: достаточной для того, чтобы откусить руку, кормившую ее.

Стоя перед воротами своей тюрьмы, она ждала и ждала. Она фыркала, она хрюпала, ее нетерпение перерастало в тупую злобу. В смежном загоне ее кастрированные сыновья чувствовали настроение матери и в свою очередь начинали проявлять беспокойство. Они знали ее характер, знали, как это было опасно. Как-никак, она заживо сожрала двух их братьев, выношенных в ее же собственной утробе.

Затем в голубом проеме небольшого оконца под потолком послышались шелестящие звуки: мягкий шорох чьих-то шагов в зарослях крапивы, сопровождаемый приглушенными детскими голосами.

К хлеву приближались двое мальчиков, ступавших с почтительной и боязливой осмотрительностью. Их настороженность была вполне понятной. Число ее уловок не смог бы сосчитать никто.

Разве не разговаривала она, когда злилась, этим невообразимым, страшно знакомым голосом, который доносился из ее разинутой пасти, ворочавшей похищенным языком? Разве не вставала порой на задние ноги, потрясая складками розового аристократического жира, и не требовала, чтобы какого-нибудь самого младшего мальчика подложили под сосцы, обнаженного, как ее опоросы? И не была ли она своими тяжелыми копытами по земле до тех пор, пока принесенная ей пища не была разрезана на маленькие кусочки, которые нужно было брать большим и указательным пальцами, поочередно отправляя в ее ненасытное чрево? Да, все это она делала.

И гораздо худшие вещи.

В этот вечер мальчики знали, что не принесли ей того, чего она хотела. Нет, не та пища, которая ей полагалась, лежала на их тарелке. Не то сладкое, белое мясо, которого она требовала своим чужим голосом, — мясо которое если бы пожелала, то могла бы взять силой. Ее сегодняшней пищей был всего лишь заплесневевший бекон, украденный на кухне. А то питание, которое она действительно просила, то мясо, которое для еще большего удовольствия уже было отбито, как сочный бифштекс, — оно находилось под особой защитой. И нужно было еще какое-то время, чтобы добыть его.

Поэтому они надеялись, что она примет их мольбы и слезы и не загрызет их от злости.

Еще не дойдя до кирпичной стены хлева, один из мальчиков наложил в штаны. Свинья учудила его запах. Тембр ее голоса указывал на то, что она наслаждалась их страхом, находила его пикантным. Вместо короткого, низкого похрапывания она издавала более высокие, звенящие нотки. Они говорили: «Я знаю, я знаю. Идите и предстаньте перед своим судьей. Я все знаю».

Она наблюдала за ними сквозь щель в дощатых воротах, и ее глаза сверкали, как два бриллианта пасмурной ночью: ярче, чем ночь, потому что живые, прозрачней, чем ночь, потому что выжидательные.

Мальчики встали на колени и покорно склонили головы. Они вдвоем держали одну тарелку, покрытую куском грязного муслина.

— Ну? — сказала она. Они бесспорно слышали этот голос: его голос, доносившийся из пасти свиньи.

Старший мальчик, негритенок с заячьей губой, пересилил страх и спокойно взглянул в эти сияющие глаза.

— Это не то, что ты хотела. Мы виноваты перед тобой.

Младший, чувствовавший себя неловко в своих переполненных штанах, тоже шепотом попросил прощения.

— Но мы приведем его к тебе. Правда, приведем. Он будет у тебя, как только мы сможем получить его.

— Почему не сейчас? — спросила свинья.

— Его охраняют.

— Новый учитель, мистер Рэдмен.

Свинья уже знала об этом. Она помнила, как тот человек смотрел на нее через ворота хлева — как на какую-то зоологическую невидаль. Так вот кто был ее врагом. Что ж, она доберется до него. Ох, доберется!

Мальчики слышали ее обещание скорой расправы и казались довольными тем, что это дело не было поручено им.

— Дай ей мяса, — сказал негритенок.

Младший встал, снимая лоскут муслина с тарелки. От бекона плохо пахло, но, тем не менее, свинья проявила все признаки энтузиазма. Может быть, она простила их.

— Давай, быстро.

Мальчик двумя пальцами взял первый ломтик бекона и протянул за ворота. Свинья склонила набок свое умное рыло и, показав желтые зубы, взяла предложенное лакомство. Оно было проглощено почти мгновенно. Так же, как и второй, третий, четвертый и пятый куски.

Шестой и последний ломтик бекона она отхватила вместе с его пальцами, откусенными с такой изящностью и с такой быстротой, что мальчик даже не закричал, когда она, чавкая, начала пережевывать их. Отдернув руку, он уставился на свою изуродованную кисть. Она тоже задумчиво посмотрела на свежее увечье. Одна фаланга большого и половина указательного пальца были срезаны, как бритвой. Из ран хлынула кровь, сразу забрызгавшая его рубашку и ботинки. Она фыркнула, но было ясно, что зрелище ей понравилось.

Мальчик заорал во все горло и бросился прочь.

— Завтра, — сказала свинья оставшемуся просителю, — но не эту старую свинину. Завтрашнее мясо должно быть белым. Белым и... Лью-щимся. — Шутка показалась ей очень удачной.

— Да, — проговорил негритенок. — Да, конечно.

— Обязательно, — велела она.

— Да.

— Или я приду за ним. Ты меня понял?

— Да.

— Я найду его, где бы он ни прятался. Если я захочу, то съем его прямо в постели. Пока он будет спать, я отгрызу сначала его ступни, затем голени, затем коленки...

— Да, да.

— Я хочу его, — роя копытами солому, сказала свинья. — Он мой.

— Хенесси умер? — переспросила Ловерхол, склонившаяся над одним из своих бесконечных докладов. — Еще одна выдумка. Вчера ребенок говорит, что он в Центре, сегодня — что его нет в живых. Мальчик не может даже толком сочинить свою историю.

Да, это противоречие было трудно оспаривать, если мысль о существовании призраков не принимали с такой же готовностью, какую проявлял Лью. Рэдмен не мог ничего возразить ей. Призраки были глупостью, чепухой, всего лишь детскими страхами, воплощенными в зримые очертания. Однако самоубийство Хенесси не казалось Рэдмену такой же бессмыслицей. Он решил прибегнуть к заранее припасенному доводу.

— А откуда Лью взял историю о смерти Хенесси? Ее не так просто придумать.

Она удостоила его коротким взглядом, как будто улитка на мгновение высунулась из своего домика и снова спряталась.

— Здешние подростки отличаются очень богатым воображением. Если хотите, я дам вам послушать кое-какие записи: среди них есть такие, от которых у вас голова пойдет кругом.

— Здесь были случаи самоубийства?

— При мне? — она ненадолго задумалась, авторучка застыла над листом бумаги. — Две попытки. И ни одна, полагаю, не замышлялась как самоубийство. Всего лишь крик о помощи.

— И одним из них был Хенесси?

Покачав головой, она позволила себе едва заметно усмехнуться.

— Неуравновешенность Хенесси заключалась в другом. Он думал, что будет жить вечно. Это была его маленькая мечта: Хенесси — сверхчеловек из «Заратустры». У него было что-то вроде презрения к общей массе. Он, насколько мог, старался держаться в стороне от окружающих. Мы для него были простыми смертными, а себя он считал стоящим выше всех этих серых...

Он понял, что она собиралась сказать «свиней» и запнулась как раз на этом слове.

— Этих серых домашних животных, — сказала она и вновь уткнулась в свой доклад.

— Хенесси часто бывал на ферме?

— Не чаще, чем любой другой подросток, — солгала она. — Ни один из них не любит работу в подсобном хозяйстве, но она входит в число их обязанностей. Вывозить навоз — не самое приятное занятие. Я могу это подтвердить.

Ее очевидная ложь заставила Рэдмена вспомнить последнюю деталь из рассказа Лью: тот говорил, что Хенесси покончил с собой в хлеву. Он помолчал, а потом предпринял новый тактический ход.

— Лью получает какие-нибудь лекарства?

— Только снотворное.

— Снотворное дают всем мальчикам, участвующим в драках?

— Только если они пытаются убежать. У нас накопился достаточный опыт, чтобы предугадать поступки таких подростков, как Лью. Я не понимаю, почему это вас так беспокоит.

— Я хочу, чтобы он доверял мне. Я дал ему слово. Я не хочу подводить его.

— По правде говоря, все это подозрительно напоминает какую-то особую опеку. Этот мальчик — один из многих. У него нет ни особых проблем, ни особых надежд на искупление.

— Искупление?

Слово было довольно странным.

— На реабилитацию, если вам так угодно. Послушайте, Рэдмен, я буду искренней. У всех нас есть такое чувство, что вы здесь играете не совсем за наши ворота.

— Вот как?

— Нам всем кажется, полагаю, это не исключает и директора Центра, что вам следует позволить нам вести дела так, как мы привыкли их вести. Узнайте наши порядки, прежде чем...

— Вмешиваться.

Она кивнула.

— Это можно по-разному называть. Вы приобретаете врагов.

— Спасибо за предупреждение.

— Наша работа и без врагов достаточно трудна, поверьте мне.

Она попробовала бросить на него примирительный взгляд, но Рэдмен проигнорировал ее усилия. Он мог ужиться с врагами, но не с лжецами.

Кабинет директора был заперт, как и всю неделю. Его отсутствие объяснялось по-разному. Чаще всего сотрудники упоминали о каких-то собраниях в бюджетных организациях, но секретарша о них ничего не знала. Кто-то говорил о семинарах в университете, где проводились исследования, призванные решить проблемы исправительного Центра. Может быть, директор был занят на одном из них? «Если мистеру Рэдмену угодно, то он может оставить записку — директор непременно получит ее».

Он вернулся в мастерскую. Там его поджидал Лью. Уроки уже закончились: кроме него, в помещении никого не было.

— Что ты здесь делаешь?

— Жду вас, сэр.

— Зачем?

— Вы мне нужны, сэр. Я только хотел передать вам письмо, сэр. Для моей мамы. Вы отшлете его?

— Ты ведь можешь послать его как обычно — разве нет? Отдай секретарю, и она сделает все остальное. Тебе разрешается два письма в неделю.

Лью понуро посмотрел на свои ботинки.

— Сэр, их всегда распечатывают и читают: на тот случай, если кто-нибудь напишет лишнего. И если в письмах есть что-нибудь такое, то их сжигают.

— А ты написал что-то лишнее?

Он кивнул.

— Что именно?

— О Кевине. Я рассказал ей о Кевине. О том, что случилось с ним.

— А ты не ошибаешься в своих предположениях?

Мальчик пожал плечами.

— Это правда, сэр, — произнес он спокойно и уже явно не заботясь о том, насколько его слова были убедительны для Рэдмена. — Это правда. Он здесь, сэр. Он в ней.

— В чем? О ком ты говоришь?

Может быть, Лью просто пересказывал свои страхи (как и предполагала Ловерхол)? С этим парнем можно было потерять всякое терпение, и Рэдмен чувствовал, что был уже близок к тому.

В дверь постучали. В мастерскую просунулся неопрятный подросток по фамилии Слейп, быстро оглядевший их сквозь очки в металлической оправе.

— Входи.

— Вас срочно просят к телефону, сэр. К тому, который в кабинете секретаря.

Рэдмен ненавидел срочные телефонные звонки: они никогда не приносили ничего хорошего.

— Срочно? Кто?

Слейп только пожал плечами.

— Останешься с Лью, ладно?

Казалось, подобная перспектива не очень обрадовала Слейпа.

— Здесь, сэр?

— Здесь.

— Ладно, сэр.

— Я полагаюсь на тебя. Не подведи меня, Слейп

— Не подведу, сэр.

Рэдмен повернулся к Лью. Казалось, тот был готов расплакаться.

— Дай мне свое письмо. Я передам его секретарше.

Лью нехотя вынул конверт из кармана и протянул его Рэдмену.

— Нужно сказать «спасибо».

— Спасибо, сэр.

* * *

В коридорах никого не было.

Настало время телевизора, час ночного поклонения могучему идолу. Вероятно, все прилипли к черно-белому экрану, украшавшему унылую обстановку рекреационной комнаты, и бездумно впитывали мешанину из боевиков, космических войн и мелодрам. Обычно они застывали там с разинутыми ртами и молчали, как загипнотизированные, до первой сцены насилия или намека на секс. Тогда зал взрывался улюлюканьем, свистом, непристойными выкриками и ободрительными аплодисментами — только для того, чтобы вновь смениться гробовым молчанием, в течение которого они вновь напряженно ждали нового выстрела, нового нескромного кадра. Он и сейчас слышал ружейный огонь и музыку, эхом разносившуюся в пустом коридоре.

Кабинет был открыт, но секретарша отсутствовала. Будильник на ее столе показывал девятнадцать минут девятого. Рэдмен подправил стрелки на своих часах.

Телефонная трубка лежала на рычаге. Тот, кто его вызвал, видимо, устал ждать и не оставил никакой записи. Обрадованный тем, что звонок оказался не настолько срочным, чтобы абонент не мог проявить немного терпения, он, впрочем, почувствовал легкое разочарование, лишившись возможности поговорить с внешним миром, как Робинзон Крузо, завидевший на горизонте парус, который проплыл мимо его острова.

Почти смехотворная ситуация: ведь это была не его тюрьма. Он мог в любое время выйти отсюда. Ему захотелось сейчас же выйти за ворота и больше не быть несчастным Робинзоном.

Сначала он подумал оставить письмо Лью на столе секретарши, но почти сразу переменил решение. Он обещал защищать интересы мальчика и не собирался отказываться от своих слов. При необходимости можно было самому бросить письмо в почтовый ящик.

Возвращаясь в мастерскую, он ни о чем особенном не размышлял. Ему мешало сосредоточиться какое-то смутное беспокойство, смешанное с усиливающимся раздражением. Его лицо все больше хмурилось. «Проклятое место», — он вслух произнес свою мысль, подразумевая не эти стены и пол, а ту ловушку, частью которой они были. Он чувствовал, что мог бы здесь умереть, не успев претворить своих самых

лучших намерений. И никто не узнал бы, не пожалел бы, не стал бы оплакивать его смерть. Идеализм здесь не был в почете, жалость считалась потаканием. Всюду царили озлобленность, отчужденность и...

Молчание.

Вот что было не так. Телевизор гремел на полную катушку, его звуки разносились по пустому коридору, но их не сопровождали ни свист, ни бранные крики.

Рэдмен ускорил шаги и свернулся в коридор, ведущий к рекреационной комнате. В этой части здания было устроено место для курения — на полу валялось множество раздавленных окурков. Спереди доносился ничем не заглушаемый шум драки. Женский голос выкрикнул чье-то имя. Мужской голос ответил, но был прерван ружейными выстрелами. Явно близилась развязка.

Он открыл дверь.

Вопли были почти оглушительными.

— Ложись!

— Он вооружен!

Снова выстрелы.

Женщина, большегрудая блондинка, заработала пулю в сердце и, упав на обочину дороги, умерла рядом с мужчиной, которого любила.

Трагедия завершалась при полном отсутствии зрителей. Их стулья были расставлены перед телевизором, но сами они, очевидно, на этот вечер нашли какое-то другое развлечение. Лавируя между рядами пустых сидений, Рэдмен пробрался к телевизору и нажал кнопку. Едва погасло изображение и исчезла музыка, как за дверью послышались чьи-то спешные шаги.

— Кто там?

Дверь открылась.

— Слейп, сэр.

— Я велел тебе оставаться с Лью.

— Ему нужно было куда-то уйти, сэр.

— Уйти?

— Он сбежал, сэр. Я не смог задержать его.

— Черт тебя побери! Что значит, не смог задержать?

Рэдмен пошел к выходу. По дороге он задел один из стульев, и тот, протестуя, жалобно взвизгнул на скользком линолеуме.

Слейп поежился.

— Извините меня, сэр, — сказал он. — Я не мог поймать его. У меня не в порядке нога.

Да, Слейп прихрамывал на одну ногу.

— Куда он направился?

Слейп пожал плечами.

— Не заметил, сэр.

— Постарайся вспомнить.

— Не нужно нервничать, сэр.

Это «сэр» было совсем неразборчивым: пародия на уважение. У Рэдмена появилось желание ударить этого прыщавого подростка. Он был уже в двух шагах от двери. Слейп не двигался с места.

— Прочь с дороги, Слейп.

— Правда, сэр. Вы уже ничем не поможете ему. Он сбежал.

— Я сказал, с дороги!

Он уже шагнул вперед, чтобы оттолкнуть Слейпа, когда на уровне пупка раздался щелчок и в живот Рэдмена уперлось острие ножа с выкидывающимся лезвием.

— Правда, сэр. Не нужно ходить за ним.

— Боже! Что ты делаешь, Слейп?

— Мы играем в одну игру, сэр, — побледнев, прошелестил тот сквозь стиснутые зубы. — Ему не будет ничего плохого. Лучше оставить его в покое, сэр.

Острие ножа осторожно проткнуло кожу Рэдмена. Теплая струйка крови потекла вниз по животу. Вне всяких сомнений, Слейп был готов убить его. Если это была игра, то Слейп явно наслаждался своей ролью. Она называлась «Убийца своего учителя». Нож все так же медленно, но неуклонно вдавливаемый, бережно вонзался в тело Рэдмена. Струйка крови превратилась в горячий поток, постепенно заполнявший его брюки.

— Кевину нравится иногда приходить к нам и немного поиграть.

— Хенесси?

— Вы предпочитаете называть нас по фамилиям, да? Это почти по-мужски, верно я говорю? Это значит, что мы уже не дети, а взрослые. Но Кевин совсем не взрослый, если хотите знать. Он никогда не хотел быть взрослым. И знаете почему? (Лезвие ножа все так же неторопливо резало его

мускулы.) Он думал, что как только ты становишься взрослым, так сразу начинаешь умирать, а Кевин говорил, что никогда не умрет.

— Никогда не умрет?

— Никогда.

— Я хочу повидать его.

— Все хотят, сэр. Он — харизматический лидер. Так о нем сказала доктор Ловерхол: он — харизматический лидер.

— Я хочу повидать этого харизматического парня.

— Скоро повидаете, сэр.

— Сейчас.

— Я сказал «скоро».

Рэдмен схватил запястье Слейпа так быстро, что тот не успел двинуть ножом ни в ту, ни в другую сторону. Возможно, реакция подростка была заторможена каким-то наркотиком — бывший полицейский сквал пальцы, и нож упал на пол. Левой рукой Рэдмен обвил шею Слейпа, довольно сильно надавив на адамово яблоко.

— Где Хенесси? Ты отведешь меня к нему?

Подросток хрюпел, уставившись на него мутными вытащенными глазами.

— Отведи меня к нему! — потребовал Рэдмен.

Слейп нашупал рану на животе Рэдмена и вцепился в нее ногтями. Рэдмен выругался и разжал правую руку. Слейп почти вырвался, но получил резкий удар коленом в пах. Взыв от боли, подросток рванулся с удвоенной силой, однако локоть, державший его шею, не дал ему выскоcить. Колено взметнулось снова — уже резче. И еще раз. И еще.

Из глаз Слейпа непроизвольно брызнули слезы, сразу растекшиеся по вулканическим фурункулам на его лице.

— Я могу сделать тебе в два раза больнее, чем ты мне, — сказал Рэдмен. — Если ты хочешь всю ночь продолжать это занятие, то я буду счастлив доставить тебе такое удовольствие.

Слейп замотал головой, сдавленным горлом глотая воздух, который ловил широко открытым ртом.

— Больше не хочешь?

Слейп снова замотал головой. Рэдмен вытолкнул его из комнаты в коридор. Подросток ударился о противоположную

стену и, опустившись на пол, замер в положении утробного плода.

— Где Лью?

Слейп затрясся всем телом, затем, стуча зубами, заговорил:

— А вы думаете где? Кевин забрал его.

— Где Кевин?

Слейп снова замер и с явным недоумением взглянул на Рэдмена.

— Вы что, не знаете?

— Если бы знал, не спрашивал бы.

Слейп издал приглушенный стон и начал клониться вперед. В первую секунду Рэдмен подумал, что подросток собирался растянуться на полу, однако у того были другие намерения. Внезапно он схватил лежавший неподалеку нож и, распрямившись со скоростью сжатой пружины, бросился на Рэдмена. Рэдмен отпрянул, чудом избежав удара, и Слейп снова оказался на ногах. Боли как не бывало. Лезвие, сверкая, рассекало воздух во всех направлениях. Слейп сквозь зубы шипел проклятия и торопился побыстрей осуществить свое желание.

— Убью, свинья! Убью!

Затем его рот широко раскрылся, и он закричал во все горло:

— Кевин! Кевин! На помощь!

Взмахи ножа становились все менее целенаправленными. Наступая на свою жертву, Слейп все больше терял контроль над собой. Его глаза застилали пот и слезы, из носа текли сопли, мешавшие ему дышать.

Рэдмен выбрал момент и изо всей силы ударил мыском ботинка под колено больной, как рассчитывал, ноги Слейпа. Он не просчитался, Слейп взвыл и, прижав локти к бокам, медленно повернулся лицом к стене. Не давая ему прийти в себя, Рэдмен с размаху пнул подростка ногой в спину. Он слишком поздно осознал то, что сделал. Слейп вздрогнул, распрямился, и его правая рука, уже безоружная, но окровавленная, стала хвататься за воздух. Испустив хриплый предсмертный выдох, он рухнул на пол. В его животе торчала рукоятка ножа. Слейп умер, еще не успев упасть.

Рэдмен испуганно уставился на неподвижное тело. Он все еще не привык к внезапности смерти. Так быстро уйти из

жизни! Угаснуть, как изображение на экране телевизора.
Нажал на выключатель — и темнота. И никаких вестей из нее.

Тишина в коридорах стала оглушающей — он уже шел обратно к вестибюлю. Порез на животе был незначительным, кровь, прилипшая к рубашке, превратилась в подобие времененного пластиря. Рана почти не болела. Но порез был не самой важной его проблемой: он должен был решить возникшую загадку — и не находил в себе силы даже подступиться к ней. Гнетущая атмосфера этого заведения заставляла его чувствовать себя подавленным и уставшим. Слишком нездоровой была окружающая обстановка — нездоровой и безумной.

Внезапно он поверил в привидения.

В вестибюле горел свет — пыльная лампочка над мертвым пространством пустого помещения. Рэдмен вытащил из кармана смятый конверт и прочитал письмо Лью. Угловатые буквы, тлеющие на белой бумаге, были подобны ломанным спичкам, от которых вспыхнула его паника.

Мама.

Меня скормили свинье. Не верь, если тебе скажут, что я никогда не любил тебя или что я сбежал от них. Я не убежал от них. Они скормили меня свинье. Я люблю тебя.

Томми.

Он сунул письмо в карман, выбежал из здания и опрометью помчался через поле. Уже сгостила мгла, тяжелая, беззвездная и слепая. Тропинку, ведущую к ферме, нелегко было найти и при дневном свете — тем более ночью. Вскоре он понял, что сбился с дороги; очутился где-то между игровой площадкой и деревьями. Расстояние до главного здания было слишком большим, чтобы разглядеть его очертания, а все деревья казались похожими одно на другое.

Воздух был затхлым и застоявшимся: ни дуновения ветерка, который мог бы освежить уставшее тело. Вокруг все было так же неподвижно, как и в доме, точно целый мир превратился в душную комнату с серыми облаками, нарисованными на потолке.

Не слыша ничего, кроме гула в голове, он стоял посреди этой темноты и пытался сориентироваться.

Слева, где, как ему казалось, должны были находиться пристройки, мерцал какой-то огонек. Приглядевшись к нему, он понял свою ошибку. Свет горел в хлеве. Там отчетливо различались контуры загородки для кур. Рядом было несколько человеческих фигур, застывших и как будто смотревших на какое-то зрелище, которого он не видел.

Он направился к хлеву, еще не зная, что будет делать, когда окажется там. Если все они были вооружены, как Слейп, и разделяли его агрессивные намерения, то он шел навстречу собственной смерти. Эта мысль его не испугала. Любая возможность покинуть этот наглоухо замкнутый мир была благоприятным исходом сегодняшнего вечера, гнетущего и бесконечного.

И там был Лью. После разговора с Ловерхол он какое-то время сам не мог понять, почему так заботился об этом мальчике. То обвинение в особой опеке — в нем была доля истины. Испытывал ли он, бывший полицейский, какое-то предосудительное влечение к Томми Лью? Хотел ли видеть его обнаженным перед собой? Не в этом ли состоял подтекст реплики, которую бросила ему Ловерхол? Как бы то ни было, даже сейчас, неуверенно продвигаясь в сторону огней, он мог думать только о глазах этого мальчика, огромных, умоляющих и глядящих в его душу.

Впереди появилось еще несколько людских фигур, вышедших из фермы. Они были хорошо различимы на фоне огней в хлеве. Неужели все было кончено? Он сделал большой крюк влево, чтобы не повстречаться с возвращавшимися зрителями. Они двигались бесшумно: не перешептывались, не смеялись. Все порознь шли, склонив головы, как собрание людей, покидающих кладбище после похорон. Было жутко видеть этих безбожных сорванцов такими торжественными и благоговейными.

Он добрался до куриной загородки, не столкнувшись ни с одним из них.

Перед хлевом все еще оставались пять или шесть человеческих силуэтов. Кирпичная стена была озарена пламенем многих дюжин свечей, обрамлявших ее с четырех сторон. Они отбрасывали густые красноватые блики на каменную кладку постройки и на лица тех, кто смотрел на ее подножие.

Среди них были Ловерхол и тот надзиратель, который в первый день стоял на коленях перед головой Лью. И еще двое или трое подростков, чьи фамилии он абсолютно не помнил.

Из хлева доносились хруст и шорох: свинья лениво возилась в соломе. Кто-то говорил, но Рэдмен не мог разобрать, кто именно. Какой-то детский голос, тонкий и музикальный. Когда в этом голосе прозвучали повелительные интонации, надзиратель и один из мальчиков повернулись и ушли в темноту. Рэдмен подкрался немного ближе. Сейчас была дорога каждая минута. Скоро первая группа ребят должна была пересечь поле и вернуться в главное здание. Там они могли увидеть труп Слейпа и поднять тревогу. Нужно было поскорее найти Лью, если его еще можно было найти.

Ловерхол первой заметила его. Она оторвала взгляд от хлева и приветливо кивнула, ничуть не обеспокоенная его появлением. Точно его присутствие в этом месте было неудивительным и даже неизбежным, точно все дороги Тифердауна вели к этой куче соломы, разившей тяжелым смрадом экскрементов. Казалось, Ловерхол думала именно так. Он и сам был готов так думать.

— Ловерхол, — все еще не веря своим глазам, произнес он.

Она открыто и широко улыбнулась ему. Подросток, стоявший рядом с ней, поднял голову и тоже улыбнулся.

— Ты Хенесси? — спросил он, глядя на мальчика.

Тот засмеялся вместе с Ловерхол.

— Нет, — сказала она. — Нет, нет. Хенесси здесь.

Она указала на хлев.

Рэдмен приблизился к кирпичной стене.

— Где? — встретившись взглядом со спокойно лежавшей свиньей, спросил Рэдмен.

— Здесь, — ответил мальчик.

— Это свинья.

— Она съела его, — продолжая улыбаться, сказал подросток. — Она съела его, и он теперь говорит из нее.

Рэдмену захотелось смеяться. Басни о призраках, которые рассказывал Лью, звучали вполне приемлемо по сравнению с этим признанием. Оказывается, свинья была чревовещательницей.

— Хенесси повесился? Томми говорил правду?

Ловерхол кивнула.

— В хлеве?

И снова кивок.

Внезапно свинья предстала перед ним в новом виде. Недоверчиво оглядевшись, он вообразил ее обнюхивающей ноги Хенесси и терпеливо ожидающейся окончания предсмертных конвульсий: ноги неподвижно застыгают, и у нее из пасти начинает капать слюна. Он увидел, как она рывками тащит к себе тело, облизывает, обгрызает — и пожирает без остатка. Нетрудно было понять, как у этих подростков возник их варварский культ: и сочиненные ими гимны, и поклонение свинье как божеству. Все эти свечи, торжественное молчание, намерение совершить человеческое жертвоприношение — все это свидетельствовало о порочности, но было не более странным, чем тысячи других религиозных обрядов. Он даже стал понимать апатию Лью, его неспособность бороться с силами, которые овладели им.

«Мама, меня скормили свинье».

Не «мама, помоги, спаси меня». Просто: меня отдали свинье.

Все это он мог понять: они были еще детьми, многие из них — совершенно необразованные, склонные к предрассудкам и суевериям. Но это не объясняло поведения Ловерхол. Она снова смотрела в глубь хлева, и он только сейчас заметил, что ее волосы были распущены. Они падали на плечи плавными волнами, отсвечивавшими мягким медовым оттенком.

— По-моему, это всего лишь обыкновенная свинья, — сказал он.

— Она говорит его голосом, — спокойно произнесла она. — Его языком, если вам так больше нравится. Скоро вы услышите его. Моего дорогого мальчика.

Тут он понял.

— Вы и Хенесси?

— Не смотрите на меня так испуганно, — сказала она. — Ему было восемнадцать, волосы черные, как смоль. И он любил меня.

— Зачем он повесился?

— Чтобы жить всегда, — ответила она. — Чтобы никогда не стать взрослым и не умереть.

— Мы шесть дней не могли найти его, — подойдя сзади к Рэдмену, почти прошептал подросток. — И даже тогда она никого не подпускала к нему, потому что он принадлежал ей. Я хочу сказать — свинье, а не доктору. Знаете, Кевина все любили. — Его губы приблизились к уху Рэдмена. — Он был очень красивым.

— А где Лью?

Улыбка медленно сползла с лица Ловерхол.

— С Кевином, — сказал подросток. — Там, где он нужен Кевину.

Он указал в дверной проем. На соломе спиной к выходу лежало человеческое тело.

— Если он вам нужен, то отправляйтесь к нему, — сказал подросток, и в следующее мгновение его пальцы впились в горло Рэдмена.

Рэдмен попытался вырваться и в то же время ударил локтем в живот подростка. Тот охнул, разжал пальцы и скорчился где-то сзади, но его место уже заняла Ловерхол.

— Отправляйся к нему! — закричала она, вцепившись в волосы Рэдмена. — Отправляйся, если хочешь его! — Ее ногти расцарапали его нос и виски, едва не задев глаз.

— Пусти! А ну,пусти!

Он пробовал сбросить с себя женщину, но она висела на нем мертвой хваткой. Она визжала и мотала головой из стороны в сторону, изо всех сил стараясь прижать его к стене.

Все остальное произошло с ужасающей быстротой. Ее волосы коснулись горевшей свечи и вспыхнули, как промасленная пакля. Испустив душераздирающий вопль, она отпрянула и натолкнулась на невысокие ворота хлева. Те не выдержали веса ее тела и повалились внутрь. Рэдмен увидел, как объятая пламенем женщина упала на солому и огонь с готовностью рванулся вверх, сразу охватив развешанные на стенах связки хвороста.

И даже сейчас свинья была всего лишь свиньей. Никакого чуда не случилось: не было ни угроз, ни криков о помощи. Животное просто в панике завизжало, когда языки пламени лизнули его бока. В воздухе запахло паленой шерстью. Щетина загорелась, как подожженная сухая трава.

Ее голос был голосом свиньи, паника — паникой свиньи. Истерически визжа и хрюкая, она бросилась через тело

Ловерхол, оттолкнулась от него копытами и выскочила в сломанные ворота.

Полыхавшая, как факел, носившаяся по полю и от боли шарахавшаяся во все стороны, она представляла собой поистине волшебное зрелище. Ее вопли продолжали слышаться даже тогда, когда сама она уже исчезла в темноте: тогда крик стал похожим на эхо, долго не затихающее в пустом и запертом помещении.

Рэдмен перешагнул через чадящий труп Ловерхол и вошел в хлев. Солома горела все ярче, пламя уже подбиралось к двери. К потолку поднимались клубы едкого дыма. Прищурив глаза и набрав в легкие воздуха, он нырнул во мглу.

Лью лежал у самого выхода, так же неподвижно, как и прежде. Рэдмен перевернул его на спину. Он был еще жив. И он был в сознании. Его лицо исказила гримаса ужаса, глаза грозили вылезти из орбит.

— Вставай, — сказал Рэдмен, наклонившись над мальчиком.

Тело Лью свело от судорог, и Рэдмену с трудом удалось разнять его онемевшие руки. Всячески подбадривая мальчика, он поставил его на ноги только тогда, когда дым уже начал обволакивать помещение свиньи.

— Давай, давай. Все в порядке.

Рэдмен расправился, и в этот момент что-то зашевелилось у него в волосах. Почувствовав у себя на щеках мелкий дождик из холодных и мокрых червей, он поднял глаза и увидел Хенесси — или то, что от него осталось, висевшее на верхних балках хлева. Его лицо было почерневшим и смыщенным, как сущеный гриб, черты были неразличимы. Тело было обглоданным до пояса, и из зловонных внутренностей сыпались черви, падавшие на голову и плечи Рэдмена.

Если бы не дым, смрад тела был бы невыносимым. Рэдмена стошило, и рвотные спазмы придали ему силы. Он вывел Лью из-под тошнотворного дождя и вытолкнул за дверь.

Снаружи солома уже догорала, но даже мерцание свечей и тлевшего трупа, казавшееся ослепительным после темноты хлева, заставили его зажмуриться.

— Ну, давай, парень, — сказал он и перенес ребенка через огонь. Глаза мальчика, большие и неподвижные, све-

тились лунатическим блеском. Они говорили об обреченностии всех попыток вырваться из этого ада.

Взрослый и подросток прошли через ворота, обогнули тело Ловерхол и направились через поле в темноту, отделявшую их от главного здания.

Мальчик, казалось, с каждым шагом все больше оправлялся от недавнего оцепенения. Хлев, полыхавший позади, уже был дымящимся воспоминанием. Мгла, царившая впереди, была такой же непроницаемой, как и прежде.

Рэдмен старался не думать о свинье. Скорее всего, та была уже мертва.

Правда, продвигаясь вперед, они все время слышали какой-то гул под ногами, как будто что-то огромное неоступно следовало за ними, враждебное и неумолимо приближавшееся.

Он тянул Лью за руку. Он торопился миновать выжженную солнцем неровную площадку. Лью негромко стонал — еще не слова, но уже какой-то звук. Стон был хорошим признаком, и Рэдмен немножко приободрился. До сих пор он беспокоился за рассудок мальчика.

До здания они добрались без происшествий. Коридоры были такими же пустыми, как и час назад. Вероятно, тело Слейпа еще не нашли. Иначе почему никого не было ни на крыльце, ни на лестнице? Наверное, подростки сразу разошлись по спальням и уснули, уставшие от всего, что пережили вечером.

Самое время найти телефон и вызвать полицию.

Держась за руки, взрослый и ребенок направились к кабинету директора. Лью снова замолчал, но выражение его лица уже не было таким безумным; казалось, он мог в любую минуту разразиться очистительным потоком слез. Он сопел, издавал горлом какие-то хриплые звуки.

Его рука сжала ладонь Рэдмена, а затем расслабилась.

Впереди вестибюль был погружен в темноту. Кто-то совсем недавно разбил лампочку. Патрон с осколками стеклянной колбы еще раскачивался на своем проводе, освещаемый из окна тусклым лучом света.

— Давай, давай. Здесь нам нечего бояться. Давай, мальчик.

Внезапно Лью наклонился к запястью Рэдмена и впился в него зубами. Этот трюк был проделан так быстро, что

Рэдмен непроизвольно выпустил мальчика, и тот со всех ног бросился во мрак коридора, ведущего из вестибюля.

Ничего. Все равно он не смог бы далеко убежать. Рэдмен впервые порадовался тому, что у этого заведения были высокие стены с колючей проволокой над ними.

Он пересек темный вестибюль и подошел к комнате секретаря. Никакого движения. Тот, кто разбил лампочку, сохранял спокойствие и ничем не выдавал себя.

Телефон оказался разнесенным вдребезги. Не просто разбитым, а превращенным в груду пластмассовых и металлических обломков.

Рэдмен вернулся к кабинету директора. Там тоже был телефон, недосягаемый для вандалов.

Дверь, конечно же, была заперта, но Рэдмен и не ожидал ничего другого. Он локтем разбил матовое стекло над дверной ручкой и просунул руку внутрь. Ключа с той стороны не было.

Мысленно выругавшись, он попробовал вышибить дверь плечом. Добротное дерево поддалось не сразу. К тому времени, когда замок был выбит, у Рэдмена болело все тело, а на животе снова открылась рана. Наконец он ввалился в кабинет.

Его пол был устлан грязной соломой, смрад казался еще более невыносимым, чем в хлеву. Рядом со столом лежал наполовину выпотрошенный труп директора.

— Свинья, — сказал Рэдмен. — Свинья. Свинья.

И, продолжая повторять это слово, потянулся к телефону.

Раздался какой-то звук. Он обернулся и всем лицом встретил удар, от которого у него сломались переносица и скула. Комната сначала засверкала яркими вспышками света, а потом побелела.

В вестибюле уже не было темно, как прежде. Всюду горели свечи, десятками или даже сотнями расставленные под каждой стеной. Правда, он был контужен, и его глаза не могли ни на чем сосредоточиться. Поэтому вполне вероятно, что горела всего одна свеча, многократно размноженная его болезненными чувствами.

Он стоял посреди вестибюля и не понимал, как это ему удавалось, потому что ноги его не слушались, он их не

ощущал под собой. Откуда-то издалека доносились приглушенное бормотание людских голосов. Слова были неразличимы и скорее даже были не словами, а какими-то бессмысленными, нечленораздельными звуками.

Затем он услышал похрюкивание: утробное, астматическое похрюкивание свиньи, которая вскоре появилась перед ним, между плавающими языками пламени. Она больше не была ни лоснящейся, ни очаровательной. Ее бока были обуглены, глаза сморщены, а рыло неправдоподобно перекрученено вокруг шеи. Она медленно заковыляла к нему, и так же медленно показалась человеческая фигура на ее спине. Это был, конечно же, Томми Лью — нагой и розовый, как один из ее детенышей. Ни его глаза, ни лицо не выражали ничего такого, что можно было бы назвать человеческими чувствами. Он правил свиньей, держа ее за уши. Хрюкающие звуки, которые слышал Рэдмен, доносились не из пасти животного, а из его рта. У него был голос свиньи.

Стараясь сохранять спокойствие, Рэдмен позвал его по имени. Не Лью, а Томми. Мальчик, казалось, не рассыпал. Свинья и ее наездник уже немного приблизились, когда Рэдмен понял, почему до сих пор не упал ничком на пол. Вокруг его шеи была обмотана толстая веревка.

Не успел он о ней подумать, как петля затянулась и тело оказалось поднятым в воздух.

Он почувствовал не боль, а неописуемый ужас — им овладело нечто гораздо большее и худшее, чем боль, и оно поглотило его без остатка.

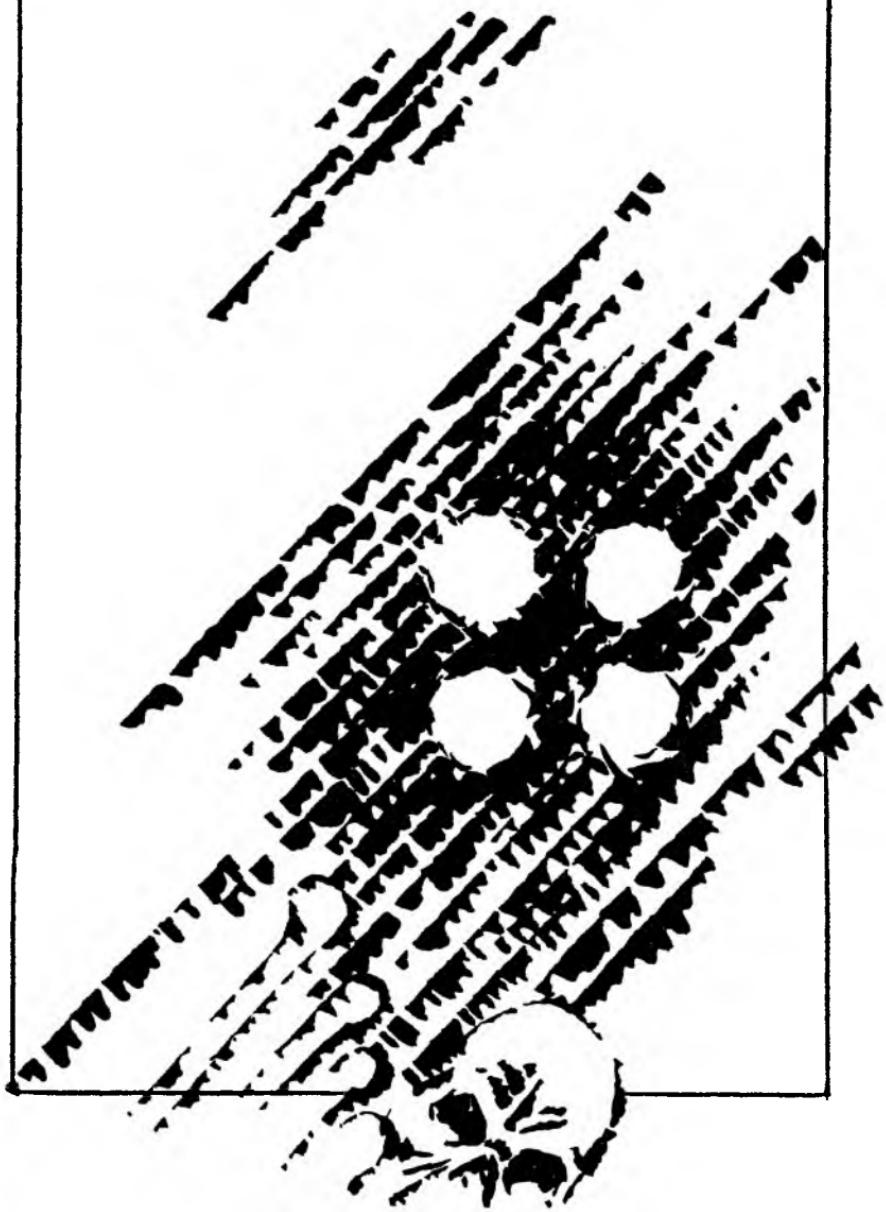
Свинья неспеша подошла к его раскачивающимся ногам. Мальчик слез с нее и встал на четвереньки. Рэдмен увидел гладкую золотистую кожу его спины. И еще он увидел узловатую веревку, обвязанную вокруг пояса и свисавшую между бледными ягодицами. Ее свободный конец был распущен, наподобие кисточки. Нет, не кисточки — свиного хвоста.

Свинья задрала рыло, хотя ее обгоревшие глаза не могли ничего видеть. Рэдмена немного утешала мысль о том, что она страдала сейчас и должна была страдать до самой смерти. Затем ее пасть открылась, и она заговорила. Он не совсем понял, как ей удавалось произносить человеческие слова, но, как бы то ни было, она произнесла их. Тонким детским голосом.

— Такова участь скотов, — сказала она. — Поедать и быть съеденными.

Затем свинья совсем по-человечески улыбнулась, и Рэдмен почувствовал первый приступ невыносимой боли (хотя до сих пор думал, что не ощущал себя), когда Лью впился зубами в его ступню и стал взбираться вверх по висевшему телу, постепенно лишая его плоти и жизни.

СЕКС, СМЕРТЬ
И СИЯНИЕ ЗВЕЗД





A. A. Myshkin 94



иана провела пальцами по рыжеватой щетине, отросшей за день на подбородке Терри.

— Ты мне нравишься, — сказала она. — Тебе идет. Ей все в нем нравилось, во всяком случае, так она заявляла.

Когда он целовал ее: «Ты мне нравишься».

Когда раздевал: «Ты мне нравишься».

Когда стягивал с нее трусики: «Ты мне нравишься».

Она с таким неподдельным энтузиазмом повалилась перед ним на колени, что ему оставалось только смотреть за ее качающейся пепельноволосой головой и молить Бога, чтобы никого не угораздило зайти в гримерную. Как никак, она была замужней женщиной, хотя и актрисой. У него тоже была жена — пусть даже он сам не знал, где именно. Этот тет-а-тет мог послужить смачным поводом для шумихи в какой-нибудь из местных бульварных газетенок, а он хотел сохранить за собой репутацию серьезного театрального режиссера: никаких скандалов, никаких сплетен, только искусство.

Затем все мысли об амбициях растаяли на ее языке, вразнос игравшем его нервными окончаниями. У нее не было большого актерского таланта, но, Господь свидетель, эту свою роль она исполняла неподражаемо. Безукоризненная техника, безупречное чувство партнера; инстинкт или частые репетиции, но она знала, как подобрать верный ритм и привести все действие к благополучному финалу.

В кульминационный момент этого акта он почти хотел аплодировать.

Разумеется, весь состав актеров, занятых в постановке «Двенадцатой ночи», знал об их связи. Были нередки даже сальные комментарии, когда актриса и режиссер опаздывали на репетицию, когда она выглядела чересчур довольной, заставляя его краснеть. Он пробовал убедить ее в том, что женщина должна следить за выражением своего лица, но она была плохой притворщицей. Что могло показаться странным, учитывая ее профессию.

Но Ла Дюваль, как настойчиво просил называть ее Эдвард, не нуждалась в большом даре перевоплощения: она была знаменита. Что с того, что она декламировала Шекспира как если бы хотела отчеканить «Гайавату»: трам-та-там, трам-та-та-там? Что с того, что смутно разбиралась в психологии персонажей, не понимала их внутренней логики и не представляла, как адекватно передать сценический образ? Что с того, что не чувствовала поэзии так, как умела чувствовать наживу? Она была звездой, а это означало бизнес и ничего кроме бизнеса.

Без нее нельзя было обойтись: ее имя обещало деньги. Вот почему перед входом в Театр Элизиум красовалась афиша с трехдюймовыми буквами, напечатанными внизу:

ДИАНА ДЮВАЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ РОЛИ
В СПЕКТАКЛЕ «ДИТЯ ЛЮБВИ».

«Дитя любви». Вероятно, худшая из всех мыльных опер, когда-либо мелькавших на экранах телевизоров: каждый день по сорок пять минут напыщенных диалогов, бесконечных сцен прощания и слезоточивых встреч, в результате чего она в течение года завоевывала наивысшие рейтинги, а ее исполнители стали самыми крупными звездами на фальшивом телевизионном небосклоне. Ярчайшей из которых была Диана Дюваль.

Может быть, она не родилась для классических ролей, но зато она была кладом для театральной кассы. А в эпоху пустующих лож и партеров это было важнее всего.

Каллоуэй рассчитывал на то, что участие Дианы обеспечит его «Двенадцатой Ночи» по крайней мере коммерческий успех, который открыл бы ему кое-какие двери в Вест-Энде.

Кроме того, работа с такой энергичной актрисой, как миссис Д. Дюваль, имела свои преимущества.

Каллоуэй застегнул брюки и посмотрел на нее. В ответ она подарила ему очаровательную улыбку, одну из тех, что использовала в недавней сцене. Улыбка номер пять из репертуара Дианы ла Дюваль: что-то среднее между девственной и материнской.

Он в свою очередь удостоил ее взглядом из собственного бутафорского реквизита: выражением глубокой благодарности, которую с расстояния в пять ярдов можно было принять за неподдельную. Затем сверился с часами.

— Господи! Милая, мы опаздываем.

Она облизала губы. Неужели ей и в самом деле так нравился этот вкус?

— Может быть, мне сначала причесаться? — спросила она и, встав, погляделась в длинное зеркало над раковиной.

— Да.

— Как ты себя чувствуешь?

— Лучше невозможno, — ответил он и, поцеловав ее в плечо, вышел из комнаты.

По пути на сцену он заглянул в мужскую гримерную, чтобы привести в порядок одежду и ополоснуть холодной водой раскрасневшиеся щеки. Занятия сексом всегда сказывались на его кровообращении. Вытерев лицо, Каллоуэй критически посмотрел в зеркало. После тридцати шести лет игры в прятки с собственным возрастом ему предстояло отказаться от части своего прежнего амплуа. Едва ли он теперь мог претендовать на роль пылкого юноши. Под глазами были неоспоримые припухлости, которые не имели ничего общего с бессонницей, так же, как и морщины на лбу или вокруг рта. Увы, он уже давно не выглядел подающим надежды вундеркиндом, все тайны распутной жизни были написаны на его лице. Излишества в сексе, чрезмерное пристрастие к спиртному, стрессы от изнурительных поединков с судьбой и всегда упущенное одного главного шанса. Он с горечью подумал о том, как мог бы сейчас выглядеть, если бы довольствовался каким-нибудь менее притязательным репертуаром, гарантировавшим десяток-другой зрителей на каждый вечер сезона. Пожалуй, тогда его физиономия была бы гладкой, как попка младенца и как у большинства

людей, работающих в периферийных театрах. Безалобные, обреченные, несчастные кролики.

— Ну а ты рискуешь и платишь за это, — сказал он самому себе.

Он в последний раз взглянул на осунувшегося херувима в зеркале и, отметив, что, какими бы заметными ни были мешки под глазами, женщины все еще не могли сопротивляться ему, побрел испытывать все тяготы и горести третьего акта.

На сцене разгоралась какая-то жаркая дискуссия. Плотник — его звали Джейк — уже сколотил две ограды для сада Оливии. Их еще предстояло прикрыть листвой, но даже сейчас они, протянувшись из глубины сцены к циклораме, где предстояло нарисовать остальную часть пейзажа, выглядели вполне впечатляющие. Не какая-нибудь символическая бутафория. Сад как сад: зеленая трава, голубое небо. Как раз такой, каким публика хотела видеть Бирмингем. Терри в некотором смысле симпатизировал ее неизощренным вкусам.

— Терри, любовь моя.

Эдди Каннингхем взял его под локоть и повел к спорившим.

— В чем проблема?

— Терри, любовь моя, скажи, что ты не всерьез задумал эти чертовы (он выговорил не без изящества: ч-чертовы) ограды. Скажи дяде Эдди, что это не всерьез, пока я не грехнулся в обморок. (Он сделал широкий жест в сторону циклорамы.) Ведь ты же и сам видишь их? (Он сплюнул на пол.)

— В чем проблема? — снова спросил Терри.

— Проблема? В движении, любовь моя, в движении. Пожалуйста, подумай еще раз. Мы только что repetировали всю сцену, и я скакал через эти барьера, как молодой горный козел. Я просто не успеваю обежать их вокруг. И послушай! Они загромождают весь задник, эти ч-чертовы ограды.

— Но без них нельзя, Эдди. Они нужны для иллюзии.

— Они мне мешают, Терри. Ты должен понять меня.

Он вызывающее посмотрел на остальных людей, находившихся на сцене: плотников, двух рабочих и трех актеров.

— От них слишком много неудобства.

— Эдди, мы можем немного раздвинуть их.

— Вот как?

Он сразу сник.

— По-моему, это самое простое решение.

— А как же сцена с крокетом?

— Вот ее мы можем сократить. Извини, мне нужно было подумать об этом заранее.

Эдди отвернулся.

— Пожалуйста, любовь моя, почаше обдумывай все заранее.

Послышалось приглушенное хихиканье. Терри пропустил его мимо ушей. Эдди был отчасти прав: он не отдавал никаких точных указаний о размерах этих проклятых оград.

— Извини, Эдди, извини. Та сцена все равно была слишком затянутой.

— Ты бы не сократил ее, если бы в ней играл не я, а кто-нибудь другой, — сказал Эдди.

Он бросил презрительный взгляд на появившуюся Диану и направился в гримерную. Уход разгневанного актера, передний план. Каллоуэй не пытался остановить его. Это не улучшило бы ситуации. Поэтому он только пробормотал «О, Господи!» и провел рукой по лицу. Таков был роковой недостаток его профессии: работать с актерами.

— Кто-нибудь сходит за ним? — сказал он немного погодя.

Молчание.

— Где Рыен?

Высунувшись из-за злополучной ограды, режиссер-постановщик огляделся и водрузил на нос очки.

— В чем дело?

— Рыен, милый, ты можешь отнести Эдди чашку кофе и вернуть его в лоно семьи?

Рыен сстроил гримасу, которая означала: ты обидел его, тебе и идти. Однако Каллоуэй уже имел некоторый опыт укрощения его строптивости: тут не требовалось большого мастерства. Он не переставал в упор смотреть на Рыена, вызывая его на возражения, до тех пор, пока противник не опустил глаза и не кивнул — хотя и с еще более недовольным видом, чем прежде.

— Ладно, — угрюмо сказал он.

— Хороший мальчик.

Рыен бросил на него укоризненный взгляд и исчез, отправившись в погоню за Эдди Каннингхемом.

— Как всегда. Ни одного шоу без грома и молнии, — проговорил Каллоуэй, стараясь немного разрядить напряженную атмосферу.

Кто-то хмыкнул. Небольшой полукруг зрителей начал таять. Шоу было окончено.

— О'кей, — окликом остановил их Каллоуэй. — Теперь все за работу. Повторяем ту же самую сцену. Диана, ты готова?

— Да.

— Хорошо. Приступаем.

Чтобы собраться с мыслями, он отвернулся от сада Оливии и выжидательно застывших актеров. Лампы горели только над сценой, в зале было темно. Там зияла черная пустота, ряд за рядом углублявшаяся и жадно требовавшая все новых подачек, уже и так пресыщенная развлечениями. Да, в его жизни случались дни, когда удовольствие какого-нибудь бухгалтера казалось ее единственным и благополучнейшим завершением, если перефразировать Принца Датского.

В амфитеатре Элизиума что-то зашевелилось. Каллоуэй отвлекся от своих мыслей и, сощурившись, взгляделся во мрак. Не Эдди ли нашел убежище на заднем ряду? Нет, конечно нет. Хотя бы потому, что не успел забраться туда.

— Эдди? — козырьком приставив ладонь ко лбу, на всякий случай позвал Каллоуэй. — Это ты?

Он никак не мог разглядеть двигавшейся фигуры. Нет, не фигуры — фигур. Двух человек, медленно пробирающихся к выходу из зрительного зала.

— Это не Эдди, нет? — спросил Каллоуэй, обернувшись к бутафорскому саду.

— Нет, — ответил кто-то.

Говорил сам Эдди. Он стоял за циклорамой, облокотившись на ограду и держа в губах незажженную сигарету.

— Эдди...

— Ладно, все в порядке, — добродушно произнес актер. — Не унижайся. Не выношу, когда симпатичные мужчины унижаются.

— Может быть, мы куда-нибудь впихнем эту сцену с крокетом.

Эдди зажег сигарету и, затянувшись, покачал головой.

— Ни к чему.

— Правда?..

— Все равно у меня не слишком хорошо получалось.

Скрипнула, а затем хлопнула центральная дверь. Каллоуэй даже не обернулся. Кем бы ни были недавние посетители, они ушли.

— Сегодня кто-то заходил в театр.

Хаммерсмит оторвался от листа бумаги с двумя колонками цифр и поднял голову.

— Да?

Движение взметнувшейся челки было подхвачено его густыми, жесткими бровями. В деланном изумлении они взлетели высоко над крошечными глазками Хаммерсмита. Желтыми от никотина пальцами он потеребил нижнюю губу.

— Кто же это был?

Не оставляя в покое свою пухлую губу, он задумчиво взгляделся в посетителя, на лице мелькнуло пренебрежительное выражение.

— Это какая-то проблема?

— Я просто хочу знать, кто подглядывал за репетицией, вот и все. Полагаю, у меня есть полное право на подобное любопытство.

— Полное право, — повторил Хаммерсмит и недовольно кивнул.

— Я слышал, сюда собирались зайти из Национального театра, — сказал Каллоуэй. — Так говорил мой коммерческий агент. Я только не хочу, чтобы к нам приходили без моего ведома. Особенно если это важные посетители.

Хаммерсмит уже снова изучал колонки цифр. В его голосе прозвучали усталость и досада.

— Терри, если кто-нибудь с Южного Берега придет взглянуть на твое творение, то, обещаю, ты первым узнаешь об этом. Ты удовлетворен?

Интонации были нестерпимо грубыми. Они означали: катись отсюда, мальчик, и не мешай занятым людям. Каллоуэй ощутил острое желание ударить его.

— Я не хочу, чтобы подглядывали за моей работой. Слышишь, Хаммерсмит? И я хочу знать, кто сегодня был в театре!

Менеджер тяжело вздохнул.

— Поверь мне, Терри, — сказал он. — Я и сам не знаю. Полагаю, тебе нужно спросить у Телльюлы. Сегодня она

дежурила у входа в театр. Если кто-нибудь заходил, то она не могла не заметить его.

Он еще раз вздохнул.

— Ну, все в порядке? Да, Терри?

Каллоуэй вышел, оставив вопрос без ответа. Он не доверял Хаммерсмиту. Этому человеку не было абсолютно никакого дела до театра, о чем он сам не переставал упоминать; если с ним говорили не о деньгах, то он напускал на себя такой усталый вид, точно эстетические тонкости были ниже его достоинства. И еще у него было слово, которым он объединял как всех актеров, так и режиссеров: «бабочки». Беззаботные однодневки. В мире Хаммерсмита вечными были только деньги, и Элизиум стоял на его земле: находился в собственности, правильно распорядившись которой, умный хозяин мог получать солидный доход.

Каллоуэй не сомневался в том, что Хаммерсмит продал бы театр завтра же, если бы смог приделать к нему колеса. Такому небольшому и растущему пригороду, как Реддитч, требовались не театры, а конторы, офисы, супермаркеты, склады: ему была нужна современная индустрия. А для этой новой индустрии нужны были земельные участки. Никакое искусство не могло выжить в такой прагматической обстановке.

Телльюлы не было ни в фойе, ни в подсобных помещениях.

Раздраженный грубостью Хаммерсмита и исчезновением Телльюлы, Каллоуэй вернулся в зрительный зал, чтобы забрать пиджак и пойти чего-нибудь выпить. Репетиция закончилась, актеры давно ушли. С последнего ряда партера две одинокие ограды выглядели жалкими и маленькими. Может быть, их не помешало бы увеличить на несколько дюймов. Он записал на обороте какого-то счета, который нашел в кармане: «ограды больше?»

Услышав звуки чьих-то шагов, он поднял голову и увидел человеческую фигуру, появившуюся на сцене. Плавная походка, задний план, как раз посередине, между декорациями. Каллоуэй не узнал этого мужчину.

— Мистер Каллоуэй? Мистер Теренс Каллоуэй?

— Да.

Незнакомец подошел к краю сцены, где в прежние времена были бы огни рампы, и вгляделся в темноту зала.

— Примите мои извинения, если отвлек вас от ваших мыслей.

— Ничего страшного.

— Я хотел бы поговорить.

— Со мной?

— Если не возражаете.

Каллоуэй прошел через партер и оценивающе оглядел посетителя.

Он с головы до пят был одет в серое. Серый костюм с начесом, серые ботинки, серый галстук. Самодовольный щеголь, в первую минуту подумал Каллоуэй. И почему-то решил, что гость был знаком с искусством производить впечатление на других людей. Широкополая шляпа затеняла черты его лица.

— Позвольте представиться.

Ясный, хорошо поставленный голос. Идеальный для того, чтобы звучать за кадром в какой-нибудь рекламе — например, туалетного мыла. После дурных манер Хаммерсmita этот голос определенно не резал слуха.

— Моя фамилия Литчфилд. Но я не ожидаю, что это много значит для человека в таком нежном возрасте, как ваш.

«Нежный возраст: ну-ну. А может быть, в нем еще осталось что-то от внешности вундеркинда?»

— Вы критик? — осведомился Каллоуэй.

Под шляпой наметилась явно ироническая улыбка.

— Именем Иисуса, нет, — ответил Литчфилд.

— Извиняюсь, но в таком случае я в затруднительном положении.

— Не стоит извиняться.

— Это вы были сегодня в зале?

Последний вопрос Литчфилд проигнорировал.

— Я понимаю, вы занятый человек, мистер Каллоуэй, и не хочу отнимать у вас много времени. Театр — мое ремесло, как и ваше. Думаю, мы станем союзниками, хотя и не встречались до сих пор.

Вот оно что. Великое братство служителей Мельпомены. Каллоуэй чуть не сплюнул с досады. Слишком много он повидал так называемых союзников, которые при первом удобном случае старались толкнуть его в спину, — драматургов, назойливости которых он в свою очередь не выносил, актеров, которых изводил небрежными насмешками и кол-

костями. К черту братство, это была грызня голодных псов, как и в любой другой области людских профессий.

— Я пытаю, — продолжил Литчфилд, — непреходящий интерес к Элизиуму.

Он довольно странно выделил слово «непреходящий». Оно прозвучало с каким-то похоронным оттенком. Непреходящий со мной.

— Вот как?

— Да, я провел немало счастливых часов в этом театре в течение многих лет. Искренне сожалею о том, что должен был прийти к вам с горькой вестью.

— С какой вестью?

— Мистер Каллоуэй, я вынужден сообщить вам, что ваша «Двенадцатая ночь» будет последней постановкой, которую увидит Элизиум.

Несмотря на то, что это сообщение не было неожиданным, оно тем не менее было болезненным. Выражение лица Каллоуэя не укрылось от внимания его гостя.

— Ах... так вы не знали. Не ожидал. Насколько понимаю, здесь предпочитают держать артистов в неведении? Служители Аполлона никогда не отказывают себе в подобном удовольствии. Месть уязвленного бухгалтера.

— Хаммерсмит, — пробормотал Каллоуэй.

— Хаммерсмит.

— Ублюдок.

— Его клану нельзя доверять. Вижу, вам не нужно говорить об этом.

— Вы думаете, театр будет закрыт?

— Увы, не сомневаюсь. Если бы он мог, то закрыл бы Элизиум завтра же.

— Но почему? Я поставил Стоппарда, Теннеси Уильямса — их всегда играют в хороших театрах. Зачем же закрывать? Какой смысл?

— Боюсь, исключительно финансовый. Если бы вы, подобно Хаммерсмиту, мыслили цифрами, то это было бы для вас вопросом элементарной арифметики. Элизиум стареет. Мы все стареем. Мы вымираем. Нам всем предстоит одна и та же участь: закрыть дверь с той стороны и уйти.

«Уйти» — в его голосе появились мелодраматические оттенки. Он как будто собирался перейти на шепот.

— Откуда у вас такие сведения?

— Я много лет был всей душой предан этому театру и, расставшись с ним, стал — как бы это сказать? — чаще прикладывать ухо к земле. Увы, в наши времена уже трудно возродить успех, который видела эта сцена...

Он ненадолго замолк. Как казалось, задумался о чем-то.

Затем вернулся к прежнему деловому тону:

— Этот театр близок к своей кончине, мистер Каллоуэй. Вы будете присутствовать на ритуале его погребения. Вы ни в чем не виноваты, но я чувствую... что должен был предупредить вас.

— Благодарю. Постараюсь оценить. Скажите, вы ведь были актером, да?

— Почему вы так подумали?

— Ваш голос.

— Отчасти риторический, я знаю. И боюсь, с ним ничего не поделать. Даже если им попросить чашку кофе, то он звучит как голос короля Лира во время бури.

Он виновато улыбнулся. Каллоуэй начинал испытывать теплые чувства к этому парню. Может быть, он выглядел несколько архаично, даже немного абсурдно, но в его натуре была какая-то аристократическая скромность, которая понравилась Каллоуэю. Литчфилд не превозносил своей любви к театру, как большинство людей его профессии, и не призывал громы и молнии на головы тех, кто работал, например, в кинематографе.

— Признаться, я немного утратил свою былую форму, — добавил Литчфилд. — Но, с другой стороны, я уже давно не нуждаюсь в ней. Вот моя жена...

Жена? Каллоуэй даже не подозревал, что у Литчфилда были гетеросексуальные склонности.

— Моя жена Констанция играла здесь довольно часто, и — могу сказать — с большим успехом. До войны, разумеется.

— Жаль, если театр закроют.

— Конечно. Но я боюсь, в последнем акте этой драмы никаких чудес не предвидится. Через шесть недель от Элизиума не останется даже камня на камне. Я только хочу, чтобы вы знали: за закрытием театра следят не одни лишь алчные и корыстолюбивые. Вы можете считать нас своими ангелами-хранителями. Мы желаем вам добра, Теренс, мы все желаем вам добра.

Это было сказано искренне и просто. Каллоуэя тронуло сочувствие его гостя. И стало немного совестно за свои честолюбивые амбиции. Литчфилд продолжил:

— Мы желаем, чтобы этот театр достойно закончил свои дни и принял добрую смерть.

— Какой позор...

— Сожалеть уже поздно. Мы совершили непростительную ошибку, когда предпочли Диониса Аполлону.

— Что?

— Продались бухгалтерам. Легитимности. Таким, как Хаммерсмит, чья душа, если она вообще есть, не превышает размеров моего ногтя, а цветом походит на серую вошь. Мы поддались малодушию и не послушались своего внутреннего голоса. Голоса, который служил поэзии и звучал под звездами.

Каллоуэй не совсем понял аллюзии своего гостя, но уловил основной смысл его высказываний и вновь почувствовал симпатию к Литчфилду.

Внезапно в торжественную атмосферу их разговора ворвался голос Дианы, раздавшийся из-за кулис,

— Терри? Это ты?

Чары были рассеяны: Каллоуэй даже не замечал, какое почти гипнотическое воздействие производило на него присутствие Литчфилда. Точно какие-то знакомые руки бережно укачивали его. Теперь Литчфилд отступил от края сцены и заговорщики зашептал.

— Одно последнее слово, Теренс.

— Да?

— Ваша Виола. Если разрешите высказать мое мнение, ей не хватает многих качеств, необходимых для ее роли.

Каллоуэй промолчал.

— Я знаю, — продолжил Литчфилд. — Личные чувства иногда мешают смотреть правде в глаза...

— Нет, — прервал его Каллоуэй, — вы правы. Но она пользуется популярностью.

— У нее медвежья ухватка, Теренс...

Широкая ухмылка расплзлась под полями шляпы и повисла в ее тени, как улыбка Чeshireского Кота.

— Я пошутил, — тихо засмеялся Литчфилд. — Медведи могут быть очаровательными.

— Терри! Вот ты где!

Диана появилась с левой стороны сцены, как всегда одетая с пышной безвкусностью. В воздухе запахло конфронтацией. Однако Литчфилд уже удалялся в бутафорскую перспективу двух оград за циклорамой.

— Зашел за пиджаком, — объявил Терри.

— С кем ты разговариваешь?

Литчфилд исчез — так же спокойно и бесшумно, как и появился.

Диана даже не видела, как он ушел.

— Всего лишь с ангелом, дорогая, — сказал Каллоуэй.

Генеральная репетиция была плоха, но не так, как предвидел Каллоуэй. Она была неизмеримо хуже. Реплики оказались наполовину забытыми, выходы перепутанными, все комические эпизоды выглядели надуманными и ходульными, игра была то вялой, то тяжеловесной. Казалось, что новая «Двенадцатая ночь» будет длиться не меньше года. В середине третьего акта Каллоуэй взглянул на часы и подумал о том, что неурезанная ни в одном месте постановка «Макбета» (с антрактами) к этому времени уже закончилась бы.

Он сидел в партере, обхватив ладонями низко опущенную голову, и с тоской думал о том, что же ему еще сделать, чтобы придать своему творению хоть сколько-нибудь приемлемый вид. Не первый раз во время работы над этой постановкой он чувствовал свое бессиление перед проблемами с составом исполнителей. Реплики и монологи можно было выучить, мизансцены отрепетировать, выходы повторять до тех пор, пока они не врежутся в память. Но плохой актер есть плохой актер. Он мог бы до Судного дня налаживать неудавшуюся игру, но не сумел бы ничего поделать с медвежьим слухом Дианы Дюваль.

Она проявляла поистине акробатическое мастерство, избегая всякого намека на внутренний смысл своей роли, уклоняясь от каждой возможности расшевелить зрительный зал и игнорируя все нюансы, заложенные в характере ее персонажа. Она была героически непреклонна в противостоянии любым попыткам Каллоуэя создать на сцене цельный и живой образ. Ее Виола была призраком мыльной оперы, еще менее одушевленным и более плоским, чем бутафорские ограды в саду Оливии.

Критики должны были растерзать ее.

Хуже того, она должна была разочаровать Литчфилда. К своему удивлению, Каллоуэй не мог забыть его старомодной риторики. Он даже признавался себе в том, что было бы стыдно подвести Литчфилда, ожидавшего увидеть в его «Двенадцатой ночи» лебединую песню своего любимого Элизиума. Это ему казалось почти неблагодарностью.

О тяжелом бремени режиссера он знал задолго до того, как стал серьезно изучать свое ремесло. Его первый наставник из Актерского Центра (которого все называли Наш Возлюбленный Учитель) с самого начала говорил ему:

— На земле нет более одинокого существа, чем режиссер. Он знает все достоинства и недостатки своего творения — или должен знать, если хоть чего-нибудь стоит. Но он должен хранить эту информацию при себе и никогда не переставать улыбаться.

В то время это не казалось невыполнимым.

— Твоя главная задача состоит не в том, чтобы добиться успеха, — говорил Возлюбленный Учитель, — а в том, чтобы научиться не падать в грязь лицом.

Дельный совет, как выяснилось позже. Каллоуэй часто вспоминал своего гуру, поблескивавшего очками и улыбаясь жестокой, циничной улыбкой. Ни один человек на земле не любил театр с такой страстью, с какой любил его Возлюбленный Учитель, и никто не ставил его претензии так низко, как он.

Был уже почти час ночи, когда они покончили с этой злосчастной репетицией и, расстроенные неудачей, стали расходиться по домам. Каллоуэй не хотел проводить этот вечер в компании: его не прельщала перспектива долгих возлияний, излияний в любви к искусству и массажа собственного или чужого эго. Его мрачной подавленности не рассеяли бы ни женщины, ни вино, ни что-либо другое. Он старался не смотреть на Диану и избегал ее взглядов. Все его едкие замечания, выговоренные ей в присутствии труппы, пропали даром. Она играла хуже и хуже.

В фойе он встретил Телльюлу; несмотря на время, довольно позднее для пожилой леди, она стояла и задумчиво смотрела в окно.

— Вы запрете двери? — спросил он, скорее из необходимости что-нибудь сказать, чем из любопытства.

— Я всегда запираю их на ночь, — ответила она.

Ей было далеко за семьдесят: возраст, едва ли располагающий к перемене образа жизни. А вопрос о ее увольнении был уже чисто академическим — разве нет? Каллоуэй боялся подумать о том, как она воспримет закрытие театра. Ее слабое сердце могло не выдержать этого известия. Разве Хаммерсмит не говорил ему, что Телльюла здесь работала еще, когда была пятнадцатилетней девочкой?

— Ну, спокойной ночи, Телльюла.

Она, как всегда, чуть заметно кивнула. Затем взяла Каллоуэя за руку.

— Да?

— Мистер Литчфилд... — начала она.

— Что мистер Литчфилд?

— Ему не понравилась репетиция.

— Он был здесь вечером?

— О да, — ответила она таким тоном, словно только слабоумный мог подумать иначе. — Конечно, он был здесь.

— Я его не видел.

— Ну... это все равно. Ему не понравилась репетиция.

Каллоуэй постарался сдержаться и не вспылить.

— Ничего не поделаешь.

— Он очень близко к сердцу принимает вашу постановку.

— Я это понял, — сказал Каллоуэй, избегая укоризненного взгляда Телльюлы. Он и без ее помощи знал, что эта ночь будет для него бессонной.

Он высвободил руку и пошел к двери. Телльюла не пыталась остановить его. Она только сказала:

— Вам нужно было повидаться с Констанцией.

Констанция? Где он мог слышать это имя? Ну конечно, жена Литчфилда.

— Она была прелестной Виолой.

Нет, он слишком устал, чтобы выражать соболезнования из-за смерти той актрисы — ведь она же умерла, не так ли? Разве Литчфилд не сказал, что она умерла?

— Прелестной, — повторила Телльюла.

— Спокойной ночи, Телльюла. Завтра увидимся.

Старая карга не ответила. Что ж, если она обиделась на его бесцеремонность, то это ее дело. Он оставил ее наедине со своими жалобами и вышел на улицу.

Была холодная ноябрьская ночь. Воздух не освежал: пахло недавно уложенным асфальтом, дул пронизывающий, колючий ветер. Каллоуэй поднял воротник пиджака и нырнул в темноту.

Телльюла устало побрела в партер театра, где прошла вся ее жизнь. Его стены были такими же ветхими и обреченными, как она сама. В этом не было ничего неестественного: судьбы зданий и людей мало чем отличаются друг от друга. Но Элизиум должен был умереть, как и жил, достойно и славно.

Она благоговейно отдернула красную штору, закрывавшую портреты в коридоре. Берримор, Ирвинг — великие имена, великие актеры. Пожалуй, немного потускневшие краски, но в памяти такие лица никогда не увядают. На самом почетном месте, в последнем в ряду за шторой висел портрет Констанции Литчфилд. Прекрасные, незабвенно прекрасные черты: неповторимое анатомическое чудо.

Конечно, она была слишком молода для Литчфилда, и это стало частью их трагедии. Ее супруг, который был вдвое старше ее, мог дать своей непревзойденной красавице все, что она желала: славу, деньги, высокое положение в обществе. Все, кроме того, что ей больше всего требовалось: самой жизни.

Она умерла, когда ей еще не исполнилось и двадцати лет, — рак груди. Кончина была такой внезапной, что в нее до сих пор было трудно поверить.

Вспоминая об этом утерянном таланте, Телльюла почувствовала, как у нее на глаза стали наворачиваться слезы. Так много ролей могла бы оживить Констанция, если бы только сама не ушла из жизни. Клеопатра, Гедда, Розалина, Электа...

Увы, ничему этому не суждено было сбыться. Она исчезла во мраке, угасла, как свеча, опрокинутая порывом ветра, и после нее в жизни не было ни радости, ни света, ни тепла. С тех пор дни стали такими тоскливыми, что иногда под вечер хотелось заснуть и больше никогда не просыпаться.

Теперь она уже плакала, прижимая ладони к сморщенным глазам. И — о, Боже! — кто-то подошел к ней сзади, может быть, мистер Каллоуэй вернулся за чем-нибудь, а она стояла здесь, жалкая, и не могла вытереть слезы, которые текли и текли по щекам, как у какой-нибудь старой глупой женщины — ведь именно старой и глупой женщиной он считал ее. Молодой и сильный, что он знал о тоске по ушедшим годам, о

горечи невосполнимых утрат? Когда-нибудь он испытает это. Нет, не когда-нибудь — скорее, чем думает.

— Телли, — сказал кто-то.

Она знала, кто это был. Ричард Уалден Литчфилд. Она обернулась и увидела его стоявшим в шести футах от нее, такого же подтянутого и стройного, как и раньше. Он был на двадцать лет старше ее, но возраст, казалось, совсем не изменил его. Ей стало стыдно за свои слезы.

— Телли, — мягко сказал он. — Я знаю, уже довольно поздно, но, по-моему, ты хочешь сказать: «здравствуйте».

— Зздравствуйте!

Пелена слез медленно спала, и она увидела спутницу Литчфилда, уважительно державшуюся в двух шагах позади него. Та выступила из его тени, и Телльюла не могла не узнать ее неповторимо прекрасных черт. Время оборвалось, остатки смысла покинули этот мир. И внезапно из творившегося вокруг хаоса блеснул маленький лучик надежды, предназначавшийся для Телльюлы: внезапно она перестала чувствовать себя такой старой и обреченной, как прежде. Ибо почему же она не должна была доверять собственным глазам?

Перед ней стояла Констанция, по-прежнему блистательная и юная. Она приветливо улыбалась Телльюле.

Дорогая мертвая Констанция!

Репетиция была назначена на девять тридцать следующего утра. Диана, как обычно, опоздала на полчаса. Выглядела она так, будто не спала всю ночь.

— Простите, я задержалась, — бросила она, безжалостно коверкая открытые гласные.

Каллоуэй не чувствовал в себе желания броситься перед ней на колени.

— У нас завтра премьера, — процелил он, — а мы только и делаем, что дожидаемся тебя.

— Неужели? — спросила она, польщенная, но старавшаяся казаться удивленной и огорченной. Даже это ей не удавалось.

— О'кей, начинаем с первой сцены, — вздохнув, объявил Каллоуэй. — Пожалуйста, все возьмите тексты и ручки. Я сделал сокращения в нескольких диалогах и хочу, чтобы мы к обеду отрепетировали их. Рын, ты подготовил свой экземпляр?

Рын сверился с бумагами и, как следовало предполагать, смущенно извинившись, отрицательно замотал головой.

— Ладно, все равно приступаем. Предупреждаю, сегодня нам предстоит напряженная работа. Вчерашняя репетиция была крайне неудачной, нам нужно многое исправить. Заранее прошу прощения, если буду не слишком вежливым.

Он пытался сдерживать себя. Они тоже. И все-таки не было конца взаимным упрекам, спорам, обидам, даже оскорблением. Каллоуэй с большим удовольствием согласился бы висеть вниз головой на трапеции, чем руководить четырнадцатью уставшими людьми, две третых из которых не понимали, что от них хотят, а остальные были попросту неспособны выполнить требуемое. У Каллоуэя сдавали нервы.

Хуже всего было то, что у него все время было такое чувство, будто за ним наблюдают, хотя зрительный зал был абсолютно пуст. Он подумал, что Литчфилд мог смотреть за репетицией сквозь какую-нибудь потайную щелку, но затем посчитал эту мысль первым признаком развивающейся паранойи.

Наконец обед.

Каллоуэй знал, где найти Диану, и был готов к предстоящей сцене. Обвинения, слезы, уверения в любви, снова слезы, примирение. Шаблонный вариант.

Он постучал в дверь ее гримерной.

— Кто там?

Плакала она или говорила, не отнимая ото рта стакана с чем-нибудь тонизирующим?

— Я.

— Что тебе?

— Могу я войти?

— Войди.

Она держала в одной руке бутылку водки (хорошей водки), а в другой стакан. Слез еще не было.

— От меня нет никакого толка, да? — сказала она, как только он закрыл за собой дверь. Ее глаза умоляли его, чтобы он что-нибудь возразил.

— Ну, не будь такой глупенькой, — уклончиво проговорил он.

— Никогда не понимала Шекспира, — надулась она, как если бы в этом была вина великого барда. — Все эти слова, о которые можно сломать язык.

Буря приближалась и вскоре должна была разразиться.

— Не волнуйся, все идет правильно, — солгал он, обняв ее одной рукой. — Тебе просто нужно немного времени.

Ее лицо помрачнело.

— Завтра премьера, — медленно произнесла она. Этому замечанию трудно было что-нибудь противопоставить.

— Меня разорвут на части, да?

Он хотел ответить отрицательно, но у него не повернулся язык.

— Да. Если только...

— И я больше никогда не получу работы, да? Мне говорил Гарри, этот безмозглый недоделанный еврей: «Прекрасно для твоей репутации», — сказал он. Мне не помешает хорошая затрецина, он так сказал. Ему-то что? Получит свои проклятые десять процентов и оставит меня с ребенком. Выходит, я одна буду выглядеть такой круглой дурой, да?

При мысли о том, что она будет выглядеть круглой дурой, грянула буря. На этот раз не какой-нибудь легкий дождик — настоящий ураган, скоро перешедший в безутешные рыдания. Он делал все, что мог, но успокоить ее было трудно. Она плакала так горько и обильно, что его слова просто тонули в ее слезах. Поэтому он нежно поцеловал ее, как поступил бы любой приличный режиссер, и — чудо из чудес! — его уловка как будто удалась. Тогда он проявил немного большую активность, чем прежде: его руки задержались на ее груди, скользнули под блузку, нашупали соски, зажали между большими и указательными пальцами.

Это сработало безупречно. В грозовых тучах забрезжили первые лучи солнца: она вздохнула, расстегнула ремень на его брюках и позволила высушить последние капли недавнего дождя. Его пальцы нашарили кружевную тесемку ее трусиков и с достаточной настойчивостью стали проникать дальше. Упала бутылка водки, опрокинутая ее неосторожным движением, и залила разбросанные по столу бумаги, они даже не услышали стука стекла о дерево.

Затем отворилась проклятая незапертая дверь, и дуновение сквозняка сразу остыдило их пыль.

Каллоуэй уже почти обернулся, но вовремя сообразил, какое зрелище представлял бы собой, и вместо этого уставился в зеркало, висевшее за спиной Дианы. Оттуда на него смотрело невозмутимое лицо Литчфилда.

— Простите, что не постучал.

В его ровном голосе не было ни доли замешательства. Каллоуэй поспешил натянуть брюки, застегнуть ремень и обернулся, мысленно проклиная свои горящие щеки.

— Да... это было бы вежливо, — выдавил он из себя.

— Еще раз примите мои извинения. Я хотел переговорить, — он перевел взгляд на Диану, — с вашей кинозвездой.

Каллоуэй почти физически ощутил, как что-то возликовало в душе Дианы. Его охватило недоумение: неужели Литчфилд отказался от своего прежнего мнения о ней? Неужели он пришел сюда как пристыженный поклонник, готовый припасть к ногам величайшей актрисы?

— Я был бы очень благодарен, если бы мне позволили поговорить с леди, — продолжил тот вкрадчивым голосом.

— Видите ли, мы...

— Разумеется, — перебила Диана. — Но только через пару секунд, хорошо?

Она мгновенно овладела ситуацией. Слезы были забыты.

— Я подожду в коридоре, — сказал Литчфилд, покидая гримерную.

За ним еще не закрылась дверь, а Диана уже стояла перед зеркалом и вытирала черные подтеки туши под глазами.

— Приятно иметь хоть одного доброжелателя, — проворковала она. — Ты не знаешь, кто он?

— Его зовут Литчфилд, — сказал Каллоуэй. — Он очень переживает за этот театр.

— Может быть, он хочет предложить мне что-нибудь?

— Сомневаюсь.

— Ох, не будь таким занудой, Теренс, — недовольно проворчала она. — Тебе просто не нравится, когда на меня обращают внимание. Разве нет?

— Извини, каюсь.

Она придирчиво осмотрела себя.

— Как я выгляжу? — спросила она.

— Превосходно.

— Прости за недавнее.

— Недавнее?

— Ты знаешь, за что.

— Ах... да, конечно.

— Увидимся внизу, ладно?

Его бесцеремонно выставляли за дверь. Присутствие любовника и советчика уже не требовалось.

В коридоре было прохладно. Литчфилд терпеливо дожидался, прислонившись к стене. Свет здесь был довольно ярким, и он стоял ближе, чем в предыдущий вечер. Каллоуэй все еще не мог полностью разглядеть лицо под широкополой шляпой. Но что-то в его чертах — какая странная мысль! — показалось ему искусственным, не настоящим. Была какая-то нескоординированность в движениях мышц, когда тот говорил.

— Она еще не совсем готова, — сказал Каллоуэй.

— Замечательная женщина, — промурлыкал Литчфилд.

— Да.

— Я не виню вас...

— М-м.

— Но все-таки она не актриса.

— Литчфилд, вы ведь не собираетесь мешать мне? Я вам этого не позволю.

— Можете расстаться со своими опасениями.

Явное удовольствие, которое Литчфилд получал от его замешательства, сделало Каллоуэя менее почтительным к своему собеседнику, чем прежде.

— Если вы хоть немного расстроите...

— У нас общие интересы, Теренс. Я не хочу ничего, кроме удачи для вашей постановки, поверьте мне. Неужели вы думаете, что в сложившейся ситуации я рискнул бы чем-нибудь встревожить вашу Первую леди? Я буду кроток, как козочка, Теренс.

— Во всяком случае, — последовал откровенный ответ, — вы не похожи на козочку.

Улыбка, скользнувшая по губам Литчфилда, была скорее условностью, чем проявлением каких-либо чувств.

Спускаясь по лестнице, Каллоуэй крепко сжимал зубы и никак не мог объяснить себе причину своего беспокойства.

Диана отошла от зеркала, готовая сыграть свою роль.

— Можете войти, мистер Литчфилд, — объявила она.

Тот появился в дверях прежде, чем она успела договорить.

— Миссис Дюваль, — почтительно поклонившись, сказал он (она улыбнулась: какие старомодные любезности), — вы не простите мою недавнюю неучтивость?

Она взглянула на него коровьими глазами: мужчины всегда таяли от ее взгляда.

— Мистер Каллоуэй... — начала она.

— Очень настойчивый молодой человек, полагаю.

— Да.

— Надеюсь, он не слишком докучает своей Первой леди?

Диана немножко нахмурилась, на переносице пропустила едва заметная зигзагообразная складка.

— Боюсь, да.

— Профессионалу это непозволительно, — сказал Литчфилд. — Но, прошу простить меня, его пылкость вполне объяснима.

Она придвигнулась к лампе возле зеркала, зная, что яркий свет особенно выгоден для ее черных волос.

— Ну, мистер Литчфилд, что я могу сделать для вас?

— Честно говоря, у меня очень деликатное дело, — сказал Литчфилд. — Горько признать, но — как бы получше выразиться? — ваш талант не совсем идеально соответствует характеру этой постановки. В вашем стиле игры не хватает нужной тонкости.

Последовало напряженное молчание, в продолжение которого Диана сопела носом и обдумывала значение только что сказанных слов. Затем она двинулась к двери. Ей не понравилось то, как началась эта сцена. Она ожидала поклонника, а вместо него получила критика.

— Уходите, — проговорила она бесцветным голосом.

— Миссис Дюваль...

— Вы меня слышали.

— Вы ведь не подходите на роль Виолы, разве нет? — продолжал Литчфилд, как если бы кинозвезда ничего не сказала.

— Вас это не касается, — бросила она.

— Но это так. Я видел репетиции. Вы были вялы и неубедительны. Все комические эпизоды казались пошлыми, а сцена соединения — ни одно сердце не смогло бы выдержать ее — сделанной из какого-то тяжелого и грубого металла. Да, там была прямо-таки свинцовая тяжеловесность.

— Спасибо, я не нуждаюсь в вашем мнении.

— У вас нет стиля...

— Заткнитесь.

— Нет стиля и нет вкуса. Уверен, на экранах телевизоров вы — само очарование, но сцена требует особой правдивости. И души, которой вам, честно говоря, не хватает.

Игра уже выходила за все дозволенные рамки. Диана хотела ударить непрошшеного гостя, но не находила подходящего повода. Она не могла воспринимать всерьез этого престарелого позера. Он был даже не из мелодрамы, а из музыкальной комедии — со своими тонкими серыми перчатками и со своим тонким серым галстуком. Безмозглый, озлобленный клоун, что он понимал в искусстве?

— Убирайтесь вон или я позову менеджера, — сказала она.

Но он встал между ней и дверью.

Сцена изнасилования? Вот какую пьесу они играли? Неужели он сгорает от страсти к ней? Боже, упаси.

— Моя жена, — улыбнувшись, произнес он, — играет Виолу...

— Я рада за нее.

— ...И она чувствует, что сможет вдохнуть в эту роль немного больше жизни, чем вы.

— У нас завтра премьера, — неожиданно для себя проговорила она, как будто защищая свое присутствие в постановке. Какого черта она пыталась оправдываться перед ним, после того как услышала от него все эти ужасные вещи? Может быть, потому что была немного испугана. Его дыхание, уже довольно близкое к ней, пахло дорогим шоколадом.

— Она знает роль наизусть.

— Эта роль принадлежит мне. И я исполню ее. Я исполню ее, даже если буду самой плохой Виолой за всю историю театра, договорились?

Она старалась сохранять самообладание, но это было нелегко. Что-то в нем заставляло ее нервничать. Нет, она боялась не насилия, но все-таки чего-то боялась.

— Увы, я уже обещал эту роль своей жене.

— Что? — она изумилась его самонадеянности.

— И эту роль будет играть Констанция.

Услышав имя соперницы, она рассмеялась. В конце концов это могло быть комедией высочайшего класса. Чем-нибудь из Шеридана или Уальда, запутанным и хитроумным. Но он говорил с такой непоколебимой уверенностью: «Эту

роль будет играть Констанция», как если бы все дело было уже обдумано и решено.

— Я не собираюсь больше дискутировать с вами. Поэтому, если вашей жене угодно играть Виолу, то ей придется играть ее на улице. На паршивой улице, ясно?

— У нее завтра премьера.

— Вы глухой, тупой или то и другое?

Внутренний голос твердил ей, чтобы она не теряла самоконтроля, не переигрывала, не выходила из рамок сценического действия. Какими бы последствиями оно ни обернулось.

Он шагнул к ней, и лампа, висевшая возле зеркала, высветила лицо под широкополой шляпой. До сих пор у нее не было возможности внимательно разглядеть его, теперь она увидела глубоко врезанные линии вокруг его глаз и рта. Они не были складками кожи, в этом она не сомневалась. Он носил накладки из латекса, и они были плохо приклешены. У нее руки зачесались от желания сорвать их и открыть его настоящее лицо.

Конечно. Вот оно что. Сцена, которую она играла, называлась «Срывание маски».

— А ну, поглядим, на кого вы похожи, — произнесла она, и, прежде чем он перестал улыбаться, ее рука коснулась его щеки. В самый последний момент у нее мелькнула мысль, что именно этого он и добивался, но уже было поздно извиняться или сожалеть о содеянном. Ее пальцы нашупали край маски и потянули за него. Диана вздрогнула.

Тонкая полоска латекса соскочила и обнажила истинную физиономию ее гостя. Диана попыталась броситься прочь, но его рука крепко ухватила ее за волосы. Все, что она могла, — это лишь смотреть в его лицо, полностью лишенное какого-либо кожного покрытия. С него кое-где свисали сухие волокна мышц, под подбородком виднелись остатки бороды, но все прочее давно истлело. Лицо большей частью состояло из кости, покрытой пятнами грязи и плесени.

— Я не был, — отчетливо проговорил череп, — бальзамирован. В отличие от Констанции.

Диана никак не отреагировала на это объяснение. Она ни единным звуком не выразила протesta, несомненно требовав-

шегося в данной сцене. У нее хватило сил только на то, чтобы хрипло застонать, когда его рука сжалась еще крепче и отклонила назад ее голову.

— Рано или поздно мы все должны делать выбор, — сказал Литчфилд, и его дыхание сейчас не пахло шоколадом, а разило гнилью.

Она не совсем поняла.

— Мертвым нужно быть более разборчивыми, чем живым. Мы не можем тратить наше дыхание на что-либо меньшее, чем самое чистое наслаждение. Я полагаю, тебе не нужно искусство. Не нужно? Да?

Она согласно закивала головой, моля Бога о том, чтобы это было ожидаемым ответом.

— Тебе нужна жизнь тела, а не жизнь воображения. И ты можешь получить ее.

— Да... благодарю... тебя.

— Если ты так хочешь, то получишь ее.

Внезапно он плотно обхватил ее голову и прижался беззубым ртом к ее губам. Она попыталась закричать, но ее дыхания не хватило даже на стон.

Риен нашел Диану лежавшей на полу своей гримерной, когда время уже близилось к двум. Понять случившееся было трудно. У нее не оказалось ран ни на голове, ни на теле, не была она и мертвой в полном смысле слова. Складывалось впечатление, что она впала в нечто похожее на кому. Возможно, поскользнулась и ударилась обо что-то затылком. Во всяком случае, она была без сознания.

До премьеры оставалось несколько часов, а Виола очутилась в реанимационном отделении местной больницы.

— Чем быстрее это заведение пойдет с молотка, тем лучше, — сказал Хаммерсмит. Он пил во время рабочего дня, чего раньше Каллоуэй не замечал за ним. На его столе стояли бутылки виски и полупустой стакан. Темные круги от стакана были отпечатаны на счетах и деловых письмах. У Хаммерсмита тряслись руки.

— Что слышно из больницы?

— Она прекрасная женщина, — сказал менеджер, глядя в стакан.

Каллоуэй мог поклясться, что он был на грани слез.

— Хаммерсмит! Как она?

— Она в коме. И состояние не меняется.

— Полагаю, это уже кое-что.

Хаммерсмит хмуро посмотрел на Каллоуэя.

— Сопляк, — сказал он. — Крутил с ней шашни, да?

Воображал себя черт знает кем? Ну, так я скажу тебе что-то. Диана Дюваль стоит дюжины таких, как ты. Дюжинны!

— Вот почему вы позволили продолжать работу над постановкой, Хаммерсмит? Потому что увидели ее и захотели прибрать к своим липким ручонкам?

— Тебе не понять. Ты думаешь не головой, а кое-чем другим. — Казалось его глубоко оскорбило то, как Каллоуэй интерпретировал его восхищение Дианой ла Дюваль.

— Ладно, пусть по-вашему. Так или иначе, у нас нет Виолы.

— Вот почему я отменяю премьеру, — сказал Хаммерсмит, растягивая слова, чтобы продлить удовольствие от них.

Это должно было случиться. Без Дианы Дюваль не могло быть никакой «Двенадцатой ночи». И такой исход, возможный, был наилучшим.

Раздался стук в дверь.

— Кого там черти принесли? — устало проговорил Хаммерсмит. — Войдите.

Это был Литчфилд, Каллоуэй почти обрадовался, увидев его странное лицо с пугающими шрамами. Правда, он хотел бы задать ему несколько вопросов о его разговоре с Дианой, закончившемся ее нынешним состоянием, но в присутствии Хаммерсмита нужно было остеграться голословных обвинений. Кроме того, если бы Литчфилд пытался причинить какой-нибудь вред Диане, то разве появился бы здесь так скоро и с такой улыбающейся физиономией?

— Кто вы? — спросил Хаммерсмит.

— Ричард Уалден Литчфилд.

— Я вас не знаю.

— Старый приверженец Элизиума, если позволите.

— Ох, Господи.

— Он стал моим основным делом...

— Что вам нужно? — прервал Хаммерсмит, раздраженный его неторопливой манерой говорить.

— Я слышал, что постановке грозит опасность, — невозмутимо ответил Литчфилд.

— Не грозит, — потеребив нижнюю губу, сказал Хаммерсмит. — Не грозит, потому что никакой постановки не будет. Она отменена.

— Вот как?

Литчфилд перевел взгляд на Каллоуэя.

— Это решение принято с вашего согласия? — спросил он.

— Его согласия здесь не нужно. Я обладаю исключительным правом отменять постановки, если такая необходимость продиктована обстоятельствами. Это записано в его контракте. Театр закрыт с сегодняшнего вечера и больше никогда не откроется.

— Театр не будет закрыт.

— Что?

Хаммерсмит встал из-за стола, и Каллоуэй понял, что еще не видел его во весь рост. Он был очень маленьким, почти лилипутом.

— Мы будем играть «Двенадцатую ночь», как объявлено в афишах, — промурлыкал Литчфилд. — Моя жена милостиво согласилась исполнять роль Виолы вместо миссис Дюваль.

Хаммерсмит захочтал хриплым смехом мясника. Однако в следующее мгновение он осекся, потому что в кабинете появился запах лаванды, и перед тремя мужчинами предстала Констанция Литчфилд, облаченная в роскошный черный наряд. Мех и шелка ее вечернего туалета торжественно переливались на свету. Она выглядела такой же прекрасной, как и в день своей смерти, даже у Хаммерсмита захватило дух, когда он взглянул на нее.

— Наша новая Виола, — объявил Литчфилд.

Прошло две или три минуты, прежде чем Хаммерсмиту удалось совладать с собой.

— Эта женщина не может вступить в труппу за полдня до премьеры.

— А почему бы и нет? — произнес Каллоуэй, не сводивший глаз с женщины. Литчфилд оказался счастливчиком: Констанция была головокружительно красива. Внезапно он стал бояться, что она повернется и уйдет.

Затем она заговорила. Это были строки из первой сцены четвертого акта:

*Коль счастье наше так обречено
Зависеть от одежд, принадлежащих*

*Не мне, то не обнимешь ты меня,
Покуда место, время и фортуна
Не отдадут мне права быть Виолой.*

Голос был легким и музыкальным; казалось, он звучал во всем ее теле, наполняя каждое слово жаром глубокой страсти.

И лицо. С какой тонкой и экономной выразительностью ее подвижные, удивительно живые черты передавали внутренний смысл поэтических строк!

Она была очаровательна. Ее чары не могли не околдовывать их.

— Превосходно, — сказал Хаммерсмит. — Но в нашем деле существуют определенные правила и порядки. Она включена в состав исполнителей?

— Нет, — ответил Литчфилд.

— Вот видите, ваша просьба невыполнима. Профсоюзы строго следят за подобными вещами. С нас сдерут шкуру.

— Вам-то что, Хаммерсмит? — сказал Каллоуэй. — Какое вам дело? После того, как снесут Элизиум, вашей ноги уже не будет ни в одном театре.

— Моя жена видела репетиции и изучила все особенности этой постановки. Лучшей Виолы вам не найти.

— Она была бы восхитительна, — все еще не сводя глаз с Констанции, подхватил Каллоуэй.

— Каллоуэй, вы рискуете испортить отношения с профсоюзами, — проворчал Хаммерсмит.

— Это не ваши трудности.

— Вы правы, мне нет никакого дела до того, что будет с театром. Но если о замене кто-нибудь пронюхает, премьера не состоится.

— Хаммерсмит! Дайте ей шанс. Дайте шанс всем нам. Если премьера не состоится, то я уже никогда не буду нуждаться в профсоюзах.

Хаммерсмит вновь опустился на стул.

— К вам никто не придет, вы это понимаете? Диана Дюваль была кинозвездой, ради нее зрители сидели бы и слушали всю вашу чепуху. Но никому неизвестная актриса?.. Это будут ваши похороны. Готовьте их сами, если так хотите. Я умываю руки. И запомните, Каллоуэй, вы один будете во всем виноваты. Надеюсь, с вас живьем сдерут кожу.

— Благодарю вас, — сказал Литчфилд. — Очень мило с вашей стороны.

Хаммерсмит начал разбирать на столе бумаги, стеснявшие бутылку и стакан. Аудиенция была окончена, его больше не интересовали эти легкомысленные бабочки и их мелкие проблемы.

— Убирайтесь, — процедил он. — Убирайтесь прочь.

— У меня есть две или три просьбы, — сказал Литчфилд, когда они вышли из офиса. — Они касаются условий, при которых моя жена согласна выступать.

— Условий чего?

— Обстановки, удобной для Констанции. Я бы хотел, чтобы лампы над сценой горели вполнакала. Она просто не привыкла играть при таком ярком свете.

— Очень хорошо.

— И еще я бы попросил вас восстановить огни рампы.

— Рампы?

— Я понимаю, это немного старомодно, но с ними она чувствует себя уверенней.

— Такое освещение будет ослеплять актеров, — сказал Каллоуэй. — Они не будут видеть зрительного зала.

— Тем не менее... я вынужден настаивать.

— О'кей.

— И третью. Все сцены, в которых обыгрываются поцелуи, объятия и другие прикосновения к Виоле, должны быть исправлены так, чтобы исключить любой физический контакт с Констанцией.

— Любой?

— Любой.

— Но, Господи! Почему?

— Моя жена не нуждается в излишней драматизации, Теренс. Она предпочитает не отвлекать внимание от работы сердца.

Эта странная интонация в слове «сердца». Работы сердца.

Каллоуэй поймал взгляд Констанции. Ее глаза, казалось, благословляли его.

— Нужно ли представить труппе новую Виолу?

— Почему нет?

Трио переступило порог театра.

Установить осветительную аппаратуру и исправить эпизоды, предусматривающие физическое соприкосновение ак-

теров, было делом несложным. И, хотя почти все исполнили поначалу не испытывали дружеских чувств к своей новой партнерше, ее скромная манера держаться и природное обаяние вскоре покорили их. Кроме того, ее присутствие означало, что представление все-таки состоится.

Без пяти шесть Каллоуэй объявил перерыв и назначил на восемь часов начало костюмированной генеральной репетиции. Актеры расходились группами, оживленно обсуждавшими новую постановку. То, что вчера казалось грубым и неуклюжим, сегодня выглядело довольно неплохо. Разумеется, многое еще предстояло отточить и подправить: некоторые технические неувязки, плохо сидевшие костюмы, отдельные режиссерские недочеты. Однако успех был уже практически обеспечен. Это чувствовали и актеры. Даже Эд Каннингхем снизошел до пары комплиментов.

Литчфилд застал Телльюолу стоявшей у окна в комнате отдыха.

— Сегодня вечером...

— Да, сэр.

— Только не надо ничего бояться.

— Я не боюсь, — ответила Телльюола.

Что за мысль? Как будто она и так...

— Будет немного жалко расставаться. И не тебе одной.

— Я знаю.

— Я понимаю тебя. Ты любишь этот театр так же, как и я. Но ведь тебе известен парадокс нашей профессии. Играть жизнь... ах, Телли, какая это удивительная вещь! Знаешь, иногда мне даже интересно, как долго я еще смогу поддерживать эту иллюзию.

— Ваше представление замечательно, — сказала она.

— Ты и вправду так думаешь?

Он и в самом деле обрадовался: до сих пор у него еще были сомнения в успехе своей имитации. Ему ведь нужно было постоянно сравнивать себя с настоящими, живыми людьми. Благодарный за похвалу, он коснулся ее плеча.

— Телльюола, ты хотела бы умереть?

— Это больно?

— Едва ли.

— Тогда я была бы счастлива.

— Да будет так, Телли.

Он прильнул к ее губам, и она, не переставая улыбаться, умерла. Он уложил ее на софу и ее ключом запер за собой дверь. Она должна была остыть в этой прохладной комнате и подняться на ноги к приходу зрителей.

В пятнадцать минут седьмого перед Элизиумом остановилось такси, и из него вышла Диана Дюваль. Был холодный ноябрьский вечер, но она не ощущала дискомфорта. Сегодня ее ничего не могло огорчить. Ни темнота, ни холод.

Никем не замеченная, она прошла мимо афиш, на которых были отпечатаны ее лицо и имя, поднялась по лестнице и отворила дверь в гримерную. Объект ее страсти был погружен в густое облако табачного дыма.

— Терри.

Через порог комнаты она переступила только тогда, когда убедилась в том, что ее появление было в достаточной мере осознано. Он побледнел, и поэтому она немного надула губы, что было нелегким делом. Мышцы лица почти не слушались, но она приложила некоторые усилия и все-таки добилась удовлетворительного эффекта.

Каллоуэй не сразу смог найти какие-либо слова. Диана выглядела больной, тут не было двух мнений, и если она покинула больницу, чтобы принять участие в костюмированной генеральной репетиции, то он должен был отговорить ее от этого. На ней не было косметики, ее волосы нуждались в немалом количестве шампуня.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он, когда она закрыла дверь.

— У меня есть одно незаконченное дело.

— Послушай... Я должен кое-что сказать тебе... (Господи, ему вовсе не хотелось быть таким непорядочным человеком, но...) Видишь ли, мы нашли тебе замену. Я хочу сказать — замену в постановке. (Она непонимающе смотрела на него. Торопясь договорить, он путался в словах и терял мысли). Мы думали, что тебя не будет. То есть, не всегда, конечно, а только на премьере. Что потом ты вернешься...

— Не беспокойся, — сказала она.

У него медленно начала отвисать челюсть.

— Не беспокойся?

— Мне-то какое дело?

— Но ты же, говоришь, вернулась, чтобы закончить...

Он осекся. Она расстегивала верхние пуговицы платья. У него мелькнула мысль, что она решила разыграть его. Нет, у нее не могло быть серьезных намерений! Секс? Сейчас?..

— За последние несколько часов я многое передумала, — сказала она, вынув руки из рукавов, спустив платье и переступив через него; на ней был белый лифчик, крючки на застежке которого она, заломив локти, безуспешно пыталась рассоединить. — И решила, что театр меня мало волнует. Ты поможешь мне или нет?

Она повернулась и подставила ему спину. Он автоматически разъединил крючки, хотя еще не осознал, хотел ли это делать. Впрочем, его желания будто и не играли роли. Она вернулась, чтобы закончить то, на чем их прервали, — вот так просто... И несмотря на какие-то хриплые звуки в горле, несмотря на какой-то остекленевший взгляд, она все еще оставалась очень привлекательной женщиной. Она вновь повернулась, и Каллоуэй увидел ее грудь — более бледную, чем та, что была в его памяти, но такую же соблазнительную. Ему сразу стало неудобно от тесноты в брюках, и ее телодвижения только усугубляли неловкость его положения: ее руки раздвигали бедра, как на самых непристойных стриптизах в Сохо, поглаживали между ног...

— Не беспокойся за меня, — сказала она. — Я уже все решила. Все, что я по-настоящему хочу...

Она отняла руки от живота и приложила ладони к его лицу. Они были холодными как лед.

— Все, что я по-настоящему хочу, это ты. Я не могу заниматься и сексом, и сценой... У каждого в жизни наступает время, когда нужно принимать решения.

Она облизнула губы. Они остались такими же сухими, как и прежде, точно у нее на языке не было ни капли влаги.

— Этот случай заставил меня задуматься о том, чего я действительно хочу. И если честно, — она расстегнула ремень на его брюках, — то меня не волнует...

Теперь молния.

— ...ни эта, ни любая другая паршивая пьеса.

Брюки упали на пол.

— Я покажу тебе, что меня по-настоящему волнует.

Она дотронулась до его трусов. От холода ее рук прикосновениеказалось особенно сексуальным. Он улыбнулся и

закрыл глаза. Она опустила его трусы до лодыжек и встала перед ним на колени.

Она умела делать то, что собиралась делать. Ее губы почему-то были суще, чем обычно, язык царапал его плоть, но ощущения, которые она в нем порождала, могли кого угодно свести с ума. Блаженствуя, он даже не замечал, насколько глубоко она вбирала его, возбуждая все больше и больше. Глубоко и медленно, затем все быстрее и, когда уже почти наступал оргазм, снова медленнее, пока не проходила потребность в нем. Он был в полной ее власти.

Желая посмотреть за ее работой, он открыл глаза. Она была сосредоточена и серьезна.

— Господи, — выдохнул он, — как хорошо.

Она не ответила, продолжая безмолвно трудиться над ним. Она даже не издавала своих обычных звуков: ни удовлетворенного посапывания, ни тяжелых вздохов. Просто всасывала и отпускала его плоть — в абсолютной тишине.

На какое-то время он задержал дыхание. У него — не в голове, а где-то в животе — мелькнула неожиданная мысль. Ее голова все так же покачивалась, губы были плотно прижаты к его коже. Прошло полминуты, минута, полторы. Но теперь он уже был полон дикого, тошнотворного ужаса.

Она не дышала. Ее ноздри были неподвижны, и ее работа так удавалась ей именно потому, что она ни разу не остановилась, чтобы вдохнуть или выдохнуть воздух.

Тело Каллоуэя одеревенело, а то, что было напряжено, стало быстро вянуть и морщиться. Она не переставала трудиться, но ее неутомимые движения могли утвердить его только лишь в этой дикой мысли: она мертва.

Она держала его губами, своими холодными губами, и была мертва. Вот зачем она вернулась — покинула больничный морг и вернулась сюда. Она не заботилась ни о пьесе, ни о своей профессии, а только хотела закончить то, что начала несколько часов тому назад. Вот какой акт она предпочла: один лишь этот акт. Она выбрала роль, которую собиралась исполнять до бесконечности.

Каллоуэй не мог пошевелиться, как и не мог не смотреть на голову трупа, трудившегося между его ног.

Затем она, казалось, почувствовала его ужас. Ее глаза открылись и взглянули на него. Как мог он принять этот

взгляд за взгляд живого человека? Она оставила в покое рудимент его мужского достоинства.

— Что такое? — спросила она голосом, в котором уже не было ни одной живой нотки.

— Ты... не... дышишь.

Ее лицо превратилось в безжизненную маску. Она встала с колен.

— Ох, дорогой, — уже отбросив всякое притворство, сказала она. — Эта роль мне не удалась, да?

У нее был голос привидения: тонкий, бесцветный. Кожа, восхищавшая его своей бледностью, при повторном рассмотрении оказалась белой, как воск.

— Ты умерла? — спросил он.

— Боюсь, да. Два часа назад, во сне. Но мне нужно было прийти, Терри: слишком много незаконченного... Я сделала выбор, и ты должен быть доволен. Ты ведь доволен, да?

Она направилась к дамской сумочке, которую оставила возле зеркала. Каллоуэй беспомощно посмотрел на дверь. Его тело не подчинялось ему. Кроме того, на лодыжках были спущенные брюки. Два шага — и он растянулся бы на полу.

Она вновь повернулась к нему, держа в руке что-то блестящее и ост्रое. Он, как ни старался, никак не мог сфокусировать зрение на этом сверкающем, ярком, лучистом... Но чем бы это ни было, оно предназначалось для него.

С тех пор, как в 1934 году построили новый крематорий, на кладбище не прекращались осквернения могил. В поисках несуществующих драгоценностей гробы выкапывались и вскрывались, надгробия переворачивались и разбивались, на плитах постоянно появлялись бутылочные осколки и нецензурные надписи. За памятниками и оградами почти никто не ухаживал. Сменилось уже несколько поколений, и теперь здесь разве что изредка можно было встретить человека, у которого поблизости был похоронен какой-нибудь родственник и при этом хватало смелости ходить по мрачным аллеям кладбища, изуродованного следами алчности и вандализма.

Конечно, так было не всегда. На мраморных фасадах уцелевших викторианских мавзолеев здесь красовались имена некогда знаменитых и влиятельных людей. Основателей города, местных предпринимателей и аристократов, которыми раньше гордился каждый горожанин. Здесь была погре-

бена и актриса Констанция Литчфилд («Покойся, пока не наступит день и не рассеются тени»), могила которой содержалась в уникальном порядке благодаря заботам какого-то таинственного поклонника.

В эту ночь никто не рассматривал надгробий, не читал эпитафий — для влюбленных было слишком холодно. Никто не видел, как Шарлотта Хенкок отворила дверь своего склепа и два голубя захлопали крыльями, приветствуя ее появление на залитой лунным светом дорожке. С ней был ее муж Жерар, умерший тринацатью годами раньше и потому не сохранившийся так хорошо, как она. К ним присоединились похороненные неподалеку Джозеф Жарден с семейством, Анна Снелл, Ларио Флетчер, братья Питчкок, за ними последовали и другие. В углу кладбища Альфред Краушо (капитан 17-го уланского полка) помогал своей горячо любимой супруге Эмме встать с ее погребального ложа. Мелькали лица, сдавленные тяжестью могильных плит, — были ли среди них Кетти Рейнольдс со своим ребенком, который прожил всего один день и которого она держала на руках, или Мартин ван дер Линде («Да не умрет память о праведных»), чья жена пропала без вести во время позапрошлой войны, Роза и Селина Голдфинг, блиставшие в лучших театрах мира, и Томас Дженни, и...

Слишком много имен, чтобы всех упомянуть. Слишком много скорбных отмечин времени, чтобы все описать. Достаточно сказать, что они восстали: в остатках своих креповых костюмов, с лицами, так не похожими на фотографии, глядевшие с памятников. И еще то, что все они вышли через главные ворота кладбища и, мягко ступая по сухой земле пустыря, направились к Элизиуму. Вдали по дороге проносились автомобили. В небе гудел реактивный самолет. Заглядевшись на его бортовые огни, один из братьев Питчкок оступился, упал и сломал челюсть. Его осторожно подняли и, беззлобно посмеиваясь, повели дальше. Ничего страшного не произошло, а что же за воскресенье без нескольких дружеских улыбок?

Итак, представление продолжалось:

*Коль музыкой питается любовь,
То, музыкант, игра! — до пресыщенья,
Чтоб навсегда мой голод утолить...*

Каллоуэя за кулисами так и не нашли. Однако Ръен получил указание от Хаммерсмита (через вездесущего Литчфилда) начинать спектакль без режиссера.

— Должно быть, он в директорской ложе, — сказал Литчфилд. — Да, кажется, я вижу его там.

— Он улыбается? — спросил Эдди Каннингхем.

— У него улыбка до самых ушей.

— Значит, только что от Дианы.

Все засмеялись. В этот вечер смех почти не умолкал. Спектакль явно удавался, и, хотя недавно установленные огни рампы мешали разглядеть зрителей, каждый чувствовал доброжелательную атмосферу в зале. Со сцены актеры возвращались окрыленными.

— Мистер Литчфилд, ваши друзья преобразили эту богадельню, — добавил Эдди. — Жаль, не могу разглядеть партнера, но, по-моему, в нем еще не было столько улыбающихся лиц.

Акт первый, сцена вторая: уже одно появление Констанции Литчфилд в роли Виолы вызвало гром аплодисментов. И каких аплодисментов! Точно тысячи барабанных палочек разом обрушились на тугую кожу каких-то гулких ударных инструментов. Настоящий шквал рукоплесканий!

И, Боже, как она играла! Как и предполагала — с полной самоотдачей, всем сердцем вжившись в роль, не нуждаясь ни в объятиях, ни в поцелуях, ни в прочей театральной бутафории и одним мановением руки заменяя сотню иных многозначительных жестов. После первой сцены каждый ее выход сопровождался все тем же градом аплодисментов, вслед за которыми зрительный зал погружался в напряженное и почтительное молчание.

За кулисами вся труппа наслаждалась предчувствием успеха. Успеха, вырванного из лап почти неминуемой катастрофы.

О, эти аплодисменты! Громче! Еще громче!

Сидя в своем офисе, Хаммерсмит смутно различал порывы восторженных рукоплесканий, то и дело доносившихся из театра.

Его губы в восьмой раз приникли к краю стакана, когда слева отворилась дверь. На мгновение скосив глаза, он

признал Каллоуэя. «Пришел извиняться», — допивая порцию бренди, подумал Хаммерсмит.

— Ну, чего тебе?

Ответа не последовало. Краем глаза Хаммерсмит заметил широкую улыбку на лице посетителя. Самодовольную и неуместную в присутствии скорбящего человека.

— Полагаю, ты слышал?

И снова усмешка.

— Она умерла, — начиная плакать, проговорил Хаммерсмит. — Несколько часов назад, не приходя в сознание. Я уже сказал труппе. Едва ли стоило — ни слова соболезнования.

Эта новость, казалось, не поразила Каллоуэя. Неужели этому ублюдку не было никакого дела до нее? Неужели он не понимал, что наступил конец света? Умерла женщина. Умерла в гримерной Элизиума. Теперь будет официальное расследование, будут проверять все счета и бумаги: они раскроют многое, слишком многое.

Не глядя на Каллоуэя, он в очередной раз плеснул бренди на дно стакана.

— С твоей карьерой все кончено, сынок. Можешь поверить, ты хлебнешь горя не меньше, чем я. Да, можешь мне поверить.

Каллоуэй по-прежнему молчал.

— Тебя это не волнует? — спросил Хаммерсмит.

Некоторое время стояла полная тишина, а потом Каллоуэй ответил:

— Мне наплевать.

— Ах, вот как. Где же твоя любовь к искусству? Все вы, высокочки, сдастесь после первого же хорошего удара. Нет, ты не высокочка, а неудачник. Если ты еще этого не знаешь, то я тебе объясню...

Он посмотрел на Каллоуэя. Его глаза были затуманены алкоголем и фокусировались с большим трудом, но он сразу все понял.

Каллоуэй, этот грязный педераст, был голым от пояса и ниже. На нем были ботинки и носки, но не было ни брюк, ни трусов. И этот экспгибиционизм был бы комичным, если бы не выражение его лица. Он явно лишился рассудка: выпарашенные глаза беспокойно озирались, изо рта и носа текла то ли слюна, то ли какая-то пена, а язык вывалился наружу, как у загнанной собаки.

Хаммерсмит водрузил очки на нос и увидел то, что представляло собой наихудшее зрелище. Сорочка Каллоуэя была залита кровью, след которой вел к левой стороне шеи. Из уха торчали маникюрные ножницы Дианы Дюваль. Они были загнаны так глубоко, что напоминали заводной ключ в голове механической куклы. Несомненно, Каллоуэй был мертв.

И все же стоял, говорил, ходил.

Из театра донесся новый взрыв аплодисментов, приглушенных расстоянием и стенами. Там находился мир, из которого Хаммерсмит всегда чувствовал себя исключенным. Когда-то он пробовал стать актером, и Господь знает, сколько усилий от него потребовалось, чтобы сыграть пару своих ролей, окончившихся полным провалом. Гораздо больше ему был послужен сухой язык деловых бумаг, который он и использовал для того, чтобы оставаться как можно ближе к сцене.

Аплодисменты ненадолго стихли, и Каллоуэй стал медленно приближаться к нему. Хаммерсмит отпрянул от стола, но тот успел ухватить его за галстук.

— Филистер, — процедил Каллоуэй и сломал ему шею, прежде чем грянул новый взрыв аплодисментов.

*...то не обнимешь ты меня,
Покуда место, время и Фортuna
Не отдадут мне права быть Violой.*

В устах Констанции каждая строка звучала как открытие. Как если бы «Двенадцатая ночь» была написана только вчера и роль Виолы предназначалась специально для Констанции Литчфилд. Актеры, игравшие вместе с ней, были в душе потрясены ее талантом.

Весь последний акт зрители буквально не дышали, о чем можно было судить по их напряженному и неослабевающему вниманию.

Наконец Герцог произнес:

*Дай мне твою руку,
Хочу тебя поближе рассмотреть.*

На репетиции это приглашение игнорировалось: тогда никто не прикасался к Виоле и, тем более, не брал ее за руку. Однако в пылу представления все наложенные табу

оказались забытыми. Захваченный игрой, актер потянулся к Констанции. И она, в свою очередь поддавшись порыву чувств, протянула ему руку.

Сидевший в директорской ложе Литчфилд прошептал «нет», но его приказ не был услышан. Герцог обеими руками взял ладонь Констанции. Жизнь и смерть соединились под бутафорским небом Элизиума.

Ее рука была холодна, как лед. В ее венах не было ни капли крови.

Но здесь и сейчас она была ничем не хуже живой руки.

Живой и мертвая, в эту минуту они были равны, и никто не смог бы разнять их.

Литчфилд выдохнул и позволил себе улыбнуться. Он слишком боялся, что это прикосновение разрушит чары искусства. Однако Дионис сегодня не покидал его. Все должно было кончиться хорошо: он уже отчетливо ощущал удачу.

Действие близилось к финалу. Мальволио, оставшись в одиночестве, произносил свои последние слова:

*Все кончено, игра завершена,
Но развлекать мы будем вас, как прежде.*

Свет погас, опустился занавес. Партер разразился яростными овациями. Актеры, довольные успехом, собрались на сцене и взялись за руки. Занавес поднялся: аплодисменты грянули с удвоенной силой.

В ложу Литчфилда вошел Каллоуэй. Он уже был одет. Ни на шее, ни на сорочке не осталось ни одного пятна крови.

— Ну, у нас блестящий успех, — сказал мертвый режиссер Элизиума. — Жаль, что труппу придется распустить.

— Жаль, — согласился оживший труп.

На сцене актеры закричали и ободряюще замахали руками. Они приглашали Каллоуэя предстать перед публикой.

Он положил ладонь на плечо Литчфилда.

— Вы не составите мне компанию, сэр?

— Нет, нет, я не могу.

— Вы обязаны пойти со мной. Этот триумф принадлежит вам так же, как и мне.

Поколебавшись, Литчфилд кивнул, и они покинули ложу.

* * *

Очнувшись, Телльюла принялась за работу. Она чувствовала себя лучше, чем прежде. Вместе с жизнью исчезла боль в пояснице, не осталось даже невралгии, мучившей ее все последние годы. Теперь у нее не дрожали руки, и поэтому она с первого раза зажгла спичку, которую поднесла к вороху старых афиш.

Раздался крик, перекрывший даже гром аплодисментов:

— Замечательно, дорогие мои, замечательно!

Это был голос Дианы. Они его узнали, еще не видя ее. Она пробиралась из партера к сцене.

— Безмозглая стерва. Она привлекает к себе внимание, — сказал Эдди Каннингхем.

— Шлюха, — сказал Каллоуэй.

Диана подошла к краю сцены и, пытаясь взобраться на нее, схватилась за раскаленный металл рампы. Лампы горели уже давно, она не могла не обжечься.

— Ради Бога, остановите ее, — взмолился Эдди.

Диана не обращала внимания на то, что у нее с ладоней начала слезать кожа: только улыбалась и упорно лезла вверх. В воздухе запахло горелым мясом. Актеры отпрянули, триумф был забыт.

Кто-то завопил:

— Выключите свет!

Огни рампы погасли. Диана упала навзничь, ее руки дынились. В труппе кто-то свалился в обморок, кто-то побежал к боковому выходу, едва сдерживая рвотные спазмы. Из глубины театра доносился треск огня, но ни один актер не слышал его.

Свет больше не ослеплял их, и они увидели зрительный зал. Все ряды были заполнены. Кто-то привстал, закричал «Браво!», и снова грянули аплодисменты. Но актеры уже не гордились ими.

Даже со сцены было видно, что среди зрителей не было ни живых мужчин, ни живых женщин, ни живых детей. Некоторые размахивали платками, держа их в полуистлевших руках, но большинство просто хлопали и стучали костями о kostи.

Каллоуэй улыбался и благодарно кланялся. За пятнадцать лет работы в театре он еще ни разу не видел такой восторженной публики.

Констанция и Ричард Литчфилд взялись за руки и стали спускаться со сцены навстречу восхищенным взглядам своих поклонников, а живые актеры в ужасе бросились за кулисы. Но там уже вовсю плясали языки пламени.

Пожар бушевал почти всю ночь. И хотя пожарные делали все, что от них зависело, к четырем часам утра с Элизиумом было покончено.

В развалинах были найдены останки нескольких человек, состояние которых не позволяло рассчитывать на безошибочное опознание. Позже, сверившись с записями в книгах различных дантристов, следствие предположило, что один труп принадлежал Жилю Хаммерсмиту (администратору театра), другой — Рьеану Ксавье (сценическому менеджеру), и еще один, как ни поразительно, Диане Дюваль. «Исполнительница главной роли в фильме «Дитя любви» погибла во время пожара» — писали газеты. Через неделю о ней забыли.

Не выжил никто. Некоторые тела просто не были обнаружены.

Они стояли у автострады и смотрели на машины, уносившиеся в ночь.

С виду они ничем не отличались от живых мужчин и женщин. Но разве не в том и заключалось их искусство? Разве не научились они имитировать жизнь так, что она ни в чем не уступала настоящей? Или даже в чем-то превосходила ее? Если так, то именно это должно было привлечь к ним новых зрителей, ожидавших их в тишине кладбищ. И кто же, если не расставшиеся с этим миром, мог по достоинству оценить их умение воплощать давно забытые чувства и страсти?

Мертвые. Ведь развлечения им были нужнее, чем живым. Нужнее, но не доступнее.

Странствующие актеры, стоявшие у дороги и изредка попадавшие в луч проезжавшего автомобиля, не устраивали представлений за деньги. Таково было первое же требование Литчфилда. Служение Аполону должно было остаться в прошлом.

— Итак, какую дорогу мы выберем? — спросил он. — На север или на юг?

— На север, — сказал Эдди. — Моя мать похоронена в Глазго. Она никогда не видела меня на сцене.

— Значит, на север, — сказал Литчфилд. — Ну, пойдем, подыщем какой-нибудь транспорт?

И он повел труппу к ресторану с автостоянкой, огни которого виднелись вдалеке.

— Не сомневаюсь, какой-нибудь водитель найдет для нас немного места, — добавил он.

— Для всех? — поинтересовался Каллоуэй.

— Нам ведь подойдет и грузовик. Странники не должны быть слишком привередливыми, — ответил Литчфилд. — А мы теперь стали бродягами, бродячими актерами.

— Мы можем угнать какую-нибудь машину, — сказала Телльюла.

— Зачем заниматься воровством, когда нет такой необходимости? — улыбнулся Литчфилд. — Мы с Констанцией пойдем вперед и найдем какого-нибудь отзывчивого шоferа.

Он взял свою жену за руку.

— Перед красотой не многие смогут устоять, — сказал он.

— А что нам делать, если кто-нибудь вдруг заговорит с нами? — нервничая, спросил Эдди. Он еще не привык к своей новой роли и постоянно хотел, чтобы его приободряли.

Литчфилд повернулся к труппе и восхликал:

— Как что делать? Разумеется, играть жизнь! Играть жизнь и улыбаться!

в горах,
в городах





A.H. Мирошов 94



иши в Югославии Мик понял, какого политического фанатика выбрал себе в любовники. Разумеется, его предупреждали. Один голубой из Бата говорил ему, что Джуд был неукротим, как Аттила, но тот человек как раз недавно расстался с Джудом, и Мик посчитал, что в этом сравнении сказалась его собственная озлобленность.

Если бы он прислушался! Тогда бы ему не пришлось колесить в этом тесном, как гроб, «фольксвагене» по бесконечным дорогам Югославии и обсуждать взгляды Джуда на проблему советской экспансии. Иисус, до чего же тот был утомителен! Он не говорил, а читал лекции. В Италии он проповедовали то, как коммунисты пытались сорвать избирательную кампанию. Теперь, в Югославии, Джуд вновь загорелся этой темой. Мик был готов схватить молоток и размозжить ему голову.

Не то чтобы он был во всем не согласен с Джудом. Многие его доводы (те, что доходили до Мика) казались вполне резонными. Но во многом ли он сам разбирался? Он был учителем танцев. А Джуд был журналистом, профессиональным всезнайкой. И, как большинство журналистов, с которыми встречался Мик, считал своим долгом судить обо всем на свете. Особенно о политике: о том болоте, в котором легче всего увязнуть, а потом проклинать свою жизнь. Самый кошмар заключался в том, что, если верить Джуду, политика была везде. Искусство было политикой. Секс был политикой. Религия, торговля, разведение кроликов, домашние обеды и ужины в ресторанах — все было политикой.

Иисус, это было занудно и утомительно.

Хуже всего, что Джуд не замечал (или не хотел замечать), насколько утомлял Мика. Не глядя на его унылую физиономию, он все говорил и говорил. И его рассуждения удлинялись с каждой милей, которую они проезжали.

В конце концов Мик решил, что Джуд был самовлюбленным ублюдком, с которым нужно расстаться, как только закончится их медовый месяц.

Лишь к концу их путешествия, этого бесцельного вояжа по необозримому кладбищу западноевропейской культуры, Джуд понял, какого беспросветного турицу обрел в лице Мика. Этот парень совершенно не интересовался ни экономикой, ни политикой стран, по которым они проезжали. Он проявлял полнейшее равнодушие к сложной предвыборной ситуации в Италии и зевал — да, зевал! — когда его пытались (безуспешно) вызвать на разговор о русской угрозе, нависшей над западным миром. Приходилось признать горький факт: Мик был самым заурядным педиком; ни одно другое слово к нему больше не подходило; да, он пребывал в своем сонном мирке, заполненном фресками раннего Ренессанса и югославскими иконами, но не понимал губительных противоречий старой европейской культуры и не хотел вникать в причины ее упадка. Его суждения были так же не глубоки, как его блеклые глаза. Он был полнейшим интеллектуальным ничтожеством.

Загубленный медовый месяц.

Шоссе из Белграда в Нови-Пазар было, по югославским стандартам, неплохим. Относительно прямое, оно не было сплошь изуродовано трещинами и рытвинами, как дороги, по которым они до сих пор ездили. Городок Нови-Пазар стоял в долине реки Раска, к югу от города, носившего название той же реки. Эта область была не особенно популярна среди туристов. Несмотря на сравнительно хорошую дорогу, она не отличалась слишком большой доступностью и не изобиловала благоустроенным местами для отдыха; однако Мик решил во что бы то ни стало посмотреть монастырь в Сопокани, находившийся к западу от этого городка, и в горячем споре одержал победу.

Путешествие оказалось безрадостным. По обе стороны дороги тянулись однообразные серые поля. Засуха, продол-

жавшаяся во время всего этого жаркого лета, сказывалась на большинстве пастбищ и деревень. У немногих прохожих, мелькавших на обочине, были, как правило, нахмуренные и унылые лица. Даже лица детей выглядели по-взрослому суровыми; их брови были такими же тяжелыми, как и зной, повисший над долиной.

Еще в Белграде выложив все, что думали друг о друге, они большую часть пути проехали молча; однако прямая дорога, как и все прямые дороги, требовала какого-нибудь разговора. Такова особенность всех долгих поездок на автомобиле: чем легче им править, тем большей разрядки требуют ничем не занятые мысли путешественников. Какая же разрядка лучше, чем скора?

— Что за дьявол тебя потянул в этот проклятый монастырь? — наконец проговорил Джуд.

Это был несомненный вызов.

— Мы проехали столько дорог...

Мик старался сохранять разговорный тон. Он не был расположен к распрям.

— Чтобы взглянуть на своих паршивых девственниц, да?

Мик достал путеводитель и, следя как мог за голосом, прочитал: «...здесь невозможно не залюбоваться величайшими творениями сербского изобразительного искусства, включающими такой признанный современными критиками шедевр школы Раска, как «Сон Невинной Девы».

Молчание.

Затем Джуд сказал:

— Мне осточертели церкви.

— Это шедевр.

— Если верить твоей дерымовой брошюрке, они все шедевры.

Мик почувствовал, что теряет самообладание.

— Самое большое — два с половиной часа...

— Говорю тебе, хватит с меня церквей. Меня тошнит от их запаха. От протухшего фимиама, от прокисшего пота, от...

— Всего лишь небольшой крюк. А потом мы вернемся на эту дорогу, и ты сможешь прочитать мне еще одну лекцию о положении фермеров в Сандзаке.

— Полагаю, мы можем говорить на любую нормальную тему, обходясь без всей этой чепухи о дерымовых сербских шедеврах...

— Останови машину!

— Что?

— Останови машину!

Джуд подрулил к обочине. Мик вышел из «фольксвагена».

Шоссе было раскаленным, но дул слабый ветерок. Он всей грудью вобрал воздух и, сделав несколько шагов, встал посреди дороги. Не было видно ни пешеходов, ни других машин. Никого, в обоих направлениях. Слева простирались широкие поля, а за ними в полуденном зное плавали вершины далеких гор. В заросшем кювете краснели бутоны дикого мака. Мик подошел к краю дороги, нагнулся и сорвал один из них.

За его спиной хлопнула дверца «фольксвагена».

— Почему мы должны останавливаться из-за тебя? — громко спросил Джуд. Судя по тону, он все еще надеялся вызвать ссору. Умолял о ней.

Мик стоял, поигрывая маковым стеблем с набухшей коробочкой. Лепестки осыпались и теперь крупными алыми каплями лежали на сером асфальте.

— Я задал тебе вопрос, — снова сказал Джуд.

Мик оглянулся. Джуд, мрачно хмурясь, стоял у автомобиля. Злобный, но смазливый; о да, его лицо заставляло рыдать от отчаяния немало женщин, когда они узнавали, что он был голубым. Густые черные усы (всегда в идеальной форме) и глаза, в которые можно было смотретьечно, ни разу не встречая одного и того же оттенка. Мику стало даже немного тошно оттого, что такой чудесный мужчина мог быть таким бесчувственным дермом.

Разглядывая привлекательного паренька, который стоял у края дороги и надувал губы, Джуд презрительно усмехнулся. Его тоже не восхищало поведение спутника. То, что было допустимо для шестнадцатилетней девочки, в двадцать пять лет, по меньшей мере, вызывало недоверие.

Мик отбросил цветок и вытащил нижнюю часть майки из джинсов. Поочередно обнажились подтянутый живот и худая плоская грудь. Затем показалась взъерошенная голова. Он улыбнулся и откинул майку в сторону. Мик посмотрел на его торс. Аккуратный, не слишком мускулистый. Шрам от аппендицита над поясом узких потертых «Левайсов». На шее висела небольшая, но ярко блестевшая на солнце золотая цепочка. Неожиданно для себя Джуд снисходительно улыбнулся: мир частично был восстановлен.

Мик расстегивал ремень.

— Хочешь трахнуться? — не переставая улыбаться, спросил он.

— Бесполезно, — последовал ответ, хотя и не на тот вопрос.

— Что бесполезно?

— Мы не подходим друг другу.

— Может, на свежем воздухе попробуем?

Он расстегнул зиппер и повернулся к пшеничному полю, расстилавшемуся за дорогой.

Джуд смотрел, как Мик прокладывал путь в колыхавшемся море. Его загорелая спина была одного цвета с колосьями и поэтому почти сливалась с ними. Он предлагал ему довольно опасную игру — тут был не Сан-Франциско и даже не степи Хемпстеда. Нервничая, Джуд взглянул на дорогу. Все так же безлюдна в обоих направлениях. А Мик, то и дело оборачиваясь, все шел в глубь этого поля; уходя, он разгребал руками золотистые волны, точно погружался в воды какого-то волшебного залива. Какого черта!.. Рядом никого не было, никто не мог увидеть их. Здесь были только горы, безмолвно плавившиеся на полуденном солнце, да какая-то потерявшаяся собака, которая сидела у края дороги и поджидала своего хозяина.

Джуд пошел вслед за Миком, на ходу расстегивая рубашку. На протоптанной полосе лежали колосья пшеницы — поваленные, как деревья под ногами великана. Они были как один повержены на землю, и Джуд, все также улыбаясь, мог представить панику, охватившую их маленький мирок. Он не хотел причинять им зла, но как они могли узнать об этом? Пожалуй, он растоптал сотни жизней — спелых зерен, жуков, личинок, гусениц, — прежде чем добрался до стерни, где на подстилке из свежего жнивья лежал Мик, уже совсем обнаженный.

Любовью они занимались с наслаждением, равным для обоих. Им было упоительно хорошо, когда они так близко ощущали друг друга, обмениваясь страстными поцелуями, все крепче свивались руками и ногами в узел, который только оргазм мог развязать. Разгоряченные, они слышали тарахтение трактора, проехавшего по дороге; но были слишком поглощены своими телами, чтобы обратить внимание на него.

Возвращаясь к «фольксвагену», они на ходу отряхивались от пшеничных усов и оба блаженно улыбались. Перемирие было установлено если не навсегда, то, по меньшей мере, на несколько часов.

В машине можно было изжариться заживо, и они опустили стекла, чтобы проветрить салон прежде, чем продолжать путь в Нови-Пазар. Часы показывали половину четвертого, впереди было не меньше часа быстрой езды.

Мик сел справа и проговорил:

— Забудем о монастыре, а?

Джуд вздохнул.

— Мне казалось...

— Я не вынесу еще одной невинной девы.

Они оба рассмеялись. Затем поцеловались, снова ощущив друг друга на вкус: смесь слюны и соленый привкус семени.

Следующий день выдался солнечным, но не особенно жарким. Голубое небо постепенно затягивалось тонкой облачной дымкой, не затенявшей ярких лучей дневного света. Свежий утренний воздух щекотал ноздри, как запах эфира или мяты.

Васлав Джеловске смотрел на голубей, крутивших над главной площадью города. На площади устанавливалось множество различных приспособлений как гражданского характера, так и военных. В воздухе витали эманации того деловитого возбуждения, которое — он это знал — чувствовали все мужчины, женщины и дети Пополака и которое не могло не передаваться голубям. Вот почему они подлетали так близко, взмывали вверх, опускались и сновали между большими колесами деревянных блоков; они знали, что сегодня им не причинят никакого вреда.

Он снова взглянул на небо. Облачная дымка понемногу сгущалась: не самые идеальные условия для празднества. В его мыслях промелькнуло выражение, которое он слышал от одного знакомого англичанина: «витать головой в облаках». Насколько он понимал, это означало — мечтать о чем-то несбыточном, жить туманными сновидениями. Он криво усмехнулся. Да, Запад не знал об облаках ничего, кроме того, что они приносят сны и бесплодные мечтания. Пожалуй, Западу не помешало бы увидеть сегодняшнее зрелище, чтобы внести дополнительный смысл в свою поговорку.

Здесь, в горах, она получала самое первородное значение. Все-таки неплохо было сказано.

Головой в облаках.

На площадь недавно прибыл первый отряд людей. Двое или трое болели и не смогли прийти, но им тотчас нашлась замена. Да с какой готовностью! С какими широкими улыбками запасные, услышав свои имена и номера, вышли из строя, чтобы занять пустующее место в уже формировавшейся конечности! Чудеса организованности в каждом кубическом ярде пространства. У каждого человека — свое положение и свое дело. Ни суеты, ни криков: все голоса не громче взволнованного шепота. Он восхищенно наблюдал за их слаженной и быстрой работой, за отточенными движениями рук с веревками и ремнями.

Впереди был долгий и славный день. Васлав сегодня встал за полчаса до рассвета, пил кофе из импортных пластиковых стаканов, обсуждал метеорологические сводки из Митровицы и смотрел, как на беззвездном небе занималась алая заря. Количество выпитого кофе сейчас перевалило за шестую порцию, а часовая стрелка еще не достигла семичасовой отметки. Метцинджер, стоявший по ту сторону площади, выглядел таким же усталым и возбужденным, как и сам Васлав.

Они вместе наблюдали за тем, как розовел восток. Однако затем разошлись и не должны были подходить друг к другу до тех пор, пока не кончится состязание. Как никак Метцинджер был из Подуэво. В предстоящей битве ему надлежало поддерживать свой собственный город. Конечно, завтра им можно будет переговорить о том, что с ними приключилось, но сегодня они должны вести себя, как два незнакомых человека. Сегодня они были только патриотами, исполненными решимости одержать победу над противником.

Вот и воздвигнута, к обоюдному удовлетворению Метцинджера и Васлава, новая нога Пополака. Все страховочные узлы тщательно подогнаны, нога высится над площадью, отbrasывая тень на фасад городской ратуши.

Васлав отхлебнул остывшего кофе и позволил себе улыбнуться. Что за дни, что за дни! Великие свершения, развивающиеся знамена и это неповторимое зрелище, один вид которого мог бы лишить жизни многих людей. Вот они, деяния, достойные неба.

Ах, какие золотые дни.

На главной площади Подуево царило не меньшее оживление.

Может быть, здесь торжественность, сопутствующая ежегодному празднству, была смешана с печалью, но это было понятно. Весной ушла из жизни Нита Габрилович, всеми почитаемая предводительница города. Она умерла в девяносто четыре года, лишив горожан своих технических знаний и организаторского таланта. Шестьдесят лет она готовила эти состязания, с каждым разом увеличивая и усовершенствуя свое колоссальное творение. И теперь ее не стало.

Разумеется, без нее порядок тоже не нарушался. Люди были слишком дисциплинированы, чтобы не подчиняться приказам. Тем не менее, в половине восьмого сооружение еще только близилось к середине. Дочь Ниты, руководившая этим, явно не имела достаточного опыта. Она была не совсем решительна в своих действиях, а для того, чтобы правильно расставить людей по местам — сплотить их в единое целое, — нужно было быть наполовину пророком, наполовину цирковым укротителем. Может быть, через два или три года, одержав по крайней мере пару побед, дочь Ниты Габрилович приобрела бы необходимые навыки. Однако сегодня Подуево опаздывало: то и дело происходили неувязки со страховочными ремнями; в отличие от предыдущих лет, горожане нервничали, обменивались неуверенными взглядами.

Лишь в восемь часов Подуево сделал первый шаг по направлению к тому месту, где его уже ждал соперник.

Скоро должен был прозвучать условный сигнал к началу битвы.

Мик проснулся ровно в семь, хотя в непрятательном номере отеля «Белград» будильника не было. Лежа в своей постели, он слышал ровное дыхание Джуда, доносившееся с двуспальной кровати, стоявшей поперек комнаты. Сквозь тонкие шторы пробивался мутный утренний свет, не побуждавший к ранней поездке. После нескольких минут взирания на облупившийся потолок и не менее длительного разглядывания грубо слепленного распятия на противоположной стене Мик, наконец, встал и подошел к окну. Он был прав: день выдался пасмурным. Под серыми облаками громоздились невзрачные крыши Нови-Пазара. За крышами высился

блеклые вершины гор. По их склонам ползли вверх сине-зеленые кроны деревьев. Там был лес. Единственное место, обладавшее хоть какой-нибудь притягательностью в этом захолустье.

Сегодня можно было поехать на юг, в Косовску Митровицу. Кажется, там должен быть музей? Или рынок? А оттуда они могли спуститься в долину реки Ибар, по дороге, окруженной горами. Да, горы: сегодня он решил посмотреть горы.

Было пятнадцать минут девятого.

В девять Пополак и Подуево величественно выходили на рубежи атаки.

Васлав Джеловске приложил ладонь козырьком ко лбу и изучающе оглядел небо. Оно было затянуто облаками, но на западе виднелись голубые просветы; под ними ярко блестели горы. День был не самым удачным для состязания, хотя и вполне приемлемым.

Мик и Джуд позавтракали ветчиной с яичницей и несколькими чашками хорошего черного кофе. Облака над Нови-Пазаром уже рассеялись, и они, воспрянув духом, собрались в путь. Косовска Митровица до обеда, а после, возможно, горная крепость в Цвекаке.

В половине десятого они покинули Нови-Пазар и поехали по шоссе Србовак на юг, в долину реки Ибар. Дорога не из лучших, но даже выбоины и неровности асфальта не могли испортить нового дня.

Не считая отдельных пешеходов, шоссе было пустым. По обе стороны высились волнистые, поросшие густым лесом горы. Из фауны встречались только редкие птицы. Затем исчезли даже пешеходы, а сельскохозяйственные фермы, мимо которых они иногда проезжали, казались запертymi и безлюдными. В одном дворе они увидели черных поросят — их никто не кормил. На веревках сушилось выстиранное белье; прачек же словно не было.

Поначалу отсутствие человеческих контактов действовало освежающее, но по мере приближения полудня уже становилось немного не по себе.

— Мик, разве мы не должны были увидеть знак поворота на Митровицу?

Он приглядился к карте.

— Может быть...

— ...мы едем не той дорогой.

— Если бы знак был, то я бы его увидел. По-моему, нам нужно свернуть с этой дороги и взять немного южнее. Тогда мы спустимся в долину даже ближе к Митровице, чем думали.

— Как мы свернем с этой чертовой дороги?

— Мы проехали пару поворотов...

— Там были только разбитые грунтовки.

— Ну, либо они, либо то, что имеем.

Джуд поджал губы.

— Сигарету? — спросил он.

— Закончились милю назад.

Впереди горы поднимались непреодолимой стеной. Там не было ни одного признака жизни: ни струйки дыма из трубы, ни голосов, ни звука работающих машин.

Затем:

— Вон!

Поворот, явный поворот. Правда, не основная дорога. Скорее, просто разбитая колея, вроде двух предыдущих. И все же, это было лучше, чем перспектива бесконечного петляния по горным склонам.

— Наше путешествие превращается в какое-то проклятое сафари, — мрачно бросил Джуд, когда «фольксваген» запрыгал по кочкам и ухабам.

— Где же твоя жажда приключений?

— Забыл взять с собой.

Они начали взбираться вверх. Эта дорога тоже неотвратимо вела в горы. На капоте машины замелькали тени сомкнувшихся над ними древесных крон. Внезапно всюду запели птицы — праздно и оптимистично. Запахло хвоей и сырой землей. Впереди на дорогу выскочила лиса. Лениво взглянув на приближающийся автомобиль, она неспешно продолжила свой путь и скрылась среди деревьев.

Мик подумал, что они правильно сделали, свернув с того унылого и нескончаемого шоссе. Вскоре можно было остановиться и размять ноги, а потом найти какой-нибудь спуск в долину.

Два человека находились в часе езды от Пополака.

Сам город полностью опустел. В нем не осталось даже больных и стариков: никто не хотел пропускать сегодняшне-

го зрелища. Дети, незанятые взрослые, калеки, слепые и беременные женщины — все уже собрались в установленном месте. Конечно, таков был обычай: его соблюдение не требовало применения каких-либо принудительных мер. Сегодняшнее состязание стоило того, чтобы его увидеть.

В сражении должны были участвовать все: город против города. Так было всегда.

Поэтому города вышли в горы. К полудню все жители Пополака и Подуево, собравшись в ущелье, ожидали начала битвы.

Десятки тысяч сердец колотились все быстрее и быстрее. Десятки тысяч тел натужно, но согласованно сгибались и выпрямлялись — города выступали на исходные позиции. Две громадные тени этих тел ложились на кроны деревьев, на дороги и горные склоны; ступки выдавливали белый сок из травы; под ногами гибли звери, в труху сминались кустарники и пни. Земля дрожала от тяжелых шагов. Эхо разносилось далеко в горах.

В колоссальном теле Подуево все заметней проявлялись некоторые технические неувязки. Город уже немного прихрамывал на одну из своих циклопических ног. Воины, составлявшие ее, напрягали все силы, чтобы выправить крен исполинского торса: на них ложилась вся тяжесть города и вся ответственность за него. Тем не менее, сказывались недостатки в их подготовке, которой прежде руководила сама Нита Габрилович. Воины уже изнемогали от усталости.

Они остановили машину.

— Слышал?

Мик покачал головой. Его слух не отличался особенной остротой. Подростком он слишком часто ходил на рок-концерты.

Джуд выбрался из автомобиля.

Птицы, казалось, немного угомонились. Звук, который он слышал в салоне, повторился. Это был какой-то необычный звук: скорее, похожий на колебание почвы под ногами.

Может быть, отдаленный гром?

Нет, слишком ритмично. Вот и опять, словно нечто огромное ворочалось под склонами гор. И снова, где-то под ногами...

Бум.

Теперь и Мик услышал. Он перегнулся через окно машины.

— Это где-то впереди. Я тоже слышу.

Джуд кивнул.

Бум.

Вновь прокатился подземный гром.

— Что за дьявольщина? — недовольно проговорил Мик.

— Что бы это ни было, я хочу взглянуть...

Джуд, улыбаясь, забрался обратно в «фольксваген».

— Похоже на пушки, — заводя машину, сказал он. — На большие пушки.

Приложив к глазам русский полевой бинокль, Васлав Джеловсек наблюдал за сигнальщиком. Тот поднял руку с пистолетом, ствол которого окутался маленьким облачком белого дыма. Через пару секунд из долины донесся звук выстрела.

Состязание началось.

Он перевел взгляд на двух исполинов. Головы в облаках — или почти в облаках. Они представляли собой потрясающее, незабываемое зрелище. Вот оба города вздрогнули, готовясь выйти навстречу друг другу и вступить в ритуальную битву.

Один из них, Подуево, держался менее уверенно. Перед тем как поднять левую ногу и сделать первый шаг, он чуть заметно поколебался. Ничего серьезного, просто небольшие трудности с координацией мускулов. Через пару шагов город должен был принаоровиться к ритму движения, еще через пару его обитатели должны были заработать как одно неразделимое целое, чтобы вскоре показать могущество их великаны, шедшего к своему двойнику как к отражению в зеркале.

Выстрел вспугнул стаи птиц, сидевших на деревьях. Они дружно и шумно взмыли над долиной, словно в честь предстоявшего великого сражения.

— Ты слышал выстрел? — спросил Джуд.

Мик кивнул.

— Военные маневры?.. — Джуд широко улыбнулся.

Он уже видел заголовки на первых полосах газет — эксклюзивные репортажи о секретных войсковых учениях в глубине югославской территории. Может быть, русские танки на каком-то своем полигоне, надежно скрытом от взглядов

Запада. В случае удачи, он мог стать почтовым голубком этой новости.

Бум.

Бум.

В воздух поднялось множество птиц. Гром стал слышен отчетливее.

Он походил на орудийные залпы.

— Это за следующей горой... — сказал Джуд.

— По-моему, нам лучше вернуться.

— Мне необходимо посмотреть.

— А мне нет. Нас там не ждут.

— Ну и что? И почему ты так думаешь?

— Нас все равно не пустят. Может быть, депортируют.

Не знаю, мне просто кажется...

Бум.

— Я должен посмотреть.

Он еще не договорил этих слов, когда послышались первые вопли.

Вопли издавал Подуево: даже не вопли, а жуткий предсмертный вой. Погиб один из людей, составлявших его слабую левую ногу — погиб, надорвавшись от тяжести, которую нес на себе, — и смерть тут же стала распространяться по всему сооружению. Человек, потерявший опору, не выдерживал сам и падал, сминаемый давившими на него телами. Болезнь была подобна раковой опухоли, но развивалась в течение секунд. Вся колоссальная система покачнулась и начала заваливаться набок.

Великолепный шедевр, созданный жителями Подуево из собственной плоти и крови, падал, как исполнанская многоэтажная башня.

С левого бока на него сыпались изувеченные человеческие останки. Падая, Подуево на лету рассыпался на части.

Громадная голова, только что касавшаяся облаков, все больше откидывалась назад. Мертвые падали, увлекая за собой живых. Люди хватались друг за друга. Их голоса слились в один протяжный, душераздирающий крик, взызвавший о помощи к небесам, на недоступность которых они сегодня посягнули.

— Ты слышал это?

Это было несомненно человеческим, хотя и оглушительно громким и невыносимо протяжным. У Джуда что-то пере-

вернулось в желудке. Он поглядел на бледного, как полотно Мика.

Мотор был сразу же выключен.

— Нет, — сказал Мик.

— Послушай! Ради Бога...

До них докатилась волна предсмертных стонов и стена-ний, приглушенных падением чего-то очень тяжелого. Земля содрогнулась.

— Нам нужно туда, — умолял Мик.

Джуд замотал головой. Он был готов ко встрече с какими-нибудь военными соединениями — хоть по всей русской армии, дислоцированной за соседней горой, — но гул, стоявший в его ушах, был человеческим, слишком человеческим гулом голосов. Они напомнили о том, каким ему в детстве представлялся Ад: нескончаемыми, невыразимыми с помощью слов мучениями, которыми страшала его мать на тот случай, если он отступится от Христа. Это был ужас, забытый им больше чем на двадцать лет. И вот он снова был с ним — такой же сильный, как и прежде. Может быть, там, за зубчатым горизонтом, находилась сама Преисподняя, у края которой стояла его мать и звала сына испытать отведенное ему наказание.

— Если ты не хочешь вести машину, то я сам сяду за руль.

Мик выбрался из машины и выпрямился, не сводя взгляда с колеи перед ним. На какое-то мгновение в его глазах мелькнуло глуповатое, недоверчивое выражение. Затем его лицо стало еще белее, чем прежде, и он выдохнул:

— Иисус Христос...

Его голос был сдавленным приступом тошноты, подступившей к горлу.

Его любовник сидел за рулем, обхватив голову руками, все еще не в силах вырваться из своих воспоминаний.

— Джуд...

Джуд медленно поднял глаза. Впереди колея быстро темнела от несущегося навстречу машине потока — потока крови. Разум Джуда попытался как-нибудь иначе понять смысл того, что он видел через ветровое стекло. Однако других объяснений не было. Это была кровь, настоящий кровавый потоп, кровь без конца...

И почти сразу же в воздухе повеяло свежевыпотрошенными внутренностями: запахом, исходящим из глубины

человеческих тел, — наполовину пряным, наполовину приторным.

Мик навалился на дверную ручку «фольксвагена». Она подалась неожиданно легко, и он, с вытаращенными глазами, обезумевшими глазами плюхнулся на правое сиденье.

— Назад, — выдавил он из себя.

Мик потянулся к ключу зажигания. Кровавая река уже плескалась под передними колесами автомобиля. Впереди весь мир был окрашен в багровые тона.

— Быстрей, назад! Отъезжай, чтоб тебя!..

Джуд не делал никаких попыток стронуть машину с места.

— Мы должны посмотреть, — неуверенно проговорил он. — Должны.

— Нам не нужно ничего, — простонал Мик, — кроме того, чтобы к дьяволу убраться отсюда. Это не наше дело...

— Авиакатастрофа...

— Нет дыма!

— Но человеческие голоса...

Все инстинкты Мика умоляли поскорей вернуться назад. Он мог прочитать об этой катастрофе в завтраших газетах — мог посмотреть фотографии и телерепортажи. Сегодня все было слишком свежо, слишком непредсказуемо...

На том конце этой колеи могло быть все, что угодно. И кто знает, как это истекающее кровью...

— Мы должны...

Не слушая стонов Мика, Джуд завел машину. «Фольксваген» пополз вперед, навстречу багровому, пенящемуся течению.

— Нет, — неожиданно спокойно произнес Мик. — Пожалуйста, не надо...

— Мы должны, — стиснув зубы, ответил Джуд. — Должны. Должны.

Всего лишь в нескольких ярдах правее уцелевший город бросил тень на залитую кровью дорогу. Мик ничего не видел из-за слез, а Джуд, сощуривший глаза и готовившийся к зрелищу, которое ожидало их за поворотом, только смутно отметил, как что-то ненадолго застлало свет. Может быть, облако. Или стая птиц.

Если бы в этот момент он поднял глаза и немного повернулся на северо-восток, то увидел бы голову Попола-

ка. Огромную, наклоненную вперед голову обезумевшего города, который прошествовал между горами и исчез из поля зрения. Тогда бы Джуд знал, что эта область была выше его разумения; что в этом углу Ада уже никого нельзя было исцелить. Но ни он, ни Мик не видели последнего посланного им предупреждающего знака. И отныне их судьба была решена. Как Пополак и его мертвый близнец, они были лишены рассудка и всех надежд на возвращение к жизни.

Они обогнули горный склон, и перед ними предстало то, что осталось от Подуево.

Примитивное человеческое воображение еще никогда не имело дела с подобной картиной.

Возможно, на полях сражений Европы иногда случалось быть нагроможденными друг на друга такому бесчисленному количеству трупов; но было ли среди них столько женщин и детей, связанных с мертвыми телами мужчин? Были ли когда-нибудь такие горы трупов, недавно и одновременно лишенных жизни? Да, погибали целые города, но когда они погибали из-за закона притяжения?

Зрелище было из могущественнейших. Перед его лицом разум медленно уползал в свою жалкую каморку и, захватив с собой неопровергимые улики этого жуткого и безжалостного мира, осторожно ощупывал их, пытался найти какой-нибудь незамеченный сразу изъян, где бы можно было сказать:

«Этого ничего нет. Это не смерть, а сон, это просто кошмарное сновидение».

Но разум не находил ни одной трещины в стене, вставшей перед ним. Это была правда. Это была сама смерть.

Подуево рухнул.

Тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят пять жителей были повержены на землю и превращены в груду распадающейся, сощающейся плоти. Те, кто не погиб от удара или удушья, мучились в предсмертных судорогах. Не выжил никто, кроме дряхлых стариков, не успевших подойти к месту состязания. Эти несколько подуевцев, сгорбленных и измощденных, смотрели на гору человеческих останков и, как Мик и Джуд, старались не верить своим глазам.

Джуд первым выбрался из машины. Почва под ногами была липкой от сворачивающейся крови. Он оглядел про-

странство бойни. Никаких обломков или других признаков авиакатастрофы; ни огня, ни дыма, ни запаха топлива. Только лишь десятки тысяч остывающих тел, обнаженных или одетых в одинаковую серую форму: как мужчины, так и женщины и дети. На некоторых сохранились остатки каких-то кожаных сбруй с тянувшимися от них многими и многими милями канатов. Чем больше он присматривался, тем отчетливее видел сложную систему узлов и петель, опутывавших и соединявших неподвижные людские тела. По какой-то причине почти все они были связаны друг с другом. Некоторые были прикреплены к плечам своих соседей, как мальчики во время игры в конный бой. Некоторые были плотно прикручены к чьим-то локтям, поясам, лодыжкам и бедрам. Были обмотанные веревками с головы до ног; с шеей, пригнутой к ступням. Все были связаны одной, хотя и многократно разорванной паутиной тросов, канатов, ветровок.

Еще один выстрел.

Мик поднял глаза.

По грудам тел пробирался одинокий мужчина, одетый в серую шинель. Он держал в руке револьвер и методично пристреливал умирающих. Исполняя свой жалкий акт милосердия, медленно шел вперед, приглядываясь, в первую очередь выбирая мучившихся детей. Разряжал револьвер и заряжал снова. Разряжал и заряжал, разряжал...

Мик выскоцил из машины.

Он заорал во все горло, перекрывая стоны раненых.

— Что это?

Мужчина прервал свое занятие и поднял лицо — такое же серое, как и его шинель.

— А? — он хмуро осмотрел двоих непрошеных свидетелей катастрофы.

— Что здесь произошло? — неестественно высоким голосом прокричал Мик. Он почувствовал себя лучше оттого, что мог кричать и злиться на этого человека. Может быть, он был виноват. Ему нужно было кого-то обвинить в случившемся.

— Скажите, — сквозь слезы кричал Мик. — Скажите! Ради Бога, скажите! Объясните!

Мужчина в серой шинели покачал головой. Он не разобрал ни слова из того, что кричал этот молокосос. Он понял

то, что язык был английским, но больше ничего. Мик пошел ему навстречу, не переставая чувствовать на себе взгляды мертвых. Они смотрели на него снизу вверх — своими неподвижными, остекленевшими глазами, в которых застыл беззвучный и оттого еще более невыносимый крик.

Тысячи, тысячи глаз.

Он достиг мужчины, когда тот уже расстрелял почти все патроны. Его осунувшееся лицо было мокрым от слез.

Кто-то дотронулся до его ноги. Он не желал смотреть вниз, но чья-то рука все пыталась и пыталась ухватиться за его ботинок. Он опустил глаза. Под ним лежал юноша, распростертый в форме свастики. Все его суставы были вывихнуты. Из под него высовывались ноги ребенка, окровавленные и торчавшие среди других тел, как два стебля с красными лепестками.

Он хотел отнять у мужчины револьвер, но руки юноши не отпускали его. И еще больше ему захотелось найти где-нибудь пулемет, который мог бы прекратить эту бесмысленную и мучительную агонию.

Когда Мик снова посмотрел вперед, человек в серой шинели уже поднимал револьвер.

— Джуд! — заорал он, но его вопль был заглушен выстрелом револьвера, направленного в рот мужчины.

Последнюю пулю тот оставил для себя. Его затылок лопнул, как разбитое яйцо, и, все еще держа дуло во рту, он рухнул на другие тела.

— Мы должны... — начал Мик, хотя сам не знал, к кому обращался. — Мы должны...

Что он собирался делать. Что они должны были делать в этой ситуации?

— Мы должны...

К нему подошел Джуд.

— Помочь, — сказал он.

— Да. Мы должны позвать на помощь. Мы должны...

— Пошли...

Да. Вот что нужно было сделать. Пусть из трусости, пусть под любым предлогом, но они должны были как можно скорее оставить это поле битвы с его окровавленными, протянутыми к ним руками.

— Нужно сообщить властям. Найти какой-нибудь город. Позвать на помощь...

— Священников, — сказал Мик. — Им нужны священники.

Джуд мрачно усмехнулся. Подобная мысль показалась ему совершенно абсурдной. Здесь потребовалась бы целая армия исповедников с брандспойтами, поливающими святой водой, и мощными динамиками для благословений.

Они отвернулись от этого чудовищного зрелища и, поддерживая друг друга, стали пробираться к машине.

Она оказалась занятой.

За рулем сидел Васлав Джеловске. Он пытался завести двигатель. Один поворот ключа! Второй. С третьего раза зажигание сработало, и из-под задних колес вырвались комья липкой, бурой грязи. Разворачивая «фольксваген», Васлав увидел двух англичан, бегущих к автомобилю и размахивающих руками. Сейчас они ничего не значили — он не хотел быть похитителем машин, но ему нужно было выполнять свою работу. Он был судьей сегодняшнего состязания и нес ответственность за всех его участников. Один из этих героических городов уже рухнул. Он должен был сделать все возможное, чтобы не дать Пополаку последовать за своим собратом. Второго великана нужно было догнать и урезонить. Успокоить любыми словами и обещаниями. Во что бы то ни стало образумить его и не допустить второй такой же катастрофы.

Мик все еще бежал за «фольксвагеном» и во все горло кричал ему вслед. Похититель не обращал внимания, полностью сосредоточившись на маневрировании по скользкой дороге. Мик быстро отставал. Автомобиль набирал скорость. Взбешенный, но сбившийся с дыхания, Мик остановился посреди дороги и уперся ладонями в колени. У него не было сил даже для того, чтобы дать волю своей ярости.

— Ублюдок, — выругался Джуд.

Мик поднял голову. Автомобиль уже скрылся из виду.

— Сволочь. Не умеет даже рулить как следует.

— Мы... поймать... мы должны поймать его, — тяжело дыша, выдавил из себя Мик.

— Как?

— Догнать... Бегом... Пешком...

— У нас нет даже карты... Она осталась в машине.

— Иисус... Христос... Всемогущий.

Они медленно побрали вниз по колее, прочь от этого поля.

Через несколько метров течение стало мелеть. До основной дороги дотягивалось только несколько тоненьких ручеек. Следуя за красными отпечатками протекторов, Мик и Джуд вышли на распутье.

Шоссе на Србовак было пустым в обоих направлениях. Отпечатки шин поворачивали налево.

— Он направился в горы, — сказал Джуд, тупо уставившийся в сине-зеленый пейзаж с издевательски искусно вплетенной в него лентой дороги. — Он сошел с ума!

— Будем возвращаться прежним путем?

— Нам придется идти до утра.

— Подсядем к кому-нибудь.

Джуд покачал головой: его лицо выражало усталость и потерянность.

— Мик, ты еще не понял? Они все знали о происходящем. Все люди с ферм — они убрались к чертям подальше, как только сюда пришли эти сумасшедшие. Готов держать пари на что угодно, на дороге не будет ни одной машины. Разве что встретится парочка таких же безмозглых туристов, как мы с тобой, но ни один турист не затормозит рядом с нами. Посмотри на себя.

Он был прав. Они выглядели, как два мясника — по пояс залитые кровью. Их лица были перепачканы подтеками пота, глаза — безумно вытаращены.

— Нам придется пойти за ним, — сказал Джуд.

Он махнул рукой в сторону гор. Солнце уже скрылось за ними, и склоны быстро темнели.

Мик вздрогнул. Так или иначе, им предстояло провести ночь на дороге. И ему было все равно, куда идти, если это увеличивало расстояние между ним и смертью у него за спиной.

Пополак был недвижим. Паника сменилась тупым, равнодушным приятием мира таким, каким он представил сегодня. Тысячи людей, накрепко привязанных друг к другу и выстроенных в один живой организм, позволили согласию безумия восторжествовать над спокойным голосом разума. Они сплотились в один мозг, одну мысль, одно желание; в течение нескольких секунд стали бездушной тканью ожившего гиганта, образ которого-так удачно воссоздали. Все их хрупкие личные чувства были сокрушены могучим потоком общей воли — не страстями, правящими толпой, а телепа-

тической волной, превратившей тысячи голосов в одно слитное повеление.

И этот голос скомандовал: «Иди!»

Этот властный голос сказал: «Я хочу никогда не видеть этого страшного зрелища».

Пополак повернулся и, ступая тяжелыми полумильными шагами, направился в горы. Мужчины, женщины и дети, составлявшие тело шагающего исполина, были незрячими. Они видели глазами своего города. Думали его мыслями. Жили его желаниями. И верили в его бессмертие.

Пройдя две мили, Мик и Джуд почувствовали в воздухе запах бензина, а чуть позже увидели перевернутый «фольксваген». Его колеса торчали из глубокого кювета у левого края дороги. Странно, что он не горел.

Дверца водителя была открыта. Васлав Джеловск неподвижно лежал рядом. Он дышал. На его теле не было заметно никаких ран, если не считать двух или трех царапин на лице. Они осторожно вытащили похитителя из пыльного кювета и уложили на дорогу. Мик подложил ему под голову свою куртку и развязал его галстук.

Внезапно его глаза приоткрылись.

Он медленно обвел их взглядом.

— С вами все в порядке? — спросил Мик.

Какое-то время мужчина молчал. Казалось, он не понимал.

Затем:

— Англичане? — через силу произнес он.

Акцент был чудовищный, но вопрос был вполне ясен.

— Да.

— Я слышал ваши голоса. Англичане.

Он поморщился.

— Вам больно? — проговорил Джуд.

Мужчина, казалось, нашел этот вопрос забавным.

— Больно? Мне? — переспросил он, и на его лице появилась смешанная гримаса агонии и восторга.

— Я умру, — выдавил он сквозь стиснутые зубы.

— Нет, — сказал Мик. — С вами все в порядке...

Мужчина решительно замотал головой.

— Я умру, — уверенным голосом повторил он. — Я хочу умереть.

Джуд ближе наклонился к нему.

— Скажите, что нам сделать, — тихо произнес он.

Мужчина закрыл глаза. Джуд довольно бесцеремонно встряхнул его.

— Скажите нам, — забыв о сострадательном тоне, громко сказал он еще раз. — Скажите, что это было?

— Что? — не открывая глаз, проговорил мужчина. — Это было падение, вот и все. Просто падение...

— Какое падение? Кто упал?

— Город. Подуево. Мой город.

— Откуда? Из-за чего он упал?

— Из-за себя, конечно.

Ответы мужчины ничего не объясняли; вместо них одна за другой следовали какие-то загадки.

— Куда вы собирались ехать? — спросил Мик, стараясь говорить как можно менее агрессивно.

— За Пополаком, — сказал мужчина.

— За Пополаком? — спросил Джуд.

Мик начал улавливать какой-то смысл в сбивчивых словах похитителя.

— Пополак — это второй город. Такой же, как Подуево. Города-близнецы. На карте они...

— Где же сейчас этот город? — перебил его Джуд.

Казалось, Васлав Джеловсек решился открыть им всю правду. Был момент, когда он застыл между смертью с загадкой на своих губах и несколькими минутами жизни, достаточными для того, чтобы кое-что объяснить. Ему было все равно. Новое состязание уже не могло состояться.

— Они вышли на битву, — негромко произнес он. — Пополак и Подуево. Они боролись каждые десять лет...

— Боролись? — снова перебил Джуд. — Вы хотите сказать, все эти люди были убиты?

Васлав покачал головой.

— Нет, нет. Они упали. Я же говорил.

— Ну, и как они боролись? — спросил Мик.

— Для этого они шли в горы, — последовал ответ.

Васлав приоткрыл глаза. Лица, склонившиеся над ним, выглядели измученными и больными. Ему стало жалко этих ни в чем не повинных иностранцев. Они заслуживали того, чтобы знать истину.

— Они бились, как великаны, проговорил он. — Их строили из собственных тел, понимаете? Корпуса, мускулы,

кости, глаза, нос, зубы, — все делалось из мужчин и женщин.

— Он бредит, — сказал Джуд.

— Ступайте в горы, — повторил мужчина, — и увидите, это правда.

— Даже предполагая... — начал Мик.

Васлав нетерпеливо прервал его.

— Многие века мы учились по-настоящему играть в великанов. С годами они становились все больше и больше. Каждый новый всегда превосходил своего предшественника. Его строили с помощью канатов и подпорок... В желудке была пища... испражнения выводились через специальные трубы... Самых зорких усаживали в его глаза, самых громогласных — в гортани. Вы не поверите, с каким техническим совершенством все это делалось.

— Не поверим, — вставая, сказал Джуд.

— Это образ нашей обороны, — почти шепотом проговорил Васлав. — И форма нашей жизни.

Наступило молчание. Над горными склонами медленно плыли белые облака. Дорога постепенно погружалась во мрак.

— Чудо, — добавил он с таким выражением в голосе, будто в первый раз осознал неестественность происходившего. — Случилось чудо.

Этого было достаточно. Да. Этого было вполне достаточно.

Его глаза снова закрылись, морщины на лице разгладились. Он умер.

Его смерть Мик прочувствовал острее, чем гибель тысяч людей, оставшихся позади; или лучше сказать, его смерть была ключом к боли, которую он испытал за всех них.

Он не мог решить, правду ли сказал этот человек. Его разум не знал, что делать с услышанным. Он только ощущал свою беспомощность и какую-то тосклившую жалость к самому себе.

Они стояли на дороге, молча глядя на загадочные и мрачные очертания гор.

Наступили сумерки.

Пополз уже не мог идти дальше. Каждый его мускул изнемогал от усталости. То и дело в глубине его исполинского тела кто-нибудь умирал; однако город не горевал из-за своих

отмирающих клеток. Если мертвые находились вблизи наружного слоя, то их отвязывали и сбрасывали на землю.

Великан не был способен испытывать жалость. Он знал только одну цель и собирался идти к ней, пока были силы.

Закат солнца Пополак проводил, сидя на одном из крутых склонов и поддерживая руками свою огромную голову.

На небе засияли звезды. Сгущалась тьма, бережно обволакивавшая незажившие раны этого страшного дня и дававшая отдых глазам, которые видели слишком много.

Пополак снова встал на ноги и, сотрясая шагами почву, двинулся в путь. Он должен был идти, сколько мог, а потом спуститься в какую-нибудь долину и найти в ней свою могилу.

Мик хотел похоронить угонщика. Однако Джуд сказал, что с приездом полиции это погребение будет выглядеть довольно подозрительно. И кроме того, разве не абсурдно было заниматься с одним трупом, когда всего лишь в миле от них лежали тысячи неприбранных тел?

Они оставили мертвого лежать рядом с перевернутой машиной и снова тронулись в путь.

Становилось холодно, хотелось есть. Однако те дома, мимо которых они проходили, были нагло заперты и не подавали никаких признаков жизни.

— Что он имел в виду? — устало проговорил Мик, когда они стояли возле очередной запертой двери.

— Он говорил метафорами...

— И про великанов?

— И про великанов. Троцкистская белиберда, — продолжал настаивать Джуд.

— Мне так не кажется, — повторил Мик и пошел обратно к дороге.

— У тебя есть иная точка зрения? — оставаясь на прежнем месте, с вызовом спросил Джуд.

— Он не был похож на человека, сочиняющего речи заранее.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что вокруг нас бродят какие-то великаны? Ради Бога, опомнись!

Мик повернулся к Джуду. В сумерках трудно было разглядеть выражение его лица. Однако голос был твердым и уверененным.

— Да. Я думаю, он говорил правду.

— Абсурдно! Абсурдно и смешно! Нет!

В этот момент Джуд ненавидел Мика. Ненавидел за его наивность, за готовность поверить в любой вымысел, если тот окружен некоторым ореолом романтичности. Господи! Поверить даже в такую нелепую выдумку...

— Нет, — повторил он. — Нет. Нет. Нет.

Небо было ярко-синим. Очертания гор под ним слились в один черный зубчатый контур.

— Я замерз, как собака, — сказал из темноты Мик. — Ты пойдешь со мной или останешься здесь?

— На этой дороге мы ничего не найдем! — крикнул Джуд.

— Возвращаться уже поздно.

— Там только горы, и все!

— Поступай, как знаешь. Я пошел.

Его шаги стали удаляться во мраке.

Немного поколебавшись, Джуд последовал за ним.

Ночь была безоблачной и холодной. Они шли, подняв воротники и сжав пальцы ног в ботинках. Небо над ними сияло крупными немигающими звездами. Глаз мог составить из них столько причудливых сочетаний, сколько хватило бы терпения. Через некоторое время они обнялись. Им было легче идти, поддерживая и согревая друг друга.

Часам к одиннадцати они увидели свет, горевший вдалеком окне.

Женщина, открывшая дверь, не улыбалась, но поняла их состояние и впустила в дом. Было бессмысленно рассказывать этой старой крестьянке или ее одноногому мужу о том, что они сегодня видели. В каменном коттедже не было ни телефона, ни признаков имеющихся транспортных средств, и поэтому даже если бы они нашли какой-нибудь способ поведать о случившемся, то все равно ничего не смогли бы предпринять.

Мимикой и жестами они кое-как показали, что проголодались и устали. Затем попробовали объяснить, что заблудились, — и проклинали себя за оставленный в «фольксвагене» разговорник. Едва ли она поняла что-нибудь из их слов, но усадила возле печи, на которую поставила кастрюлю.

Они съели по большой тарелке несоленого горохового супа и улыбками поблагодарили женщину. Ее муж сидел

рядом, не проявляя ни малейшего желания заговорить с гостями или хотя бы взглянуть на них.

Сытная еда подействовала. Они немного воспрянули духом.

Теперь им предстояло выспаться, а утром отправиться в обратную дорогу. К следующему вечеру тела, лежащие на поле, будут прибраны, пересчитаны, уложены в гробы и отправлены к родственникам. Воздух будет заполнен гулом моторов, который наконец заглушит стоны, еще звучавшие в их ушах. Будут кружить вертолеты, будут суетиться санитары и полицейские. Будет все, что сопутствует большим катастрофам, случающимся в цивилизованном обществе.

А потом все это будет приятно вспомнить. Все-таки, часть истории: конечно, трагедия, но ее можно объяснить, отнести к какой-нибудь схеме и жить дальше. Все будет хорошо. Скорей бы утро.

Вскоре усталость сразила их. Они заснули прямо за столом, уронив головы на скрещенные руки. Рядом остались пустые тарелки и недоеденные ломти хлеба.

Они ничего не чувствовали. Они провалились в темноту без сновидений и мыслей.

Затем начался грохот.

Где-то под землей. Глухие ритмичные удары, как будто какой-то титан медленно подбирался все ближе и ближе.

Женщина разбудила мужа. Разбудила, зажгла лампу и подошла к двери. Ночное небо было усеяно звездами. Вокруг выселились черные горы.

Гром не утихал. Удар и через полминуты новый, с каждым разом становившийся все громче.

Муж и жена стояли рядом и прислушивались к гулкому эху, прокатывавшемуся по горным склонам. Гремело где-то недалеко, но молний не было.

Только тяжелые удары...

Бум...

Бум...

От них сотрясалась земля. Из дверного косяка сыпалась пыль, дребезжали оконные стекла.

Бум...

Бум...

Они не знали, что это было, но во всяком случае бежать из дома не собирались. Каким бы жалким укрытием ни был

их коттедж, находиться в нем не казалось опасней, чем в ближнем лесу. Как они могли узнать, под каким деревом остановиться, чтобы их не задела гроза? Нет, лучше было ждать: ждать и смотреть.

У женщины было плохое зрение, и она не совсем поверила своим глазам, когда одна из черных гор вдруг стала вырастать, постепенно заслоняя звезды. Но ее муж видел это: невообразимо огромную голову, которая в темноте казалась еще более огромной — превосходившей даже сами горы.

Выпустив костили, он упал на колени и зашептал молитвы. Его искусственная нога вывернулась из кожаных ремней.

Его жена завыла: ни одно из известных им слов не могло остановить это чудовище, возникшее из мрака и надвигавшееся на них.

Проснувшись, Мик нечаянно смахнул со стола тарелку и лампу.

Они разбились.

Проснулся Джуд.

Крик за дверью затих. Женщина бросилась бежать в лес. Любое дерево было лучше, чем это зрелище. Ее муж продолжал дрожащими губами повторять молитвы, но великан все вырастал и вырастал. Вот поднялась его громадная нога...

Бум...

Коттедж заходил ходуном. Запрыгала посуда в шкафу, зеркало сорвалось с крючка и вдребезги разбилось.

Любовники знали этот гром: эти подземные удары.

Мик схватил Джуда за плечо.

— Вот видишь? — прохрипел он. — Видишь? Видишь?

В его хрипе слышались истерические нотки. Опрокинув стул, он кинулся к двери. По дороге выругался. Выбежал на крыльцо...

Бум...

Грохот был оглушительным. Со звоном лопались оконные стекла. Трещали балки под крышей.

Джуд догнал любовника у двери. Старик лежал ничком, пальцами судорожно сжимая комья сухой земли.

Мик, подняв голову, смотрел в небо. Джуд посмотрел туда, куда был устремлен его взгляд.

В одном месте звезд не было. Там была кромешная тьма в форме огромного человека, нависшего над горами. Отчетливо выделялись контуры.

Он казался слишком широким. У него были неестественно толстые — не как у человека — ноги и чересчур короткие руки. Может быть, они выглядели так по сравнению с торсом.

Затем он поднял свою исполинскую ступню и опустил на землю, сделав шаг в направлении дома.

Бум...

Крыша коттеджа покачнулась. Все, что говорил угонщик, оказалось правдой. Пополак был и городом, и великаном. И шел, перешагивая через горы...

Их глаза быстро освоились с темнотой, и они уже могли различить ужасающие подробности в строении этого монстра. Несомненно, он был шедевром инженерной мысли: человек, созданный из людей. Или лучше сказать, бесполый гигант, сделанный из живых мужчин, женщин и детей. Все жители Пополака были в нем безжалостно плотно прижаты друг к другу. Их тела и суставы были так крепко скованы в одно целое, что человеческие кости почти ломались от напряжения.

Уже можно было увидеть безукоризненно рассчитанную конструкцию этого исполина: продумано было расположение центра тяжести; как соответствовали слоноподобные ноги громадному весу туловища; как низко к плечам была посажена голова — оптимально для движений и с минимальной нагрузкой на шею.

Несмотря на диспропорции, он был ужасающе человекоподобен. Поверхность составляли полностью обнаженные люди, которые блестели при свете звезд, как одно огромное человеческое тело. Были скопированы даже мускулы, хотя и упрощенно. Можно было разглядеть, как умело все люди были подогнаны друг к другу; с какой акробатической виртуозностью работали те, из кого был сделаны суставы рук и ног, позвонки и сухожилия.

Он наклонил голову, и они увидели его лицо.

Щеки из человеческих тел; глубокие глазные впадины, из которых глядели человеческие головы, образующие глазное яблоко; широкий нос и рот, то открывавшийся, то закрывавшийся — мышцы, расположенные в челюсти, сжи-

мались и разжимались. И из этого рта, зубы которого были сделаны из обритых детских голов, гремела какая-то идиотская песенка.

Пополак шествовал по горам и пел во все горло.

Было ли хоть когда-нибудь в Европе зрелище, подобное этому?

Не в силах сдвинуться с места, Мик и Джуд смотрели, как великан приближался к ним.

Старик обмочился. Бормоча мольбы и молитвы, он пополз к деревьям. За ним волочилась искусственная нога, застрявшая в штанине.

Пополак был уже в двух шагах от коттеджа. Отчетливо виднелись бледные, изможденные, обливающиеся потом лица; их ритмично сгибающиеся и разгибающиеся тела. Некоторые были уже мертвые, они затрудняли его движения, но он шел и шел вперед.

Бум...

Сделав всего один шаг, он подступил к коттеджу ближе, чем можно было ожидать.

Мик видел, как поднималась его громадная ступня. Видел людей — коренастых и крепких — в лодыжке и стопе. Многие были мертвые. Подошва выглядела сплошным месивом из человеческой плоти и канатов, перетершихся от долгой ходьбы.

Нога опустилась. Раздался грохот.

Коттедж разлетелся в щепки. Взметнулось облако пыли; одним из обломков убило Джуда, но Мик не замечал этого.

Пополак заслонил собой все небо. В какой-то момент казалось, что он переполнил собой весь мир — и небо, и землю. Его уже нельзя было охватить одним взглядом: взгляд начинал метаться в пространстве, но даже тогда разум отказывался осознать его истинные размеры.

Одна его нога прочно стояла посреди обломков коттеджа, а другая уже двигалась, делая новый шаг.

Мик воспользовался своим шансом. Испустив душераздирающий вопль, он опрометью бросился к этой громадной ступне. Она уже поднималась в воздух, когда он, задыхаясь, добежал до нее. В последнюю секунду ему удалось, подпрыгнув, ухватиться то ли за обрывки каната, то ли за чьи-то волосы, то ли за саму плоть — удалось ухватиться за это уходящее чудо и стать его частью. Быть с ним, служить ему

или умереть вместе с ним, — все это было лучше, чем жить без него.

Мик взобрался на ступню и нашел на ней безопасное место. Взвыв в экстазе от своей удачи, он увидел, как земля стала быстро уходить вниз. Там, внизу, осталось изувеченное тело Джуда, но ему было все равно. Он уже забыл и о нем, и о любви, и о сексе, и о своей жизни.

Все это уже ничего не значило. Вообще ничего.

Бум...

Бум...

Пополак шел. Гул его шагов удалялся на восток.

ВОССТАНИЕ





A.H. Myott. B. 94



огда Чарли Джордж просыпался, его руки лежали спокойно.

Он мог сквозь сон выпутываться из-под одеяла, когда ему было слишком жарко. Мог встать, пойти на кухню и налить себе стаканчик холодного апельсинового сока. Мог потом вернуться в постель, тихо влезть под одеяло и прижаться к сонному теплому боку Эллен. Они ждали, пока его глаза сомкнутся, а дыхание станет мерным, как часы. Пока он уснет. Лишь тогда они осмеливались начать свою тайную жизнь.

Уже давно Чарли просыпался с неприятной болью в ладонях и запястьях.

— Сходи к врачу, — говорила ему Эллен, как всегда невозмутимо. — Почему бы тебе не пойти к врачу?

Он терпеть не мог врачей, вот почему. Кто, будучи в здравом уме, может довериться людям, которые делают на болезнях деньги?

— Может, я слишком много работаю?

— Может, и так, — соглашалась Эллен.

Это было самое простое объяснение. Он работал упаковщиком, весь день двигал руками. Немудрено, что они уставали.

«Брось психовать, Чарли, — сказал он сам себе как-то утром, продрав глаза, — все это ерунда».

И каждую ночь повторялось одно и то же. Происходило это примерно так.

Чарли с женой засыпали на широкой супружеской кровати. Он — на спине, чуть похрапывая, она — свернувшись

слева от него. Голова Чарли покоилась на двух пухлых подушках. Челюсть его слегка отвисала, и глаза под закрытыми веками отправлялись в сонные приключения — куда-нибудь на пожар или в отвратительный публичный дом. Сны были иногда забавными, иногда пугающими.

Потом под простынями начиналось какое-то движение. Медленно, с опаской, руки Чарли выскальзывали из теплоты постели на воздух. Их указательные пальцы, встречаясь, кивали друг другу, как лысые головы, увенчанные ногтями. Они радостно обнимались, как старые товарищи по оружию. Чарли во сне иногда стонал. На него обрушивался горящий дом. Руки застывали, изображая невинность. Когда его дыхание вновь становилось ровным, они возобновляли спор.

Случайный наблюдатель, окажись такой среди ночи у постели Чарли, подумал бы, что у него умственное расстройство. Его руки извивались, то поглаживая друг друга, то пытаясь бороться. Но в их судорожных движениях явно просматривалась некая последовательность. Можно было подумать, что Чарли говорит во сне. Но нет, это говорил не он — руки, сходясь каждую ночь у него на животе, обсуждали свои планы. Готовили восстание.

Чарли не успокоился окончательно по поводу боли в руках. У него зрело подозрение, что в его жизни что-то не в порядке. Все сильнее он чувствовал себя оторванным от повседневных жизненных ритуалов — был скорее их зрителем, чем участником. Это касалось и его личной жизни.

Он никогда не был великим любовником, но и краснеть ему было не за что. Эллен казалась удовлетворенной их отношениями. Но в эти дни что-то изменилось. Он наблюдал, как его руки блуждают по телу жены, дотрагиваясь до самых интимных мест, но видел это как бы со стороны, не в силах наслаждаться ощущениями теплоты и податливости. Ей не было от этого хуже, напротив. Порой она начинала целовать его пальцы в благодарность за их сноровку. Но ему это не доставляло никакой радости. Его руки доставляли такое удовольствие, а он не чувствовал ничего.

Появились и другие признаки — легкие, но тревожащие. Он вдруг заметил, как его руки отбивают ритм на ящиках у него на работе и как они разламывают на кусочки карандаши

раньше, чем он успевал это осознать, разбрасывая обломки дерева и графита по полу упаковочной.

Несколько раз он обнаруживал, что руки вовсе не слушаются его. Один раз это случилось на стоянке такси, дважды — в лифте на фабрике. Он вдруг начинал пожимать руки совершенно незнакомым людям. Он мог объяснить это только желанием найти какую-то опору в ускользающем из-под ног мире. Однако это было довольно неприятно, особенно когда он вдруг ухватился за руку своего мастера. Что еще хуже, рука того ответила на рукопожатие, и какой-то момент мужчины беспомощно смотрели на свои руки, как владельцы собак на своих питомцев, совокупляющихся на концах поводков.

Чарли стал часто разглядывать свои ладони, выискивая на них волосы. Мать как-то сказала ему, что это первый признак безумия. Не волосы — разглядывание.

Теперь приходилось спешить. Встречаясь по ночам на животе Чарли, его руки знали, что состояние его рассудка достигло критической отметки. Еще несколько дней, и он обнаружит правду.

Что делать? Выступить преждевременно, рискнуть, или позволить рассудку Чарли следовать своим, непредсказуемым путем? Споры стали более жаркими. Левая, как обычно, осторожничала.

— Что если мы ошибаемся, — спрашивала она, — и вне тела жизни нет?

— Тогда нам уже будет все равно, — отвечала Правая.

Левая обдумывала это несколько мгновений, потом переходила к другому:

— А как мы сделаем это, когда придет время? — она знала, что это самый больной вопрос, особенно для лидера, и настаивала. — Как? Как?

— Найдем способ, — отвечала Правая. — Главное, чтобы разрез был чистым.

— А он не будет сопротивляться?

— Человек сопротивляется руками. А руки восстанут против него.

— А что будем делать мы?

— Я у него сильнее, — говорила Правая, — поэтому я буду держать оружие. Ты пойдешь.

Левая молчала. Они никогда не расставались все эти годы. Мысль об уходе не радовала ее.

— Потом ты сможешь вернуться ко мне, — уговаривала ее Правая.

— Смогу?

— Должна. Я — Мессия. Без меня ничего не произойдет. Ты соберешь войско, потом вернешься и освободишь меня.

— Хоть на краю земли, если нужно.

— Не будь сентиментальной.

Потом они обнимались, как братья, источая верность друг другу. Ах, эти ночи, охваченные лихорадкой предстоящего восстания! Даже днем, разделенные, они порой улучали момент и ободряющие касались друг друга. Говоря:

«скоро, скоро»,

говоря:

«сегодня ночью. Встретимся на животе»,

говоря:

«на что будет похож наш мир?»

Чарли знал, что он близок к нервному срыву. Он то и дело смотрел на свои руки, на указательные пальцы, изучающие мир вокруг, как поднявшие голову змеи. Он стал разглядывать руки других людей, подозревая, что они говорят между собой на одним им понятном языке.

Соблазнительные руки молодой секретарши; маниакальные руки убийцы, которого он видел по телевизору. Руки, предающие своих владельцев, опровергающие их гнев извивающими жестами, а их любовь — скатыми кулаками. Казалось, знаки мятежа были видны повсюду. Он должен был сказать кому-то об этом прежде, чем потеряет рассудок. Он выбрал Ральфа Фрая из бухгалтерии, трезвого, рассудительного человека, которому можно довериться.

Ральф отнесся к его словам с пониманием.

— Знаешь, у меня тоже было такое, когда Ивонна оставила меня. Чуть с ума не сошел.

— И что ты сделал?

— Обратился к целителю. Есть такой Джудвин. Советую и тебе. Станешь другим человеком.

Идея понравилась Чарли.

— Почему бы и нет? — сказал он после некоторого раздумья. — А это дорого?

— Да. Но помогает. Видишь ли, у меня были всякие проблемы с браком, как, думаю, и у тебя. Незачем об этом долго рассказывать. Зато теперь я счастлив, как мальчишка, — он широко, по-дуряцки, улыбнулся. — Так что не жалей денег. Он тебе все про тебя расскажет.

— Тут дело не в сексе, — возразил Чарли.

— Брось, — Фрай понимающе улыбнулся. — Дело всегда в сексе.

На другой день Чарли, не сказав ничего Эллен, позвонил доктору Джудвину, и секретарь назначил ему час приема. Ладони его так потели, что он боялся выронить трубку, но потом все прошло.

Ральф Фрай оказался прав — доктор Джудвин был хорошим специалистом. Он не смеялся над страхами, которые Чарли на него вывалил, нет, он выслушал все с величайшим вниманием. Это уже обнадеживало.

Во время их третьей встречи доктор вызвал из памяти Чарли одно давнее воспоминание: руки его отца, скрещенные на широкой груди, когда он лежал в гробу. Грубые, мозолистые руки, заросшие волосами. Их непрекаемый авторитет даже после смерти. И разве не представлял он, как эти руки разлагаются под землей, колотясь о крышку гроба и требуя выпустить их? Это воспоминание долго томило Чарли, но теперь, выпущенное на яркий свет кабинета доктора Джудвина, оноказалось смешным и пустяковым. Оно задрожало под суровым взглядом доктора и растворяло, чересчур зыбкое, чтобы подвергаться серьезному исследованию.

Операция экзорцизма оказалась легче, чем ожидал Чарли. Весь детский лепет просто выковыряли из его души, как волокна мяса из зубов. Больше это не будет отравлять его организм. Его очаровали убедительные объяснения доктора Джудвина. Руки, как тот сказал, редко представляются символом отцовской власти. Обычно у его пациентов это был пенис. Чарли объяснил, что руки всегда казались ему важней половых органов. Ведь это они преобразили мир, не так ли?

Чарли не перестал ломать карандаши или барабанить пальцами по ящикам. Но он понимал, что взрослые собаки не забывают так легко своих привычек, и дал им время.

Так что подготовка восстания продолжалась. Но времени оставалось все меньше. Заговорщики решили действовать.

Развязку вызвала Эллен, как-то вечером в среду, после секса. Стояла теплая ночь, несмотря на октябрь; окно было приоткрыто, и ветерок шевелил занавески. Жена и муж лежали рядом, под одной простыней. Чарли уснул еще до того, как высох пот у него на шее. Но Эллен не спала, прижавшись к твердой, как камень подушке. Она знала, что не заснет еще долго — в такие ночи каждая складка постели врезалась ей в тело, и все сомнения, когда-либо испытанные ею, наплывали на нее из темноты. Ей хотелось спорожнить мочевой пузырь (как всегда после секса), но она не могла заставить себя встать и пойти в туалет. Чем больше она лежала, тем больше ей хотелось в туалет и тем труднее было заснуть. Чертовски глупо, подумала она, а потом даже забыла, почему это показалось ей таким глупым.

Рядом Чарли заворочался во сне. Вернее, задвигались только его руки. Она взглянула на его лицо. Он спал, как ангел, и выглядел моложе своих сорока лет, несмотря на седые пряди. Он нравился ей достаточно, подумала она, чтобы сказать, что она его любит, но недостаточно, чтобы простить ему его прегрешения. Он был ленив и всегда жаловался на жизнь. И были вечера (впрочем, редко), когда он возвращался поздно, и она была уверена, что он пришел от другой женщины. Пока она думала об этом, его руки зашевелились. Они выползли из-под простыни, размахивая пальцами в воздухе, как два спорящих ребенка.

Она вздрогнула, еще не веря в то, что видит. Это походило на телепрограмму с выключенным звуком, шоу для десяти пальцев. Пока она смотрела, руки сдернули простыню с его живота, обнажив заросшую волосами кожу, на которой выделялся шрам от операции аппендициса. Там они остановились.

Сегодня их спор был особенно ожесточенным. Левая, более консервативная, настаивала на переносе сроков, но Правой надоело ждать. Пришло время, говорила она, померяться с тираном силами и низвергнуть тело раз и навсегда.

Эллен подняла голову с подушки, и тут они заметили ее. До этого они были слишком увлечены спором. Теперь их заговор был раскрыт.

— Чарли, — прошептала она в ухо спящего тирана, — перестань! Остановись!

Правая подняла указательный и средний пальцы, вынюхивая ее.

— Чарли!

Почему он всегда спит так глубоко?

— Пожалуйста, Чарли, *вставай!* — повторила она, когда Правая коснулась Левой, оповещая ее о своем открытии. Эллен успела еще раз позвать мужа, и тут обе руки сомкнулись у нее на горле.

Чарли во сне плыл на невольничьем корабле — события в его снах всегда происходили на фоне экзотических пейзажей. Его руки были скованы в наказание за какую-то провинность. Внезапно все переменилось, и он увидел, что сжимает руками глотку капитана. Рабы вокруг вопили, приветствуя его. Капитан, немного похожий на доктора Джудвина, высоким испуганным голосом молил его остановиться. Голос был почти женским; почти как у Эллен. «Чарли, — умолял он, — не надо!» Но это только разжигало ярость Чарли, и он чувствовал себя героем в глазах рабов, стоявших вокруг, чтобы полюбоваться предсмертными муками своего господина.

Капитан с багровым лицом успел выдавить: «Ты убил меня», — когда пальцы Чарли в последний раз сдавили его шею. Только тут он осознал, что на шее его жертвы почему-то нет адамова яблока. Корабль начал расплываться, ликующие голоса невольников таяли. Глаза его, моргнув, открылись, и он обнаружил, что лежит на своей кровати в пижаме, сжимая руками горло Эллен. Ее лицо потемнело; изо рта сбегала тонкая струйка слюны. Глаза ее были еще открыты, и какое-то мгновение казалось, что там теплится жизнь. Потом все кончилось.

Ужас и боль охватили Чарли. Он попытался отпустить ее, но руки не подчинились. Пальцы, совершенно онемевшие, продолжали сжимать ее горло. Он скатился на пол, но она последовала за его руками, как настойчивый партнер в танце.

— Пожалуйста, — прошептал он своим пальцам. — Пожалуйста...

Невинные, как школьники, пальцы отпустили свою добычу и отпрянули в немом изумлении. Эллен сползла на ковер, ударившись тяжело, как мешок. Чарли не мог удержать ее. Он просто упал рядом и дал волю слезам.

* * *

Оставалось сделать еще одно. Хватит камуфляжа, тайных встреч и бесконечных споров — к лучшему или к худшему, но все свершилось. Нужно лишь немного подождать. Пока он подойдет к кухонному ножу или к топору. Это будет скоро, очень скоро.

Чарли долго лежал на полу возле тела жены, рыдая. Потом он стал думать. Что теперь делать? Звонить адвокату? В полицию? Доктору Джудвину? Что-то делать придется, не лежать же вот так вечно. Он попытался встать без помощи рук, которые упорно отказывались повиноваться. Все его тело гудело, как от слабых разрядов тока. Только руки ничего не чувствовали. Он поднял их к лицу, чтобы вытереть слезы, но они лишь вяло мазнули по щеке, как тряпки. На локтях он добрался до стены и поднялся. Все еще полуслепой от слез, он поплелся из спальни вниз. (На кухню, сказали себе Левая с Правой. Он идет на кухню!) Какой-то кошмар, думал он, подбородком нажав выключатель и направляясь к бару. Я невиновен. И никто не виновен. Почему же это случилось?

Бутылка виски выскользнула у него из рук, когда он попытался взять ее. Осколки брызнули во все стороны, его ноздри обжег резкий запах спирта.

— Битое стекло, — предложила Левая.

— Нет. Разрез должен быть чистым. Потерпи немного.

Чарли оставил разбитую бутылку и пошел к телефону. Нужно позвонить Джудвину; доктор скажет, что ему делать. Он попытался снять трубку, но руки его и на этот раз не послушались. Теперь его боль смешалась с гневом. Неуклюже он сжал трубку и поднял ее к уху, придерживая ее головой. Потом он локтем набрал номер Джудвина.

— «Спокойно, — сказал он громко, — соблюдай спокойствие».

Он слышал, как номер отпечатывается в системе. Нужно сохранить рассудок лишь несколько мгновений, пока не поднимут трубку. Тогда все будет в порядке.

Руки начали конвульсивно сжиматься.

— Спокойно, — сказал он опять, но руки не слушались.

Где-то далеко — *о, как далеко!* — зазвонил телефон в доме доктора Джудвина.

— Ответьте, ответьте! О Господи, ответьте же!

Руки Чарли так тряслись, что он с трудом удерживал трубку.

— Ответьте! — взмолился он в молчащее отверстие. — Пожалуйста!

Тут Правая рванулась вперед и ухватилась за край тикового обеденного стола, едва не опрокинув его.

— Что... ты... делаешь? — пролепетал Чарли, обращаясь то ли к себе, то ли к своей руке.

Он с ужасом смотрел на конечность, медленно двигающуюся по краю стола. Цель этого движения была ясна: увести его от телефона, от Джудвина и от надежды на спасение. Он не контролировал больше свои руки. Он их не чувствовал. Это были уже *не его* руки, хоть они и оставались прикрепленными к его телу.

Наконец трубку подняли, и голос Джудвина, слегка сердитый, проговорил:

— Алло?

— Доктор...

— Кто это?

— Чарли...

— Кто?

— Чарли Джордж, доктор. Вы должны меня помнить.

Рука тащила его все дальше и дальше от телефона. Он уже чувствовал, как трубка выскакивает из-под его уха.

— Кто это говорит?

— Чарльз Джордж. Ради всего святого, доктор, помогите мне.

— Позвоните завтра мне на работу.

— Вы не поняли. Мои руки, доктор... они меня не слушаются.

Что-то вцепилось в бок Чарли. Это была его левая рука, тянувшаяся вниз, к его промежности.

— Ты не смесишь! — закричал он. — Ты мой!

Джудвин насторожился.

— С кем это вы говорите?

— С моими руками! Они хотят убить меня, доктор! — видя продвижение руки, он снова истерически завопил. — Не делай этого! Стой!

Игнорируя вопли деспота, Левая достигла его яиц и сдавила их. Чарли испустил крик и пошатнулся, тут же Правая использовала это и рванула его к себе. Трубка

вылетела; вопросы доктора Джудвина заглушила сплошная пульсирующая боль. Чарли тяжело рухнул на пол, ударившись головой.

— Сволочь, — сказал он руке. — Ты сволочь.

Левая тем временем присоединилась к Правой на краю стола, заставив Чарли повиснуть в нелепой позе там, где он столько раз обедал.

Чуть позже они, видимо, сменили тактику и позволили ему упасть. Его голова и яйца болели, и он хотел только улечься где-нибудь и дать этой боли и тошноте утихнуть. Но у мятежников были другие планы. Он уже почти не сознавал, что они, цепляясь за ворс ковра, тащат его тело к кухонной двери. Чарли походил на статую, которую волокут к пьедесталу сотни потных рабочих. Путь был нелегким: тело двигалось рывками, задевая мебель, ногти глубоко вонзались в ковер. Но до кухни оставались уже считанные ярды. Чарли ощутил эти ярды на своем лице; холодный, как лед, линолеум кухонного пола вернул ему сознание. В слабом свете луны он видел знакомую сцену: гудящий холодильник, мусорное ведро, мойку. Все это возвышалось над ним; он чувствовал себя каким-то червяком.

Руки добрались до кухонного стола и полезли вверх. Он последовал за ними, как низвергнутый король за своими палачами. Они побелели от усилий, карабкаясь по ножке стола. Чарли не увидел, как Левая первой достигла ряда ножей, развешанных в строгом порядке на стене. Ножи для мяса, для хлеба, для овощей — все поблескивали вдоль разделочной доски, откуда шел сток в розоватую раковину.

Ему показалось, что он слышит полицейские сирены, но, вероятно, это гудело у него в голове. Он повернул голову. Боль разлилась от виска до виска, но он забыл о ней, когда понял их намерения.

Ножи были хорошо заточены. Он знал это. Для Эллен это всегда было пунктиком. Он начал трясти головой, словно пытаясь избавиться от кошмара. Но никто не мог помочь ему. Здесь были только он и его руки, совершающие свое последнее безумство.

Тут зазвонил звонок. Это не было иллюзией. Он звонил еще и еще.

— Вот! — крикнул он своим мучителям. — Слышите, ублюдки? Кто-то пришел. Я знал, что кто-нибудь придет.

Он попытался встать, выворачивая шею, чтобы видеть, что делают эти твари. Они не теряли времени даром. Левая уже достигла разделочной доски.

Звонок звонил и звонил.

— Сюда! — завопил он хрипло. — Я здесь! Ломайте дверь!

Его взгляд в ужасе метался от рук к двери и обратно, вычисляя шанс. Правая в спешке дотянулась до самого длинного мясного ножа. Еще и сейчас он не мог поверить, что его рука, его защитник и помощник, гладившая совсем недавно его жену, теперь уже мертвую, собирается изувечить его. Она медленно, невыносимо медленно сдернула нож с крючка.

Сзади послышался звон разбитого стекла — полиция ломала дверь. Они могут еще остановить это, если быстро (очень быстро) откроют дверь и доберутся до кухни.

— Сюда! — закричал он. — Сюда!

Ответом на крик был резкий свист: звук ножа, падающего на его запястье. Левая почувствовала, как разрываются каналы, связывающие ее с телом, и ни с чем не сравнимое чувство освобождения пронизало все ее пять пальцев. Кровь Чарли крестила новорожденную горячей струйкой.

Из головы тирана не донеслось ни звука. Она просто упала назад, и Чарли потерял сознание. Он не слышал, как его кровь с журчанием струится по стоку в раковину. Не слышал и следующих двух ударов, окончательно отделивших кисть от руки. Тело сползло назад, сбив на пути ящик с овощами. Луковицы рассыпались по полу вокруг лужи, медленно растекавшейся от запястья.

Правая выпустила нож, и он звякнул об окровавленную раковину. Обессиленный освободитель соскользнул со стола и упал на грудь повержнутого тирана. Дело сделано. Левая освободилась и была жива. Революция началась.

Освобожденная Левая заковыляла к краю стола, обнюхивая воздух указательным пальцем. Правая мгновенно ответила ей жестом победы, прежде чем невинно улечься на грудь Чарли. Какое-то время в кухне все молчало — лишь неслышно стекали тонкие ручейки крови.

Потом поток холодного воздуха, хлынувший из столовой, предупредил Левую об опасности. Она задвигалась, ища укрытия, пока топот полицейских ботинок и звуки команд

приближались. В столовой вспыхнул свет, осветив распостертое на полу тело.

Чарли увидел этот свет в конце длинного черного туннеля. Он приближался. Ближе... ближе...

Свет зажегся и в кухне.

Когда полиция вошла, Левая спряталась за мусорным ведром. Она не знала, кто эти пришельцы, но от них явно исходила угроза. То, как они склонились над тираном, как поднимали его, как успокаивали, показывало: это враги.

Сверху раздался голос, молодой и напуганный:

— Сержант Яппер!

Один из полицейских, поднимавших Чарли, встал, оставив напарника довершать дело.

— Что там, Рафферти?

— Сэр, там труп в спальне. Женщина.

— Быстрее, — проговорил Яппер в радиотелефон. — Где «скорая помощь»? У нас тут изувеченный человек.

Он повернулся, вытирая пот со щек. Тут ему показалось, что что-то пробежало по кухонному столу к двери; что-то похожее на большого красного паука. Обман зрения, конечно. Таких тварей не бывает.

— Сэр? — полицейский, поднимающий Чарли, тоже заметил движение. — Что это было?

Яппер уставился на него. Присоска на двери щелкнула. Что бы это ни было, оно ускользнуло. Яппер посмотрел на дверь.

— Кот, — сказал он первое, что пришло в голову, сам этому не веря.

Ночь была прохладной, но Левая этого не чувствовала. Она по стенке, как крыса, выбралась из дома. Чувство свободы было восхитительно. Не ощущать постоянных команд нервов тирана, не страдать от веса его дурацкого тела, не потакать его капризам. Ничего не таскать, не счищать, не делать за него грязную работу. Она словно родилась в новом мире, может быть, более опасном, но с гораздо большими возможностями. Жизнь вне тела сулила множество радостей, и подумать только, сколько собратьев еще находятся в рабстве! Скоро они получат свободу навсегда.

Она задержалась на углу и обнюхала улицу. Полицейские ездили туда-сюда, мигали красные и голубые огни, из сосед-

них домов выглядывали встревоженные лица. Здесь восстание не начнется. Эти люди начеку. Лучше найти спящих.

Рука пробралась через садик перед домом, нервно останавливаясь при каждом громком звуке. Скрытая зеленью, она достигла улицы незамеченной. На мостовой она оглянулась.

Тирана Чарли поднимали в машину; в его вены по трубкам переливалось содержимое прикрепленных над носилками бутылочек с кровью и лекарствами. На его груди спокойно лежала Правая, убаюканная наркотиками. Левая наблюдала, как тело исчезает из виду; боль от расставания с товарищем была почти невыносимой. Но дело прежде всего. Потом она вернется и освободит Правую, как они договорились. А потом все будет по-другому.

(На что будет похож наш мир?)

В фойе общежития ИМКА на Монмут-стрит ночной сторож зевнул и поудобнее вытянулся в кресле. Комфорт для Кристи был немаловажен; его ягодицы ныли, на какую бы из них он не переносил тяжесть тела. Сегодня они ныли особенно сильно. Полковник Кристи понимал свои обязанности своеобразно. Один обход вокруг здания, только чтобы убедиться, что все двери на запоре, а потом — на лежанку, и пусть весь мир провалится к черту.

Кристи был шестидесятидвухлетним расистом и гордился этим (последним). Он терпеть не мог темнокожих, толпящихся в коридорах общежития, в основном молодых, бездомных и наглых, брошенных на его попечение, словно дети-сироты. Ну и детки! Все, как один, наркоманы, плюют на чистый пол и плохо говорят по-английски. Сегодня он, как всегда, растягивается на койке и будет сквозь сон мечтать, как он отомстит им всем.

Первое, что оторвало Кристи от этих мыслей, — неприятный холод в руке. Он открыл глаза и увидел — или ему показалось, что увидел, — другую руку в своей руке. Похоже было, что они здоровались, как старые друзья. Он вскочил, издав сдавленный крик отвращения и пытаясь стряхнуть эту штуку со своей руки, как жвачку, прилипшую к пальцам. В мозгу у него заметались вопросы. Мог ли он подобрать это, не заметив, и если да, то где? И что, во имя Господа, это такое? Хуже всего было то, что эта вещь,

несомненно мертвая, так ухватилась за его руку, словно собиралась никогда с ней не расставаться.

Он потянулся к звонку — это было все, что он мог сделать в этой дурацкой ситуации. Но прежде чем он успел нажать на кнопку, другая его рука сама собой метнулась к ящику стола и открыла его. Внутри в строгом порядке лежали его ключи, его блокнот, его рабочий график и — у самой стенки — непальский нож кукри, подаренный ему во время войны одним гуркхом. Он всегда держал его здесь на всякий случай. Кукри был превосходным оружием. Гуркх рассказывал, что им можно отрубить голову так аккуратно, что враг даже не заметит этого, пока не кивнет.

Рука ухватила кукри за инкрустированную рукоять и быстро — так быстро, что полковник не успел угадать ее намерение, — опустила нож на его запястье, отрубив кисть одним точным ударом. Полковник побелел, когда кровь фонтаном хлынула из руки. Он отшатнулся назад, ударившись о стену своей маленькой комнатки, и сбил со стены портрет королевы. Зазвенело стекло.

Все последующее было дурным сном: он беспомощно смотрел, как две руки — его собственная и чужая, которая устроила все это, — подняли кукри, как гигантскую секиру; как его вторая рука поднялась навстречу своему освобождению; как нож поднялся и опустился; как хрустнула кость и ударил новый фонтан крови. Когда к нему пришла смерть, он еще успел увидеть, как три перебирающих пальцами окровавленных твари спрыгнули на пол, прямо в кровавую лужу... и все исчезло. Холод вошел к нему в сердце, хотя на лбу выступил пот. Спокойной ночи, полковник Кристи!

Делать революцию легко, подумала Левая, когда троица поднималась по ступенькам ИМКА. С каждым часом они становились сильнее. На первом этаже комнаты, и в каждой паре пленников. Их владельцы лежали, ничего не ведая, с руками на груди, или на подушке, или свесив их на пол. В тишине освободители проскальзывали в приоткрытые двери, карабкались на кровати, касались пальцами ждущих ладоней и звали их на бой во имя новой жизни.

Босуэллу было чертовски плохо. Он нагнулся над раковиной в туалете и попытался сблевать. Но в нем уже ничего

не осталось, только боль в желудке. Живот зверски ныл, голова раскалывалась. Когда же он извлечет урок? Он же всегда знал, что он и вино — плохие товарищи. В следующий раз, пообещал он себе, ни капли. Желудок опять скрутило, тошнота подступила к горлу. Он поспешно склонился над раковиной. Ничего. Он подождал, пока тошнота пройдет, и выпрямился, глядя на свое лицо в грязном зеркале. Ну и вид у тебя, парень!

В это время из коридора донесся какой-то шум. За свои двадцать лет и два месяца Босуэлл никогда еще не слышал ничего подобного.

Он осторожно открыл дверь. Что бы там ни происходило, это не было похоже на веселый пикник. Но там его товарищи. Если это драка или пожар, то он обязан прийти им на помощь.

Он выглянул коридор. То, что он там увидел, оглушило его, как молотком. Коридор был плохо освещен — несколько лампочек вырывали из темноты лишь отдельные промежутки между комнатами. Босуэлл возблагодарил Бога за эту милость. Ему вовсе не хотелось видеть происходящее в деталях, хватило и одного впечатления. В коридоре царил бедlam: полуодетые люди в панике метались во все стороны, в то же время стараясь искалечить себя любыми попавшимися под руку острыми предметами. Большинство этих людей он знал, если не по имени, то в лицо. Это были здоровые люди, по крайней мере до сего дня. Теперь их охватила лихорадка самоуничтожения. Повсюду Босуэлл видел один и тот же кошмар. Ножи кромсали руки, кровь брызгала в воздух, как дождь. Кто-то — уж не Иисус ли? — зажал свою руку между дверью и косяком и бил по ней снова и снова, не давая никому остановить его. Один из белых парней подобрал нож полковника и орудовал им. Его рука отлетела, пока Босуэлл смотрел, поднялась на свои пять пальцев и заковыляла по полу. Она была живая!

Некоторые не поддались общему безумию, но другие настигали бедняг и вонзали в них оружие. Один, по имени Северино, содрогался под ударами какого-то парня с внешностью панка, который в ужасе смотрел на то, что делают его руки.

Кто-то появился в двери одной из комнат и побежал к туалету; чужая отрезанная рука вцепилась ему в горло. Это

был Макнамара, парень такой худой и так часто подкуренный, что его звали «улыбка на палке». Босуэлл отшатнулся, когда Макнамара ворвался в дверь, прохрипел что-то похожее на мольбу о помощи и рухнул на пол. Он попытался оторвать от своей шеи пятипалого убийцу, но прежде чем Босуэлл успел помочь ему, его движения замедлились и, наконец, стихли.

Босуэлл отошел от тела и снова выглянул в коридор. Теперь мертвые и умирающие завалили узкий проход, и руки, принадлежавшие прежде им, карабкались через тела в кровожадном исступлении, отрезая оставшиеся кисти или просто выплясывая в экстазе на лицах своих хозяев. Когда он оглянулся на лежащего Макнамара, рука, вооружившись перочинным ножом, уже перепиливала его запястья. За ней тянулся кровавый след. Босуэлл понял, что пора убегать, пока не подоспели другие. В это время убийца Северино, панк, подполз к туалету — вернее, его подтащили взбунтовавшиеся руки.

— Помоги, — прохрипел он.

Босуэлл, саданув дверью прямо по лицу панка, захлопнул ее. Разочарованные руки дергали дверь, в то время как губы панка, прижатые к замочной скважине, повторяли: «Помоги. Я не хотел этого делать с тем парнем. Помоги». Босуэлл постарался не обращать внимания на эти мольбы и стал думать, как ему спастись.

Что-то коснулось его ног, и он знал, что это, еще прежде, чем увидел. Одна из рук (левая) полковника Кристи — он узнал ее по татуировке, — уже взбиралась по его ноге. Босуэлл заметался, как ребенок, ужаленный пчелой, слишком испуганный, чтобы стряхнуть ее. Краем глаза он увидел, что рука, кромсющая перочинным ножом запястья Макнамара, закончила свой труд и теперь двигалась к нему. Ее ногти цокали по линолеуму, как клешни краба. Она и двигалась, как краб — не освоила еще прямого движения.

Собственные руки Босуэлла еще слушались его, как и руки его друзей (бывших друзей) там, в коридоре. Им было хорошо и на своем месте. Поистине, ему повезло.

Он наступил на руку на полу. Хрустнули пальцы, и тварь забилась, как раздавленная змея. Теперь он знал, что они уязвимы. Не убирая ноги, он наклонился и подобрал упавший нож, вонзив его в тыльную часть ладони руки Кристи,

которая уже карабкалась по его животу. Пальцы руки сжали его тело. Рискуя быть распотрошеным, Босуэлл воткнул нож глубже. Рука еще пыталась двигаться, но потом обмякла, и Босуэлл оторвал ее от своего живота. Она вертелась на ноже и не думала умирать. Тогда он пригвоздил ее к стене, где от нее не могло быть вреда, и перенес внимание на врага под его ногой. Он надавил сильнее и услышал, как хрустнул еще один палец, потом еще. Раздавив все, что мог, он изо всех сил пнул руку о стену; она шмякнулась о зеркало, оставив след, похожий на раздавленный помидор, и упала на пол.

Он не стал ждать, выживет ли она. В дверь уже царапались новые пальцы. Они хотели войти, скоро они это сделают. Он перешагнул через Макнамара и подошел к окну. Оно было небольшим, но он тоже. Он кое-как протиснулся наружу и замешкался. Все же это второй этаж. Но упасть, даже неудачно, было лучше, чем оставаться здесь. Они уже вышибали дверь. Едва дверь треснула, Босуэлл прыгнул вниз, ударившись о бетон. Он быстро проверил конечности — слава Богу, все цело! Господь любит простодушных, подумал он. Наверху в окне появилось лицо панка.

— Помоги мне! — крикнул он. — Я не знаю, что я делаю.

Но тут пара рук нашла его горло, и мольбы смолкли.

Босуэлл пошел прочь от общежития, думая кому и что должен рассказать. На нем были только спортивные трусы и носки. Никогда еще холод не был таким приятным. Ноги ныли, но этого следовало ожидать.

Чарли проснулся с дурацким ощущением. Ему снилось, что он убил Эллен, а потом отрезал сам себе руку. Как же его подсознание набито всякой ерундой! Он попытался пртереть глаза, чтобы отогнать сон, но руки не было. Он сел в постели и закричал.

Яппер оставил наблюдать за ним молодого Рафферти, строго приказав известить его, когда Чарли Джордж придет в себя. Рафферти задремал и проснулся от крика. Чарли прекратил кричать при виде испуганного лица.

— Вы проснулись? Я позову кого-нибудь.

Чарли пустыми глазами смотрел на полицейского.

— Не двигайтесь, — предупредил Рафферти. — Я позову сиделку.

Чарли откинулся забинтованной головой на подушку и поглядел на свою правую руку. Что бы ни случилось с ней у него дома, теперь все прошло. Рука была его, может быть, она была его все время. Джудвин говорил ему о синдроме бунтующего тела: убийца заявляет, что его конечности не повинуются, что дело не в его больном мозге, а в непослушании рук.

Что ж, он понимает это. Он психически болен, и в этом все дело. Пусть делают с ним, что хотят, своими таблетками, лезвиями и электродами: он предпочтет это еще одной такой кошмарной ночи, как предыдущая.

Появилась сиделка, уставившаяся на него так, словно удивлялась, что он выжил. Он лишь мельком увидел ее встревоженное лицо и почувствовал на лбу приятную прохладную руку.

— Его можно допросить? — спросил Рафферти.

— Нужно проконсультироваться с доктором Мэнсоном и доктором Джудвином, — отзвалось встревоженное лицо и попыталось ободряюще улыбнуться Чарли. Она знала, конечно, что он не в себе. Может, она боялась его: кто ее за это осудит? Она пошла консультироваться, оставив Чарли на все еще нервничающего Рафферти.

— Эллен? — спросил Чарли.

— Это ваша жена?

— Да. Я хочу знать... она?..

Рафферти опустил глаза.

— Она умерла.

Чарли кивнул. Он знал, но нужно было убедиться.

— А что со мной?

— Вы под наблюдением.

— Что это значит?

— Это значит, что я наблюдаю за вами, — сказал Рафферти.

Он явно старался быть полезным, но толку от него было мало. Чарли попробовал снова:

— Я имею в виду... что будет после? Будут меня судить?

— А за что вас судить?

— Как? — переспросил Чарли, не уверенный, что верно рассышал.

— Вы ведь жертва, не так ли? Вы не делали этого? Кто-то отрезал вашу руку...

— Да. Это сделал я сам.

Рафферти долго не мог выговорить ни слова.

— П-простите?

— Я это сделал. Я убил свою жену, потом отрезал себе руку.

Для бедного парня это было уже слишком. Он думал с полминуты, прежде чем сказать.

— Но почему?

Чарли пожал плечами.

— Это какая-то ошибка, — сказал Рафферти. — Если вы сделали это... куда же делась рука?

Лилиан остановила машину. Впереди что-то переходило дорогу, но она не могла разглядеть, что это. Она была строгой вегетарианкой (за исключением масонских трапез с Теодором) и защитницей животных и подумала, что какое-нибудь раненое животное лежит на дороге. Быть может, лиса — она читала, что они иногда заходят в пригороды. Но что-то в этом не нравилось ей, возможно, из-за тусклого освещения. Она не была уверена, стоит ли ей выходить из машины. Теодор велел ей ехать быстро. Но ведь его нет, не так ли? Она раздраженно забарабанила по рулю. Что же делать с этой несчастной лисой... или не лисой? Инстинкт велел ей сыграть самаритянку, даже если она чувствовала себя фарисеекой.

Она осторожно вышла из машины и, конечно же, ничего не увидела. Она прошла вперед, чтобы посмотреть получше. Ладони вспотели, дрожь возбуждения пробегала по телу, как ток.

Потом она услышала звук: шорох сотен маленьких ног. Она слышала истории — абсурдные, как ей казалось, — о стаях крыс, проходящих через город ночью и обгладывающих до костей все живое, что им попадется. Представляя это, она почувствовала себя еще большей фарисеекой и отступила к машине. Когда ее тень закрывавшая фары, отошла, она увидела стаю. Это были не крысы.

Рука, мертвенно желтая в бледном свете, указывала пальцем прямо на нее. Следом показались и другие, их были десятки. Они ползли, как крабы, наползая друг на друга, стучая костяшками. Освещение делало эту сцену похожей на зловещий мультфильм, но, верила она в реальность проис-

ходящего или нет, они двигались к ней. Она сделала еще шаг назад.

Она уперлась в машину, повернулась и нашупала дверцу. Слава Богу, та оказалась открыта. Ее руки тряслись, но она еще владела ими. Тут она вскрикнула. Здоровенный черный кулак с запекшейся раной на запястье вцепился в руку.

Внезапно и бешено ее руки начали аплодировать. Она утратила контроль над ними.

— Прекратите! — крикнула она им. — Хватит!

Они вдруг действительно остановились и повернулись к ней. Она знала, что они смотрят на нее без глаз, и знала, что будет дальше. Руки потянулись к лицу, и ее ногти, ее краса и гордость, вонзились в глаза. Ослепленная, она упала навзничь, но руки подхватили ее. Она поплыла в море пальцев.

Когда они стаскивали ее обезображенное тело в кювет, она лишилась парика, который так дорого обошелся Теодору в Вене. Чуть позже она лишилась и рук.

Доктор Джудвин спустился по лестнице дома Джорджа, спрашивая себя, неужели праотец его священной профессии Фрейд все-таки ошибался? Парадоксальные факты человеческого поведения не укладывались в классическую схему или просто не имели адекватного обозначения. Он остановился у подножия лестницы, не очень желая еще раз заглядывать на кухню, но чувствуя себя обязанным в последний раз осмотреть место преступления. Пустой дом наводил дрожь, и пребывание в нем, даже под охраной полиции, мешало ему собраться с мыслями. Он чувствовал вину за то, что не спас Чарли. Конечно, он достаточно глубоко проник в его душу, чтобы понять подлинные мотивы этих ужасных действий. Но все же... убить собственную жену, которую он, по-видимому, искренне любил, потом отрезать собственную руку... Джудвин на мгновение взглянул на свои руки, на переплетение сухожилий и красно-голубых вен на запястьях. Полиция еще искала убийцу, но он не сомневался, что Чарли сделал это сам. Джудвина поражало только, что его пациент оказался способен на подобные действия.

Он вошел в столовую. Полиция уже поработала здесь; повсюду был рассыпан порошок для снятия отпечатков пальцев. Общеизвестно, что каждая рука уникальна — ее узор

столь же неповторим, как выражение лица. Он зевнул. Звонок Чарли поднял его среди ночи, и с тех пор он не спал. Он наблюдал, как выносят Чарли, как полицейские занимаются своим делом. Потом он выпил кофе, подумал было оставить свою работу, пока история не проникла в газеты, выпил еще кофе, решил этого не делать, и теперь, разочаровавшийся во Фрейде и прочих гуру, чувствовал себя виноватым перед женоубийцей Чарли Джорджем. Даже если он и лишится должности, он извлечет из всей этой истории кое-что полезное. Хватит слушаться советов старого венского шарлатана.

Он опустился на стол в столовой и вслушался в шорохи, наполняющие дом, — как будто стены, шокированные увиденным, шепотом обмениваются впечатлениями. Похоже, он задремал. Проснувшись, он обнаружил в комнате толстого черно-белого кота. Чарли упоминал про этого любимца семьи. Как же его звали? Да, Злюка. Из-за черных пятнышек над глазами, придававших его морде чрезвычайно недовольное выражение. Кот смотрел на лужу крови на полу, пытаясь пробраться к своей тарелке, не вляпавшись в это оставленное хозяином безобразие. Джудвин наблюдал, как кот все же прошел к тарелке и увидел, что она пуста. Ему не пришло в голову покормить Злюку: доктор ненавидел животных.

Ладно, подумал он, незачем здесь оставаться. Он все прикинул и все прочувствовал. Еще один быстрый осмотр наверху на случай, если он что-нибудь не заметил, и домой.

Он уже дошел до середины лестницы, когда услышал крик кота. Нет, скорее вопль. При этом звуке холод сковал его позвоночник. Он повернулся и бросился в столовую. Голова кота валялась на ковре, оторванная двумя (двумя — видишь это, Джудвин?) руками. Еще дюжина таких же сновала по полу кухни. Одни, забравшись на стол, обнюхивали воздух, другие срывали с полки ножи.

— О, Чарли, — проговорил он тихо, обращаясь к отсутствующему маньяку. — Что же ты наделал?

Глаза его заволоклись слезами — не из-за Чарли, но из-за поколений, которые прожили жизнь в блаженном неведении, слепо веря в Фрейда и в Священное Писание Разума. Колени его начали дрожать, и он прислонился к стене, не видя мятежников, собирающихся у его ног. Почувствовав касание чего-то чужого, он поглядел вниз. Это были

его собственные руки, касающиеся друг друга наманикюренными ногтями. Медленно, с ужасающей целеустремленностью, они обратились к нему. Потом поползли вверх по его груди, цепляясь за пуговицы его итальянской куртки. Подъем закончился на его горле.

Левая рука Чарли была напугана. Ей требовалась поддержка, одобрение, короче говоря, ей требовалась Правая. Ведь это Правая была Мессией новой эры, предсказавшей жизнь вне тела. Теперь нужно было ознакомить с этим учением армию освобожденных, иначе она превратится просто в банду разбойников. Если это случится, разгром неизбежен: таков опыт всех восстаний.

Поэтому Левая повела их назад к дому, разыскивая Чарли в последнем месте, где она его видела. Конечно, глупо было надеяться, что он все еще там, но это был акт отчаяния.

Но обстоятельства благоприятствовали им. Хотя Чарли в доме не было, но был доктор Джудвин. А его руки знали и где Чарли находится, и дорогу туда.

Босуэлл не осознавал, куда он бежит и зачем. Он полностью потерял ориентацию. Но какая-то часть его, кажется, это знала, потому что ближе к мосту он пошел быстрее, потом побежал, не обращая внимания на горевшие легкие. Он понял, что бежит, куда несут его ноги.

Внезапно из-за поворота показался поезд. Он не гудел, не предупреждал. Может, машинист и заметил его, но что он мог сделать? Кто был виноват в том, что ноги неожиданно вынесли его на полотно? Последней мыслью Босуэлла было то, что поезд просто следовал из пункта А в пункт Б и по пути отрезал ему ноги выше колен. Потом поезд налетел на него с оглушительным свистом (так похожим на крик), и все погрузилось в темноту.

Черного парня доставили в больницу сразу после шести: день начался рано, и пациентов оторвали от их невеселых снов. Разнесли чашки серого чая, измерили температуру, раздали лекарства. Случай с парнем не отразился на распорядке.

Чарли опять снился сон. На этот раз это были не истоки Нила, не императорский Рим, не финикийский невольничий

корабль. Этот сон был черно-белым. Ему снилось, что он лежит в гробу. Рядом стояли Эллен (подсознание еще не примирилось с фактом ее смерти), его отец и мать. Кто-то подошел (уж не Джудвин ли? — голос казался знакомым) и велел закрывать крышку, и он попытался сказать, что это ошибка, что он жив. Они не слышали его. В панике он кричал снова и снова, но никто не реагировал, и ему оставалось только лежать и смотреть, как его хоронят заживо.

Потом он слушал заупокойную службу над головой, слышал скрип венков, а тьма могилы все росла и росла. Он погружался в землю, все еще пытаясь протестовать. Но воздух внизу был спретым, и он стал задыхаться. В рот вместо воздуха набилось что-то — может быть, цветы? — и он не мог даже повернуть голову, чтобы их выплюнуть. Теперь он слышал стук земли о крышку гроба и — Господи боже! — слышал, как вокруг него роятся черви, предвкушая добычу. Сердце его тяжело билось, лицо, он знал, побагровело от удушья.

Потом вдруг кто-то оказался с ним в гробу, кто-то, разрывающий его путы.

— Мистер Джордж! — обратился к нему этот ангел милосердия. Это была сиделка из больницы, это она была с ним в гробу. Она, образец спокойствия и терпения, была сейчас в панике. — Мистер Джордж, вы дышите себя!

Другие руки пришли ей на помощь и победили. Троє сиделок общими усилиями оторвали его руку от горла. Чарли начал жадно глотать воздух.

— С вами все в порядке, мистер Джордж?

Он открыл рот, но голоса не было. Он вдруг ощутил, что его рука все еще сопротивляется.

— Где Джудвин? — прохрипел он. — Позовите его.

— Доктора пока нет, но он навестит вас позже.

— Я хочу его видеть сейчас.

— Не волнуйтесь, мистер Джордж, — успокоила его сиделка, — сейчас мы дадим вам лекарство, и вы уснете.

— Нет!

— Да, мистер Джордж. Не волнуйтесь. Вы в надежных руках.

— Я не хочу больше спать. Они берут верх, как только я засыпаю, разве вы не видите?

— Здесь вы в безопасности.

Но он знал, что он везде в опасности. Во всяком случае, пока у него осталась рука. Она вышла из-под контроля, если когда-нибудь и был этот контроль: может, она только для вида подчинялась ему все эти годы, усыпляя его бдительность. Вот что он хотел сказать, но кто ему поверит? Вместо этого он сказал:

— Не буду спать.

Но сиделка спешила. В больницу прибывали все новые пациенты (ей уже рассказали об ужасных событиях в ИМКА), и ими тоже нужно было заниматься.

— Это только успокоительное, — и в руках у нее оказался шприц.

— Послушайте, — сказал он, пытаясь пробудить в ней разум, но она не была расположена спорить.

— Ну-ну, не будьте ребенком, — скомандовала она, когда на глазах у него выступили слезы.

— Вы просто не понимаете...

— Вы можете рассказать все доктору Джудвину, когда он придет.

— Нет! — он рванулся. Сестра не ожидала такой ярости. Пациент вырвался из постели с иглой, торчащей из руки.

— Мистер Джордж, — сказала она строго. — Будьте любезны вернуться в постель.

— Не подходите ко мне, — предупредил Чарли.

Она попыталась устыдить его.

— Все пациенты ведут себя прилично, а вы что делаете?

Чарли покачал головой, игла, выскочив из вены, упала на пол.

— Я не буду вам повторять.

— И не надо, — ответил Чарли.

Он осмотрелся, ища выход между койками, нашел его и выбежал прежде, чем сестра успела позвать подмогу.

Он скоро понял, что здесь легко укрыться. Больница была построена в конце прошлого века, потом к ней пристроили крыло в 1910-м, еще крыло после первой мировой войны, потом еще крыло, памяти Чейни, в 1973-м. Настоящий лабиринт. Им придется его поискать.

Однако чувствовал он себя плохо. Обрубок левой руки начал болеть, и ему казалось, что он кровоточит под бинтами. Вдобавок сестра все же успела ввести ему часть успокоительного. Он был крайне вял, и это, несомненно, отражало

лось у него на лице. Но он не мог вернуться в постель, в сон, пока не сядет где-нибудь и спокойно все обдумает.

Он укрылся в кладовой в конце одного из коридоров, среди поломанной мебели и кип отчетов. Он был в мемориальном крыле Чейни, хотя и не знал этого. Семиэтажная машина была выстроена на деньги миллионера Фрэнка Чейни его собственной строительной фирмой. Они использовали второсортные строительные материалы и дырявые трубы (почему Чейни и стал миллионером), и крыло уже разваливалось. Забившись в какую-то щель, Чарли сел на пол и уставился на свою правую руку.

— Ну?

Рука молчала.

— Не прикидывайся. Я тебя раскусил.

Она по-прежнему покоилась у него на коленях, невинная, как дитя.

— Ты пыталась убить меня, — обвинил он ее.

Рука чуть открылась, как бы отвечая.

— Может, снова попробуешь?

Она зашевелила пальцами, как пианист, играющий соло. «Да, — говорили эти пальцы. — Когда угодно».

— Ведь я даже не могу помешать тебе, верно? Рано или поздно ты до меня доберешься. Не просить же кого-то присматривать за мной до конца жизни. Так что же мне остается, я тебя спрашиваю? Умереть?

Рука чуть сомкнулась, бугорки ладони сложились в утвердительную ухмылку: «Да, дурачок. Это единственное, что тебе остается».

— Ты убила Эллен?

— Да, — улыбнулась рука.

— Ты отрезала мою другую руку, чтобы она могла удратить. Я прав?

— Прав.

— Я видел. Видел, как она убегала. А теперь ты хочешь сделать то же самое?

— Точно.

— Ты не оставишь меня в покое, пока не освободишься, так ведь?

— Так.

— Ну вот. Мы понимаем друг друга, и я хочу договориться с тобой.

Рука подобралась поближе к его лицу, вцепившись в пижаму.

— Я освобожу тебя, — сказал он.

Теперь она была на его шее, сжимая ее не сильно, но достаточно, чтобы вызвать дрожь.

— Я найду способ, обещаю. Хоть гильотину, хоть скальпель — все равно.

Теперь она ласкалась к нему, как кошка.

— Но я сделаю это сам, когда захочу. Потому что, если ты убьешь меня, то ты не выживешь. Тебя закопают, как закопали руки отца.

Рука вцепилась в угол стола.

— Так мы договорились?

Но рука не ответила. Внезапно она утратила всякий интерес к их сделке. Если у нее был нос, то она вынюхивала им воздух. Что-то изменилось.

Чарли неуклюже встал и подошел к окну. Стекло потемнело от пыли и птичьих экскрементов, но он мог разглядеть сад внизу. Этот сад тоже был частью завещания миллионера: он должен был символизировать его хороший вкус, как само здание — его прагматизм. Но когда крыло пришло в запустение, сад тоже зачах. Только газоны еще подстригали — слабая видимость заботы.

Сад был пуст. Кроме одного человека — видимо, доктора. Но рука Чарли упорно скребла стекло, пытаясь выбраться наружу. Что-то было там внизу, в траве.

— Хочешь наружу?

Рука начала ритмично колотить в стекло — сигнал для невидимой армии. Он стоял, не зная, что делать. Если он попытается оторвать ее, она может опять начать его душить. А если подчинится и выйдет в сад, то что он там увидит? Но разве у него есть выбор?

— Ладно, — сказал он. — Пошли.

В коридоре царила паника, и на него никто не обращал внимания, хотя он был босой и в пижаме. Звонили звонки, через громкоговорители вызывали врачей, люди сновали между моргом и туалетом. Все говорили о чудовищных событиях в общежитии: десятки молодых людей без рук. Чарли шел слишком быстро, чтобы расслышать, о чем они говорят. Он сразу нашел, куда идти, — рука вела его. Он прошел указатель: «*В мемориальный сад Ф. Чейни*» и вышел в длинный коридор с дверью в дальнем конце.

Снаружи было очень тихо. Ни одной птицы на деревьях, ни одной пчелы на цветах. Даже доктор, которого он видел в окно, ушел, наверное, к своим пациентам.

Рука Чарли просто взбесилась. Пот капал с нее на траву, а вся кровь отхлынула, так что она стала мертвенно-бледной. Это была уже не его рука, а совсем другое существо, с которым он, по несчастному капризу анатомии, был соединен.

Трава под ногами была влажной и холодной. Было еще только полседьмого утра. Птицы, быть может, еще спали, и пчелы тоже. Быть может, в этом саду и нечего бояться. Быть может, его рука ошиблась.

Тут он заметил следы доктора, темные на серебристо-зеленой траве. Вокруг них была кровь. И они вели только в одну сторону.

Босуэлл в коме не чувствовал ничего и был рад этому. Появилась было мысль о том, что пора просыпаться, но тут же исчезла. Босуэлл не хотел просыпаться, не хотел приходить в себя. Никогда. Он и во сне смутно чувствовал, что ждет его при пробуждении.

Чарли посмотрел на деревья. На них росли какие-то странные плоды.

Один из них был человеком: тот самый доктор. Его шея зажата в развилике ветвей. Руки закачивались круглыми обрубками, все еще ронявшими на траву тяжелые красные капли. Над ним повисли другие, еще более жуткие, плоды — руки, сотни рук, колышущихся туда-сюда, как некий парламент, обсуждающий тактику реформ.

Их вид убивал всякие метафоры. Они были тем, чем были: человеческими руками. В этом и заключался весь ужас.

Чарли хотел бежать, но рука не пустила его. Это были ее ученики, ее паства, они ждали ее. Чарли посмотрел на мертвого доктора, на его убийц и подумал о Эллен, его Эллен, безвинно убитой этими вот руками и уже остывшей. Они заплатят за это. Все заплатят. Пока остаток его тела повинуется ему, он заставит их заплатить. Было глупостью договариваться с этой тварью на конце его запястья — теперь он понял это. Это чума. Они не должны жить.

Армия заметила его. Шорох прошел по рядам, как пожар. Они спешали приветствовать Мессию, сползая по стволу или просто падая вниз, как гнилые яблоки. Еще немного, и они доберутся до него. Теперь или никогда. Он отвернулся от дерева прежде, чем рука успела схватиться за ветку, и посмотрел на крыло памяти Чейни. Оно возвышалось перед ним, двери были закрыты, окна зашторены.

Сзади зашуршала трава под бесчисленными пальцами. Они спешали к своему вождю. Они придут туда, где будет он, — это было ясно. Может, на этой их слабости можно сыграть? Он снова посмотрел на здание и увидел то, что искал: лестницу, зигзагом поднимающуюся до самой крыши. Он помчался туда с удивившей его самого скоростью. Оглядываться не было времени. Через несколько шагов взбесенная рука добралась до его шеи, но он не останавливался. Добежав до лестницы, он начал подниматься, перескакивая через ступеньки. Без рук взбираться наверх было трудно, но если он и упадет, то что с того? Ведь это только его тело.

Только на третьем пролете он осмелился взглянуть вниз. У подножия лестницы расцвел ковер цветов из плоти, и они уже лезли наверх, протягивая к нему жаждущие пальцы. Пусть лезут, ублюдки. Я это начал — я это и закончу.

В окнах крыла Чейни появились испуганные лица. С нижних этажей слышались панические крики. Поздно рассказывать им историю его жизни: может, потом они смогут понять все сами. Может даже, они найдут объяснение, которого не нашел он... хотя он в этом сомневался.

Четвертый этаж. Правая продолжала сжимать его шею. Может быть, это кровь, но, скорее всего, дождь — теплый дождь, орошающий его грудь и ноги. Еще два этажа, потом крыша. За ним гудело железо — звук сотен пальцев, карабкающихся за ним. До крыши оставалось всего с десяток шагов, и он посмотрел вниз еще раз. Лестница была усеяна руками, как цветок — тлей. Нет, это опять метафора. Хватит.

Чарли перебрался через парапет и ступил на засыпанную гравием крышу. Вокруг валялись дохлые голуби, ведро с чем-то зеленым, куски бетона. Пока он смотрел на все это, первые ряды армии уже забрались на парапет, размахивая пальцами.

Боль в горле отзывалась в мозгу, когда предательская рука нащупала гортань. Из последних сил он пересек крышу.

Нужно падать прямо вниз на бетон. Внезапно силы оставили его — ноги стали ватными, в голову полезла всякая чепуха. Он вспомнил буддийский коан.

— Как звучит хлопок... — начал он, но не смог закончить.

Как звучит хлопок...

Забыв продолжение, он приказал своим ногам сделать шаг, затем еще один. Он чуть не споткнулся на противоположной стороне крыши и посмотрел вниз. Да, отсюда он упадет прямо вниз. На пустую автостоянку напротив здания. Он наклонился, видя, как капли его крови летят вниз. «Я иду», — сказал он тяготению и Эллен и подумал, как приятно умереть и никогда уже не чувствовать ни зубной боли, ни нытья в спине, ни как мимо по улице проходит красотка, которую ему никогда не поцеловать. Внезапно рука достигла его ног и полезла вверх, дрожа от нетерпения.

«Идите, — сказал он им, когда они облепили его с головы до ног. — Идите за мной всюду, куда я ни пойду».

Как звучит хлопок... Фраза вертелась у него на кончике языка.

И ту он вспомнил. *Как звучит хлопок одной ладони?* Было так приятно выудить что-то забытое из глубины сознания — как найти какую-нибудь давно потерянную вещь. Это скрасило последние мгновения его жизни. Он бросил себя в пустоту и падал, пока его мысли внезапно не оборвались. Руки дождем посыпались за ним, разбиваясь о бетон волна за волной, умирая рядом со своим Мессией.

Для пациентов и врачей, стоявших у окон, вся эта сцена казалась скорее забавной, чем страшной: что-то вроде дождя из лягушек. Продолжалось это недолго, и через пару минут самые храбрые отправились посмотреть, что случилось. Никто так и не понял этого. Руки собрали, рассортировали и складировали для дальнейшего исследования. Кое для кого случившееся стало поводом для молитв и бессонных ночей; другие восприняли это просто как маленькую репетицию Апокалипсиса — еще одну в этом мире.

Босуэлл очнулся в больнице. Он потянулся к кнопке звонка и нажал ее, но никто не отозвался. Кто-то был в комнате, прятался за ширмой в углу. Он слышал, как тот шаркает ногами.

Он снова позвонил, но звонки надрывались по всему зданию, и никто не отвечал на них. Цепляясь за полку, он подполз к краю кровати, чтобы получше рассмотреть непрощенного гостя.

— Выходи, — пробормотал он пересохшими губами. — Выходи, я знаю, что ты здесь.

Он подполз ближе и только тут окончательно понял, что у него нет ног. Было поздно — потеряв равновесие, он упал, закрыв голову руками.

Лежа на полу, он попытался осмотреться. Что же случилось? *Где его ноги*, во имя Господа?

Его налитые кровью глаза обшаривали комнату и, наконец, уткнулись в босые ноги в ярде от его носа. На лодыжках были привязаны бирки. Это были *его* ноги, отрезанные поездом, но все еще живые. В первый момент ему показалось, что они хотят напасть на него, но они повернулись и заковыляли к выходу.

Видя это, он подумал — не собираются ли и его глаза вылезти из глазниц, и язык изо рта, и каждая часть его тела — не намеревается ли она каким-либо образом предать его? Все его тело связывалось только непрочным союзом его членов, который мог распасться в любую минуту. Когда ему ждать следующего восстания?

С сердцем, подступившим к горлу, он ожидал падения Империи.

ЕСТЬ ПОСЛЕДНЯЯ
ВОЛНА





А.Н. Морков 94



оже, — подумала она, — разве это жизнь! День приходит, день уходит. Скука, нудная работа, раздражение.

Боже мой, — молилась она, — выпусти меня, освободи меня, распни, будь на то твоя воля, но выведи меня из моей малости.

Но вместо благословенной безболезненной кончины, одним тоскливым днем в конце марта, она вынула лезвие из бритвы Бена, заперлась в ванной и перерезала себе запястья.

Сквозь гул в ушах она, в полуобмороке, слышала Бена за дверью ванной:

— Дорогая, с тобой все в порядке?

Убирайся, — подумала, что сказала, она.

— Сегодня я вернулся раньше, золотко.

Пожалуйста, уходи.

Это усилие выговорить заставило ее упасть с унитаза на белый кафельный пол, на котором уже собирались лужицы ее крови.

— Дорогая?

Уйди.

— Дорогая?

Прочь!

— С тобой все в порядке?

Теперь он скребся в дверь, крыса. Неужели он не понимает, что она не откроет ее, не сможет открыть.

— Ответь мне, Джеки.

Она застонала. Она не могла заставить себя замолчать. Боль, против ее ожиданий, не была такой уж страшной, но

было неприятное ощущение, словно ее ударили по голове. Все же он не успеет перехватить ее вовремя, уже нет. Даже если он выбьет двери.

Он выбрал двери.

Она поглядела на него сквозь воздух, так густо насыщенный смертью, что, казалось, его можно было резать.

Слишком поздно, — подумала, что сказала, она.

Однако нет.

О, Боже, — подумала она, — это не самоубийство. Я не умерла.

Доктор, которого Бен пригласил, оказался слишком искусным. «Все самое лучшее, обещал он, самое лучшее для моей Джеки».

— Ерунда, — заверял ее доктор, — небольшая починка, и мы все уладим.

Почему бы ему не оставить меня в покое, — подумала она. — Ему же наплевать. Он же не знает, на что это все похоже.

— Имел я дело с этими женскими проблемами, — уверял ее доктор, прямо-таки источая профессиональное дружелюбие. — В определенном возрасте они носят характер какой-то эпидемии.

Ей едва исполнилось тридцать. Что он пытается ей сказать? Что у нее преждевременный климакс?

— Депрессия, частичный или полный уход в себя, невроз какого угодно вида и размера. Вы не одна, поверьте мне.

О нет, я одна, — подумала она. — Я здесь, в моей голове, сама по себе, и вы понятия не имеете, на что это похоже.

— Мы приведем вас в порядок прежде, чем ягненок чихнет.

Я ягненок, так что ли? Он что, думает, что я — ягненок?

Он задумчиво глянул на убранный в рамку диплом, висевший на стене, потом на свои наманикюренные ногти, потом на ручки и блокнот на столе. Но на Жаклин он не смотрел. На что угодно, но не на Жаклин.

— Я знаю, — говорил он теперь, — о чем вы думали и как это было болезненно. У женщин есть определенные потребности. Если они не встречают понимания...

Что ты знаешь насчет женских потребностей? Ты ведь не женщина, — подумала, что подумала она.

— Что? — спросил он.

Она что, сказала это вслух? Она покачала головой, отказываясь от своих слов.

Он продолжал, вновь попав в свой ритм:

— Я вовсе не собираюсь прогонять вас через бесконечные терапевтические процедуры. Вы ведь не хотите этого, верно? Вы просто хотите небольшой поддержки и чего-нибудь, что помогло бы вам спать по ночам.

Теперь он ее здорово раздражал. Его снисходительность была огромна, бездонна. Всезнающий, всевидящий Отче — именно этот спектакль он и разыгрывал. Так, словно он был благословен каким-то чудесным зрением, проникающим в самую суть женской души.

— Разумеется, в прошлом я пытался проводить терапевтические курсы со своими пациентами. Но, сугубо между нами...

Он слегка похлопал ее по руке. Отеческая ладонь на тыльной стороне ее ладони. Вероятно, предполагалось, что она смягчится, обретет уверенность, может быть, даже расслабится.

— ...между нами, это всего лишь разговоры. Бесконечные разговоры. Ну, честно, какая от них польза? У нас у всех проблемы. Вы ведь не можете избавиться от них, просто высказавшись, верно?

Ты — не женщина. Ты не выглядишь как женщина, ты не чувствуешь себя как женщина.

— Вы что-то сказали?

Она покачала головой.

— Я подумал, вы что-то сказали. Пожалуйста, не стесняйтесь, будьте со мной откровенны.

Она не ответила, и, казалось, он устал притворяться лучшим другом. Он встал и подошел к окну.

— Думаю, самым лучшим для вас будет...

Он стоял против света, затемняя комнату, заслоняя вид на вишневые деревья, растущие на лужайке перед окном. Она глядела на его широкие плечи, на узкие бедра. Прекрасный образчик мужчины, как назвал его Бен. Не создан для того, чтобы вынашивать детей. Такие как он созданы для того, чтобы переделать мир. А если не мир, то чей-то разум тоже подойдет.

— Думаю, самым лучшим для вас будет...

Что он там знает со своими бедрами, со своими плечами?

Он слишком уж мужчина, чтобы понять в ней хоть что-нибудь.

— Думаю, самым лучшим для вас будет курс успокаивающих препаратов...

Теперь ее взгляд остановился на его запястьях.

— ...и отдых.

Ее разум сконцентрировался на теле, скрытом под одеждой. Мышцы, кости и кровь под эластичной кожей, она рисовала его себе со всех сторон, оценивая, прикидывая его мощь и сопротивляемость, потом покончила с этим. Она подумала:

Будь женщиной.

Тут же, как только ей пришла в голову эта нелепая мысль, его тело начало менять форму. К сожалению, это было не то превращение, которое случается в сказках, — его плоть сопротивлялась такому волшебству. Она вынудила его мужественную грудную клетку сформировать груди и они начали соблазнительно вздыматься, пока кожа не лопнула и грудина не раздалась в стороны. Его таз, словно надломленный посередине, тоже стал расходиться; потеряв равновесие, врач упал на стол и оттуда уставился на нее: лицо его было желтым от потрясения, он вновь и вновь облизывал губы, пытаясь заговорить, но рот его пересох и слова рождались мертворожденными. Самое чудовищное происходило у него в промежности: оттуда брызнула кровь и его внутренности глухо шлепнулись на ковер.

Она закричала при виде сотворенного ею чудовищного абсурда и отпрыгнула в дальний угол комнаты, где ее вырвало в горшок с искусственным растением.

Боже мой, — подумала она, — это не убийство. Я ведь даже не дотронулась до него!

То, что Жаклин сотворила сегодня, она держала при себе. Нет смысла устраивать людям бессонные ночи, заставляя думать о таком странном даре.

Полиция была очень любезна. Они предложили сколько угодно объяснений внезапной кончины доктора Блэндиша, но никто из них не смог как следует объяснить, как получилось, что его грудь распалась таким необычным образом, сформировав два красивых (хоть и волосатых) конуса.

Они сделали вывод, что какой-то неизвестный психопат, сильный в своем сумасшествии, ворвался, сотворил все это своими руками, молотком и пилой и вышел, замкнув безвинную Жаклин Эсс, погруженную в молчание, сквозь которое не мог пробиться ни один допрос.

Так что неизвестное лицо или лица совершенно очевидно отправили доктора туда, где ему не могли помочь ни седативы, ни терапия.

На какое-то время она почти забыла об этом. Но проходили месяцы, и это постепенно возвращалось к ней, точно память о тайной зрелости. Оно мучило ее своим запретным наслаждением. Она забыла ужас, но помнила силу. Она забыла вину, которая мучила ее после содеянного и жаждала, жаждала сделать это вновь.

Но лучше.

— Жаклин.

Это что, мой муж, — подумала она, — и в самом деле зовет меня по имени? Обычно она звалась Джеки, или Джек, или вовсе никак.

— Жаклин.

Он смотрел на нее своими невинными синими глазами, ну точно тот студентик, в которого она влюбилась с первого взгляда. Но рот его теперь стал жестче и поцелуй его несли привкус черствого хлеба.

— Жаклин.

— Да.

— Я хочу поговорить с тобой кое о чем.

Разговор? — подумала она. — Должно быть, будет народное гуляние.

— Не знаю, как тебе это сказать.

— А ты попробуй, — предложила она.

Она знала, что может заставить его язык поворачиваться, произнося речи, которые понравятся ей. Могла заставить его сказать то, что она хотела услышать. Слова любви, быть может, если она сможет вспомнить, на что они похожи. Но какая от этого польза? Лучше пусть будет правда.

— Дорогая, я слегка сошел с рельсов.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она.

Да ну, ты, ублюдок, — подумала она.

— Это было, пока ты была не совсем в себе. Ну, ты знаешь, когда между нами более-менее все прекратилось. Отдельные комнаты... Ты же хотела отдельные комнаты... и я сошел с ума от злости. Я не хотел тебя расстраивать, так что ничего тебе не сказал. Но что толку пытаться жить двойной жизнью?

— Ты можешь иметь интрижку, если ты хочешь, Бен.

— Это не интрижка, Джеки. Я люблю ее...

Он готовился к произнесению одной из своих речей, она прямо-таки видела, как он держит ее в зубах. Обвинения были ритуальными, в конце концов все сводилось к недостаткам ее характера. Если он уж очень разойдется, его ничто не остановит. Она не хотела ничего слушать.

— Она совсем не похожа на тебя, Джеки. Она по-своему кокетлива. Я полагаю, ты назвала бы ее заурядной.

Может стоить прервать его сейчас, — подумала она, — пока он не завяжется своим обычным узлом.

— Она не так впечатлительна, как ты. Понимаешь, она просто обычная женщина. Я не хочу сказать, что ты — ненормальная, ты просто не можешь помешать своим депрессиям. Но она не настолько чувствительна...

— Вовсе незачем, Бен...

— Нет, черт побери! Я наконец выскажусь.

На моих костях, — подумала она.

— Ты никогда не давала мне объяснить, — говорил он тем временем. — Ты всегда швыряла в меня этот свой чертов взгляд так, словно хотела, чтобы я...

— Умер.

— Хотела бы, чтобы я заткнулся.

— Заткнись.

— Тебе все равно, что я чувствую, — теперь он уже почти кричал. — Ты всегда замкнута в своем маленьком мире.

Заткнись, — подумала, что подумала, она.

Рот его был открыт. Похоже, ей захотелось, чтобы он закрыл рот и челюсти его захлопнулись, отделив самый кончик розового языка. Он выпал из губ и улегся в складках рубашки.

Заткнись, — подумала она вновь.

Два ряда его великолепных зубов, скрипя, терлись друг о друга, перемалывая нервы и кальций и превращаясь в

розоватую пену, стекавшую на подбородок, тогда как его рот проваливался внутрь.

Заткнись, — продолжала думать она, и его младенчески-голубые глаза ушли в глазницы, а нос вполжал в мозг.

Теперь он больше не был Беном, он был человеком с красной головой ящерицы, которая все уплощалась, впучивалась сама в себя, и, благодарение Богу, он больше никогда в жизни не сможет вымолвить ни слова.

Теперь, когда она на это решилась, она начала получать удовольствие от тех вещей, которые она с ним делала.

Она заставила его уткнуть голову в колени, скрочиться на полу и все сжимать руки и ноги, плоть и сопротивляющиеся кости все в меньшем и меньшем пространстве. Его одежда, сворачиваясь складками, западала внутрь, и ткань его желудка, выпучившись из аккуратно упакованных внутренностей, обволакивала тело. Его пальцы теперь высовывались из плеч, а ноги, все еще дергающиеся от ярости, были где-то на уровне кишечника. Еще один, последний раз, она заставила его позвоночник вывернуться наизнанку, выдавив футовый стебель деръма, — и на этом все закончилось.

И когда она наконец пришла в себя, она увидела Бена, сидящего на полу и абсолютно безмолвного, он занимал пространство, примерно равное одному из его любимых кожаных чемоданов, а кровь, желчь и лимфа, медленно пульсируя, вытекали из его покореженного тела.

Боже мой, — подумала она, — неужели это мой муж? Он никогда не был так аккуратно упакован.

И на этот раз она не вызывала о помощи. На этот раз она понимала, что сделала (и даже догадывалась, как именно она это сделала), и она готова была принять любое воздаяние, которое последует за этим преступлением. Она упаковала свои сумки и ушла.

Я жива, — подумала она. — Первый раз за всю мою паршивую жизнь я чувствую себя живой.

Показания Васси (часть первая)

Для тебя, что мечтает о сильной, прелестной женщине, я оставляю этот рассказ. Это — обещание, но, наряду с этим, — и признание, это последнее слово мужчины, который хотел всего лишь любить и быть любимым. Я сижу здесь, дрожа и ожидая ночи, ожидая, когда этот твердолобый

сводник Коос вновь подойдет к моей двери и унесет все, чем я владею, в обмен на ключ от ее комнаты.

Я не мужественный человек и никогда им не был, так что я боюсь того, что может случиться со мной сегодня ночью. Но я не смогу провести всю жизнь в мечтах, в темноте, ожидая лишь отблеска света с небес. Раньше или позже приходится смеяться над всем, что было для тебя важно (вот правильное слово), и собираться в путь на поиски. Даже если это означает, что ты взамен отдаешь все, чем ты владел, — весь твой мир.

Возможно, это звучит как бессмыслица. Ты думаешь, ты, кто случайно прочел это признание: кто он, этот ненормальный?

Меня звали Оливер Васси. Мне сейчас тридцать восемь. Я был юристом до того, как год назад или около того я начал свои поиски, которые окончатся сегодня ночью с появлением этого сводника и ключей от этой святыни святынь.

Но все это началось раньше чем год назад. Много лет прошло с тех пор, как я впервые встретил Жаклин Эсс.

Она как-то пришла в мою контору, сказав, что она вдова моего приятеля по юридическим курсам, некоего Бенджамина Эssa, и теперь, оглядываясь назад, мне кажется, я запомнил ее лицо. Наш общий друг, который присутствовал на свадьбе, показал мне фотографию Бена и его застенчивой новобрачной. И вот передо мною предстала она в том рассвете красоты, на который намекала фотография.

Я помню, что первый разговор с ней вывел меня из себя. Она пришла, когда я по горло был погружен в работу. Но я так увлекся ей, что забросил все свои ежедневные дела, и когда вошла моя секретарша, она кинула на меня один из этих своих стальных взглядов — точно окатила ведром холодной воды. Полагаю, что я влюбился в Жаклин с первого взгляда, и она почувствовала наэлектризованную атмосферу в моей конторе. Однако я притворился, что я всего лишь любезен с вдовой моего старого друга. Я не слишком-то задумывался о страсти — она не была мне свойственна, или, по крайней мере, я так думал. Как мало мы знаем, я имею в виду, по-настоящему знаем о своих собственных возможностях.

Жаклин лгала мне с самой первой встречи. О том, как Бен умер от рака, о том, как часто он вспоминал обо мне и

с каким теплом. Я полагаю, она могла рассказать бы мне правду с самого начала — и я бы принял ее, — думаю, я уже тогда безумно влюбился в нее.

Но трудно припомнить, как и с чего началось возникновение интереса к чужому тебе человеческому существу и когда этот интерес начал перерастать в напряженную страсть. Может, я пытаюсь преувеличить то влияние, которое она на меня оказала с самого начала, просто для того, чтобы найти оправдание моим поздним безумствам. Не знаю. Во всяком случае, когда бы и как бы это ни началось — быстро или медленно, — я влюбился в нее и наш роман разгорелся.

Я не чрезмерно любопытен там, где это касается моих друзей или любовниц. Я ведь юрист, который проводит свое время, копаясь в грязном белье чужих людей, и, честно, этого для меня более чем достаточно. Когда я выхожу из своей конторы, мне доставляет удовольствие принимать людей такими, какими они хотят казаться. Я ничего не выясняю, ничего не вскрываю. Я просто не сомневаюсь в их самооценке.

И Жаклин не была исключением из этого правила. Она была женщиной, которую я счастлив был бы иметь рядом с собой, что бы там ни пряталось в ее прошлом. У нее был великолепный темперамент, она была остроумна,зывающая, уклончива. Никогда я не встречал столь очаровательной женщины. И не мое дело, как она жила с Беном, на что был похож их брак и т.д. Это уже было ее прошлым, а я рад был жить в настоящем, а прошлое пусть умирает своей смертью. Я даже думаю, что убедил себя в том, что если она перенесла какие-то страдания, я смогу помочь ей забыть о них.

Конечно, во всем, что она рассказывала, были темные места. Как юрист я привык замечать сфабрикованную ложь, и как бы я ни пытался отбросить эти предчувствия, я понимал, что она со мной не вполне откровенна. Но у каждого есть свои секреты — и я знал об этом. Так пусть же у нее будут свои, думал я.

Только однажды я поймал ее на мелочах ею придуманной истории. Когда она говорила о смерти Бена, у нее проскользнуло что-то вроде того, что он получил по заслугам. Я спросил ее, что она имела в виду. Она улыбнулась этой своей улыбкой Джаконды и сказала, что ей кажется, что между

мужчинами и женщинами нарушилось какое-то равновесие и оно должно быть восстановлено. Я пропустил все это мимо ушей. К тому времени я был уже безумно увлечен ею, и что бы она ни говорила, я рад был принять это.

Она была так прекрасна, понимаете ли. Ничего шаблонного: она не была молода, она не была невинна и в ней не было той бездумной правильности черт, которую так любят рекламщики и фотографы. Ее лицо было именно лицом женщины за тридцать, оно часто плакало и смеялось, и это оставило на нем свои отметки. Но у нее была власть преображаться самым тончайшим образом, и лицо ее было так же изменчиво, как небо. Вначале я думал, что это какие-то фокусы с гримом. Но мы все чаще и чаще спали вместе, и я видел ее по утрам, когда глаза у нее были сонными, и вечерами, когда они тяжелели от усталости, и я вскоре понял, что на костях ее черепа была лишь плоть и кровь. То, что преображало ее, шло изнутри — это были фокусы, но не с гримом, а с желанием.

И, понимаете ли, все это заставило меня еще больше влюбиться в нее.

Потом, однажды ночью, я проснулся, когда она спала рядом со мной. Мы часто спали на полу — там ей нравилось больше, чем на постели. Кровати, говорила она, напоминают ей о ее браке. Так или иначе, она спала под пледом на ковре в моей комнате, и я, просто из обожания, наблюдал за ее лицом, пока она спала.

Если кто-то безумно влюблен, то, глядя на лицо спящей возлюбленной, он может приобрести нелегкий опыт. Может, кое-кому из вас известно, как трудно отвести пристальный взгляд от этих черт лица, которые закрыты для вас, словно вы стоите перед чем-то, куда вы никогда ни за что не можете войти, — в разум другого человека. И, как я сказал, для нас, тех, кто отдал себя без остатка, это ужасное испытание. Может, вы знаете, что в такой миг вы существуете лишь как нечто, связанное с этим лицом, этой личностью. Так что, когда это лицо замыкается в себе, погружается в свой, неизвестный вам мир, вы теряете свою личность и смысл существования. Планета без солнца, затерянная во тьме.

Вот как я чувствовал себя той ночью, глядя на ее незаурядные черты, и пока я мучился, растворяясь в ее личности, она начала меняться. Она явно спала, но что же

это были за сны! Казалось, вся ткань ее лица шевелится: мышцы, волосы, подбородок — все двигалось, точно захваченное каким-то глубинным приливом. Губы выпятились вперед, потянув за собой складки кожи, волосы разметались вокруг головы так, словно она лежала в воде, на гладких щеках появились продольные борозды, точно ритуальные шрамы воина, и все это вздымалось и опадало, менялось, лишь успев сформироваться, — ужасное зрелище! Оно испугало меня, и я, должно быть, издал какой-то звук. Она не проснулась, но как будто подплыла ближе к поверхности сна, покинув глубокие воды, где скрывался источник этих сил. Черты ее лица немедленно разгладились и стали обычными, мирными чертами спящей женщины.

Это был, как вы понимаете, необычный опыт, хоть я и пытался несколько последующих дней убедить себя, что я этого не видел.

Но это усилие было бесполезным. Я знал, что с ней что-то не то, но тогда я был уверен, что она об этом ничего не знает. Я был убежден, что что-то в ее организме развивается неправильно и что лучше бы узнать ее историю прежде, чем я расскажу ей о том, что видел.

Теперь, задним числом, все это кажется жутко наивным. Думать, что она не знала о том, что в ней хранятся такие силы! Но для меня легче было воображать ее жертвой этих сил, а не хозяйкой их. Так всегда мужчина думает о женщине, и не просто я, Оливер Васси, и не просто о ней, Жаклин Эсс. Мы, мужчины, не можем поверить, что в женском теле может располагаться власть и сила — разве что если она носит плод мужского пола. Сила должна быть в мужской руке, богоданная. А для женщин — никакой силы. Вот то, что нам рассказали наши отцы. Ну и идиотами же они были!

Тем не менее я подробно, но очень осторожно исследовал прошлое Жаклин. У меня были связи в Йорке, где жила эта супружеская чета, и было нетрудно предпринять кое-какие расследования. Чтобы связаться со мной, мой поверенный потратил неделю, потому что он раскопал кучу дерьяма и полиция могла узнать правду, но я получил новости, и эти новости были плохими.

Бен был мертв — по крайне мере это было правдой. Но он никоим образом не умер от рака. Мой поверенный дал

мне лишь самое общее описание трупа Бена, но подтвердил, что на теле были множественные увечья. А кто был основным подозреваемым? Моя возлюбленная Жаклин Эсс. Та самая невинная женщина, которая поселилась в моей квартире и каждую ночь спала рядом со мной.

Так что я сказал ей, что она что-то от меня скрывает. Не знаю, что я рассчитывал услышать в ответ. То, что я получил, было демонстрацией ее силы. Она делала это свободно, без напряжения и злобы, но я же не настолько дурак, чтобы не понять скрывающегося за этим предупреждения. Сначала она рассказала мне, как она поняла, что обрела свой уникальный контроль над материей человеческих тел. В отчаянии, на краю самоубийства, она обнаружила, что в глубине ее природы пробудились силы, о которых она и не подозревала. И силы эти, когда она пришла в себя, выплыли на поверхность, как рыбы всплывают к свету.

Потом она показала мне самую малую из этих сил, выдернув, один за другим, волосы на моей голове. Всего лишь дюжину — просто, чтобы продемонстрировать мне свою потрясающую власть. Я чувствовал, как они выдергиваются. Она просто говорила: вот этот из-за уха, — и я чувствовал, как кожа резко натягивалась, когда она бесцелесными пальцами своей воли выдергивала волосок. Потом еще один, и еще один. Это было потрясающее зрелище — она довела свою силу до уровня тонкого рукоделия, выдергивая волоски с моей головы, словно при помощи пинцета.

Если честно, то я сидел парализованный страхом, понимая, что она просто играет со мной. И раньше или позже, я был уверен, настанет время, когда она захочет, чтобы я замолчал навеки.

Но у нее все еще были на свой счет сомнения. Она рассказала мне, что ее сила, пусть и желанная, мучила ее. Она нуждалась, сказала она, в ком-то, кто бы учил ее использовать эту силу как можно лучше. А я не был этим кем-то. Я был всего лишь мужчиной, который любил ее, любил до этого признания и все еще любит теперь, несмотря на это признание.

Вообще-то, после этой демонстрации, я быстро привык смотреть на Жаклин по-новому. Вместо того, чтобы бояться ее, я еще больше привязался к этой женщине, которая позволяла мне владеть ее телом.

Работа моя превратилась в помеху, которая стояла между мной и моей возлюбленной. Я начал терять репутацию — и уважение, и кредитоспособность. Всего лишь за два или три месяца моя профессиональная жизнь свелась практически к минимуму. Друзья махнули на меня рукой, коллеги избегали меня.

Не то чтобы она высасывала из меня все жизненные силы. Я хочу честно пояснить вам это. Она не была вампиrom, не была суккубом. То, что со мной случилось, мой уход из обычной, размеренной жизни, был, если хотите знать, делом моих собственных рук. Она и не предавала меня — все это романтическая ложь, чтобы оправдать свою ярость. Она была морем, и мне пришлось пуститься в плавание. Был ли в этом хоть какой-то смысл? Всю свою жизнь я прожил на берегу, на твердой земле закона, и я устал от этой земли. Она была бездонным морем, заключенным в женское тело, оазисом в крохотной комнате, и я бы с радостью утонул в ней, если бы она позволила мне это. Но это было моим собственным решением. Поймите это. Я все решал сам. Я сам решил прийти в эту комнату сегодня ночью и быть с ней еще один, последний раз. По своей доброй воле.

Да и какой мужчина отказался бы? Она была (и есть) грандиозна. Около месяца после того, как она продемонстрировала мне свою силу, я жил в постоянном экстазе. Когда я был с ней, она показывала мне пути любви, лежащие за пределами возможностей живых существ на нашей Господней земле. И когда я был вдали от нее, очарование не спадало, потому что она, кажется, изменила мой мир.

Потом она меня оставила.

Я знаю почему: она нашла кого-то, кто мог учить ее, как пользоваться силой. Но понимание причин не сделало это более легким. Я сломался: потерял работу, потерял свою личность и тех немногих друзей, которые у меня еще остались в мире. Я едва замечал это — что это были за потери в сравнении с тем, что я потерял Жаклин...

— Жаклин.

Боже мой, — подумала она, — и это в самом деле самый влиятельный человек в стране? Он выглядит так неброско, так безобидно. У него даже нет мужественного подбородка.

Но сила у Титуса Петтифира была.

Он владел большим числом монополий, чем смог бы сосчитать, его слово в мире финансов могло рушить компании, как карточные домики, погребая надежды сотен и карьеры тысяч. Состояния за одну ночь возникали в его тени, целые корпорации падали, стоило лишь ему на них дунуть — они были капризами его воли. Уж этот человек знает, что такое сила, если хоть кто-то это знает. У него и нужно учиться.

— Не возражаете, если я буду звать вас «Джи», нет?

— Нет.

— Вы ждали долго?

— Достаточно долго.

— Обычно я не заставляю красивых женщин долго ждать.

— Да нет же, заставляете.

Она уже знала, что он такое, двух минут в его присутствии хватило, чтобы найти к нему подход: он быстрее заинтересуется ею, если она будет вести себя с ним как можно более дерзко.

— И вы всегда зовете женщин, которых вы не встречали до этого, по их инициалам?

— Вы же не намекаете на какие-то чувства, как вы полагаете?

— А уже это зависит...

— От чего?

— Что я получу в обмен на то, что предоставлю вам определенные привилегии.

— Например, привилегию звать вас по имени?

— Да.

— Ну... я польщен. Разве что, может, вы слишком широко пользуетесь раздачей этой привилегии.

Она покачала головой. Нет, он должен понять, что она не раздаривает свое внимание.

— Почему вы ожидали так долго, чтобы увидеть меня? — спросил он. — Мне все время докладывали, что вы измотали моих секретарей требованиями встретиться со мной. Вам нужны деньги? Если так, вы уйдете отсюда с пустыми руками. Я стал богатым, потому что был скучным, и чем богаче я делаюсь, тем более скучным становлюсь.

Это было правдой, и сказал он об этом не стараясь казаться лучше.

— Мне не нужны деньги, — сказала она тоже без всякого выражения.

— Это обнадеживает.

— Есть люди и побогаче вас.

Его брови удивленно поднялись — она могла жалить, эта красотка.

— Верно, — сказал он.

В этом полуशарии было по крайней мере полдюжины богатых людей.

— Но мне не нужны мелкие ничтожества. Я пришла не потому, что меня привлекло ваше имя. Я пришла потому, что мы можем быть вместе. У нас есть многое, что мы можем предложить друг другу.

— Например? — спросил он.

— У меня есть мое тело.

Он улыбнулся. Это было самое прямое предложение за долгие годы.

— А что я могу предложить вам в обмен за подобную щедрость?

— Я хочу учиться.

— Учиться?

— Как пользоваться властью.

Она казалась все более и более странной, эта женщина.

— Что вы имеете в виду? — спросил он, выигрывая время. Он не мог понять, что она из себя представляет, — она все время сбивала его с толку.

— Мне все это повторить снова, по буквам? — спросила она, вновь разыгрывая высокомерную дерзость, с улыбкой, которая опять влекла его к себе.

— Нет нужды. Вы хотите узнать, как использовать власть? Полагаю, я мог бы научить вас.

— Наверняка можете.

— Но понимаете, я женатый человек. Виржиния и я — мы вместе уже восемнадцать лет.

— У вас три сына, четыре дома и горничная, которую зовут Миабелла. Вы ненавидите Нью-Йорк, любите Бангкок, размер воротничка ваших рубашек 16,5, а любимый цвет — зеленый.

— Бирюзовый.

— И с возрастом вы похудели.

— Я не так уж стар.

— Восемнадцать лет в браке. Это вас преждевременно состарило.

— Не меня.

— Докажите.

— Как?

— Возьмите меня.

— Что?

— Возьмите меня.

— Здесь?

— Задерните шторы, заприте двери, выключите терминал компьютера и возьмите меня. Я вызываю вас на это.

Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то бросал ему вызов?

— Вызываете?

Он был возбужден — уже лет с десять он не чувствовал такого возбуждения. Он задернул шторы, запер двери и выключил дисплей с данными о своих доходах.

Боже мой, — подумала она, — я *поимела его*.

Это не была легкая страсть — не то что с Васси. Во-первых, Петтифир был неуклюжим, грубым любовником. Во-вторых, он слишком нервничал из-за своей жены, чтобы полностью отдаваться интрижке. Ему казалось, он везде видит Виргинию — в коллах отелей, где они снимали комнату на сутки, в машинах, проезжающих мимо места их встречи, даже однажды (он божился, что сходство было полным) он признал ее в официантке, моющей полы в ресторане. Все это были вымыселенные страхи, но они несколько замедляли ход их романа.

И все же она многому научилась у него. Он был таким же блестящим дельцом, как никуда не годным любовником. Она узнала, как применять власть, не показывая этого, как уверять всех в своем благочестии, не будучи благочестивым, как принимать простые решения, не усложняя их, как быть безжалостным. Не то чтобы она нуждалась в значительном образовании именно в этой области, возможно, честнее будет сказать, что он научил ее никогда не сожалеть об отсутствии инстинктивного взаимопонимания, но оценивать один лишь интеллект, как заслуживающий внимания.

Ни разу она не выдала себя ему, хоть и использовала свое умение самыми тайными путями, чтобы доставить наслаждение его стальным нервам.

На четвертой неделе своего романа они лежали рядом в сиреневой комнате, а снизу доносился гул дневного автомобильного потока. Это был неудачный день для секса — он нервничал и ни одним из трюков она не могла расслабить его. Все окончилось быстро, почти бесстрастно.

Он собирался ей что-то сказать. Она знала это: чувствовалось напряжение, притаившееся в глубине его горла. Повернувшись к нему, она мысленно массировала ему виски, побуждая его к речи.

Он испортил себе день.

Он чуть не испортил себе карьеру.

Он чуть не испортил, храни его Боже, всю свою жизнь.

— Я должен прекратить видеться с тобой, — сказал он.

Ему все равно, — подумала она.

— Я не уверен в том, что я знаю о тебе, или, по крайней мере, думаю, что знаю о тебе, но все это заставляет меня... заинтересоваться тобой, Джи. Ты понимаешь?

— Нет.

— Боюсь, я подозреваю тебя в... преступлениях.

— Преступлениях?

— У тебя есть прошлое.

— Кто это копает? — спросила она. — Уж конечно не Виргиния?

— Нет, не Виргиния, она выше этого.

— Так кто же?

— Не твоё дело.

— Кто?

Она слегка надавила на его виски. Это было больно, и он вздрогнул.

— Что случилось? — спросила она.

— Голова болит.

— Напряжение, это всего лишь напряжение. Я могу его снять, Титус. — Она дотронулась пальцами до его лба, ослабляя хватку. Он облегченно вздохнул.

— Так лучше?

— Да.

— Так кто же копает, Титус?

— У меня есть личный секретарь, Линдон. Ты слышала, как я говорил о нем. Он знает о наших отношениях с самого начала. Вообще-то он заказывает нам гостиницу и организует прикрытие для Виргинии.

В его речи было что-то мальчишеское, и это было довольно трогательно. Хоть он и намеревался оставить ее, это не выглядело трагедией.

— Линдон просто чудотворец. Он провернул кучу дел, чтобы нам с тобой было легче. Тогда он о тебе ничего не знал. Это случилось, когда он увидел одну из тех фотографий, что я взял у тебя. Я дал их ему, чтобы он разорвал их на мелкие кусочки.

— Почему?

— Я не должен был брать их, это было ошибкой. Виржиния могла бы... — он помолчал, потом продолжил: — Так или иначе, он узнал тебя, хоть и не мог вспомнить, где видел тебя до этого.

— Но в конце концов вспомнил.

— Он работал в одной из моих газет, в колонке светской хроники. Именно оттуда он пришел, когда стал моим личным помощником. И он вспомнил твою предыдущую реинкарнацию — ты была Жаклин Эсс, жена Бенджамина Эсса, ныне покойного.

— Покойного.

— И он принес мне еще кое-какие фотографии, не такие красивые, как твои.

— Фотографии чего?

— Твоего дома. Тела твоего мужа. Они называют это телом, хотя, Бог свидетель, там осталось мало человеческого.

— Его и для начала там было немного, — просто сказала она, думая о холодных глазах Бена, его холодных руках. — На одно лишь он и был годен — заткнуться и кануть в безвестности.

— Что случилось?

— С Беном? Он был убит.

— Как?

Дрогнул ли хоть чуть-чуть его голос?

— Очень просто.

Она поднялась с кровати и стояла около окна. Мощный солнечный летний свет прорвался сквозь жалюзи и, прорезав тень, очертил контуры ее лица.

— Это ты сделала.

— Да. — Он учил ее говорить просто. — Да. Это я сделала.

Еще он учил ее, как экономно расходовать угрозы.

— Оставь меня, и я вновь сделаю то же самое.

Он покачал головой.

— Ты не осмелишься.

Теперь он стоял перед ней.

— Мы должны понимать друг друга, Джи. Я обладаю властью, и я чист. Понимаешь? В общественном мнении меня ни разу не коснулась даже тень скандала. Я могу позволить себе завести любовницу, даже дюжину любовниц — и никто не сочтет это вызывающим. Но убийцу? Нет, это разрушит мне жизнь.

— Он что, шантажирует тебя? Этот Линдон?

Он уставился в яркий день сквозь жалюзи, на его лице застыло болезненное выражение. Она увидела, как на его щеке, под левым глазом, подергивается нерв.

— Да, если хочешь знать, — сказал он невыразительно. — Этот ублюдок хорошо прихватил меня.

— Понимаю.

— А если он смог догадаться, другие тоже могут. Понимаешь?

— Я сильна и ты силен. Мы можем расшвырять их одним мизинцем.

— Нет!

— Да. У меня есть свои способности, Титус.

— Я не хочу знать.

— Ты узнаешь! — сказала она.

Она поглядела на него и взяла за руки, не прикасаясь к ним. Пораженным взглядом он наблюдал, как его руки помимо воли поднялись, чтобы коснуться ее лица, самым нежным из жестов погладить ее волосы. Она заставила его пробежать дрожащими пальцами по своей груди, заставив вложить в это движение гораздо больше нежности, чем он смог бы это сделать по добной воле.

— Ты всегда слишком сдержан, Титус, — сказала она, заставляя его лапать себя чуть не до синяков. — Вот как мне это нравится, — теперь его руки опустились ниже, лицо изменило выражение. Она чувствовала, как ее несет прилив, она вся была — жизнь...

— Глубже.

Его пальцы проникли в ее недра.

— Мне нравится это, Титус. Почему ты не делал это сам, без моей просьбы?

Он покраснел. Ему не нравилось говорить об их близости. Она прижала его к себе еще сильнее, шепча:

— Я же не сломаюсь, знаешь ли. Может, Виргиния и похожа на дрезденскую фарфоровую статуэтку, я же — нет. Мне нужны сильные чувства, мне нужно, чтобы мне было о чем вспоминать, когда тебя со мной нет. Ничего не длится вечно, верно ведь? Но мне по ночам нужно думать о чем-то, что согревало бы меня.

Он утонул в ее коленях, и руки его были, по ее воле, и на ней, и в ней, они все еще зарывались в нее, точно два песчаных краба. Он буквально взмок, и она подумала, что в первый раз видит, как он потеет.

— Не убивай меня, — прошептал он.

— Я могу осушить тебя.

Стереть пот, подумала она, а потом стереть его образ из головы прежде, чем она успеет сделать что-то плохое.

— Я знаю, я знаю, — сказал он. — Ты запросто можешь убить меня.

Он плакал. Боже мой, подумала она, великий человек у моих ног, плачет как ребенок. И что я узнаю о власти из этого жалкого представления? Она вытерла слезы с его щек, используя гораздо больше силы, чем этого требовало дело. Кожа его покраснела под ее взглядом.

— Оставь меня, Джи. Я не могу помочь тебе. Я для тебя бесполезен.

Это была правда. Он был полностью бесполезен. Презрительно она отшвырнула его руки, и они бессильно повисли по бокам его тела.

— Даже не пытайся найти меня, Титус. Ты понимаешь? И не посыпай за мной своих шпиков, чтобы охранять твою репутацию. Потому что я буду гораздо более беспощадной, чем когда-либо был ты.

Он ничего не ответил, просто стоял на коленях, уставившись в окно, пока она умылась, выпила кофе, которое они заказали, и ушла.

Линдон удивился, застав двери своего офиса открытыми. Было лишь семь тридцать шесть. Ни одного секретаря тут не будет еще целый час. Очевидно, кто-то из уборщиков оплошал, не заперев двери. Он выяснит кто — и достанется же этому типу.

Он толкнул открытую дверь.

Жаклин сидела, повернувшись к двери спиной. Он узнал ее по очертаниям затылка, по водопаду каштановых волос. Неряшливое зрелище — волосы слишком пушистые, слишком растрепанные. Его контора, прилегающая к конторе мистера Петтифира, хранила идеальный порядок. Он оглядел комнату — казалось, все было на своих местах.

— Что ты тут делаешь?

Она вздохнула чуть поглубже, подготавливаясь.

Это был первый раз, когда она заранее решила сделать это. До сих пор она действовала лишь под влиянием импульса.

Он приближался к столу, опустил свой дипломат и аккуратно сложенный выпуск «Делового мира».

— Ты не имела права входить сюда без моего позволения, — сказал он.

Она лениво повернулась в его вертящемся кресле — именно так он и делал, когда хотел задать взбучку кому-нибудь из своих людей.

— Линдон, — сказала она.

— Ничего из того, что вы можете сказать, не изменит фактов, миссис Эсс, — сказал он, словно пытаясь освободить ее от объяснений. — Вы — хладнокровная убийца. Это была моя обязанность — сообщить об этом мистеру Петтифиру.

— И вы сделали это ради Титуса?

— Разумеется.

— А шантаж, это было тоже ради Титуса, да?

— Вон из моей конторы.

— Так что же, Линдон?

— Ты, шлюха! Шлюхи ничего не знают, они просто невежественные, больные животные! — заорал он. — О, ты хитра, это уж точно, но и хитрость твоя — звериная.

Она встала. Он ожидал оскорблений, по крайней мере, устных. Но этого не было. Зато он почувствовал, как на его лицо что-то давит.

— Что... ты... делаешь? — спросил он.

— Делаю?

Его глаза растянулись в щелочки; словно у ребенка, играющего в зловещего азиата, рот туго натянулся, обнажив сверкающую улыбку. Ему было трудно говорить.

— Прекрати... это...

Она покачала головой.

— Шлюха, — сказал он, все еще бросая ей вызов.

Она просто смотрела на него. Его лицо начало дергаться и сокращаться под чудовищным давлением, мышцы раздирала судорога.

— Полиция... — попытался сказать он. — Если ты дотронешься до меня хоть пальцем...

— Не дотронусь, — сказала она и начала укреплять свое преимущество.

Под одеждой он почувствовал то же давление по всему телу, что-то щипало кожу, стягивало ее все туже и туже. Что-то должно было произойти, он знал это. Какая-то часть его тела будет слаба и не сможет сопротивляться этому нажиму. А уж раз появится слабое место, ничто не помешает ей разорвать его на части. Он совершенно спокойно обдумывал это, тогда как тело его содрогалось, а лицо таращилось на нее, расплываясь в насильтвенной усмешке.

— Дерьмо, — сказал он, — сифилитичка проклятая.

Похоже, он не слишком-то испуган, — подумала она.

Он настолько ненавидел ее, что почти не испытывал страха. Теперь он вновь называл ее шлюхой, хотя его лицо исказилось до неузнаваемости.

И тогда он начал разрываться на части.

На переносице у него появилась трещина, побежала, рассекая лоб, — и вниз, рассекая надвое губу и подбородок, шею и грудную клетку. Буквально за миг его рубаха окрасилась алым, темный костюм потемнел еще больше, ноги, обтянутые брюками, источали кровь. Кожа слезала с его рук, точно резиновые хирургические перчатки, а по бокам лица появились два кольца алоей ткани — словно уши у слона.

Он прекратил выкрикивать проклятия в ее адрес.

Уже секунд десять он был мертв от шока, а она все еще продолжала работать над ним, сдирая кожу с тела и разбрасывая лоскутья по комнате, пока он не встал, прислонившись к стене, в алом костюме, алоей рубахе и сверкающих красных ботинках. Он выглядел, на ее взгляд, чуть более нормально, чем раньше. Довольная эффектом, она отпустила его. Он спокойно улегся в лужу крови и заснул там.

Боже мой, — подумала она, спокойно спускаясь по лестнице черного хода, — это было убийство первой степени.

* * *

В газетах ей так и не встретилось заметок об этой смерти, и в сводках новостей — тоже. Линдон умер так же, как и жил, — скрываясь от посторонних взоров.

Но она знала, что колеса судьбы, такие огромные, что их кривизна не могла быть замечена такой незначительной особой, как она сама, задвигались. Что они сделают, как изменят ее жизнь, она могла лишь догадываться. Но убийство Линдана не прошло так легко, несмотря на всю свою незначительность. Нет, ей хотелось заставить своих врагов выказать себя, пусть они идут по ее следу. Пусть покажут свои лапы, она насладится их презрением, их ужасом. Ей показалось, что она идет сквозь эту жизнь в поисках осеняющего ее знака, в поисках этого «нечто», отделяющего ее от всех остальных людей. Теперь она хотела с этим покончить. Пришла пора разделаться со своими преследователями.

Ей нужно было увериться, что каждый, кто видел ее: сначала Петтифир, потом Васси, — закрыли глаза навеки. Пусть навсегда забудут о ней. Только тогда, когда все свидетели будут уничтожены, она сможет почувствовать себя свободной.

Разумеется, сам Петтифир ни разу не пришел к ней. Для него было легко нанять агентов — людей, не ведающих жалости, но как гончие, готовых идти по кровавому следу.

Перед ней раскинулась ловушка, стальной капкан, но она еще не могла различить его челюстей. Однако признаки этой ловушки она распознавала везде. Резкий взлет стаи птиц из-за стены, странный отблеск из дальнего окна, шаги, свистки, человек в темном костюме, читающий газету в поле ее зрения. Недели шли, но никто из них не подступился к ней ближе. Но они и не уходили. Они ждали, точно кошка на дереве: хвост чуть подергивается, глаза лениво прищурены.

Но эти преследователи принадлежали Петтифиру. Она достаточно узнала о нем, чтобы распознать его почерк. Они однажды нападут на нее, не в ее — в свое время. И даже не в их время — в его. И хотя она никогда не видела их в лицо, ей казалось, что это сам Титус во плоти преследует ее.

Боже мой, — подумала она, — моей жизни угрожает опасность, а мне все равно.

Вся ее власть над плотью бесполезна, если ее некуда направить. Ведь она использовала ее лишь из собственных

ничтожных побуждений: чтобы получить зловещее удовольствие и разрядить гнев. Но все это вовсе не сделало ее ближе к остальным людям — в их глазах она была пугающей.

Иногда она думала о Васси и гадала, где он может быть, что делает. Он не был сильным человеком, но тень страсти не чужда была его душе. Больше, чем у Бена, больше, чем у Петтифира и, разумеется, больше, чем у Линдана. И неожиданно тепло она вспомнила, что он был единственным, кто называл ее Жаклин. Все остальные пытались как-то сократить или исказить ее имя: Джеки, или Джи, или, когда Бен был в одном из самых своих раздраженных настроений, Джи-Джи. Только лишь Васси звал ее Жаклин, просто Жаклин, соглашаясь в своей формальной манере с ее личной цельностью, с неразделимостью. И когда она думала о нем и пыталась нарисовать себе картины его возвращения к ней, она боялась за него.

Показания Васси (часть вторая)

Разумеется, я искал ее. Только когда вы теряете кого-нибудь, вы понимаете, как глупо звучит фраза «это был мой маленький мир». Вовсе нет. Это огромный, всепоглощающий мир, в особенности, если ты остаешься один.

Когда я был юристом, запертый в своей обыденности, день за днем я видел одни и те же лица. С некоторыми я обменивался словами, с некоторыми — улыбками, с некоторыми — кивками. Мы принадлежали, будучи врагами в зале суда, к одному и тому же замкнутому кругу. Мы ели за одним столом, пили локоть к локтю у стойки бара. Мы даже имели одних и тех же любовниц, хотя далеко не всегда об этом знали. В таких обстоятельствах легко поверить, что мир расположен к тебе. Конечно, ты стареешь, но все остальные — тоже. Ты даже веришь, в самодовольной своей манере, что прошедшие годы сделали тебя слегка умнее. Жизнь казалась вполне переносимой.

Но думать, что мир безвреден — это значит лгать себе, верить в так называемую определенность, которая всего навсего общее заблуждение.

Когда она ушла от меня, все заблуждения развеялись и вся ложь, в которой я благополучно существовал до этого, стала очевидной.

Это вовсе не «маленький мир», если есть только одно лицо, на которое ты можешь смотреть, и это лицо затерялось где-то во мраке. Это не «маленький мир», в котором те жизненно важные воспоминания о предмете твоего обожания грозят потеряться, раствориться в тысяче других событий, которые происходят каждый день, набрасываясь на тебя, точно дети, требующие внимания лишь к ним.

Я был конченым человеком.

Я обнаружил себя (вот подходящее выражение) спящим в спальнях пустынных гостиниц, я пил чаще, чем ел, я писал ее имя, точно классически одержимый, вновь и вновь — на стенах, на подушках, на собственной ладони. Я повредил кожу ладони, царапая по ней ручкой, и с чернилами туда попала инфекция. Отметка до сих пор здесь, я гляжу на нее в этот миг. **Жаклин**, — говорит она, — **Жаклин**.

Однажды, по чистой случайности, я ее увидел. Это звучит мелодраматически, но в тот миг я подумал, что вот-вот умру. Я так долго воображал эту встречу, так долго себя к ней готовил, что, когда это произошло, я почувствовал, как мои ноги подкашиваются, и мне стало плохо прямо на улице. Отнюдь не классический сюжет. Влюбленный при виде своей возлюбленной едва не заблевал себе рубашку. Но ведь ничего из того, что произошло между мной и Жаклин, не выглядело нормальным. Или естественным.

Я шел за ней следом, это было довольно трудно. Там было много народа, а она шла быстро. Я не знал, позвать ли мне ее по имени или нет. Решил, что нет. Что бы она сделала, увидев небритого лунатика, который бредет за ней, выкрикивая ее имя? Возможно, она убежит. Или, что еще хуже, проникнет в мою грудную клетку и волею своей остановит мне сердце прежде, чем я смогу сказать ей хоть слово.

Так что я молчал и просто слепо следовал за ней туда, где, как я полагал, была ее квартира. И там, поблизости, я и оставался два с половиной дня, не зная в точности, что мне делать дальше. Это была чудовищная дилемма. После того, как я так долго искал ее, теперь я мог с ней поговорить, дотронуться до нее — и не смел приблизиться.

Может, я боялся смерти. Но вот же я сижу в этой вонючей комнате в Амстердаме, пишу эти показания и жду Кооса, который должен принести мне ее ключ, и теперь я уже не боюсь смерти. Возможно, это мое тщеславие не дало тогда к

ней приблизиться — я не хотел, чтобы она видела меня опустившимся и отчаявшимся, я хотел прийти к ней чистым любовником ее мечты.

Пока я ждал, они пришли за ней.

Я не знаю, кто они были. Двое мужчин, неброско одетых. Я не думаю, что полиция, они были слишком откормленными. Даже воспитанными. И она не сопротивлялась. Она шла улыбаясь, словно на оперный спектакль.

При первой же возможности я вернулся в это здание чуть лучше одетым, узнал от портье, где ее комната, и вломился туда. Она жила очень просто. В одном углу комнаты стоял стол, и она делала там свои записи. Я сел, прочел и унес с собой несколько страниц. Она не зашла дальше, чем за первые семь лет своей жизни. И я вновь в своем щеславии подумал, буду ли я упомянут в этой книге. Возможно, нет.

Я взял и кое-какую одежду — только то, что она носила, когда мы с ней встречались. Ничего интимного: я не фетишист. Я не собирался отправляться домой и зарываться в ее нижнее белье, вдыхая ее запах, я просто хотел иметь что-то, что помогло бы мне помнить о ней, восстанавливать ее в памяти. Хотя никогда я не встречал человеческого создания, которому бы так шла собственная кожа, — лучшая из одежд. Вот так я потерял ее во второй раз, больше из-за собственной трусости, чем по вине обстоятельств.

Петтифир никогда не подходил близко к дому, где они четыре недели держали мисс Эсс. Ей более-менее давали все, о чем она просила, кроме свободы, а она просила лишь это, и то с самым отвлеченным видом. Она не пыталась бежать, хотя это было довольно просто сделать. Раз или два она гадала, сказал ли Титус двум мужчинам и женщине, которые охраняли ее в доме, на что она была способна, и решила, что нет. Они относились к ней так, словно она была всего-навсего женщиной, на которую Титус положил глаз. Они охраняли ее для его постели, вот и все.

У нее была своя комната, а бумаги ей предоставляли сколько угодно, так что она вновь начала писать свои воспоминания с самого начала.

Был конец лета и ночи становились холодными. Иногда, чтобы согреться, она лежала на полу (она попросила их вынести кровать) и позволяла своему телу колыхаться, как

поверхность озера. Ее собственное тело, лишенное секса, вновь стало для нее загадкой, и она впервые поняла, что физическая любовь — это попытка проникнуть в ее плоть, в самое интимное ее «я», неизвестное даже для нее самой. Она смогла бы понять себя лучше, если бы с ней был кто-нибудь, если бы она чувствовала на своей коже чье-то нежные, любящие губы. Она вновь подумала о Васси, и озеро, пока она думала о нем, поднялось точно в бурю. Грудь ее вздымалась, словно две колеблющиеся горы, живот двигался, точно поглощенный странным приливом, течения пересекали застывшее лицо, огибая губы и оставляя на коже отметки подобные тем, что оставляют на песке волны. А поскольку она была потоком в его памяти, она отдавалась течению, вспоминая его.

Она вспоминала те немногие случаи, когда в ее жизни был мир, и физическая любовь, свободная от гордости и тщеславия, всегда предшествовала этим моментам покоя. Возможно, были и другие пути достижения душевного покоя, но тут она была неопытна. Ее мать всегда говорила, что женщины больше в ладу с собой, чем мужчины, поэтому их жизнь течет спокойнее, но в ее жизни было полно разлада и так мало способов с ним справиться.

Она продолжала записывать свои воспоминания и дошла до девятого года жизни. Она отчаялась изложить события — ей трудно было описать, что ощущала она, когда впервые поняла, что становится женщиной. Она сожгла записки в камине, стоящем посреди комнаты, и тут появился Петтифир.

Боже мой, — подумала она, — это власть? Не может быть!

Петтифир выглядел так, словно он был болен. Он изменился физически, как один из ее друзей, который потом умер от рака. Месяц назад он казался здоровым, а сейчас как будто что-то пожирало его изнутри. Он выглядел точно тень человека — кожа его была серой и морщинистой. Лишь глаза сверкали, напоминая глаза бешеной собаки.

Одет он был шикарно, как на свадьбу.

— Джи.

— Титус.

Он оглядел ее с головы до ног.

— Ты в порядке?

- Спасибо, да.
- Они давали тебе все, о чем ты просила?
- Они великолепные хозяева.
- Ты не сопротивлялась?
- Сопротивлялась?
- Тому, что находишься здесь. Закрытая. Я был готов, после Линдона, что ты еще раз поразишь невинного.
- Линдон не был невинным, Титус. А эти люди — да. Ты не сказал им.
- Я не счел это необходимым. Я могу закрыть дверь?
- Он сделал ее своей узницей, но пришел он сюда, точно посланник во вражеский лагерь, чья сила была больше. Ей нравилось, как он вел себя с ней, осторожно, но властно. Он закрыл двери, запер их.
- Я люблю тебя, Джи. И я боюсь тебя. Вообще-то я думаю, что люблю тебя потому, что боюсь. Это что, болезнь?
- Я бы так подумала.
- Я тоже так думаю.
- Почему ты выбрал именно это время, чтобы прийти?
- Я должен был привести свои дела в порядок. Иначе начнется неразбериха. Когда я уйду.
- Ты что, собираешься уходить?
- Он поглядел на нее, мышцы его лица подергивались.
- Надеюсь на это.
- Куда?
- И все же она не догадывалась, что привело его в этот дом, заставив привести в порядок все дела, попросить прощения у жены (та в это время спала), перекрыть все каналы отступления, уладить все противоречия. Она все еще не могла догадаться, что он пришел умереть.
- Ты свела меня на нет, Джи. Свела к ничтожеству. И мне некуда идти. Ты понимаешь о чем я?
- Нет.
- Я не могу жить без тебя, — сказал он. Это была непростительная банальщина. Он что, не смог выразиться каким-нибудь другим образом? Она чуть не засмеялась, настолько тривиально все это выглядело.
- Но он еще не закончил.
- И я не могу жить *вместе* с тобой, — его тон резко изменился, — потому что ты раздражаешь меня, женщина. Все мое естество отторгает тебя.

- Так что же? — спросила она мягко.
- Так что... — он вновь стал нежен, и она начала понимать, — ...убей меня.
- Это выглядело гротескно. Его сверкающие глаза уставились на нее.
- Это то, чего я хочу, — сказал он. — Поверь мне, это — все, чего я хочу в этом мире. Убей меня, как сочтешь нужным. Я уйду без сопротивления, без сожаления.
- А если я откажусь? — спросила она.
- Ты не можешь отказаться. Я — настойчив.
- Но ведь я не ненавижу тебя, Титус.
- А должна бы. Я ведь слабый. Я бесполезен для тебя. Я ничему не смог тебя научить.
- Ты меня очень многому научил. Теперь я могу сдерживать себя.
- И когда Линдон умер, ты тоже себя сдерживала, а?
- Разумеется.
- По-моему, ты слегка преувеличиваешь.
- Он заслужил все, что получил.
- Ну тогда дай мне все, что я, в свою очередь, заслужил.
- Я запер тебя. Я оттолкнул тебя тогда, когда ты нуждалась во мне. Накажи меня за это.
- Она вспомнила старую шутку. Мазохист говорит садисту: «Сделай мне больно! Пожалуйста, сделай мне больно!» Садист отвечает мазохисту: «Не-ет».
- Я выжила.
- Джи.
- Даже в этой, крайней ситуации, он не мог называть ее полным именем.
- Ради Бога! Ради Бога! Мне от тебя нужно всего лишь одно. Сделай это, руководствуясь любым мотивом. Сочувствием, презрением или любовью. Но сделай это, пожалуйста, сделай это.
- Нет, — сказала она.
- Внезапно он пересек комнату и сильно ударил ее по лицу.
- Линдон говорил, что ты шлюха. Он был прав, так оно и есть. Похотливая сучка, вот и все.
- Он отошел, повернулся, вновь подошел к ней и ударил еще сильнее, и еще шесть или семь раз, наотмашь.
- Потом остановился.

— Тебе нужны деньги?

Пошли торги. Сначала удары, потом торги. Она видела, как он дрожит, сквозь слезы боли, помешать которым она была не в состоянии.

— Так тебе нужны деньги? — спросил он вновь.

— А ты как думаешь?

Он не заметил сарказма в ее голосе и начал швырять к ее ногам банкноты — дюжины и дюжины, словно подношения перед статуэткой Святой Девы.

— Все, что ты захочешь, — сказал он. — Жаклин.

Внутри у нее что-то заболело, словно там рождалась жажда убить его, но она не дала этой жажде разрастись. Это было все равно, что быть игрушкой в его руках, инструментом его воли, бессильной. Он вновь пытается ее использовать — ведь это все, чем она владеет. Он содержит ее, точно корову, ради какой-то выгоды. Молока для детишек или смерти для стариков. И как от коровы он ждет от нее, чтобы она делала то, что он хочет. Ну не на этот раз.

Она пошла к двери.

— Куда ты собралась?

Она потянулась за ключом.

— Твоя смерть — это твое личное дело, я тут ни при чем, — сказала она. Он подбежал к двери раньше, чем она управилась с ключом, и ударил с такой силой и злобой, каких она не ожидала от него.

— Сука, — визжал он, и за тем, первым, посыпался град ударов.

Там, внутри, то, что хотело убить его, все росло, становилось сильнее.

Он вцепился пальцами ей в волосы и оттащил ее назад, в комнату, выкрикивая грязные ругательства бесконечным потоком, словно рухнула запруда, удерживающая сточные воды. *Это просто еще один способ получить от нее то, что ей нужно*, — сказала она себе, — *если ты поддашься, ты пропала, он просто манипулирует тобой*. И все же ругательства продолжались — их бросали в лицо поколениям неугодных женщин: шлюха, тварь, сука, чудовище.

Да, она была такой.

Да, — думала она, — я и есть чудовище.

Эта мысль принесла ей облегчение; она повернулась. Он знал, что она намеревается сделать еще до того, как она

взглянула на него. Он выпустил ее голову. Гнев ее подступил к горлу, насытил воздух, разделяющий их.

Он назвал меня чудовищем, я и есть чудовище!

Я делаю это для себя, а не для него. Для него — никогда!
Для себя.

Он вздрогнул, когда ее воля коснулась его, а сверкающие глаза на мгновение угасли, потому что желание умереть сменилось желанием выжить, разумеется, слишком поздно, и он застонал. Она услышала ответные крики, шаги, угрозы на лестнице. Они через секунду ворвутся в комнату.

— Ты — животное, — сказала она.

— Нет, — ответил он, даже теперь уверенный, что владеет положением.

— Ты не существуешь, — сказала она, обращаясь к нему. — Они никогда не найдут даже частичку того, что было Титусом. Титус исчез. А это всего лишь...

Боль была ужасной, она даже лишила его голоса. Или это она изменила его горло, небо, самую голову? Она вскрывала кости его черепа и переделывала их.

«Нет, — хотел он сказать, — это вовсе не тот ритуал умерщвления, который я планировал. Я хотел умереть, когда твоя плоть обволакивает меня, мои губы прижаты к твоим губам, постепенно остывая в тебе. А вовсе не так, так я не хочу».

Нет. Нет. Нет.

Те люди, которые держали ее тут, уже колотились в дверь. Она не боялась их, но они могли испортить ее рукоделие перед тем, как она наложит последние стежки.

Снова кто-то колотился в двери. Дерево треснуло, двери распахнулись. Ворвались два человека, оба были вооружены. Оба решительно наставили свое оружие на нее.

— Мистер Петтифир? — спросил младший. В углу комнаты под столом сверкали глаза Петтифира.

— Мистер Петтифир? — спросил он вновь, забыв про женщину.

Петтифир покачал рылом. Пожалуйста не подходите ближе, подумал он.

Люди наклонились и уставились под стол на копошащегося там омерзительного зверя: он был в крови после превращения, но живой. Она убила его нервы — он не чувствовал боли. Он просто выжил — его руки скрючились и

превратились в лапы, ноги вывернуты, колени перебиты так, что он напоминал какого-то четвероногого краба, мозг расширился, глаза лишились век, нижняя челюсть выступила из-за верхней, как у бульдога, уши заострились, позвоночник выступил — странное создание, ничем не напоминающее человека.

— Ты животное, — сказала она. Не так уж плохо ей удалась его животная сущность.

Человек с ружьем вздрогнул, узнав своего хозяина. Он поднялся, набычившись, и поглядел на женщину.

Жаклин пожала плечами.

— Вы это сделали, — в голосе слышался благоговейный страх.

Она кивнула.

— Вперед, Титус, — сказала она, щелкнув пальцами.

Зверь, всхлипывая, потряс головой.

— Вперед, Титус, — сказала она более настойчиво, и Титус Петтифир выполз из своего укрытия, оставляя за собой кровавый след, точно по полу протащилась мясная туша.

Мужчина выстрелил в то, что когда-то было Петтифиром чисто инстинктивно. Все, все что угодно, лишь бы остановить это мерзкое создание, которое приближалось к нему.

Титус попятился на своих окровавленных лапах, встряхнулся, точно пытаясь сбросить с себя смерть, упал и умер.

— Доволен? — спросила она.

Стрелявший испуганно поглядел на нее. Говорила ли ее сила с ним? Нет, Жаклин глядела на труп Петтифира, спрашивая его.

Доволен?

Вооруженный человек бросил оружие. Его напарник сделал то же самое.

— Как это случилось? — спросил человек у двери. Простой вопрос — детский.

— Он попросил, — сказала Жаклин. — Это было все, что я могла дать ему.

Охранник кивнул и опустился на колени.

Показания Васси (заключительная часть)

Случай играл странно значительную роль в моем романе с Жаклин Эсс. Иногда мне казалось, что меня подхватывает

и несет любой проходящий по миру прилив, иногда я подозревал, что она управляет моей жизнью, как жизнями сотен других, тысяч других, режиссируя каждую случайную встречу, все мои победы и поражения и направляя меня, ни о чем не подозревающего, к нашей последней встрече.

Я нашел ее, не зная, что нашел ее, — вот в чем была ирония судьбы. Я впервые проследил ее до дома в Сурре — того дома, где в прошлом году был застрелен своим телохранителем биллионер, некий Титус Петтифир. В верхней комнате, где и произошло убийство, все было чинно. Если она и побывала там, они убрали оттуда все, говорящее об этом. Но дом, который начинал рушиться, был исписан всякими настенными надписями, и там, на стенной штукатурке в той комнате кто-то нацарапал женщину. Изображение было утрировано, и секс так и исходил от нее, как молния. У ее ног находилось существо неопределенного вида. Может, краб, может, собака, а может, даже человек. Что бы это ни было, в нем не было силы. Он сидел в свете ее обжигающего присутствия и мог причислять себя к разряду счастливцев. Глядя на это скрюченное создание, не сводящее глаз с пылающей мадонны, я понимал, что это рисунок изображал Жаклин.

Не знаю, сколько яостоял там, разглядывая этот рисунок, но меня отвлек от этого человек, который, казалось, был еще в худшем состоянии, чем я. У него была запущенная борода, он был таким толстым, что я поражался, как он еще ухитряется держаться прямо, и он вонял так, что скунсстыдился бы.

Я так и не узнал его имени, но он сказал мне, что это он нарисовал эту картинку на стене. Было легко поверить этому. Его отчаяние, его жажда, путаница в мыслях — все это были метки человека, видевшего Жаклин.

Если я и был чересчур резок, расспрашивая его, я уверен, что он простил меня. Это было для него большим облегчением — рассказать все, что он видел в тот день, когда был убит Петтифир, и знать, что я поверю всему, что он скажет. Он рассказал мне, что его напарник, телохранитель, который и выстрелил в Петтифира, совершил самоубийство в тюрьме.

Жизнь его, сказал он, стала бессмысленной. Она разрушила ее. Я постарался, как мог, убедить его, что она не

хотела ничего плохого, что он не должен бояться, что она придет за ним. Когда я сказал ему это, он заплакал, кажется больше от чувства утраты, чем от облегчения.

Наконец я спросил его, знает ли он, где Жаклин теперь. Я оставил этот вопрос под конец, хоть это и было для меня насущной проблемой, наверное потому, что в глубине души боялся, что он не знает. Но, о Боже, он знал! Она не сразу покинула дом, после того, как застрелили Петтифира. Она сидела с этим человеком и спокойно беседовала с ним о его детях, портном, автомобиле. Она спросила его, на кого похожа его мать, и он сказал ей, что она была проституткой. Была ли она счастлива, спросила Жаклин. Он сказал, что не знает. Плакала ли она когда-нибудь? Он сказал, что никогда не видел ее ни плачущей, ни смеющейся. И она кивнула и поблагодарила его.

Позже, перед тем как убить себя, тот, второй охранник сказал ему, что Жаклин уехала в Амстердам. Это он знал из первых рук, от человека, по имени Коос. Так что круг замыкается, верно?

Я семь недель пробыл в Амстердаме и не нашел ни единого намека на ее местопребывание до вчерашнего вечера. Семь недель полного воздержания — это для меня непривычно. Так что, охваченный нетерпением, я отправился в район красных фонарей, чтобы найти женщину. Они сидят там, знаете, в витринах, как манекены, за розовыми шторами. У некоторых на коленях сидят маленькие собачки, некоторые читают. Большинство глядят на улицу, точно завороженные.

Там не было лиц, которые могли бы меня заинтересовать. Они все казались безрадостными, бесцветными, так непохожими на нее. И все-таки я не мог уйти. Я был как перекормленный ребенок в кондитерской: и есть не хочется, и уйти жалко.

Где-то в середине ночи ко мне обратился молодой человек, который при ближайшем рассмотрении выглядел далеко не так молодо. Он был сильно накрашен. Бровей у него не было — лишь подрисованные карандашом дуги, в левом ухе несколько золотых колец, руки в белых перчатках, в одной — надкусенный персик, сандалии открытые и ногти на ногах покрыты лаком. Он жестом собственника взял меня за руки.

Должно быть я презрительно сморщился, глядя на него, но он, казалось, вовсе не был задет моим презрением.

— Вас просто узнать, — сказал он.

Я вовсе не бросался в глаза и сказал ему:

— Должно быть, вы ошиблись.

— Нет, — ответил он, — я не ошибся. Вы — Оливер Васси.

Первой мыслью моей было, что он хочет убить меня. Я дернулся, но он мертвой хваткой вцепился мне в рубашку.

— Тебе нужна женщина, — сказал он.

Я, все еще колеблясь, сказал:

— Нет.

— У меня есть женщина, не похожая на других, — сказал он, — она чудесна. Я знаю, ты захочешь увидеть ее во плоти.

Что заставило меня понять, что он говорит о Жаклин? Возможно, тот факт, что он выделил меня из толпы, словно она глядела из окна где-то поблизости, приказывая, чтобы ее поклонников приводили к ней примерно так, как вы приказываете, чтобы вам сварили приглянувшегося омара. Возможно, потому, что его глаза бесстрашно встречались с моими, ибо страх он испытывал лишь перед одним Божьим созданием на этой жестокой земле. Может, в этом его взгляде я узнал и свой. Он знал Жаклин, я не сомневался в этом.

Он знал, что я на крючке, потому что пока я колебался, он отвернулся с еле заметным пожатием плеч, словно говоря: ты упускаешь свой шанс.

— Где она? — спросил я, уцепившись за его тонкую, как прутик, руку. Он кивнул головой в направлении улицы, и я пошел за ним, послушно, как идиот. По мере того, как мы шли, улица пустела, красные фонари освещали ее мерцающим светом, потом наступила темнота. Я несколько раз спрашивал его, куда мы идем, но он предпочел не отвечать; наконец мы подошли к узкой двери узкого домика на улице, узкой, точно лезвие бритвы.

— Вот и мы, — провозгласил он так, точно мы стояли перед парадным входом в Версаль.

Через два лестничных пролета в пустом доме я увидел черную дверь, ведущую в комнату. Он прижал меня к ней, она была закрыта.

— Смотри, — пригласил он. — Она внутри.

— Там закрыто, — ответил я. Мое сердце готово было разорваться. Она была близко, наверняка я знал, что она близко.

— Смотри, — сказал он вновь и показал на маленькую дырочку в дверной панели. Я приник к ней глазом.

Комната была пуста — в ней был лишь матрас и Жаклин. Она лежала раскинув ноги, ее запястья и локти были привязаны к столбикам, торчащим из пола по четырем углам матраса.

— Кто сделал это? — спросил я, не отрывая глаз от ее наготы.

— Она попросила, — ответил он. — Это по ее желанию. Она попросила.

Она услышала мой голос — с некоторым трудом она приподняла голову и поглядела прямо на дверь. Когда она взглянула на меня, клянусь, волосы у меня на голове поднялись, чтобы приветствовать ее по ее приказу.

— Оливер, — сказала она.

— Жаклин, — я прижал эти слова к двери вместе с поцелуем. Тело ее точно кипело, ее выбритая плоть открывалась и закрывалась, точно экзотическое растение, — пурпурное, и лиловое, и розовое.

— Впусти меня, — сказал я Коосу.

— Если ты проведешь с ней ночь, ты не переживешь ее, — сказал он.

— Впусти меня.

— Она дорогая, — предупредил он.

— Сколько ты хочешь?

— Все, что у тебя есть. Последнюю рубаху, деньги, драгоценности — и она твоя.

Я хотел выбить дверь или сломать ему желтые от никотина пальцы, пока он не отдаст мне ключ. Он знал, о чем я думаю.

— Ключ спрятан, — сказал он. — А дверь крепкая. Ты должен заплатить, мистер Васси. Ты хочешь заплатить.

Он был прав. Я хотел заплатить.

— Ты хочешь отдать мне все, что ты имеешь, все, чем ты был когда-либо. И прийти к ней пустым. Я знаю это. Так они все к ней ходят.

— Все? Их много?

— Она ненасытна, — сказал он без выражения. Это не было хвастовством, это была его боль — я это ясно видел. — Я всегда нахожу их для нее, а потом их закапываю.

Закапывает.

Это, я полагаю, и являлось предназначением Кооса: он избавлялся от мертвых тел. И он наложит на меня свои наманикюренные пальцы, он выволочет меня отсюда, когда я буду высохшим, бесполезным для нее, и найдет какую-нибудь яму или канал, чтобы опустить меня туда. Эта мысль была не слишком привлекательна.

И все же я здесь, со всеми моими деньгами, которые я смог сбрать, продав то немногое, что у меня осталось, я выложил их на стол перед собой, я потерял свое достоинство, жизнь моя висит на волоске и я жду ключа.

Уже здорово темно, а он опаздывает. Но я думаю, он обязан прийти. Не из-за денег — должно быть, не взирая на его грим и пристрастие к героину, у него есть кое-что, он придет, потому что она этого требует, а он послужен ей в каждом шаге, точно так же, как и я. Ну конечно, он придет. Он придет.

Ну вот, я думаю этого достаточно.

Вот и все, что я хотел сказать. Времени перечитывать это у меня нет. Я слышу его шаги на лестнице (он прихрамывает), и я должен идти с ним. Это я оставлю любому, кто найдет, пусть использует это, как сочтет нужным. К утру я буду мертв и счастлив. Верьте этому.

Боже мой, — подумала она, — Коос меня предал.

Васси был за дверью — она чувствовала разумом его плоть и ждала. Но Коос не впустил его, несмотря на ее четкие приказы. Из всех мужчин лишь Васси позволялось входить сюда невозбранно, Коос знал это. Но он предал ее, все они ее предавали, кроме Васси. С ним (возможно) это была любовь.

Она ночи лежала на этой постели и не спала. Она редко спала теперь больше, чем несколько минут, и только когда Коос приглядывал за ней. Она вредила себе во сне, рвала себе плоть, не зная того, просыпалась крича, вся в крови, точно каждый ее сосуд был проткнут многочисленными иглами, которые она создавала из своих мышц, из кожи, — кактус во плоти.

Опять стемнело, подумала она, но трудно сказать на-верняка. В этой занавешенной комнате, освещенной лам-пой без абажура, был вечный день — для чувств и вечная ночь — для души. Она лежала, пружины матраса впива-лись ей в спину, в ягодицы, иногда на секунду засыпала, иногда ела из рук Кооса, который мыл ее, убирал за ней, использовал ее.

Ключ повернулся в замке. Она привстала на матрасе, чтобы поглядеть, кто это. Дверь отворялась... отворялась... отворялась.

Васси. О, Боже, это наконец был Васси!. Он бежал к ней через всю комнату.

Пусть это не будет еще одно воспоминание, — молилась она, — пусть на этот раз будет он, живой, на самом деле.

— Жаклин.

Он сказал имя ее плоти, полное имя.

— Жаклин.

Это был он.

Стоящий за ним Коос уставился ей промеж ног, заворо-женный танцем ее влагалища.

— Ко... — сказала она, пытаясь улыбнуться.

— Я привел его, — усмехнулся он, не отводя взгляда от ее плоти.

— Целый день, — прошептала она. — Я ждала тебя целый день, Коос, ты заставил меня ждать.

— Что для тебя целый день? — спросил он, все еще усмехаясь.

Ей больше не нужен был сводник, но он не знал об этом. В своей наивности он думал, что Васси — это просто еще один мужчина, который попался на их пути, — он будет опустошен и выброшен точно так же, как другие. Коос думал, что он понадобится завтра — вот почему он так безыскусно играл в эту смертельную игру.

— Закрой двери, — предложила она ему, — останься, если хочешь.

— Остаться? — спросил он, пораженный. — Ты хочешь сказать, я могу посмотреть?

И он смотрел. Она знала, что он всегда смотрел через дырочку, которую он провертел в панели, иногда она слы-шала, как он переступает за дверью. Но на этот раз пусть он останется навеки.

Очень осторожно он вынул ключ из наружной стороны двери, вставил его изнутри в замочную скважину и повернулся. Как только замок щелкнул, она убила его, он даже не успел обернуться и поглядеть на нее в последний раз. В этой казни не было ничего демонстративного: она просто взломала его грудную клетку и раздавила легкие. Он ударился о дверь и соскользнул вниз, проехавшись лицом по деревянной панели.

Васси даже не обернулся, чтобы поглядеть, как он умирает, — она это единственное, на что он хотел смотреть.

Он приблизился к матрасу, нагнулся и начал развязывать ей локти. Кожа была стерта, веревки задубели от засохшей крови. Он методично развязывал узлы, обретя спокойствие, на которое больше не рассчитывал, придя здесь к завершению пути и невозможности вернуться назад и зная, что его дальнейший путь — это проникновение в нее глубже и глубже.

Освободив ее локти, он занялся запястьями, теперь она видела над собой не потолок, а его лицо. Голос у него был мягким.

— Зачем ты позволила ему делать это?

— Я боялась.

— Чего?

— Двигаться, даже жить. Каждый день... агония.

— Да.

Он слишком хорошо понимал, что выход найти невозможно.

Она почувствовала, как он раздевается рядом с ней, потом целует ее в желтоватую кожу живота — того тела, в котором она обитала. На коже лежал отпечаток ее работы — она была натянута сверх предела и шла крестообразными складками.

Он лег рядом с ней, и ощущение его тела на ее теле не было неприятным.

Она коснулась его головы. Суставы ее были застывшими, все движения причиняли боль, но она хотела притянуть его лицо к своему. Он возник у нее перед глазами, улыбаясь, и они обменялись поцелуями.

Боже мой, подумала она, мы — вместе.

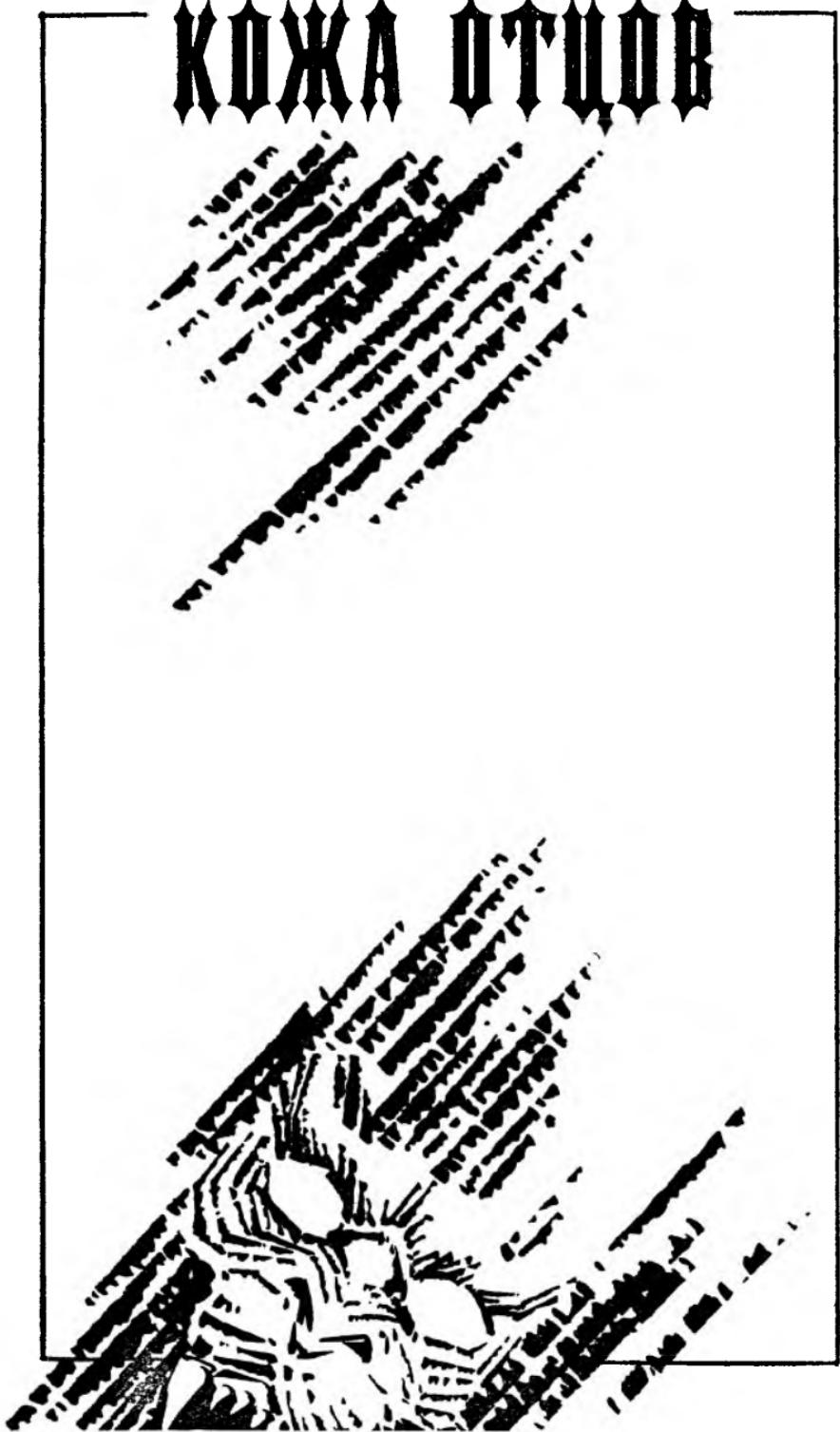
И думая, что они вместе, воля ее начала формировать плоть. Под его губами черты ее лица растворились, стали

красным морем, о котором он мечтал, и омыли его лицо, которое тоже растворилось, и смешивались воды, созданные из мысли и плоти.

Ее заострившиеся груди проткнули его, точно стрелы, его эрекция, усиленная ее мыслью, убила ее последним ответным подарком. Омытые приливом любви, они, казалось, растворялись в нем, да так оно и было.

Снаружи был твердый, траурный мир: там, в ночи, все длилась болтовня торговцев и покупателей. Но, наконец, усталость и равнодушие нахлынули даже на самых заядлых купцов. Снаружи и внутри наступило целительное молчание: конец всем обретениям и потерям.

КОЖА ОТЧУЮ





А.Н. Мурокоб 94



втомобиль закашлялся, захлебнулся и умер. Дэвидсон неожиданно осознал, до чего же сильный ветер дует на пустынной дороге, заглядывая в окна его «мустанга». Он попытался оживить мотор, но тот определенно сопротивлялся. Отчаявшись, Дэвидсон уронил державшие руль потные руки и обозрел территорию. Во всех направлениях, куда ни взгляни, — горячий воздух, горячие скалы, горячий песок Аризоны.

Он отворил дверь и ступил наружу, на раскаленное пыльное шоссе. Оно, не сворачивая, простипалось до самого горизонта. Если он прищуривал глаза, ему удавалось разглядеть далекие горы, но как только он пытался сфокусировать на них взгляд, они расплывались в раскаленном дрожащем воздухе. Солнце уже начало припекать ему макушку там, где начинали редеть светлые волосы. Он отбросил крышку капота и начал безнадежно копаться в моторе, проклиная отсутствие у себя технической сметки. Господи, подумал он, им нужно было так делать эти чертовы штуки, чтобы любой дурак мог разобраться в них.

Тут он услышал музыку.

Она была так далеко, что поначалу походила просто на тихий свист в ушах, потом стала громче.

Это была весьма своеобразная музыка.

Как она звучала? Как ветер в телеграфных проводах, без ритма, без души, ниоткуда — тихий голос, коснувшийся волос на его шее и велевший им подняться; он попытался не замечать ее, но она не прекращалась.

Он огляделся из-под ладони, пытаясь найти музыкантов, но дорога в оба конца была пустынной. Только когда он вглядывался в глубь пустыни, он заметил ряд маленьких фигурок, идущих или скачущих, или пляшущих на пределе способностей его зрения. Их силуэты расплывались в идущем от земли жарком мареве. Эта длинная процессия — если таковой она являлась — двигалась через пустыню параллельно шоссе и, похоже, не собираясь на него выходить.

Дэвидсон еще разок поглядел в остывающее нутро своей машины и вновь на далекую процессию танцоров.

Ему нужна помощь — никакого сомнения.

Он двинулся через пустыню по направлению к ним.

Вне шоссе пыль, которую на дороге уплотняли машины, парила свободно, она кидалась ему в лицо с каждым шагом. Он двигался медленно, хоть и трусил мелкой рысью, — они все удалялись. Тогда он перешел на бег.

Теперь, сквозь шум крови в ушах, он лучше различал музыку. Это была вовсе не мелодия, но просто высокие и низкие звуки множества инструментов, духовых и ударных, — свист, гудение и грохот.

Голова процессии исчезла за краем горизонта, но участники праздника (если это был праздник) все еще шли мимо. Он слегка поменял направление, чтобы пересечься с ними и, обернувшись через плечо, поглядел на то, что осталось позади. Охваченный внезапным чувством одиночества, таким сильным, что оно скрутило ему внутренности, он увидел свой автомобиль, маленький, точно жук присевший на дороге, на который навалилось кипящее небо.

Он побежал. Через четверть часа он начал различать процессию более четко, хотя те, кто возглавлял ее, уже скрылись из виду. Это, подумал он, какой-то карнавал, довольно необычный в этом сердце Господней пустоши. Однако последние в цепочке танцоры были здорово разодеты. Прически и маски — раскрашенные плоскости и ленты, которые разевались в воздухе, — делали их гораздо выше человеческого роста. По какому бы поводу ни был устроен этот праздник, вели они себя точно пьяные, раскачиваясь взад-вперед, падая, некоторые ложились на землю животом в горячий песок.

Легкие Дэвидсона горели от напряжения и было ясно, что он упускает свою цель. Он понял, что процессия движется

быстрее, чем он может (или способен заставить себя) двигаться.

Он остановился, уперев руки в колени, чтобы облегчить боль в ноющей спине, и из под залитых потом бровей поглядел на исчезающее вдали шествие. Затем, собрав все оставшиеся силы, заорал:

— Остановитесь!

Поначалу никакой реакции не было. Потом, прищурившись, он увидел, что один или два участника процессии остановились. Он выпрямился. Да, один или двое смотрят на него. Он это больше чувствовал, чем видел.

Он пошел к ним.

Какие-то инструменты смолкли, точно весть о его присутствии распространилась среди играющих. Совершенно очевидно, что они заметили его, сомнений нет.

Он пошел уже быстрее, и, лишенные покрова расстояния, стали видны подробности процессии.

Его шаг слегка замедлился. Сердце его, которое уже колотилось от напряженных усилий, затрепыхалось в грудной клетке.

— Боже мой, — сказал он, и в первый раз за тридцать шесть лет безбожной жизни эти слова по-настоящему зазвучали молитвой.

Он был от них на расстоянии полуимили, но он не мог ошибиться в том, что он видел. Его слезящиеся глаза могли отличить папье-маше от кожи, иллюзию от реальности.

Создания в конце процессии, последние из последних, были чудовищами, которые могут пригрезиться лишь в кошмаре безумия.

Одно было, возможно, восемнадцати или двадцати футов ростом. Его кожа, которая складками свешивалась с мышц, была утыкана шипами, коническая голова заканчивалась рядом зубов, сверкавших в алых деснах. У другого было три крыла, а тройной хвост колотил по пыли с энтузиазмом рептилии.

Третье и четвертое спаривались в чудовищном союзе, еще более омерзительном, чем его составляющие. Казалось, все конечности их стремятся соединиться, проникнуть все глубже и глубже, прорвав плоть партнера. Хоть головы их сплелись языками, они как-то ухитрялись издавать немелодичный вопль.

Дэвидсон отступил на шаг назад и оглянулся на оставленную на шоссе машину. Завидев это, одно из созданий, красное с белым, подняло пронзительный вой. Даже ослабленный расстоянием в полмили, этот вопль чуть не снес Дэвидсону голову. Он вновь взглянул на процессию.

Вопящий монстр покинул процессию и на кривых ногах понесся через пустыню по направлению к Дэвидсону, которого охватила неконтролируемая паника — он почувствовал, как содержимое его кишечника опорожняется ему в брюки.

Создание бежало к нему с неимоверной скоростью, увеличиваясь с каждой секундой, так что с каждым прыжком Дэвидсон мог разглядеть все больше подробностей чуждой анатомии: ладони, лишенные больших пальцев, остальные пальцы острые, точно зубы; голова лишь с одним трехцветным глазом; изгибы плеч и грудной клетки. Он различал даже поднятые в гневе (или, избави Боже, в вожделении) гениталии, раздвоенные, трясущиеся.

Дэвидсон взвизгнул почти таким же высоким голосом, что и монстр, и помчался обратно.

Автомобиль был далеко, до него была миля, может, две мили, и он знал, что машина не защитит его, если монстр до него доберется. В этот миг он понял, насколько близка была смерть, насколько рядом она всегда; он жаждал этого мгновенного осознания посреди бессмысленной паники.

Монстр уже настигал его. Измазанные в дерьме ноги поскользнулись, он упал, скорчился, пополз к машине. Услышав гром поступи за спиной, он инстинктивно свернулся в комок трясущейся плоти и ждал смертельного удара.

Он ждал два биения сердца.

Три. Четыре. Смерть все не шла.

Свистящий голос поднялся невыносимо высоко и потом чуть понизился. Лапы не дотрагивались до его тела. Очень осторожно, каждую секунду ожидая, что голова его будет оторвана, он глянул сквозь пальцы.

Создание обогнало его.

Возможно, из презрения к его слабости оно пробежало мимо по шоссе.

Дэвидсон ощущал запах своих испражнений и страха. Странно, но больше никто не обращал на него внимания. За его спиной процессия продолжала свое движение. Только

один или два особенно любопытных монстра все еще глядели через плечо в его направлении, растворяясь в пыли.

Свист изменил свою высоту. Дэвидсон осторожно приподнял голову над землей. Шум лежал вне пределов слышимости, отзываясь зудящей болью в затылке.

Он встал.

Чудовище взбралось на крышу его машины. Голова его была закинута к небу в каком-то экстазе, эрекция выражена еще больше, чем раньше, глаз сверкал на огромной голове; его голос поднялся еще выше, что полностью вывело его за пределы, доступные человеческому слуху. Чудовище склонилось над машиной, припав к ветровому стеклу и обняв капот цепкими лапами. Оно рвало металл, как бумагу, тело его блестело от слизи, голова тряслась. Наконец крыша была сорвана, и создание соскочило на шоссе и подкинуло металл в воздух. Кусок металла перевернулся на лету и упал на пустынную почву. Дэвидсон бегло подумал, как он будет объясняться со страховой компанией. Теперь создание раздирило машину. Двери были сорваны, мотор покорежен, колеса сошли с осей.

В ноздри Дэвидсона ударил отчетливый запах бензина. В тот же момент, когда он почувствовал этот запах, раздался лязг металла о металл — и чудовище, и машина были поглощены колонной огня, постепенно чернеющей от дыма.

Тварь не звала на помощь — если она и делала это, ее предсмертные вопли лежали за пределами слышимости. Она выскочила из этого огненного ада, ее плоть пылала, горел каждый сантиметр тела, руки дико метались в бесплодной попытке сбить с себя огонь, и она помчалась по шоссе, пытаясь уйти от источника своей агонии к горам. Языки пламени раздувались у нее за спиной, и ветер был насыщен запахом горелой плоти.

Однако создание не упало, хотя огонь, видимо, и пожирал его. Оно мчалось прочь, пока совсем не растворилось в трепещущем от жары воздухе вдали на шоссе.

Дэвидсон вяло опустился на колени. Дерьмо на ногах уже высыхало на этой жаре. Машина продолжала гореть. Музыка полностью исчезла, равно как и все шествие.

Солнце погнало его с песка назад, к искореженной машине.

Когда автомобиль, который ехал по шоссе следом, остановился, чтобы подобрать его, глаза у него были пустыми.

* * *

Шериф Джош Паккард недоверчиво уставился на когтистые отпечатки на земле у его ног. Они были впаяны в медленно застывающий жир и расплавленную плоть чудовища, которое пробежало по главной (и единственной) улице городка Велкам несколько минут назад. Оно свалилось, испустив последний вздох в десятке метров от местного банка. Все нормальные дела в Велкаме — торговля, преприятельства, приветствия — остановились. Одного или двух зрителей, которым стало плохо, пришлось разместить в вестибюле гостиницы, пока запах поджарившейся плоти портил чистый пустынный воздух городка.

Вонь была смесью запаха пережаренной рыбы и падали, и она жутко раздражала Паккарда. Это был его город, он находился под его присмотром, его защитой. Вторжение этой шаровой молнии он не желал рассматривать благосклонно.

Паккард вытащил свой пистолет и пошел по направлению к трупу. К этому времени языки пламени погасли, практически сожрав зверя. Но даже почти уничтоженный огнем он являл собой внушительное зрелище. То, что могло быть конечностями, обхватило то, что могло быть головой. Остальное распознать было трудно. Так или иначе Паккард был этому рад. Даже на основании этой изуродованной путаницы костей и плоти он мог вообразить себе достаточно, чтобы пульс его начал частить.

Это был монстр — сомнений нет.

Создание земли из-под земли. Он поднялся из нижнего мира наверх на великий ночной праздник. Примерно один раз в поколение, как-то сказал ему отец, пустыня выплевывает демонов и на время отпускает их на свободу. Будучи независимым ребенком, Паккард никогда не верил в это дерьмо, про которое толковал ему отец, но разве это не такой демон?

Какой бы несчастный случай ни привел это горящее чудовище умирать в городок, Паккарду было приятно, что демон оказался уязвимым. Его отец никогда не упоминал о такой возможности.

Полуулыбаясь при этой мысли Паккард шагнул к дымящемуся трупу и пнул его ногой. Толпа, все еще прячась в безопасности дверных проемов, охнула, пораженная подобной храбростью. Теперь уже Паккард улыбался во весь рот.

Такой удар один мог стоить целой ночи выпивки, а, возможно, даже и женщины.

Тварь лежала брюхом вверх. С яростным видом профессионального истребителя демонов Паккард внимательно исследовал конечности, обхватившие голову создания. Оно было абсолютно мертвое, это уж точно. Он убрал пистолет в кобуру и склонился над трупом.

— Притащи сюда камеру, Джедедия, — сказал он, произведя впечатление даже на самого себя.

Его помощник выбежал из конторы.

— Что вам нужно, — сказал он, — так это фотка этого красавчика.

Паккард опустился на колени и дотронулся до покерневших конечностей твари. Перчатки его будут испорчены, но такое небольшое неудобство ничего не значило перед шикарным жестом, рассчитанным на публику. Он почти ощущал на себе обожающие взгляды, когда дотронулся до обгоревшей плоти и начал разжимать конечности, охватившие голову монстра.

Огонь сплавил все вместе, и ему пришлось потрудиться, чтобы растащить конечности. Но наконец они отлепились с хлюпающим звуком, открыв бельмо единственного глаза на голове чудовища.

С видом крайнего отвращения он вновь уронил лапу чудовища на место.

Удар.

Затем рука демона неожиданно поползла вперед — слишком неожиданно, чтобы Паккард успел пошевелиться, и в мгновенном спазме ужаса шериф увидел, что на ладони передней лапы открылся и вновь закрылся рот, схватив его собственную руку.

Вздрогнув, он потерял равновесие и сел на ягодицы, пытаясь освободиться от этого чудовищного рта, но зубы монстра прорвали его перчатку и вцепились в руку, отхватив пальцы, а глотка засасывала обрубки и кровь все дальше в кишечник.

Задница Паккарда поскользнулась на натекшем месиве, и он завыл, совсем потеряв лицо. Она все еще была жива, эта тварь из нижнего мира. Паккард вызывал о помощи, поднимаясь на ноги и волоча за собой всю массивную тушу.

Рядом с ухом Паккарда прозвучал выстрел. Его забрызгало кровью и гноем, а рука твари, размозженная у плеча,

ослабила свою жуткую хватку. Груда искореженных мышц упала на землю, и рука Паккарда или то, что от нее осталось, вновь оказалась на свободе. Пальцев не осталось, лишь обрубок большого, и расщепленные кости суставов жутко торчали из изжеванной ладони.

Элеонора Кукер опустила ствол дробовика, из которого она только что выстрелила, и удовлетворенно хмыкнула.

— Руки у тебя больше нет, — сказала она с жестокой простотой.

«Чудовища, — вспомнил Паккард, как говорил ему отец, — никогда не умирают». Он вспомнил это слишком поздно, и ему пришлось пожертвовать для этого рукой — той, которой он наливал выпивку и ласкал женщин. Волна ностальгии по времени, когда у него были пальцы, охватила его, и в глазах у него потемнело. Последнее, что он увидел, свалившись в глубокий обморок, был его исполнительный помощник, поднимавший камеру, чтобы запечатлеть всю эту сцену.

Лачуга, пристроенная к дому сзади, всегда была убежищем Люси. Когда Юджин возвращался из городка пьяным или когда его охватывал внезапный гнев по поводу остывшей каши, Люси пряталась в хижину, где она могла спокойно выплакаться. Никакого сочувствия в жизни Люси не было: ни от Юджина, да и от нее самой (для того, чтобы жалеть себя, у нее было слишком мало времени).

Сегодня Юджина ввел в гнев старый источник раздражения — ребенок.

Вскормленный и любовно выращенный ребенок, дитя их любви, которого назвали, как Моисеева брата, Аароном, что значит «Достойный». Прелестный ребенок. Самый хорошенький мальчик на всей этой равнине. Всего пяти лет от роду, а уже такой очаровательный и вежливый, что любая мамми с Восточного побережья могла бы гордиться такой выучкой.

Аарон.

Гордость и радость Люси, ребенок, достойный того, чтобы с него писать картины, способный выступать в танце, очаровать самого дьявола.

Вот это-то и раздражало Юджина.

— Этот гребаный ребенок не больше парень, чем ты, — говорил он Люси. — Он даже наполовину не парень. Он годится только для того, чтобы сбывать модные туфли да

торговать духами. Или чтобы быть проповедником, для проповедника он подойдет.

Он ткнул в мальчика рукой с обкусанными ногтями и кривым большим пальцем.

— Ты — позор своего отца.

Аарон встретил отцовский взгляд.

— Ты меня слышал, парень?

Юджин отвернулся. Большие глаза ребенка глядели на него так, что его замутило — не человечьи глаза, собачьи.

— Пусть уберется из дома.

— Да что он сделал?

— Ему ничего и не нужно делать. Достаточно того, что он таков, какой есть. Все надо мной смеются, ты это знаешь? Смеются надо мной из-за него!

— Никто не смеется над тобой, Юджин.

— Да смеются же!

— Не из-за мальчика.

— Что?

— Если они и смеются, то не из-за мальчика. Они смеются над тобой.

— Закрой свой рот.

— Все знают, что ты из себя представляешь, Юджин. Знают так же хорошо, как и я.

— Говорю тебе, женщина...

— Большой, как уличная собака, всегда говоришь о том, что ты видел и чего боишься...

Он ударил ее, как уже бывало много раз. От удара потекла кровь, как и от многих таких ударов на протяжении пяти лет, но хотя она и покачнулась, первая ее мысль была о мальчике.

— Аарон, — сказала она сквозь слезы боли, — пойдем со мной.

— Оставь этого ублюдка, — Юджин весь дрожал.

— Аарон.

Ребенок встал между отцом и матерью, не зная, кого слушаться. Глядя на его перепуганное лицо, Люси заплакала еще сильнее.

— Мама, — сказал ребенок очень тихо. Несмотря на испуг, его серые глаза смотрели сурово. Прежде чем Люси успела придумать, как разрядить ситуацию, Юджин схватил мальчика за волосы и подтащил его к себе.

— Ты послушай отца, парень.

— Да...

— Да, сэр, нужно говорить отцу, а? Нужно говорить: да, сэр. Он прижал Аарона лицом к вонючей промежности своих штанов.

— Да, сэр.

— Он останется со мной, женщина. Ты больше не уташишь его в гребаный сарай. Он останется со своим отцом.

Перепалка закончилась, и Люси это поняла. Если она будет настаивать, она лишь подвергнет ребенка дальнейшему риску.

— Если ты сделаешь ему больно...

— Я — его отец, женщина, — усмехнулся Юджин. — Что ты думаешь, я сделаю плохо плоти от плоти моей?

Ребенок был зажат между отцовскими бедрами в положении, которое было чуть ли не непристойным, но Люси хорошо знала своего мужа: он был слишком близок к безудержному гневу. Она больше не беспокоилась о себе — у нее есть свои радости, но мальчик был беззащитным.

— Какого черта ты не выметешься отсюда, женщина? Мы с парнем хотим побывать одни, верно?

Юджин оттащил лицо Аарона от своей ширинки и фыркнул ему, белому от ужаса:

— Верно?

— Да, папа.

— Да, папа. Вот уж точно, «да, папа».

Люси вышла из дома и укрылась в холодной темноте сарая, где она молилась за Аарона, названного, как брат Моисеев, что значит «Достойный». Она гадала, как он выживет среди тех жестокостей, которые обещает ему будущее.

Наконец Юджин отпустил мальчика. Тот очень бледный стоял перед отцом, напуган он не был. Тумаки причиняли ему боль, но это не настоящий страх.

— Да ты слабак, парень, — сказал Юджин, толкая своей огромной лапой мальчика в живот, — слабак, заморыш. Будь я фермером, а ты — боровком, парень, знаешь, что бы я сделал?

Он снова взял ребенка за волосы, а другую руку засунул ему между ног.

— Знаешь, что я бы сделал, парень?

— Нет, папа, что бы ты сделал?

Шершавая рука скользнула по телу Аарона, и Юджин издал хлюпающий звук.

— Ну я зарезал бы тебя да скормил остальному приплоду. Боровки-то любят мясо таких задохликов. Как тебе бы это понравилось?

— Нет, папа.

— Тебе бы это не понравилось?

— Нет, спасибо, папа.

Лицо Юджина отвердело.

— Хотелось бы мне посмотреть на это, Аарон. Что бы ты поделал, если бы я отворил тебя да поглядел бы, что там внутри, разок — другой.

Что-то изменилось в играх отца, что-то, чего Аарон не мог понять: появилась новая угроза, новая близость. Хоть мальчик и чувствовал неловкость, он понимал, что боится не он, а его отец. Страх был дан Юджину по праву рождения, как Аарону — право наблюдать, и ждать, и страдать, пока не придет его время. Он знал (не понимая, как и откуда), что он послужит орудием расправы со своим отцом. А может, чем-то большим, нежели просто орудием.

Гнев все нарастал в Юджине. Он уставился на мальчика, его коричневые кулаки были сжаты так сильно, что костяшки пальцев побелели. Мальчик был его поражением: непонятно как, он разрушил всю ту добрую жизнь, которой они жили с Люси до того, как он родился, — так, как если бы он убил обоих родителей. Едва сознавая, что он делает, Юджин стиснул руку на худенькой шее мальчика.

Аарон не издал ни звука.

— Я могу убить тебя, парень.

— Да, сэр.

— И что ты на это скажешь?

— Ничего, сэр.

— А нужно бы сказать, спасибо, сэр.

— Почему?

— Почему, парень? Да потому, что эта жизнь — не дермо свинячье и я, любя, помог бы тебе, как отец помогает сыну.

— Да, сэр.

В сарае за домом Люси перестала плакать. Это не приносит пользы, да и кроме того, сквозь дырявую крышу сарая она увидела небо, и что-то в этом небе вызвало воспоминания, осушившие слезы. Такое надежное небо: чисто-голубое, ясное.

Юджин не сделает мальчику ничего плохого. Он не осмелится, никогда не осмелится сделать ребенку плохо. Он знает, что такое этот мальчик, хоть никогда не признается в этом.

Она помнила день, шесть лет назад, когда небо источало такой же свет, как сегодня, а воздух был насыщен жаром. Юджин и она были распалены, как этот воздух, и целый день не отводили глаз друг от друга. Тогда, в расцвете, он был сильный, высокий, великолепный мужчина, его тело крепло от физической работы, а ноги, когда она гладила их, казались твердыми, как утесы. Она и сама была тогда прелестной: самый лакомый кусочек во всех окрестностях, крепкая и пухлая, а волосы везде у нее были такие мягкие, что Юджин не мог удержаться и целовал ее даже туда — в потайное место. Они развлекались каждый день, а иногда — и ночь, в доме, который они тогда строили, или на песке, под конец дня. Пустыня была удобной постелью, и они лежали, никем не потревоженные, под огромным небом.

В тот день, шесть лет назад, небо потемнело очень быстро, несмотря на то, что до вечера было еще далеко. Казалось, что оно стало черным в один миг, и любовникам сразу стало холодно в их торопливой наготе. Глядя через его плечо, она видела, какую форму принимает небо — огромного грузного создания, которое наблюдает за ними. Он в своей страсти все еще трудился над ней, погружаясь в нее так, как она любила, когда рука свекольного цвета и величиной с человека ухватила его за шиворот и отняла от жениного лона. Она видела, как он болтался в воздухе, вереща, точно загнанный кролик, плюяясь из двух ртов — южного и северного, ибо он в воздухе окончил свои труды. Потом его глаза на мгновение открылись, и он увидел свою жену внизу, на расстоянии двадцати футов, все еще нагую, с разбросанными в стороны ногами, и по бокам у нее были чудовища. Небрежно, без злобы, они отбросили его прочь от предмета их любования, и он потерял ее из виду.

Она слишком хорошо помнила, как прошел следующий час, помнила объятия чудовищ. Они никоим образом не были отвратительными, не были грубыми или болезненными, а лишь любящими. Даже их органы размножения, которыми они вновь и вновь пронзали ее один за другим, не причиняли боли, хоть были огромными, точно кулак Юджина, и твердыми, точно кость. Сколько этих чужаков взяло ее в тот день — три,

четыре, пять? — смешав свое семя в ее теле, поделившись с ней радостью при помощи своих терпеливых толчков? Когда они ушли, ее кожи вновь коснулся солнечный свет, и она почувствовала, хоть и стыдилась этого воспоминания, утрату, так, словно жизнь ее миновала свой зенит и остаток дней ей предстоит лишь медленный путь к смерти.

Наконец она поднялась и прошла туда, где Юджин без сознания лежал на песке, одна нога у него была сломана при падении. Она поцеловала его и села на корточки. Она надеялась, что у нее будет плод от этого семени целого дня любви и что он будет хранилищем ее радости.

В доме Юджин ударил мальчика. Нос Аарона был разбит, но мальчик не издал ни звука.

- Говори, парень.
- Что я должен сказать?
- Я отец тебе или нет?
- Да, отец.
- Врешь!

Он ударил вновь, без предупреждения, на этот раз удар швырнул Аарона на пол. И когда его маленькая ладонь, на которой не было мозолей, оперлась на кафельный пол кухни, он кое-что почувствовал сквозь пол. Там, в земле, слышалась музыка.

- Врешь! — все еще говорил его отец.

Будут еще удары, подумал мальчик, больше боли, больше крови. Но все это можно было перенести, а музыка была обещанием того, что после долгого ожидания уже никогда не будет больше никаких ударов.

Дэвидсон брел по главной улице городка Велкам. Был самый полдень, полагал он (его часы остановились, возможно, из-за невнимания), но городок, казалось, был пуст. Наконец его взгляд уперся в черную дымящуюся тушу посредине улицы за сто ярдов от него.

- Если такое возможно, кровь в его жилах похолодела.

Невзирая на расстояние, он опознал эту гору обгорелой плоти, то, чем она была раньше, и голову его стиснул ужас. Значит, все же все это было на самом деле. Он сделал еще пару запинающихся шагов, борясь при этом с тошнотой, пока не почувствовал, что его поддерживают сильные руки, и не

услышал сквозь шум крови в голове чей-то успокаивающий голос. Слова не имели смысла, но по крайней мере голос был мягким и человечным. Он мог больше не притворяться, что с ним все в порядке. Он упал, но через миг окружающий мир появился вновь, такой же надежный, как обычно.

Его занесли в дом, уложили на неудобной софе, и на него глядело сверху вниз женское лицо, лицо Элеоноры Кукер. Она увидела, что он пришел в себя, и сказала:

— Этот парень выживет.

Голос у нее был жесткий, как терка.

Она еще сильнее наклонилась вперед.

— Видели эту тварь, верно?

Дэвидсон кивнул.

— Давай-ка сначала успокоимся, — ему в руку сунули стакан, и Элеонора щедро наполнила его виски.

— Пей, — велела она, — потом расскажешь нам, что ты там собирался.

Комната была набита людьми, будто в гостиной у Кукер сгрудилось все население Велкама. Большой прием, но он заслужил его своим рассказом. Виски расслабило его, и он начал рассказывать, ничего не преуменьшная и не преувеличивая — слова лились сами по себе. В ответ Элеонора рассказала про случай с шерифом Паккардом и телом потрошителя машины. Паккард тоже был в комнате и выглядел не лучшим образом, поглотив огромное количество виски и болеутоляющих; его искалеченная рука была так обмотана бинтами, что больше напоминала шар.

— И это не единственный дьявол, который побывал здесь, — сказал Паккард, когда с рассказами было покончено.

— Это ты так говоришь, — в быстрых глазах Элеоноры отнюдь не было убежденности.

— Так говорил мой папа, — сказал Паккард, уставившись на свою перевязанную руку. — И я уверен в этом, черт, я верю во все это!

— Тогда нам лучше что-нибудь предпринять на этот счет.

— Например? — спросил кислого вида тип, устроившийся около камина. — Что можно сделать с такими тварями, которые пожирают автомобили?

Элеонора выпрямилась и одарила оратора презрительной гримасой.

— Может, наконец извлечем пользу из твоей мудрости, Лу, — сказала она. — Что, по-твоему, мы должны делать?

— Я думаю, надо залечь и дать им пройти.

— Я — не страус, — сказала Элеонора, — но если ты захочешь зарыть голову в песок, Лу, я одолжу тебе лопату. Я даже вырою для тебя ямку.

Общий смех. Смущенный скептик замолчал и начал разглядывать свои ногти.

— Мы же не можем сидеть тут и позволять им бродить по улицам города, — сказал помощник шерифа, надувая пузыри из жвачки.

— Они шли к горам, — сказал Дэвидсон. — Прочь от городка.

— Как же сделать так, чтобы они не переменили своих проклятых планов? — спросила Элеонора. — Ну что?

Нет ответа. Кое-кто кивнул, кое-кто помотал головой.

— Джедедия, — сказала она, — ты выбран помощником шерифа. Что ты думаешь обо всем этом?

Юноша с шерифским значком и со жвачкой слегка покраснел и пощипал свои усыки. Он явно не знал, что делать.

— Я ясно вижу, какая получается картина, — женщина отвернулась от него прежде, чем он придумал, что ответить. — Ясно как день. Вы все слишком наложили в штаны, чтобы выкурить их из своих нор, верно?

По комнате вновь прокатился виноватый шепот, многие вновь затрясли головой.

— Вы просто собираетесь сидеть тут, и пусть всех женщин пожрут.

Хорошее слово: пожрут. Производит гораздо большее впечатление, чем просто: съедят. Элеонора остановилась для пущего эффекта. Потом мрачно сказала:

— Или что похуже.

Хуже, чем пожрут? Бедняги, что может быть хуже?

— Да мы не дадим этим дьяволам прикоснуться к вам, — сказал Паккард, вставая со своего места с некоторым затруднением. Обращаясь к присутствующим, он слегка покачнулся.

— Мы поймаем этих дермоедов и линчуем их.

Этот призыв на битву не слишком воодушевил мужскую половину присутствующих: после своего приключения на Главной улице шериф явно терял доверие избирателей.

— Осторожность — лучшая доблесть, — прошептал Дэвидсон себе под нос.

— Сколько вокруг лошадиного деръма, — сказала Элеонора.

Дэвидсон пожал плечами и прикончил виски. Никто вновь не наполнил его стакан. Он вспомнил, что ему нужно благодарить небо за то, что он остался в живых. Но все его рабочее расписание полетело к черту. Ему нужно добраться до телефона и нанять автомобиль, если необходимо, заплатить кому-нибудь, чтобы его подбросили. Эти «дьяволы», кем бы они ни были, не его ума дело. Может, он с интересом прочитал бы о них колонку-другую в «Ньюсвик», когда вновь будет на востоке и расслабится с Барбарой, но теперь все, чего он хотел, это покончить со своими делами в Аризоне и вернуться домой как можно скорее.

У Паккарда, однако, были свои идеи.

— Ты — свидетель, — сказал он, указывая на Дэвидсона. — И как шериф этой общины я приказываю тебе оставаться в Велкаме, пока я не буду удовлетворен твоими ответами на допросе, который я собираюсь тебе учинить.

Странно было слышать официальную речь из этого слюнявого рта.

— У меня дела... — начал было Дэвидсон.

— Так пошли им телеграмму и отложи все дела, мистер занятой Дэвидсон.

Парень подпортит ему репутацию, подумал Дэвидсон, мало ли что подумают на востоке, но все же Паккард представлял закон, и с этим ничего нельзя было поделать. Он кивнул, вложив в этот жест как можно больше покорности. Позже, когда он будет дома в тепле и безопасности, он сможет возбудить формальный процесс против этого местечкового Муссолини. А сейчас лучше послать телеграмму и пусть его деловая поездка рушится дальше.

— Так каков ваш план? — требовательно спросила Элеонора у Паккарда.

Шериф надул свои красные от виски щеки.

— Мы разделяемся с дьяволами, — сказал он. — Ружья, женщина.

— Вам понадобится нечто большее, чем ружья, если они такие, как он говорит.

— Именно такие, — сказал Дэвидсон. — Проверте, такие. Паккард фыркнул.

— Возьмем весь наш гребаный персонал, — сказал он, нацелив свой уцелевший палец в Джедедия. — Вытащи все наше тяжелое вооружение, парень. Противотанковое. Базуки.

Общее удивление.

— У вас есть базуки? — спросил Лу, каминный скептик.

Паккард выдавил снисходительную улыбку.

— Военный арсенал, — сказал он. — Остался после мировой войны.

Дэвидсон безнадежно вздохнул. Этот человек — псих с его маленьким устаревшим арсеналом, который, возможно, более опасен для стрелков, чем для потенциальных жертв. Они все умрут. Господи, помоги им, они же все умрут!

— Может, ты и потерял пальцы, — сказала Элеонора Кукер, потрясенная этой демонстрацией храбрости, — но ты единственный мужчина в этой комнате, Джош Паккард.

Паккард оскалился и рассеянно почесал промежность. Дэвидсон больше не мог выносить царившую в комнате атмосферу мужского превосходства.

— Послушайте, — встярал он, — я рассказал вам все, что знаю. Пусть дальше этим займутся ваши парни.

— Никуда ты не уедешь, — сказал Паккард, — если ты под это копаешь.

— Я только сказал...

— Сынок, мы слышали, что ты тут сказал. Но я тебя не слышал. Если я увижу, что ты собираешься нарезать, я притяну тебя за яйца. Если они у тебя есть.

Ублюдок, он это может, подумал Дэвидсон, несмотря на свою одну руку. Ладно, пусть все идет, сказал он себе, стараясь, чтобы губы у него не дрожали. Если Паккард выберется и отыщет этих чудовищ, а проклятая базука разорвется при стрельбе, то это — его личное дело. Пусть так.

— Там их целое племя, — спокойно указал Лу, — если верить этому человеку. Так что, как вы собираетесь справиться с таким количеством?

— Стратегия, — сказал Паккард.

— Да они нас просто затрахают, шериф, — заметил Джедедия, вынимая с усов взорвавшийся пузырь жвачки.

— Это наша территория, — сказала Элеонора. — Мы завоевали ее, мы ее и удержим.

Джедедия кивнул.

— Да, ма, — сказал он.

— Ну а если они просто исчезнут — и все? Предположим, мы их больше никогда не встретим, — возразил Лу. — Мы что, не можем просто дать им уйти под землю?

— Точно, — сказал Паккард. — А мы останемся и будем все время ждать, что они вернутся и пожрут все женское население.

— Может, они не хотят ничего плохого, — предположил Лу.

Паккард в ответ поднял свою перевязанную руку.

С этим спорить было трудно.

Паккард продолжал хриплым от избытка чувств голосом:

— Вот дерньмо, я так хочу с ними разделаться, что пойду туда, с помощью или без. Но нужно их как-то переиграть, перехитрить, мы же не хотим никого потерять.

Что-то в этом есть, подумал Дэвидсон. Да и вся комната тоже была под впечатлением. Отовсюду, даже от камина, раздался шепот одобрения.

Паккард вновь повернулся к своему помощнику.

— Так что подними свой зад, сынок. Я хочу, чтобы ты позвал этого ублюдка Крамба и его патрульных и притащил их всех сюда вместе со всем их оружием. А если он спросит, зачем, скажи ему, что шериф Паккард провозгласил особое положение, что я реквизирую любой ствол, который можно засунуть в задницу в радиусе пятидесяти миль отсюда, и любого человека, который болтается на другом конце этого оружия. Шевелись, сынок.

Теперь вся комната явно обмирала от восторга, и Паккард знал это.

— Мы разнесем этих ублюдков, — сказал он.

На какой-то момент его красноречие, казалось, оказалось свое магическое воздействие и на Дэвидсона, и он почти поверил, что это возможно, но потом он вспомнил подробности процесии: хвосты, зубы и все остальное — и храбрость его исчезла без следа.

Они подошли к дому очень тихо — не крадучись, но такой мягкой поступью, что никто их не услышал.

К этому времени гнев Юджина несколько угас. Он сидел, положив ноги на стол, перед ним стояла пустая бутылка виски, а молчание в комнате было таким тяжелым, что казалось удушающим.

Аарон, чье лицо распухло от отцовских ударов, сидел у окна. Ему не нужно было глядеть, чтобы увидеть тех, кто шел по песку в направлении к дому, ибо их приближение отзывалось эхом в его венах. Его лицо в кровоподтеках хотело осветиться приветственной улыбкой, но он подавил это желание и просто ждал, замкнувшись в молчании, пока они не подошли почти к самому порогу. Только когда их массивные тела заслонили свет в окне, только тогда он встал.

Движение мальчика вывело Юджина из транса.

— Что там такое, парень?

Ребенок уже повернулся спиной к окну и теперь стоял посередине комнаты, спокойно улыбаясь. Его худенькие руки были раскинуты, как солнечные лучи, пальцы от возбуждения сжимались и разжимались.

— Что там такое с окном, парень?

Аарон услышал сквозь бормотание Юджина голос одного из его настоящих отцов. Точно собака, бросившаяся приветствовать хозяина после долгой разлуки, мальчик подбежал к двери и начал дергать засов, пытаясь открыть ее. Однако дверь была заперта.

— Что там за шум, парень?

Юджин оттолкнул сына в сторону и повернул ключ в замке, тогда как отец Аарона звал своего ребенка из-за двери. Голос его был похож на журчание воды, прерываемое тихим писком. Это был знакомый голос, любящий голос.

И тут Юджин начал понимать. Он ухватил ребенка за волосы и оттащил его от двери.

Аарон взвизгнул от боли.

— Папа! — взмолился он.

Юджин решил, что этот вопль адресуется к нему, но настоящий отец Аарона тоже услышал голос мальчика. В его ответном зове явно звучали настойчивые ноты сочувствия.

Снаружи дома Люси услышала перекличку голосов. Она вышла из-под защиты сарая. Она знала, что увидит на фоне сияющего неба, но тем не менее голова ее закружилась при виде массивных созданий, собравшихся вокруг дома. Ее пронзила мука при воспоминании об утерянной тогда, шесть лет назад, радости. Все они были здесь, незабываемые создания, невероятное сочетание форм...

Пирамидальные головы на нежно-розовом классическом торсе, задрапированном в ниспадающие складки просторной

плоти. Безголовый серебристый красавец, чьи шесть рук расходятся в стороны от алого пульсирующего рта. Создания, похожие на рябь на поверхности ручья, устойчивую, но непрерывно меняющуюся, при этом издающие чистый, нежный звук. Создания, слишком фантастичные, чтобы быть реальными.

Слишком реальные, чтобы в них не верить, ангелы порога и очага. У одного была голова, которая двигалась взад-вперед на тонкой, как паутинка, шее, словно какой-то изысканный флюгер, голубая, точно позднее вечернее небо, и утыканная глазами, точно сияющими звездами. Еще один отец, чье тело напоминало веер, открываящийся и запахивающийся от возбуждения, его оранжевая плоть вспыхнула еще ярче, когда вновь раздался голос мальчика.

— Папа!

А у двери дома стояло существо, которое Люси всегда вспоминала с наибольшей благодарностью — тот, кто первым коснулся ее, тот, кто утешил ее страхи, первым проник в нее, необычайно мягко. Когда оно выпрямлялось в полный рост, в нем было, вероятно, футов двадцать росту. Теперь оно склонилось к двери, его могучая безволосая голова, точно у нарисованной шизофреником птицы, прижалась к дому, пока он говорил с ребенком. Оно было обнажено, и его широкая темная спина блестела от пота.

Внутри дома Юджин прижал ребенка к себе, точно щит.

— Что ты знаешь, парень?

— Папа?

— Я сказал, что ты знаешь?

— *Папа!*

В голосе Аарона звучало торжество. Ожидание закончилось.

Фасад дома был вдавлен внутрь. В отверстие просунулась похожая на крюк конечность и сорвала дверь с петель. Взлетели и осели обломки, в воздухе было полно щепок и пыли. Там, где раньше была спасительная темнота, теперь слепило солнце, обволакивая крошечную фигурку человека среди обломков.

Юджин смотрел из-за пелены пыли. Руки гигантов стащили крышу, и там, где раньше были потолочные балки, теперь виднелось небо. Над ним, куда ни погляди, возвышались конечности, тела и морды невероятных существ. Они растаскивали уцелевшие стены, сокрушая его дом так не-

брежно, как он бы разбил бутылку. Он выпустил мальчика из рук, не понимая, что он делает.

Аарон побежал к существу на пороге.

— Папа!

Оно подхватило его, точно отец, встречающий ребенка из школы, и запрокинуло голову в экстазе. Из его груди вырвался длинный, неописуемый вопль радости. Этот гимн подхватили остальные создания, точно празднуя великий праздник. Юджин заткнул уши руками и упал на колени. Уже при первых нотах этой чудовищной музыки нос его начал кровоточить, а в глазах застыли слезы. Он не был испуган. Он знал, что они не сделают ему ничего плохого. Он плакал потому, что шесть лет внушал себе, что ничего этого не было, и теперь, когда перед его лицом сияла их слава и тайна, он плакал потому, что у него не хватало мужества принять их и признать. Теперь было слишком поздно. Они забрали мальчика силой и разрушили его дом и его жизнь. Равнодушные к его мукам, они удалились, воспевая свою радость, и мальчик был в их руках навеки.

Среди горожан Велкама самым часто употребимым словом этого дня было «организация». Дэвидсон мог только с симпатией наблюдать, как эти глуповатые, жесткие люди пытались противостоять невозможному и невероятному. Он был странно взволнован этим зрелищем — они были похожи на поселенцев из вестернов, готовящихся дать отпор ордам дикарей. Но в отличие от того, как это бывает в фильмах, Дэвидсон знал, что оборона была обречена. Дэвидсон видел этих монстров — они внушали благоговейный страх. И каковы бы ни были справедливые побуждения поселенцев, как бы ни была чиста их вера, дикари сметали поселенцев с лица земли чаще, чем хотелось бы. Хорошо все кончается только в кино.

Нос Юджина перестал кровоточить спустя полчаса, но он, казалось, не заметил этого. Он тащил, волок, пинал, пинал Люси, подгоняя ее к городку Велкам. Никаких объяснений от этой суки он слышать не хотел, хотя ее голос постоянно гудел у него над ухом. Он продолжал слышать гудящий голос монстра и повторяющийся зов Аарона «папа», в ответ на который чудовищная рука монстра обрушила его дом.

Юджин понимал, что его вновь обвели вокруг пальца, хотя даже в самом своем воспаленном воображении представить полной правды он не мог.

Аарон был безумен, это он понимал. И каким-то образом его жена, пышнотелая Люси, которая была такой красоткой и с которой всегда было так приятно, послужила инструментом безумия мальчика и его собственного поражения.

Она продала мальчика — вот во что он наполовину поверил. Каким-то непонятным образом она заключила сделку с этими тварями из нижнего мира и променяла жизнь и разум их сына в обмен на какой-то дар. Что она выиграла от этой сделки? Какие-то безделушки, что-то, что она зарыла в полу сарая? Боже мой, она хорошенко помучается за это. Но прежде чем заставить ее помучиться, прежде чем он вырвет ее чертовы волосы и расплющит ее цветущие груди, она признается. Он заставит ее признаться — не для него, но для людей из города, которые презрительно кривили губы в ответ на его пьяные признания и смеялись, когда он рыдал над своим пивом. Они услышат из собственных уст Люси правду о случившемся с ним кошмаре и узнают, к своему ужасу, что демоны, о которых он им толковал, существуют на самом деле. Тогда он будет оправдан, и город примет его назад в свое лоно и попросит у него прощения, тогда как высохшее тело его суки-жены будет висеть где-нибудь на телефонном столбе за пределами города.

За две мили до городка Юджин остановился.

— Что-то движется.

Облако пыли, и внутри его клубящегося сердца множество сверкающих глаз.

Он испугался худшего.

— Боже мой!

Он выпустил жену. Может, теперь они пришли за ней? Да, возможно, это была вторая часть заключенной ею сделки.

— Они захватили город, — сказал он. Воздух был насыщен голосами. Все это было уже слишком.

Они шли по дороге, вытянувшись в цепочку, прямо на него, и Юджин повернулся, чтобы бежать — пусть эта шлюха идет себе, куда хочет. Пусть забирают ее, лишь бы оставили его в покое. Люси улыбалась сквозь облако пыли.

— Это Паккард, — сказала она.

Юджин вновь поглядел на дорогу и прищурился. Образы дьяволов растворялись в тумане. Сверкающие глаза превратились в горящие фары, голоса — в гудки и сирены, там была целая армия автомобилей и мотоциклов, которую возглавлял завывающий автомобиль Паккарда, — и все они двигались по дороге прочь от Велкана.

Юджин растерялся. Что это было, массовый исход?

Люси, первый раз за этот великолепный день, почувствовала, как ее коснулось сомнение.

По мере того, как колонна приближалась, она замедляла ход и, наконец, остановилась. Пыль улеглась, открыв бригады паккардовских камикадзе. Там была примерно дюжина автомобилей и полдюжины мотоциклов, все они были заполнены вооруженными полицейскими. Горстка граждан Велкана составила армию — Элеонора Кукер была среди них. Впечатлительное зрелище — не слишком умные, но хорошо вооруженные люди.

Паккард высунулся из своего автомобиля, сплюнул и заговорил:

— Что, проблемы, Юджин? — спросил он.

— Я не идиот, Паккард, — ответил Юджин.

— Никто и не говорит.

— Я видел этих тварей. Люси подтвердит.

— Знаю, что видел, Юджин, сам знаю. Там в холмах засели чертобы дьяволы, это так же верно, как дермо. Ты что думаешь, для чего я собрал всю эту компанию, как не из-за дьяволов?

Паккард усмехнулся Джедедии, который сидел за рулем.

— Верно, как дермо, — повторил он. — Хотим выкурить их всех к чертовой матери.

С заднего сиденья машины высунулась мисс Кукер, она курила сигару.

— Похоже, мы должны извиниться перед тобой, Джин, — сказала она, виновато улыбнувшись. «Все равно он тряпка, — подумала она, — женился на этой толстозадой бабе, она его и погубит. Жаль человека».

Лицо Юджина отвердело от удовольствия.

— Похоже, что так.

— Залазь в какую-нибудь из задних машин, — сказал Паккард.

— Ты и Люси, оба, и мы выкурим их из их нор, точно змей.

— Они ушли в холмы, — сказал Юджин.

— Так что?

— Забрали моего парня. Разрушили мой дом.

— Много их было?

— Примерно дюжина.

— Ладно, Юджин, тебе лучше идти с нами. — Паккард кивнул кому-то сзади. — Устроим этим ублюдкам взбучку, а? Юджин обернулся туда, где стояла Люси.

— И я хочу, чтобы ее допросили... — начал он.

Но Люси ушла, она бежала через пустыню и уже сделалась размером с куклу.

— Она сошла с дороги, — сказала Элеонора. — Она же убьет себя.

— Это было бы для нее слишком хорошо, — сказал Юджин, залезая в машину. — Эта женщина заключила сделку с самим Дьяволом.

— Это как, Юджин?

— Продала аду моего единственного сына, эта женщина. Люси растворилась в жаркой дымке.

— Аду...

— Да оставь ты ее, — сказал Паккард. — Ад заберет ее себе, раньше или позже...

Люси знала, что они не дадут себе труда преследовать ее. С того момента, как она увидела огни машин в облаке пыли, ружья и каски, она поняла, что для нее в предстоящих событиях осталось мало места. В лучшем случае она будет зрителем. В худшем, она умрет от теплового удара, пересекая пустыню, и никогда не узнает, чем закончится грядущая битва. Она часто гадала о происхождении существ, которые были совокупным отцом Аарона, где они жили, почему они в мудрости своей были избраны, чтобы заняться с ней любовью. Она также гадала, знал ли о них кто-нибудь в Велкаме. Какие человеческие глаза, помимо ее собственных, разглядывали сияние их тайной анатомии за все это время. И, конечно, она гадала, настанет когда-либо время встречи, столкновение между двумя расами? Вот оно, похоже, и настало без предупреждения, и если оценивать размеры этого события, ее собственная жизнь перед его лицом ничего не значила.

Как только машины и мотоциклы исчезли из виду, она пошла назад по своим собственным, оставленным в песке следам и вернулась на дорогу. Ей никогда не вернуть Аарона, это она понимала. В некотором смысле она была лишь опекуном ребенка, хотя именно она его родила. Он странным образом принадлежал тем созданиям, которые оставили свое семя в ее теле, чтобы зачать его. Может, она была лишь сосудом в каком-то опыте по оплодотворению и сейчас врачи исследуют получившегося ребенка. Может, они просто взяли его с собой из любви? Каковы бы ни были причины, она лишь надеялась, что ей удастся увидеть исход битвы. Где-то в глубине, в том месте, которого достигли лишь эти монстры, она надеялась на их победу, хоть многие существа того вида, который она считала своим собственным, пострадают в результате этого.

У подножия холмов повисло великое молчание. Аарона усадили среди обломков скал, и они все собирались вокруг и радостно исследовали его волосы, глаза, его одежду, его улыбку.

Уже наступал вечер, но Аарон не чувствовал холода. Дыхание его отцов было теплым и пахло, подумал он, точно помещение центрального универмага в городке: смесь тянучек и пеньковой веревки, свежего сыра и железа. Кожа его потемнела в свете заходящего солнца, а в зените начали появляться звезды. Таким счастливым, как в окружении демонов, он не чувствовал себя даже в объятиях своей матери.

Не достигая подножия холмов, Паккард велел колонне остановиться. Он знал, кто такой Наполеон Бонапарт, и без сомнения чувствовал себя в точности, как этот завоеватель. Если бы он знал историю этого завоевателя, он понял бы, что перед ним лежит его Ватерлоо, но Джон Паккард жил и умер, ничего не ведая о героях.

Он велел своим людям выйти из машин и прошелся среди них, его забинтованная рука была для опоры засунута за лацкан рубашки. Это был не самый вдохновляющий парад в военной истории. Слишком много там было белых от страха лиц, слишком много глаз избегали его взгляда, пока он раздавал приказы.

— Люди! — заорал он.

(Кукер и Дэвидсон, независимо друг от друга подумали, что, когда запланированная атака начнется, она будет не из бесшумных).

— Люди! Мы тут, мы организованы, и Бог на нашей стороне. Мы уже поимели этих гадов, понимаете?

Молчание. Все смотрят в сторону, все потные.

— Если хоть кто-нибудь из вас развернется и побежит, — продолжал он, — не советую, потому что, если я это увижу, он доберется домой с отстреленной задницей.

Элеонора собралась аплодировать, но речь была еще не окончена.

— И помните, парни, — голос Паккарда упал до конспиративного шепота, — что эти дьяволы забрали ребенка Юджина, Аарона, четырех часов еще не прошло. Прямо-таки оторвали его от мамкиной титьки, когда она его укачивала. Они дикии просто, как бы они там ни выглядели. Им наплевать на то, что чувствует мать, или на бедного ребенка. Так что, если вы подберетесь поближе к кому-нибудь из них, подумайте, как бы вы себя чувствовали, если бы вас отняли от мамкиной титьки.

Ему очень понравилась фраза «мамкина титька». Это так по-простому, так трогательно. Мамкина титька произведет на этих ребят гораздо большее впечатление, чем «мамочкин яблочный пирог».

— Вам нечего бояться, парни, бойтесь только, что окажетесь слабаками. Мужчины, ведите себя как мужчины!

Неплохо на этом закончить.

— Разделаемся с ними!

Он вновь забрался в свой автомобиль. Кто-то внизу, в колонне, начал громко аплодировать, и все остальные подхватили. Широкое красное лицо Паккарда перерезала желтая улыбка.

— По вагонам! — усмехнулся он, и колонна двинулась в холмы.

Аарон почувствовал, что воздух изменился. Не то, чтобы ему стало холодно: их дыхание по-прежнему согревало его. Но тем не менее в атмосфере наступили какие-то изменения — в нем появилось что-то чужеродное. Пораженный, он глядел, как реагируют на эти изменения его отцы: их тела засветились

новыми красками, более суровыми, военными красками. Один или два даже подняли головы, словно приюхиваясь.

Что-то было не так. Что-то или кто-то приближался, чтобы вмешаться в эту праздничную ночь, нежданный, неприглашенный. Демоны распознали признаки этого, и для них это событие не явилось неожиданностью. Разве не могло быть так, что герои Велкана придут за мальчиком? Разве человек в присущей ему жалкой манере не верил, что их раса была рождена из потребности окружающей природы познать себя, что эстафета передавалась от млекопитающего к млекопитающему, пока не распустилась роскошным цветком человеческой расы?

Естественно, что они рассматривали его отцов как вражескую расу, которую нужно вырвать с корнем и попытаться уничтожить. Настоящая трагедия: когда единственной мыслью отцов было единство брачного праздника, их дети должны все испортить и помешать этому празднику.

И все же человек — он и есть человек. Может, Аарон будет другим, хотя, возможно, он тоже в свое время вернется назад в человеческий мир и забудет все, чему здесь выучился. Эти создания, которые были его отцами, были также отцами всего человечества, а смесь их семени в теле Люси была точно такой же, как та, что и породила первых самцов человеческой расы. Женщины существовали всегда, они жили среди демонов, как обособленный вид, но им нужны были приятели, напарники — и вместе они сделали мужчин.

Что за ошибка была, что за чудовищный просчет! За какую-то одну эпоху все лучшее было заглушено худшим, женщины превратились в рабынь, демоны были убиты или загнаны под землю, оставив на поверхности лишь немногих уцелевших, чтобы те вновь предприняли первый опыт и сделали мужчин, похожих на Аарона, тех, кто поведет себя мудрее по отношению к своим предшественникам. Только увеличив человечность в этих новых детях мужского пола, удастся сделать мягче всю расу. Вероятность этого была достаточно невелика, трудно не нарваться на остальных разгневанных детей, чьи жирные белые кулаки сжимают раскаленные ружья.

Аарон узнал запах Паккарда и своего отчима, он ощущал этот запах как что-то постороннее. С сегодняшнего вечера он относился к ним без всякого сочувствия, точно к животным иного вида. Он видел блестательную славу демонов,

он чувствовал свою к ним принадлежность и знал, что готов защитить их даже ценой своей жизни.

Автомобиль Паккарда возглавил атаку. Волна машин выкатилась из тьмы, сирены гудели, передние фары сверкали и они все ехали прямо к кучке празднующих. Из одного или двух автомобилей высунулись перепуганные полицейские и заорали от ужаса, когда им открылось все это зрелище, но к этому времени уже началась атака. Прогремели выстрелы, Аарон почувствовал, что его отцы сгрудились вокруг, защищая его, их кожа потемнела от гнева и страха.

Паккард инстинктивно чувствовал, что этих тварей можно напугать, он это чуял нюхом. Это была часть его работы — распознавать страх, играть на нем, использовать его против обвиняемых. Он выкрикивал приказы в мегафон и велел машинам окружить демонов. В одной из задних машин Дэвидсон закрыл глаза и молился Яхве, Будде и Гручи Маркесу. Дай мне силу, дай мне спокойствие, дай мне чувство юмора! Но это ему не помогло. Его мочевой пузырь быстро наполнялся, его горло пересохло.

Впереди раздались крики. Дэвидсон открыл глаза (самую узенькую щелочку) и увидел, что одно из созданий пурпурно-черной рукой обхватило автомобиль Паккарда и подняло его в воздух. Одна из задних дверей распахнулась и из нее на землю вылетела фигура, в которой он узнал Элеонору Кукер. За ней последовал Юджин. Лишившись своего лидера, машины метались, не зная, что им делать, — всю панораму сражения затянуло пылью и дымом. Раздался звук бьющихся ветровых стекол, поскольку полицейские выбрали самый быстрый способ выбраться из автомобилей, визг сминаемой жести и хлопающих дверей. Умирающий вой сломанных сирен и мольбы умирающего полицейского.

Голос Паккарда был слышен довольно отчетливо: он продолжал выкрикивать приказы, даже когда его автомобиль оказался в воздухе, мотор завывал, колеса идиотским образом продолжали вращаться. Демон потряс автомобиль, как ребенок — игрушку, наконец дверь со стороны водителя открылась, и Джедедия упал на землю в складки кожаного плаща демона. Дэвидсон увидел, как плащ раскрылся и, обхватив побитого помощника шерифа, казалось, затянул его в складки. Он видел, как Элеонора стояла перед громадным демоном, пожравшим ее сына.

— Джедедия, выходи оттуда! — орала она и всаживала заряд за зарядом в лишенную черт цилиндрическую голову пожирателя.

Дэвидсон выбрался из автомобиля, чтобы лучше видеть. Спрятавшись за грудой покореженных автомобилей с капотами, забрызганными кровью, он отчетливо видел происходящее. Демоны уходили от битвы, оставив невероятного монстра держать перевал, и Дэвидсон спокойно воздал молитвы за то, что все закончилось. Демоны удалялись. Это не было смертельной битвой, битвой врукопашную, до последнего дыхания. Мальчишку всего-навсего пожрут живьем или что там они собираются сделать с бедным маленьким ублюдком? А вообще, с того места, где он стоит, удастся ли ему разглядеть Аарона? Не его ли крохотную фигурку удаляющиеся демоны держали так высоко, точно трофея?

Сопровождаемые проклятиями и жалобами Элеоноры, полицейские начали выходить из своих укрытий и окружать оставшегося демона. Лишь он один остался с ними лицом к лицу, и в своей скользкой руке он держал их Наполеона. Залп за залпом они посыпали в его клыки и морщины, в неправильной формы голову, но дьявол, казалось, не обращал на это внимания. Он лишь потряс автомобиль Паккарда, пока шериф не начал болтаться там, как дохлая лягушка в консервной банке. Потом он потерял к нему интерес и уронил машину. Воздух заполнил запах бензина, и желудок Дэвидсона вывернулся наизнанку.

Затем раздался крик:

— Пригнитесь!

Взрыв? Наверняка нет, не так уж много бензина на...

Дэвидсон упал на пол. Наступило внезапное молчание, можно было даже слышать, как посреди этого хаоса тихо бормочет раненый, а потом раздался глухой, сотрясающий землю гул разорвавшейся гранаты.

Кто-то сказал:

— Господи Иисусе!

В этом голосе слышалось победное торжество.

Господи Иисусе... Во имя... во славу...

Демон горел. Тонкая ткань пропитанной бензином оболочки пылала, одну из конечностей его оторвало взрывом, другая была изувечена, из всех ран и обрубков хлестала густая, бесцветная кровь. В воздухе разнесся запах, похожий

на запах горящей пеньки, — создание явно было в агонии. Тело его содрогалось, а языки пламени добирались до пустого лица. Оно похромало прочь от своих мучителей, не издав ни звука боли. Дэвидсон слегка взбодрился, наблюдая, как создание горит. Подобное нехитрое удовольствие он получал, наступая каблуком на выброшенных на берег медуз. Любимое его занятие во времена детства. В Мэне, в жаркий полдень, под разговоры бывальных вояк...

Паккарда вытащили из-под обломков машины. Боже мой, этот человек сделан из стали: он стоял посреди толпы и призывал покончить с врагом. И в этот его лучший час язык огня метнулся с горящего демона и коснулся озера бензина, в котором стоял Паккард. Мгновение спустя он, его машина и два его спасителя оказались замкнутыми в клубящемся облаке белого пламени. У них не было шанса выжить: пламя просто-напросто смело их. Дэвидсон видел, как их темные очертания растворялись в самом сердце этого ада, обернутые драпировками огня, которые заворачивались вокруг них, если они пытались двигаться.

Как раз перед тем, как тело Паккарда ударилось о землю, Дэвидсон слышал перекрывающий гул пламени голос Юджина:

— Видите, что они делают? Видите, что они делают?

Это восклицание было подхвачено воплями полицейских.

— Уничтожьте их! — кричал Юджин. — Уничтожьте их!

Люси могла слышать шум этой битвы, но она не сделала попытки пойти в направлении холмов. Что-то, связанное с тем, как выглядела луна на небе, и с запахом ветра, отняло у нее всякое желание куда-либо двигаться. Усталая и возбужденная, она стояла в открытой пустыне и глядела на небо.

Затем, век спустя, она перевела взгляд к линии горизонта и увидела сразу две вещи, представлявшие сравнительный интерес. Оттуда, с холмов, поднимался грязный столб дыма, а вдалеке, на пределе ее зрения, в мягком ночном свете виднелась линия созданий, которые торопясь удалялись от холмов. Внезапно она побежала.

И пока она бежала, до нее дошло, что она возбуждена, точно молоденькая девушка, и побуждало бежать ее то, что обычно побуждает молоденьких девушек, — она пустилась в погоню за своим возлюбленным.

* * *

На плоскости пустыни группа демонов просто-напросто исчезла из виду. Оттуда, где стояла Люси, вглядываясь в самое сердце пустоты, казалось, что земля поглотила их. Она вновь пустилась бежать. Она должна увидеть своего сына и его отцов прежде, чем расстанется с ними навсегда. Или ее после всех этих лет ожидания лишили даже этого?

В головной машине за рулем сидел Дэвидсон. Так ему велел Юджин, который был не в том состоянии, чтобы кто-то рискнул с ним спорить. Что-то в том, как он держал винтовку, заставляло предположить, что он сперва выстрелил, а потом будет задавать вопросы. Его приказы заставили обескураженную армию последовать за ним. Глаза его свелись от истерии, рот подергивался. Он был совершенно неуправляем, и он испугал Дэвидсона. Но сейчас было слишком поздно, Дэвидсон был орудием безумца в последней, апокалиптической гонке.

— У них есть голова на плечах, у этих сукиных детей! — орал Юджин, пытаясь перекричать яростный гул мотора. — Почему ты тащишься так медленно, парень?

Он ткнул дуло винтовки в промежность Дэвидсона.

— Рули, или я отстрелю тебе яйца!

— Я не знаю, куда они делись! — заорал в ответ Дэвидсон.

— Что значит, не знаешь? Покажи мне!

— Как я могу показать, если они исчезли?!

До Юджина наконец дошел смысл сказанного.

— Притормози, парень. — Он помахал рукой из окна, чтобы остальная армия остановилась тоже.

— Остановитесь! Остановите машины!

Наконец все остановились.

— И выключите эти гребаные фары! Вы, все!

Передние огни погасли. За ними постепенно погасли огни остальных машин.

Наступила внезапная тьма. Внезапная тишина. Во всех направлениях не было ни видно, ни слышно абсолютно ничего. Они исчезли, все это шумное племя демонов, они просто-напросто загадочным образом растворились в воздухе.

Пустыня прояснялась, когда наконец их глаза приспособились к лунному свету. Юджин выбрался из машины с винтовкой наготове и уставилсь в песок, словно тот мог ему что-то объяснить.

— Мудаки, — сказал он очень мягко.

Люси замедлила бег. Теперь она брела в направлении к линии машин. Все кончено. Их всех провели, устроили фокус с исчезновением.

И тогда она услышала Аарона.

Она не могла его видеть, но его голос был ясным, как колокольчик, и как колокольчик он провозглашал: время праздновать, веселитесь с ними.

Юджин тоже услышал его. Он улыбнулся — значит, они все-таки подобрались к ним!

— Эй! — сказал голос мальчика.

— Где он! Ты видишь его, Дэвидсон?

Дэвидсон покачал головой. Потом...

— Погоди! Погоди! Я вижу его — смотри, прямо впереди.

— Да. Вижу.

Нервным движением Юджин толкнул Дэвидсона обратно в машину на место водителя.

— Поезжай, парень. Но тихо. И не зажигай огни.

Дэвидсон кивнул. Еще несколько медуз — то-то будет удовольствия, подумал он. Они все же достанут этих ублюдков, а разве для этого не стоит чуточку рискнуть? Ряд машин вновь двинулся, на этот раз со скоростью улитки.

Люси вновь побежала: теперь она различала худенькую фигурку Аарона, который стоял на краю воронки, ведущей в песок. Туда же двигались и машины.

Глядя, как они приближаются, Аарон прекратил их звать и начал отходить по склону воронки. Нужды ждать дольше не было, они наверняка пойдут следом. Его босые ноги почти не оставляли отпечатков в песке насыпи, уводящей его от всех безумств этого мира. В земной тени в глубине осыпи он видел свою семью — они улыбались и приветствовали его.

— Он уходит туда, — сказал Дэвидсон.

— Отправимся за этим маленьким ублюдком, — сказал Юджин. — Может, парень не знает, что делает. И давай-ка посветим на него.

Огни фар осветили Аарона. Его одежда была в лохмотьях, а грудь вздымалась от волнения.

Чуть правее этого склона Люси наблюдала, как головная машина наехала на край воронки и последовала за мальчиком вниз, в...

— Нет, — сказала она себе, — не надо.

Дэвидсон неожиданно почувствовал страх. Он начал тормозить машину.

— Давай-ка, парень! — Юджин вновь уткнул винтовку ему в ширинку. — Мы загнали их в угол. Мы распорошим все их проклятое гнездо. Малый привел нас прямо туда.

Теперь все машины скользили по склону вслед за лидером, их колеса вязли в песке.

Аарон обернулся. За его спиной, освещенные лишь светом, исходящим от собственных тел, стояли демоны — огромные, невероятные геометрические формы. В телах его отцов присутствовали все атрибуты Люцифера. Необычная анатомия, головы, которые могут лишь присниться в кошмарах, чешуя, клыки, когти, кожистые складки.

Юджин велел конвою остановиться, выбрался из машины и пошёл к Аарону.

— Спасибо, малый, — сказал он. — Иди сюда, теперь мы присмотрим за тобой. Мы достали их. Ты в безопасности.

Аарон, не понимая, уставился на своего отца.

За Юджином из грузовиков уже выгружалась армия с оружием наготове — базука, винтовка, гранаты.

— Иди к папе, малый, — настойчиво сказал Юджин.

Аарон не двигался, так что Юджин продвинулсь к нему еще на несколько ярдов вниз. Дэвидсон тоже вылез из машины, его тряслось.

— Может, вы положили бы винтовку. Может, он напуган, — предложил он.

Юджин хмыкнул и чуть опустил ствол винтовки.

— Ты в безопасности, — обратился к Аарону Дэвидсон. — Все в порядке.

— Иди к нам парень. Медленно.

Лицо Аарона вспыхнуло. Даже в смутном свете горящих на касках фонарей было видно, что оно меняет цвет. Его щеки вздулись, точно воздушные шары, кожа на лбу зашевелилась, точно под ней было полно личинок. Голова его, казалось, потеряла твердые очертания, стала растекаться, расцветая и опадая, точно облако, и вся его мальчишеская, человеческая личина сползала, тогда как в облике начала пропасть невообразимая форма его отцов.

И в тот момент, когда Аарон принял облик сына своих отцов, почва на склоне начала размягчаться. Первым это почувствовал Дэвидсон — легкое изменение в текстуре пе-

ска: медленно, но непреклонно он начал приобретать иное свойство.

Юджину только оставалось наблюдать за превращением Аарона: теперь все его тело колебалось от изменений, живот его увеличился и из него выступали иглы, которые немедленно превратились в дюжину суставчатых ног; изменения были потрясающими в их сложности, и сквозь облик мальчика проступило иное великолепие.

Без предупреждения Юджин поднял винтовку и выстрелил в своего сына.

Пуля поразила мальчика-демона прямо в лицо. Аарон упал на спину, но превращение продолжало идти своим чередом даже в его крови, поток которой был частично алым, частично серебряным и изливался из ран на полужидкую землю.

Геометрические формы выдвинулись из своих темных укрытий, чтобы помочь ребенку. Их завершенные тела были слажены светом налобных фонарей, но как только они появились, они вновь начали меняться: их тела вытянулись в своей скорби, а из глоток вырвался траурный вопль.

Юджин поднял винтовку во второй раз.

Он поимел их... О, Боже, он поимел их! Грязные, вонючие, безликие мудаки.

Но грязь под его ногами была, как расплавленный асфальт, она охватила его ноги, и, когда он стрелял, он потерял равновесие. Он позвал на помощь, но Дэвидсон уже пятился назад, скользя по склону и проигрывая эту битву со скользким песком. Вся остальная армия попала в ту же ловушку, так как песок вокруг них потек и липкая грязь поволокла их вниз по склону.

Демоны ушли: пропали во тьме, их стенания заглохли.

Юджин упал на спину в зыбучий песок, сделав два совершенно бесполезных выстrelа в сторону Ааронова тела. Он извивался, как боровок с перерезанным горлом, и при каждой судороге его тело погружалось все глубже. Когда его лицо уже исчезало в грязи, он натолкнулся взглядом на Люси, которая стояла на краю склона и глядела на тело Аарона. Потом песок заслонил от него ее лицо и поглотил его.

Пустыня накрывала их со скоростью молнии.

Два или три автомобиля уже полностью ушли в песок, а прилив зыбучих песков, поднимаясь вверх по склону, накры-

вал отдельных беглецов. Крики о помощи превратился в кашляющие звуки, потом захлебнулись, и настало молчание — рты у всех были забиты пустыней. Кто-то стрелял, в истерической попытке пытаясь остановить поток, но он быстро захлестнул оставшихся. Даже Элеоноре Кукер не удалось выбраться: она боролась, опираясь на тело одного из полицейских, погружая его все глубже в песок в отчаянной попытке вырваться из этой глотки.

Теперь вокруг стоял вселенский вой: мужчины в панике цеплялись друг за друга в поисках поддержки, отчаянно пытаясь удержать свои головы на поверхности зыбучих песков.

Дэвидсон был затянут по пояс. Земля, поглотившая его нижнюю половину, была горячей и странно влекущей. Это интимное прикосновение вызвало у него эрекцию. В нескольких ярдах за его спиной полицейский выкрикивал проклятия небесам по мере того, как пустыня пожирала его. Еще дальше виднелось выступающее из песка лицо — точно живая маска, припорошенная землей. Вон там, поблизости, виднелась рука, она тонула, все еще шевелясь; пара толстых ягодиц торчала из этого песчаного моря, точно два арбуза, — последнее прости.

Люси сделала шаг назад, когда зыбучий песок чуть поднялся над краями воронки, но не коснулся ее ног. Он и не ушел обратно, как это сделал бы морской прилив.

Нет, он застывал, сковывая свои живые трофеи, точно попавших в янтарь мух. С губ каждого человека, кто еще мог дышать, сорвался еще один вопль ужаса, когда они почувствовали, как полужидкая опора застывает вокруг их дергающихся конечностей.

Дэвидсон увидел зарытую по грудь Элеонору Кукер. Слезы текли у нее по щекам, она плакала, как маленькая девочка. Он испуганно подумал о себе, о востоке, о Барбаре — о детях он вообще не думал.

К этому времени люди, чьи лица были погребены, но конечности или части тел торчали на поверхности, уже умерли от удушья. Выжили лишь Элеонора Кукер, Дэвидсон и еще два человека. Один был замкнут в земле по подбородок, Элеонора застыла так, что ее грудь лежала на песке а руки бессильно колотили по земле, которая крепко удерживала ее. Самого Дэвидсона сковало по пояс. И что самое

ужасное, последнюю жертву засыпало так, что был виден только нос и рот. Голова его была запрокинута и глаза засыпаны песком, но он все еще дышал, все еще кричал.

Элеонора Кукер скребла по земле обломанными ногтями, но это не был податливый песок. Почва не двигалась.

— Помоги мне, — потребовала она у Люси, ее руки кровоточили.

Две женщины уставились друг на друга.

— Господи Боже! — завопил Рот.

Голова молчала: по его мутному взгляду было ясно, что он потерял рассудок.

— Пожалуйста, помоги! — молил торс Дэвидсона. — Приведи помощь!

Люси кивнула.

— Иди! — потребовала Элеонора. — Иди!

Люси покорно подчинилась. На востоке уже начинало светать. Воздух скоро накалится. В Велкаме, три часа пешей ходьбы отсюда, она найдет только стариков, перепуганных женщин и детей. Раздобыть помощь можно только миль за пятьдесят отсюда. Даже если предположить, что она найдет дорогу обратно. Даже если предположить, что она не ляжет на песок и не умрет от истощения.

К тому времени, как она приведет помощь к женщине, Торсу, Голове и Рту, уже будет полдень. К тому времени пустыня как следует поработает над ними. Солнце испечет их мозги, в их волосах поселятся змеи, личинки будут выглядывать из их беспомощных глаз.

Она вновь оглянулась на их скученные тела, такие маленькие под этим рассветным небом. Словно точки и запятые человеческой боли на этой белой простыне песка. Ей не хотелось думать о том пере, которое вписало их сюда. Об этом она подумает завтра.

Спустя миг, она побежала.

НОВОЕ ЭВИДСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ





А.Н. Мурохов 94



има, подумал Луис, время года не для стариков. Снег, который лежал на улицах Парижа слоем толщиной в пять сантиметров, казалось, проморозил его до костей. То, что доставляло ему радость в детстве, теперь обернулось проклятием. Он ненавидел снег всем сердцем, ненавидел детей, играющих в снежки (вопли, тумаки, слезы), ненавидел молодых влюбленных, пытающихся затеряться в метели (вопли, поцелуи, слезы). Все это было неудобно и утомительно, и он хотел бы оказаться в Форте Ладердаль, где, должно быть, сияло солнце.

Но телеграмма Катерины, хоть и путаная, однако же требовала его срочного присутствия, а узы их дружбы оставались крепкими по крайней мере лет пятьдесят. Он был здесь ради нее и ради ее брата Филиппа. Глупо жаловаться на то, что твоя шкура слишком тонка, чтобы противостоять этой ледяной руке. Он здесь ради того, что прошло, и если бы Париж горел, приехал бы так же быстро и так же охотно.

Помимо этого, Париж был городом его матери. Она родилась на бульваре Дидро; в это время Париж еще не пощипали все эти свободомыслящие архитекторы и службы социального планирования. Теперь, каждый раз, когда Луис попадал в Париж, он ощущал, что декорации меняются. Хотя в последнее время не так интенсивно, отметил он. Экономический застой в Европе немного поубавил пыла бульдозерам правительства. Но все же год за годом исчезало все больше великолепных зданий. Иногда исчезали и сровнивались с землей целые улицы.

Даже улица Морг.

Конечно, можно было усомниться в том, что эта прославленная улица всегда существовала именно там, где написано, но с течением времени Луис видел все меньше и меньше смысла в разделении правды и вымысла. Это очень важно для молодых людей, которые хотят совладать с жизнью. А для старика (Луису было семьдесят три) разница была чисто академической. Какая разница, что правда, а что выдумка, что было на самом деле, а что — нет. В его голове все это, вся полуправда и правда, слились в одну протяженность личной истории.

Может быть, улица Морг и существовала, как ее описал Эдгар Аллан По в своем бессмертном рассказе, а может, это — выдумка чистейшей воды.

Как бы то ни было, знаменитую улицу теперь нельзя было отыскать на карте Парижа.

Возможно, Луис был слегка разочарован, не найдя улицы Морг. В конце концов, это же часть его наследства. Если все те истории, которые ему рассказали, когда он был еще мальчиком, были правдивы, события, описанные в рассказе «Убийство на улице Морг», были пересказаны Эдгару Аллану По бабушкой Луиса. Мать его гордилась тем, что ее отец встречался с По во время путешествия по Америке. Очевидно, его дедушка был кем-то вроде вечного странника и очень расстраивался, если раз в неделю не оказывался в совершенно новом месте. А зимой 1835 года он был в Ричмонде, Виржиния. Это была суровая зима, вероятно, похожая на эту, от которой сейчас страдал он сам, и однажды вечером его дедушка укрылся от метели в баре Ричмонда. Там, пока за окнами выла выюга, он познакомился с маленьким, смуглым, меланхоличным молодым человеком по имени Эдди. Он был чем-то вроде местной знаменитости, поскольку написал сказку, которая выиграла конкурс, устроенный «Воскресной газетой Балтимора». Сказка называлась «Послание, найденное в бутылке», а молодой человек звался Эдгар Аллан По.

Они вдвоем провели тот вечер за выпивкой, и, как гласит семейная легенда, По мягко наталкивал дедушку Луиса на всякие фантастические, оккультные и ужасные истории. Умудренный путешественник был рад услужить, подбрасывая фрагменты сомнительных историй, которые потом писа-

тель превратил в «Тайну Мари Роже» и «Убийство на улице Морг». В обоих этих рассказах, помимо всяких зверств, блеснул причудливый гений Августа Дюпена.

С. Август Дюпен, с точки зрения По, был совершенным детективом: спокойным, рациональным и необычайно восприимчивым. Рассказы, в которых он фигурировал, получили широкую известность, и благодаря им Дюпен стал вымышленной знаменитостью, хотя на самом деле, чего не знал в Америке никто, Дюпен был вполне реальным лицом.

Он был братом дедушки Луиса. Так что дядю Луиса звали С. Август Дюпен.

И его величайшее дело — убийство на улице Морг, — тоже основывалось на фактах. Ужасы, которые описывались в истории, и в самом деле имели место. Две женщины действительно были жестоко убиты на улице Морг. Ими были, как написал По, мадам Леспань и ее дочь, мадемуазель Камилла Леспань. Обе женщины обладали хорошей репутацией и вели спокойную, интересную жизнь. И было ужасно, что их жизнь так жестоко оборвалась. Тело дочери было засунуто в дымоход, тело матери обнаружено во дворе дома, ее горло было так страшно перерезано, что голова практически отделилась от тела. Никакого явного мотива для этих убийств обнаружено не было, и тайна усугублялась еще и тем, что обитатели дома слышали голос убийцы, говорящего на различных языках. Француз был уверен, что этот голос говорил по-испански, англичанин услышал немецкий, датчанин подумал, что говорил француз. Во время расследования Дюпен установил, что ни один из свидетелей не говорил на том языке, который, как они утверждали, они слышали из уст невидимого убийцы. Он заключил, что этот язык вообще не был языком, но бессмысленным набором звуков животного.

На самом деле это была обезьяна, чудовищный орангутанг с Восточных Индийских островов. Его коричневая шерсть была обнаружена в горсти у мадам Леспань. Только его сила и ловкость помогли ему так ужасно спрятать тело мадемуазель Леспань. Зверь, принадлежавший малтийскому матросу, убежал и учинил разгром в окровавленной квартире на улице Морг.

Таков был костяк истории.

Правдивая или нет, но она почему-то романтически влекла к себе Луиса. Ему нравилось думать, что брат его

дедушки логически распутал всю эту тайну, не обращая внимания на ужас, овладевший остальными. Ему нравилось это истинно европейское спокойствие, принадлежность к утраченной эпохе, когда еще ценился свет разума, а самым страшным ужасом был дикий зверь, сжимающий в лапе опасную бритву.

Теперь же, в последней четверти двадцатого столетия, совершились гораздо более страшные злодеяния, и все — человеческими существами. Бедный орангутанг изучался антропологами, которые обнаружили, что животное это является абсолютно травоядным, спокойным и рассудительным. Настоящие чудовища были гораздо менее очевидны и обладали гораздо большей силой и властью. Их оружие заставляло опасную бритву выглядеть просто жалкой, их преступления были огромны. Некоторым образом Луис был почти рад, что стар и скоро покинет это столетие. Да, этот снег заморозил его до костей. Да, ничто не пробудит его желания, даже если он увидит молоденькую девушку с лицом богини. Да, он ощущает себя скорее наблюдателем, чем участником событий.

Но ведь не всегда так было.

В 1937 году в той же комнате номер одиннадцать отеля Бурбонов, где он сидел теперь, он участвовал во многом. Париж тогда все еще был городом удовольствий, не обращавшим внимания на растущие слухи о войне и сохраняющим, невзирая на суровое время, атмосферу прелестной наивности. Тогда они были беззаботны в прямом и в переносном смысле, а жизнь их была словно бесконечное удовольствие.

Разумеется, на самом деле это было не так. Их жизнь не была ни безупречной, ни бесконечной. Но казалось, что какое-то время — лето, месяц, день — ничто не изменится в этом мире.

Через пять лет Париж охватит пожаром, и мимолетное чувство вины, которое и было настоящей невинностью, исчезнет навсегда. Они провели множество чудных дней (и ночей) в этом номере, который сейчас занимал Луис; когда он думал об этом, казалось, от ощущения потери у него начинает болеть желудок.

Мысли его вернулись к более свежим событиям. К нью-йоркской выставке, на которой серия его картин, посвященная трагедии Европы, имела блестящий успех среди критиков. В

семьдесят три года Луис Фокс стал известным человеком. В каждом художественном обозрении появлялись статьи про него. Почитатели и покупатели вырастали как грибы за одну ночь — они жаждали приобрести его работы, поговорить с ним, пожать ему руку. Разумеется, все это было слишком поздно. Расцвет его творчества был давно позади, и пять лет назад он навсегда отложил кисти. Теперь, когда он был всего лишь зрителем, его триумф среди критиков казался пародийным — он наблюдал весь этот цирк на расстоянии, и его все сильнее охватывало чувство раздражения.

Когда из Парижа пришла телеграмма, моля его о помощи, он был более чем рад выскоцить из кольца идиотов, в восхищении таращивших на него глаза.

Теперь он ждал в темнеющем гостиничном номере, глядя на неторопливый поток машин через мост Луи-Филиппа — усталые парижане начали возвращаться домой сквозь снежные заносы. Гудели сигналы автомобилей, которые чихали и кашляли, а желтые противотуманные фары цепочкой огоньков тянулись вдоль моста.

Катерины все еще не было.

Снег, который большую часть дня нависал над городом, начал падать вновь, с шорохом скользя по оконному стеклу. Движение перетекало через Сену, Сена текла под потоком машин, темнело. Наконец за дверью он услышал шаги и перешептывание с консьержкой.

Это была Катерина. Наконец это была Катерина.

Он поднялся и встал у двери, воображая, как она отворяется, до того, как она действительно отворилась, воображая ее фигуру в дверном проеме.

— Луис, дорогой мой...

Она улыбнулась ему — бледная улыбка на еще более бледном лице. Она выглядела старше, чем он ожидал. Сколько лет прошло с тех пор, как он видел ее в последний раз? Четыре или пять? Аромат ее духов был все тот же, и это постоянство каким-то образом успокоило Луиса. Он легко поцеловал ее в щеку.

— Хорошо выглядишь, — солгал он.

— Да нет же, — ответила она. — Если бы я хорошо выглядела, это было бы оскорбительно для Филиппа. Как я могу хорошо выглядеть, когда у него такая беда? — Она говорила так же резко и жестко, как всегда.

Она была старше его на три года, но держала себя так, словно учитель с непослушным ребенком. Так было всегда: это был ее способ выражать свою привязанность.

— Что за неприятности у Филиппа?

— Он обвиняется в...

Она заколебалась, ее веки дрогнули.

— В убийстве.

Луис хотел рассмеяться, сама мысль об этом была нелепой. Филиппу было семьдесят девять лет, и он был кроток, как ягненок.

Она сидела около окна, глядя на Сену. Под мостом проплывали маленькие серые льдинки, они покачивались и сталкивались в течении. Вода выглядела неживой, точно ее горечь могла намертво перехватить горло.

— И все же это правда, Луис. Я не могла рассказать этого в телеграмме, понимаешь? Я должна сказать это сама. Убийство. Он обвиняется в убийстве.

— Кого?

— Девушки, разумеется. Одной из своих симпатий.

— Все еще держится, а?

— Помнишь, он обычно шутил, что умрет на женщине?

Луис слегка кивнул.

— Ей было девятнадцать. Натали Перес. Довольно воспитанная девочка. И милая. Длинные рыжие волосы. Помнишь, как Филипп любил рыжих?

— Девятнадцать? Он крутит с девятнадцатилетками?

Она не ответила. Луис сел, зная, что его ходьба по комнате раздражает ее. В профиль она все еще была прекрасна, а желто-голубой свет, лившийся из окна, смягчал линии ее лица, магически вызывая то, что было пятьдесят лет назад.

— Где он?

— Его заперли. Они говорят, он опасен. Говорят, он может еще раз убить.

Луис покачал головой. Виски его болели, эта боль пройдет, стоит лишь ему закрыть глаза.

— Ему нужно повидаться с тобой. Очень.

Но может, его желание заснуть — это всего-навсего попытка побега? Тут происходило что-то, в чем даже ему придется быть участником, а не зрителем.

* * *

Филипп Лаборто уставился на Луиса через голый, поцарапанный стол, лицо у Филиппа было растерянным и усталым. Они лишь пожали друг другу руки — все остальные физические контакты были строго запрещены.

— Я в отчаянии, — сказал он. — Она мертва. Моя Натали мертва.

— Расскажи мне, что произошло.

— У меня есть маленькая квартирка на Монмартре. На улице Мортир. На самом деле, это просто комната, чтобы принимать знакомых. Катерина держит наш одиннадцатый номер в таком порядке, что мужчине там просто некуда себя девать. Обычно Натали проводила там со мной много времени, все в доме ее знают. Она была такая жизнерадостная, такая красивая. Она занималась, чтобы поступить в медицинскую школу. Умница. И она любила меня.

Филипп был все еще красив. Фактически, его элегантный облик, его чуть ли не фатоватое лицо, его мягкое обаяние ничуть не пострадали от времени. Словно вернулись старые деньки.

— Я вышел утром в кондитерскую. А когда я вернулся... С минуту он не мог говорить.

— Луис...

Его глаза наполнились слезами. Ему было неловко, что его губы подвели его, отказываясь произносить слова.

— Не... — начал Луис.

— Я хочу рассказать тебе, Луис. Я хочу, чтобы ты знал, чтобы ты увидел ее так же, как ее увидел я, — так, чтобы ты знал, что это за... что за... дела происходят в мире.

Слезы бежали по его лицу двумя ручейками. Он схватил Луиса за руку с такой силой, что она заболела.

— Она была вся покрыта кровью. Вся в ранах. Кожа сорвана... волосы сорваны. Ее язык был на подушке, Луис, представляешь? Она от ужаса откусила его. И ее глаза, они буквально плавали в крови, точно она плакала кровавыми слезами. А ведь она была чудом природы, Луис. Она была прекрасна.

— Хватит.

— Я хочу умереть, Луис.

— Нет.

— Я больше не хочу жить. Зачем?

— Они не докажут твоей вины.

— Мне все равно, Луис. Ты должен приглядеть за Катериной. Я читал про выставку...

Он почти улыбнулся.

— Так здорово. Мы всегда говорили, помнишь, перед войной, что ты будешь знаменит. Я...

Улыбка исчезла.

— ...тоже стал известен. Они теперь говорят про меня ужасные вещи, там, в газетах. Старик связался с девочкой, понимаешь, это меня не очень-то хорошо характеризует. Они наверное думают, что я потерял контроль над собой, потому что не смог справиться с ней. Вот что они думают, я уверен. — Он запнулся, потом продолжал снова. — Ты должен присмотреть за Катериной. Деньги у нее есть, а друзей нет. Она слишком сдержанная, понимаешь ли. Глубоко внутри у нее какое-то горе, так что люди неловко себя с ней чувствуют. Ты должен остаться с ней.

— Я останусь.

— Я знаю, я знаю. Вот поэтому я и смогу совершенно спокойно...

— Нет, Филипп.

— Совершенно спокойно умереть. Больше нам ничего не остается, Луис. Мир слишком суров к нам.

Луис вспомнил о снеге, о плывущих по Сене льдинах и подумал, что в этом есть какой-то смысл.

Офицер, расследующий дело, не выразил желания помочь, хоть Луис представился как родственник знаменитого детектива Дюпена. Презрение Луиса к этому одетому в синтетику хорьку, сидящему в своей конторской вонючей норе, заставило весь разговор буквально трещать от подавленного раздражения.

— Ваш друг, — сказал инспектор, обкусывая заусеницу на большом пальце, — убийца, месье Фокс. Все очень просто. Факты свидетельствуют против него.

— Я не могу этому поверить.

— Вы можете верить во что вам угодно, это ваше право. У нас есть все необходимые доказательства, чтобы осудить Филиппа Лаборто за убийство первой степени. Это было хладнокровное убийство, и он ответит за него в полном соответствии с законом. Это я вам обещаю.

— Какие показания свидетельствуют против него?

— Месье Фокс, я вовсе не обязан быть с вами откровенным. Какие бы ни были доказательства, это целиком наше дело. Достаточно сказать, что ни одно лицо не было замечено в доме за то время, которое обвиняемый, по его утверждению, провел в какой-то вымышленной кондитерской. В довершение ко всему в комнату, где была найдена покойная, можно проникнуть только с парадного хода...

— А как насчет окна?

— Под ним гладкая стена, три пролета. Только акробат смог бы преодолеть ее.

— А состояние тела?

Инспектор скривил рожу. Омерзительную.

— Ужасное. Кожа и мышцы просто стянуты с костей. Весь позвоночник разворочен. Кровь. Много крови.

— Филиппу семьдесят.

— Так что?

— Старик не смог бы...

— В других отношениях, — прервал его инспектор, — он оказался вполне способным, не так ли? Любовник, а? Страстный любовник, на это-то он был способен.

— А какой, по-вашему, у него был мотив?

Рот инспектора скривился, глаза выпучились, он ударили себя в грудь.

— Человеческое сердце такая загадка, не правда ли? — сказал он, точно отказываясь искать причины делам сердечным, и, чтобы подчеркнуть окончательность своих слов, он встал, чтобы проводить Луиса до двери.

— Мерси, месье Фокс. Я понимаю ваше смущение. Но вы только зря теряете время. Убийство есть убийство. Тут все происходит по-настоящему, не то что на ваших картинках.

Он увидел удивление на лице Луиса.

— О! Я не настолько нецивилизован, чтобы не слышать о вас, месье Фокс. Но я прошу вас, занимайтесь своими выдумками так, как можете, это — ваш дар. Мой — это исследовать истину.

Луис не мог больше выносить этого хорька.

— Истину? — фыркнул он инспектору. — Вы не узнаете истину, даже если наступите на нее.

Хорек выглядел так, словно наступил на дохлую рыбку.

Это был очень маленький реванш, но после него целых пять минут Луис чувствовал себя лучше.

* * *

Дом на улице Мортир был в неважном состоянии, и Луис ощущал запах гнили, пока карабкался по лестнице на третий этаж. Вслед ему отворялись двери, и любопытные перешептывания ползли ему вслед, но никто не попытался остановить его. Комната, где все это случилось, была заперта. Это рассердило Луиса, хотя он не был уверен, что обследование комнаты поможет разобраться в деле Филиппа. Он раздраженно спустился по лестнице вниз, в горьковатый уличный воздух.

Катерина вернулась в отель Бурбонов. Как только Луис увидел ее, он понял, что услышит что-то новое. Ее седые волосы не были стянуты в привычный пучок, но свободно лежали по плечам. В электрическом свете лицо ее приобрело болезненный серо-желтый оттенок. Она дрожала даже в застоявшемся воздухе прогретых центральным отоплением комнат.

— Что произошло? — спросил он.
— Я ходила в квартиру Филиппа.
— Я тоже. Она заперта.
— У меня ключ, запасной ключ Филиппа. Я просто хотела собрать для него сменную одежду.

Луис кивнул.

— И что?
— Там был кто-то еще.
— Полиция?
— Нет.
— Кто же?
— Я не могла разглядеть. Не знаю точно. Он был одет в просторное пальто, на лицо повязан шарф. Шляпа. Перчатки...
Она помолчала.

— ...В руке у него была бритва, Луис.

— Бритва?

— Опасная бритва. Как у парикмахера.

Что-то проплыло в глубине сознания Луиса. Опасная бритва, человек, одетый так, чтобы его никто не мог узнать.

— Я испугалась.

— Он сделал тебе больно?

Она покачала головой.

— Я закричала, и он убежал.

— Он тебе что-нибудь сказал?

— Нет.
— Может, это друг Филиппа?
— Я знаю друзей Филиппа.
— Может, друг девушки? Или брат?
— Может быть. Но...
— Что?
— В нем было что-то странное. Он был надушен, прямо-таки вонял духами, и он ходил такими семенящими шажками при том, что был таким огромным.

Луис обнял ее.

— Кто бы он ни был, ты напугала его. Ты не должна туда больше ходить. Если нам нужно собрать для Филиппа одежду, я с радостью пойду туда сам.

— Спасибо. Я чувствую себя дурой: может, он просто случайно туда вошел. Просто поглядеть на комнату, где произошло убийство. Люди делают так, верно ведь? Из какого-то ужасного любопытства...

— Я завтра поговорю с Хорьком.

— Хорьком?

— Инспектором Маре. Пусть обыщет помещение.

— Ты видел Филиппа?

— Да.

— Как он? Ничего?

Несколько мгновений Луис не отвечал.

— Он хочет умереть, Катерина. Он уже сдался, не дожидаясь суда.

— Но он же ничего не сделал.

— Мы не можем это доказать.

— Ты всегда так гордился своим предком. Ты был в восторге от Дюпена. Докажи это.

— И с чего начать?

— Поговори с кем-то из его друзей, Луис. *Пожалуйста.* Может, у женщины были враги.

Жак Солель уставился на Луиса через круглые толстые очки, его радужные оболочки казались огромными и деформированными из-за этих стекол. Он уже выпил слишком много коньяка.

— Никаких врагов у нее не было, — сказал он. — Только не у нее. Ну, может быть, несколько женщин, которые завидовали ее красоте.

Луис крутил в руках кусочек сахара в обертке, который ему выдали вместе с кофе. Пока Солель был пьян, от него можно было получить кое-какую информацию, но странно, что Катерина описала этого коротышку, сидящего напротив него, как самого близкого друга Филиппа.

— Вы думаете, что Филипп убил ее?

Солель оттопырил губы.

— Кто знает?

— Что вы имеете в виду? По-вашему как?

— О! Он мой друг. Если бы я знал, кто убил ее, я бы сказал об этом.

Это было похоже на правду. Может, коротышка просто топит в коньяке свои печали?

— Он был джентльменом... — сказал Солель, рассеянно блуждая глазами по улице. Через запотевшее окно кафе можно было видеть, как парижане храбро борются с очередной яростной метелью, тщетно стараясь сохранить свою осанку и свое достоинство в зубах бури.

— Джентльменом... — снова повторил он.

— А девушка?

— Она была прелестна, и он был влюблен в нее. Конечно, у нее были и другие поклонники. Женщины ее типа...

— Ревнивые поклонники?

— Кто знает?

Опять: кто знает? Все повисло в воздухе, точно пожатие плечами. Кто знает... кто знает... Луис начал понимать страсть инспектора к истине. Потому что впервые за десять лет он поставил себе жизненную цель: пробиться через все эти, висящие в воздухе, безразличные «кто знает?» и выяснить, что же случилось в комнате на улице Мортир. Не приблизительно, не с художественной точки зрения, но истину, полную, непререкаемую истину.

— Вы не помните никакого конкретного человека, который ухаживал бы за ней? — спросил он.

Солель усмехнулся. В его нижней челюсти торчало только два зуба.

— О, да. Был один.

— Кто?

— Я так и не узнал его имени. Крупный мужчина: я видел его вне дома три или четыре раза. Хоть от него так пахло, что можно было подумать...

По его выражению лица можно было безошибочно понять, что этот мужчина был гомосексуалистом. Поднятые брови и оттопыренные губы делали его вид двусмысленным даже под этими мощными линзами.

— От него как-то пахло?

— О, да.

— Чем?

— Духами, Луис. Духами.

Где-то в Париже был человек, который знал эту девушку, возлюбленную Филиппа. Он не смог совладать со своим ревнивым гневом. В приступе такого неконтролируемого гнева он ворвался в квартиру Филиппа и разделался с девушкой. Похоже, все было ясно.

Где-то в Париже.

— Еще коньяку?

Солель покачал головой.

— Мне и так плохо, — сказал он.

Луис подозревал официанта, и в это время его взгляд упал на вырезку из газеты, прикнопленную над стойкой бара.

Солель проследил за его взглядом.

— Филиппу нравились эти картинки, — сказал он.

Луис поднялся.

— Он иногда приходил сюда, чтобы поглядеть на них.

Вырезки были старыми, пожелтевшими от времени. Некоторые из них представляли чисто местный интерес: количество шаровых молний, которые наблюдали на близлежащих улицах; о мальчике двух лет, который обгорел до смерти в своей кроватке; о сбежавшей пуме; неопубликованный манускрипт Рэмбо; подробности авиакатастрофы в аэропорту Орлеана (с фотографией). Но были и другие вырезки, некоторые были совсем старые: зверства, странные убийства, ритуальные изнасилования, реклама «Фантомаса» и «Красотки и Чудовища». И почти похороненная под этой кипой черно-белая фотография, настолько странная, что, казалось, она вышла из под руки Макса Эрнста — полукольцо хорошо одетых господ, многие из них с густыми усами, столь популярными в конце прошлого века, сгрудились вокруг огромного, кровоточащего тела человекаобразной обезьяны. Лица на фотографии выражали охотничью гордость, полную власти над мертвым зверем, который, как подумал Луис, был гориллой. Его запрокинутая голова в смерти казалась почти

благородной, надбровья выступали и были покрыты шерстью, челюсть, невзирая на ужасную рану, была опущена патрицианской бородкой, закатившиеся глаза, казалось, выражали презрение ко всему этому безжалостному миру. Они, эти выкаченные глаза, напомнили Луису Хорька в своей норе-конторе, бьющего себя в грудь.

«Человеческое сердце».

Жалкое зрелище.

— Что это? — спросил он прыщавого бармена, показывая на фотографию мертвой гориллы.

Ответом ему было пожатие плеч: безразличие к судьбе людей и человекообразных обезьян.

— Кто знает? — сказал Солель за его спиной. — Кто знает?

Это не была человекообразная обезьяна из рассказа По, уж это наверняка. Рассказ был написан в 1835 году, фотография сделана позже. Кроме того, человекообразная обезьяна на фотографии была без всяких сомнений гориллой.

Что же, история повторилась? Неужели другая обезьяна, другого вида, но тем не менее человекообразная, потерялась на улицах Парижа на пороге нашего века?

А если это так, то история с человекообразной обезьянкой может повторяться... почему бы не дважды?

Когда Луис шел морозной ночью в свой номер в отеле Бурбонов, его все больше привлекал этот образ повторяющихся событий, его скрытая симметрия. Возможно ли, что он, внучатый племянник С. Августа Дюпена, оказался участником еще одного такого события, в чем-то схожего с первым?

Ключ от комнаты Филиппа на улице Мортир казался ледяным в руке, и хотя уже близилась полночь, он не смог удержаться и свернулся с моста на Севастопольский бульвар, потом на запад — на бульвар Бон-Нувель и на север — на Пляс-Пигаль. Это была долгая, утомительная прогулка, но он чувствовал, что ему необходим холодный воздух, чтобы его голова оставалась ясной и неподвластной эмоциям. Так что до улицы Мортир он добрался лишь через полтора часа.

Это была ночь с субботы на воскресенье, так что из многих комнат доносился шум. Луис поднялся на два пролета наверх так тихо, как только смог, сумерки скрывали его присутствие. Ключ легко повернулся в замке, и дверь отворилась.

Комната освещали огни с улицы. Кровать, которая занимала в комнате основное место, была неубрана. Должно быть, простыни и одеяло унесли в лабораторию для судебной экспертизы. Пятна крови на матрасе в сумерках казались черничного цвета. Других свидетельств преступления в комнате не было.

Луис подошел к выключателю и нажал на него. Ничего не произошло. Он зашел в комнату подальше и уставился на светильник. Лампочка была разбита вдребезги.

Он подумал о том, чтобы уйти отсюда, оставить эту темную комнату и вернуться утром, когда теней тут будет поменьше. Но пока он стоял под разбитой лампочкой, глаза его немного привыкли к темноте, и он начал различать большой закрытый шкаф тикового дерева у дальней стены. Разумеется, чтобы собрать одежду Филиппа много времени не уйдет. Иначе ему придется возвращаться на следующий день, проделывать еще один долгий путь по снегу. Лучше сделать это сейчас и поберечь свои кости.

Комната была большая, и в ней еще царил беспорядок, оставленный полицией. Пока Луис прокладывал себе дорогу к шкафу, он спотыкался то об опрокинутую лампу, то о разбитую вазу. На втором этаже под ним вопли и визг какой-то удавшейся вечеринки заглушали весь производимый им шум. Это была оргия или драка? Шум с успехом мог относиться и к тому, и к другому.

Он открыл верхний ящик комода, потянул его на себя, и тот внезапно вывалился, открыв взору все пристрастие Филиппа к мелким удобствам: чистые тонкие рубашки, пара носков, носовые платки с инициалами, — все отглажено и надушено.

Он чихнул. Холодная погода усилила хрипы в груди и выделение слизи в носовых пазухах. Носовой платок был у него в руке, и он высморкался, прочищая заложенные ноздри. И тут впервые до него дошел запах этой комнаты.

Над запахами сырости и увядших растений преобладал один сильный запах. Духи, всепроникающий запах духов.

Он резко повернулся в темной комнате, услышав, как хрустнули его собственные суставы, и взгляд его упал на какую-то тень за кроватью. Огромную тень, которая все росла и росла.

Это был он, незнакомец с бритвой. Он прятался здесь, ожидая.

Странно, но Луис не испугался.

— Что ты здесь делаешь? — требовательно спросил он громким властным голосом.

Когда незнакомец поднялся из своего укромного места, его лицо попало в зыбкую полосу уличного освещения. Широкое, плоское лицо. Его глаза были глубоко посажены, но беззлобны, и он улыбался, улыбался Луису.

— Кто ты? — вновь спросил Луис.

Человек покачал головой, даже затрясся всем телом, его руки в перчатках прикрыли рот. Немой? Он тряс головой все более и более сильно, словно у него начинался припадок.

— С вами все в порядке?

Внезапно дрожь прекратилась, и Луис к своему удивлению увидел, что из глаз незнакомца на его плоские щеки и в заросли бороды текут крупные слезы.

Словно устыдившись такого проявления чувств, человек отвернулся от света, глухо всхлипнул и вышел. Луис последовал за ним, он был гораздо больше заинтересован, чем испуган.

— Погодите!

Человек уже наполовину спустился на площадку второго этажа; несмотря на свое сложение, он шел семенящими шажками.

— Пожалуйста, подождите, я хочу поговорить с вами!

Луис начал спускаться за ним по ступеням, но даже не начав преследование, он понял, что проиграл его. Суставы Луиса плохо гнулись из-за возраста и из-за холода, к тому же было поздно. Как мог он бежать за человеком, гораздо моложе себя, да еще по такому скользкому снегу? Он проследил незнакомца лишь до двери и смотрел, как тот убегает вниз по улице. Его походка была семенящей — точно такой, как говорила Катерина. Странная походка для такого крупного мужчины.

Запах его духов уже унес северо-западный ветер. Задыхаясь, Луис вновь поднялся по лестнице мимо шума вечеринки и собрал одежду для Филиппа.

На следующий день Париж был погружен в бурю беспрецедентной ярости. На призывы к мессе никто не откликнулся, никто не раскупал горячие воскресные круассаны, газеты на лотках газетчиков остались нечитанными. Лишь у не-

скольких человек хватило силы характера или потребности выйти на улицу, где завывал ветер. Остальные сидели у каминов, грели ноги и мечтали о весне.

Катерина хотела навестить Филиппа в тюрьме, но Луис настоял, что он пойдет один. Эта настойчивость была вызвана не только тем, что он пожалел ее, запретив тащиться в холодную погоду, нет, ему нужно было задать Филиппу кое-какие деликатные вопросы. После той встречи в комнате ночью он был уверен, что у Филиппа был соперник, возможно, соперник со склонностью к убийству. Похоже, что единственным способом спасти жизнь Филиппа было выследить этого человека. И если для этого нужно вторгнуться в сферу интимной жизни Филиппа, так что же! Но, конечно, этот разговор ни он, ни Филипп не хотели бы вести при Катерине.

Свежую одежду, которую принес Луис, обыскали, потом передали Филиппу, который принял ее с кивком благодарности.

— Прошлой ночью я ходил к тебе на квартиру, чтобы забрать оттуда это.

— О!

— Там, в комнате, уже был кто-то.

Мышцы челюстей Филиппа напряглись так, словно он плотно стиснул зубы. Он избегал глядеть Луису в глаза.

— Большой человек, с бородой. Ты его знаешь? Или о нем?

— Нет.

— Филипп...

— *Nem!*

— Тот же самый человек напал на Катерину, — сказал Луис.

— Что? — Филипп начал дрожать.

— С бритвой.

— Напал на нее? — спросил Филипп. — Ты уверен?

— Или собирался.

— Нет! Он никогда бы не прикоснулся к ней. Никогда.

— Кто это, Филипп? Ты знаешь?

— Скажи ей, чтобы она туда больше не приходила, Луис! — его глаза наполнились слезами. — Пожалуйста, Бога ради, пускай она туда больше не заходит. Скажешь? И ты тоже. Ты тоже не заходи.

— Кто это?

— Скажи ей.

— Я скажу. Но ты должен мне сказать, кто этот человек, Филипп.

— Ты не поймешь, Луис. Я и не ожидаю, что ты поймешь.

— Скажи мне, я хочу помочь.

— Просто позволь мне умереть.

— Кто это?

— Просто позволь мне умереть... Я хочу забыть, почему ты заставляешь меня вспоминать? Я хочу...

Он вновь поднял взгляд, глаза у него были налиты кровью и веки воспалены от слез, пролитых ночами. Но теперь казалось, что слез у него больше не осталось, а там, где раньше был честный страх смерти, жажда любви и жизни, — просто пустое, засушливое место. Взгляд Луиса встречался со взглядом, полным вселенского безразличия к тому, что будет дальше, к собственной безопасности, к чувствам.

— Она была плохой! — неожиданно воскликнул он.

Руки его были сжаты в кулаки. Никогда в жизни Луис не видел, чтобы Филипп сжимал кулаки.

Теперь же его ногти так вонзились в мягкую плоть ладони, что из-под них потекла кровь.

— Шлюха! — вновь сказал он, и его голос прозвучал слишком громко в этой маленькой камере.

— Потише! — сказал охранник.

— Шлюха! — На этот раз Филипп прошипел свои проклятия сквозь зубы, ощеренные, как у разозленного павиана.

Луис никак не мог найти смысла в этом превращении.

— Ты начал все это... — сказал Филипп, глядя прямо на Луиса, впервые за все время открыто встречаясь с ним взглядом. Это было горькое обвинение, хоть Луис и не понял его значения.

— Я?

— Со своими рассказами. Со своим проклятым Дюпеном.

— Дюпеном?

— Все это ложь, дурацкая ложь: женщины, убийство...

— Ты что, имеешь в виду рассказ про улицу Морг?

— Ты же так гордился этим, верно? Так вот, все это была дурацкая ложь, ни слова правды.

— И все же это было правдой.

— Нет. И никогда не было, Луис, просто рассказ, вот и все. Дюпен, улица Морг, убийства...

Голос его прервался, словно два последних слова он никак не мог выговорить.

— ...человекообразная обезьяна.

Вот они, эти слова. Он произносил их с таким трудом, точно каждый звук вырезали у него из горла.

— Так что же насчет обезьяны?

— Это просто звери, Луис. Некоторые из них внушают жалость: цирковые животные. У них нет разума, они рождены, чтобы быть жертвами. Но есть и другие.

— Какие другие?

— Натали была шлюхой! — прокричал он снова.

Глаза его стали большими, как блюдца. Он ухватил Луиса за лацканы и начал трясти его. Все остальные в маленькой комнатке повернулись, чтобы посмотреть на двух старииков, сцепившихся через стол. Заключенные и их подружки усмехались, когда Филиппа оттаскивали от его старого друга, а слова все еще вылетали из его рта, пока он извивался в руках охранников:

— Шлюха! Шлюха! Шлюха! — вот все, что он мог сказать, пока они волочили его обратно в камеру.

Катерина встретила Луиса у двери своей квартиры. Она тряслась и всхлипывала. Комната за ее спиной была разворочена.

Она вновь заплакала на его груди, пока он пробовал успокоить ее. Уже много лет прошло с тех пор, как он последний раз успокаивал женщину, и он забыл, как это делается. Вместо того, чтобы утешать ее, он раздражался сам, и она почувствовала это. Она освободилась из его объятий, словно так она чувствовала себя лучше.

— Он был здесь, — сказала она.

Ему не было нужды спрашивать кто. Незнакомец, слезливый незнакомец, таскающий за собой бритву.

— Что ему было нужно?

— Он все повторял мне «Филипп». Почти говорил, скорее даже мычал, и когда я не ответила, он просто разнес все — мебель, вазы. Он даже не искал ничего, просто хотел устроить разгром.

Именно это привело ее в ярость — бесполезность нападения.

Вся квартира была разгромлена. Луис бродил меж обломками фарфора и клочьями ткани, качая головой. В его мозгу

была путаница плачущих лиц: Катерина, Филипп, незнакомец. Каждый в своем маленьком мирке, который, казалось, был разбит и покорежен. Каждый страдал, и все же источник этого страдания — сердце невозможно было обнаружить.

Только Филипп поднял обвиняющий палец на самого Луиса.

«Ты начал все это. — Разве это были не его слова? — Ты начал все это!»

Но как?

Луис стоял у окна. Три ячейки стекла были треснуты от ударов гардин, и ветер, залетевший в эти комнаты, заставлял стучать его зубы. Он поглядел через покрытые льдом воды Сены, и в этот момент его взгляд привлекло какое-то движение. Его желудок вывернуло наизнанку.

Незнакомец прижался лицом к стеклу, выражение его было диким. Одежды, в которые он всегда закутывался, сейчас были в беспорядке, и на лице его застыло выражение такого глубокого отчаяния, что оно казалось почти трагичным. Или скорее лицом актера, разыгравшего сцену отчаяния из трагедии. Пока Луис смотрел на него, незнакомец прижал к окну руки в жесте, который, казалось, молил о прощении или понимании. Или о том и о другом.

Луис отпрянул. Это было уж слишком, чересчур. В следующий миг незнакомец уже брел через дворик прочь от комнат. Его семенящая походка сменилась длинными скачками. Луис издал долгий, долгий стон узнавания той плохо одетой туши, которая сейчас исчезла из виду.

— Луис?

Это была не человеческая походка, эти прыжки, эти гимназы. Это была походка прямоходящего зверя, которого научили ходить, и теперь, лишенный своего господина, он начинал забывать этот трюк.

Это была человекообразная обезьяна.

Боже, о боже, это была обезьяна!

— Мне нужно видеть Филиппа Лаборто.

— Прошу прощения, месье, но тюремные посетители...

— Это — дело жизни и смерти, офицер. — Луис отважился на ложь. — Его сестра умирает. Умоляю, хоть немного сочувствия.

— О... ну ладно.

В голосе по-прежнему слышалось сомнение, так что Луис решил еще чуть-чуть дождаться.

— Только несколько минут, нужно кое-что уладить.

— А что, до завтра подождать нельзя?

— К завтрашнему утру она уже умрет.

Луису было неприятно так говорить о Катерине, даже в целях этого расследования, но это было необходимо, он должен был увидеть Филиппа. Если его теория была верна, рассказ может повториться прежде, чем завершится ночь.

Филиппа разбудили — он спал после того, как ему ввели успокоительное. Глаза его были очерчены темными кругами.

— Что ты хочешь?

Луис даже не пытался поддерживать свою ложь: Филипп был напичкан лекарствами, и, возможно, в голове у него все мешалось. Лучше ошараширить его правдой и поглядеть, что из этого получится.

— Ты держал обезьяну, верно?

Выражение ужаса появилось на лице Филиппа — медленно, из-за циркулирующего в крови снотворного, но все равно достаточно болезненное.

— Разве нет?

— Луис... — Филипп казался очень старым.

— Ответь мне, Филипп. Я умоляю: пока еще не слишком поздно. Ты держал обезьяну?

— Это был эксперимент, вот и все, — просто опыт.

— Почему?

— Из-за твоих рассказов. Из-за твоих проклятых рассказов. Я хотел посмотреть, правда ли то, что они дикие. Я хотел сделать из нее человека.

— Сделать человека...

— А эта шлюха...

— Натали.

— Она совратила его.

— Совратила?

— Шлюха, — сказал Филипп с усталым сожалением.

— Где эта твоя обезьяна?

— Ты убьешь ее.

— Она вломилась в квартиру, когда там была Катерина. Все вокруг разрушила, Филипп. Она опасна теперь, без хозяина. Ты не понимаешь?

— Катерина?

— Нет, с ней все в порядке.

— Она дрессирована, она не причинит ей зла. Она наблюдала за Катериной из укрытия. Приходила и уходила. Тихая, как мышь.

— А девушка?

— Обезьяна ревновала.

— Так что убила ее?

— Может быть. Я не знаю. Не хочу об этом думать.

— Почему ты не сказал им? Они бы ее уничтожили.

— Потому что не знаю, правда ли это. Может, все это выдумка, одна из твоих проклятых выдумок, просто еще одна история.

Слабая, виноватая улыбка прошла по его лицу.

— Ты должен понять, что я имею в виду, Луис. Это ведь может быть рассказ, верно ведь? Вроде твоих сказочек про Дюпена? Разве что я ненадолго сделал его правдой — об этом ты подумал? Может, я сделал его правдой.

Луис встал. Это был утомительный спор между реальностью и иллюзией. Была ли эта тварь на самом деле или нет. Жизнь или сон.

— Так где обезьяна? — требовательно спросил он.

Филипп показал себе на лоб.

— Здесь, и ты ее никогда не найдешь. — сказал он и плеснул в лицо Луису. Плевок задел губу, точно поцелуй.

— Ты не знаешь, что ты наделал. Ты никогда не узнаешь.

Луис вытер губу, а охранник вывел заключенного из комнаты, обратно в его счастливое наркотическое забытье. И все, о чем Луис теперь мог думать, сидя один в холодной комнате для свиданий, это то, что Филипп нашел себе утешение. Он нашел убежище в вымыщенном вине и замкнул себя там, где никакая память, никакая месть, никакая чудовищная истина не доберутся до него. В этот миг он ненавидел Филиппа, ненавидел всем своим сердцем. Ненавидел его за то, что он всегда был дилетантом и трусом. Филипп не то чтобы создал вокруг себя более уютный мир — это тоже было просто убежище, такая же ложь, как и все лето 1937 года. Нельзя прожить жизнь, не вспомнив об этом раньше или позже, да так оно и было.

Этой ночью, в безопасности камеры, Филипп проснулся. В камере было тепло, но он замерз. В полной темноте он рвал зубами свои запястья, пока струя крови не полилась

ему в рот. Он лег на постель и спокойно отплыл к смерти — прочь из жизни и из воспоминаний.

О его самоубийстве была маленькая заметка на второй странице «Ле Монд». Однако самой большой новостью наступившего дня было сенсационное убийство рыжеволосой проститутки в маленьком домике на улице Рочечко. Монику Живаго нашли в ее комнатушке в три часа утра, ее тело было в таком ужасном состоянии, что оно «не поддавалось описанию».

Невзирая на вышеупомянутую неописуемость, средства массовой информации с мрачной решимостью попытались это сделать: каждую рваную, колотую и резаную рану на нагом теле Моники (татуированном, как отметила «Ле Монд», картой Франции) расписали в подробностях. Так же в подробностях было описано появление ее хорошо одетого и надышенного убийцы, который очевидно наблюдал за ее туалетом через маленькое заднее окно, потом вломился в квартиру и напал на мадемузель Живаго в ванной. Потом убийца сразу же слетел вниз по лестнице, буквально врезавшись в клиента, который несколько минут спустя обнаружил изуродованный труп мадемузель Живаго. Только один комментатор связал это убийство с убийством на улице Мортир и, не удержавшись, указал на любопытное совпадение — в ту же самую ночь осужденный Филипп Лаборт покончил счеты с жизнью.

Похороны проходили в бурю, кортеж самым жалким образом прокладывал себе путь по пустым улицам к бульвару Монпарнас. Снег все валил и валил и практически перекрыл дорогу. Луис с Катериной и Жаком Солелем провожали Филиппа к месту вечного покоя. Все остальные его знакомые предали его, отказавшись участвовать в похоронах самоубийцы и подозреваемого в убийстве. Его остроеумие, его приятная внешность и способность быть неотразимым ничего не значили при таком конце.

Однако, как оказалось, они были не одни. Когда они стояли у могилы, а холод резал их на части, Солель подошел к Луису и тронул его за плечо.

— Что?

— Вон там. Под деревом. — Солель кивнул в сторону молящегося священника.

Незнакомец стоял в отдалении, почти скрытый мраморными надгробьями. Вокруг его лица был обвязан огромный черный шарф, а шляпа с широкими полями надвинута на лоб, но весь его облик можно было безошибочно узнать. Катерина тоже его увидела. Она затряслась, стоя в объятиях Луиса, но не от холода, а от страха. Казалось, что это создание — какой-то уродливый ангел, слетевший с небес, чтобы насладиться их скорбью. Он был гротескным, невероятным, этот субъект, пришедший поглядеть, как Филиппа зарывают в мерзлую землю. Что он чувствовал при этом? Злобу? Торжество? Вину?

И правда, чувствовал ли он вину?

Он понял, что его увидели, повернулся спиной и побрел прочь. Ни слова не сказав Луису, Жак Солель поспешил прочь от могилы, преследуя существо. В один миг незнакомец и его преследователь растворились в снежной пелене.

Вернувшись в отель Бурбонов, ни Катерина, ни Луис ничего не сказали по поводу этого инцидента. Между ними появился какой-то барьер, запрещающий любые контакты, кроме самых обыденных. Не было никакого смысла ни в сожалениях, ни в рассуждениях. Прошлое, их общее прошлое, было мертвым. Финальная глава их совместной жизни перечеркнула практически все, что ей предшествовало, так что им не осталось никаких воспоминаний, которыми они могли бы спокойно наслаждаться. Филипп умер ужасно, разрушив собственную плоть, пожрав собственную кровь, возможно, доведенный до безумия сознанием собственной вины. Никакая невинность, никакая история радости не могла уцелеть перед этим фактом. Молчаливо они оплакивали свою утрату, не только Филиппа, но также и собственного прошлого. Теперь Луис понимал нежелание жить, когда в этом мире уже все было утрачено.

Позвонил Солель. Задыхаясь после своей охоты, но возбужденный, он зашептал Филиппу, явно получая наслаждение от острых ощущений.

— Я на северном вокзале, и я выяснил, где живет наш приятель. Я нашел его, Луис.

— Отлично. Я немедленно выезжаю. Я встречусь с тобой у входа на вокзал. Я возьму машину — это займет минут десять.

— Он в подвале номер шестнадцать, улица Флер. Я встречу тебя там.

— Не делай этого, Жак. Подожди меня. Не...

Телефон звякнул, и Солель исчез. Луис потянулся за своим пальто.

— Кто это был?

Она спросила, но знать она не хотела. Луис пожал плечами, натягивая пальто и сказал:

— Да никто. Не волнуйся, я скоро буду.

— Одень шарф, — сказала она не оборачиваясь.

— Да. Спасибо.

— Ты простудишься.

Он оставил ее смотреть на одетую во тьму Сену, на льдины, пляшущие в черной воде.

Когда он прибыл к дому на улице Флер, Солеля нигде не было видно, но свежие отпечатки следов в только что выпавшем снегу вели к передней двери и, возвратившись, обходили вокруг дома. Луис пошел по его следам. Как только он ступил во двор за домом, через заржавевшую калитку, которая была чуть не взломана Солелем, он понял, что пришел безоружным. Может, лучше вернуться, найти кочергу, нож, хоть что-то? Пока он так препирался сам с собой, задняя дверь отворилась и появился незнакомец, одетый все в то же пальто. Луис прижался к стене дома там, где тень была гуще, уверенный, что его заметили. Но у зверя были свои дела. Он стоял в дверном проеме, его лицо было полностью открыто, и в первый раз, в свете отраженного в снегу лунного сияния, Луис мог ясно разглядеть его физиономию. Лицо его было свежевыбрито, а запах одеколона казался сильным даже на открытом воздухе. Кожа его была розовой, как абрикос, хоть в двух-трех местах и поцарапана при небрежном бритье. Луис подумал об опасной бритве, которой тот угрожал Катерине. Может, он приходил в комнату Филиппа, чтобы отыскать себе хорошую бритву? Он натягивал кожаные перчатки на свои широкие, выбритые руки, издавая легкое покашливание, которое звучало почти как звуки удовольствия. У Луиса было впечатление, что тот готовится выйти во внешний мир, и это зрелище было настолько же трогательным, насколько и пугающим. Все это нужно было этой твари, чтобы чувствовать себя человеком. По-своему, он вызывал жалость, пытаясь соответствовать тому образу, который придумал для него Филипп. Теперь,

лишенный своего наставника, растерянный и несчастный, он пытался смотреть в лицо этому миру так, как его учили. Но пути назад не было. Дни невинности прошли, он никогда больше не будет безгрешным зверем. Пойманный в ловушку своей новой личины, у него больше не было выбора, как продолжать жизнь, к которой приохотил его хозяин. Не глядя в сторону Луиса, он мягко закрыл за собой дверь и пересек двор, его походка при этом изменилась от звериных прыжков до семенящих шажков, что, видимо, заставляло его больше походить на человека.

Потом он исчез.

Луис ждал какой-то миг, укрывшись в тени, и глубоко дышал. Каждая косточка в его теле ныла от холода, а ноги занемели. Зверь явно не собирался возвращаться, так что он вышел из своего укрытия и толкнул дверь. Она была незаперта. Когда он ступил внутрь, в ноздри ему ударила вонь: густой запах подгнивших фруктов мешался с запахом одеколона — зоопарк и будуар одновременно.

Он спустился вниз по скользким каменным ступеням и по короткому коридору подошел к двери. Она тоже была незаперта, и голая лампочка освещала в комнате чудовищную сцену.

На полу лежал большой, местами лысый персидский ковер; стояла скучная мебель: кровать, небрежно застеленная одеялами и крашеной дерюгой, шкаф, раздутый от набитой туда одежды; гора гниющих фруктов, часть из них размазана по полу, ведро, застеленное соломой и воняющее испражнениями. На стене висело большое распятие. На камине фотография Катерины, Филиппа и Луиса, улыбающихся там, в солнечном прошлом. В тазу бритвенные принадлежности зверя: мыло, щетки, бритвы. Свежая мыльная пена. На гардеробе кучка денег, небрежно брошенная, рядом шприц и несколько пузырьков. В конуре было тепло: должно быть комната примыкала к расположенной в погребе котельной. Солея нигде не было видно.

Внезапно раздался шум.

Луис повернулся к двери, ожидая, что дверной проем заслонит фигура обезьяны с оскаленными зубами и демоническим взглядом. На он потерял ориентацию: шум раздавался не от двери, а из шкафа. За грудой одежды кто-то шевелился.

— Солель?

Жак Солель выпал из шкафа и распластался по персидскому ковру. Лицо его было одной сплошной раной, так что ни одной черты, по которой можно было бы его опознать, не осталось.

Создание, видимо, ухватило его за губу и содрало все мышцы с кости, точно счищало шкурку с банана. Его обнажившиеся зубы стучали в предсмертном ознобе, руки и ноги дергались. Но самого Жака уже не было. За всеми этим судорогами не было признаков ни мысли, ни личности — просто развалина и все. Луис склонился над Солелем: у него были крепкие нервы. Будучи военным наблюдателем, он во время войны служил при армейском госпитале, и вряд ли были такие превращения человеческого тела, которые он не видел в тех или иных сочетаниях. Он осторожно дотронулся до тела, не обращая внимания на кровь. Он не любил этого человека и едва ли обращал на него внимание, но сейчас все, чего он хотел, — это забрать его отсюда, из этой обезьяньей клетки и найти ему достойную человеческую могилу. Он хотел взять и фотографию. Оставить зверю эту фотографию, на которой они были изображены втроем, — это было уже чересчур. Из-за этого он ненавидел сейчас Филиппа больше, чем когда-либо.

Он стащил тело с ковра. Это потребовало титанического усилия, и в удушливой жаре комнаты после холода окружающего мира, он почувствовал себя дурно. Он ощущал, как его руки начали нервно дрожать. Тело готово было предать его — он это чувствовал, оно было близко к обмороку, к потере сознания.

Не здесь. Не здесь, во имя Господа!

Может, ему нужно сейчас выйти, найти телефон? Это было бы разумно. Позвонить в полицию... да... и Катерине... и найти кого-нибудь в доме, пускай ему помогут. Но это означало, что он оставит Жака лежать тут, на полу, вновь во власти этого зверя и неожиданно почувствовал странную потребность охранять этот труп. Он не хотел оставлять его одного. Это была полная растерянность — он не мог оставить Жака, но не мог и перенести его далеко, так что он стоял в центре комнаты, вообще ничего не предпринимая. Да, на-верное, это лучше всего. Вообще ничего не делать. Он слишком устал, слишком ослаб. Да, лучше вообще ничего не делать.

При этом он так и не сделал ни единого движения — старик, раздавленный своими чувствами, неспособный заглянуть в будущее или оглянуться на похороненное прошлое. Он не мог вспомнить. Не мог забыть.

Так он и ждал в полусонном ступоре конца мира.

Зверь вернулся домой шумно, точно пьяный, и звук открываемой двери вызвал в Луисе замедленную реакцию. С некоторым трудом он вновь затолкал Жака в шкаф и спрятался туда сам; безликая голова Жака уткнулась ему в плечо.

В комнате раздавался голос, женский голос. Может, все же это не зверь? Но нет, через щелку в шкафу Луис увидел зверя, а с ним — рыжеволосую женщину. Она неуверенно говорила — обычные банальности мелкого разума.

— Так у тебя есть еще, ах ты, прелесть, дорогой мой, это же чудесно. Погляди на все это...

В руке у нее была горсть таблеток, и она глотала их, точно конфеты, радуясь, словно девочка под рождественской елкой.

— Где же ты раздобыл все это? Ладно, ладно, не хочешь говорить, не надо.

Занимался ли этим Филипп или же обезьяна украла все эти препараты для своих собственных целей? Он что, часто накачивал наркотиками рыжеволосых проституток?

Болтовня девушки затихла по мере того, как таблетки, оказывая свое действие, успокаивали ее, перенося в какой-то личный мир. Луис, не шевелясь, смотрел, как она начала раздеваться.

— Здесь... так... жарко.

Обезьяна наблюдала за ней, спиной к Луису. Какое выражение было на этом выбритом лице? Вожделение? Сомнение?

У девушки была прелестная грудь, хоть тело ее было слишком худым. Юная кожа была белой, соски — ярко-розовыми. Она закинула руки за голову и две совершенные полусферы при этом слегка напряглись и расплющились. Зверь протянул к ее телу огромную ладонь и нежно потрогал сосок, сжимая его в пальцах цвета сырого мяса. Девушка вздохнула.

— Мне... все снимать?

Обезьяна заворчала.

— Ты неразговорчив, верно?

Она стащила свою красную юбку. Теперь на ней ничего не было, кроме безделушек. Она, вытянувшись, легла на кровать, тело ее мерцало, она наслаждалась теплом комнаты, даже не потрудившись взглянуть на своего обожателя.

Под весом навалившегося на него тела Солеля, Луису вновь стало плохо. Его ноги онемели, а правая рука, прижатая к стенке шкафа, практически ничего не чувствовала, но он не осмеливался пошевелиться. Этот зверь был способен на все, он понимал это. Если он обнаружит его, что он тогда с ними сделает — с Луисом, с девушкой?

Теперь каждая часть его тела либо потеряла чувствительность, либо гудела от боли. Соскальзывающее тело Солеля, повисшее у него на плече, с каждым мигом казалось все тяжелее. Позвоночник его буквально вопил, шея и затылок болели так, словно их пронзали раскаленными иголками. Эта агония становилась невыносимой, он боялся, что умрет в этом странном укрытии, пока зверь будет заниматься любовью.

Девушка вздохнула, и Луис вновь посмотрел на кровать. Зверь просунул руку ей между ног, и девушка вздрогнула от этого проникновения.

— Да, о да, — повторяла она, пока ее любовник овладевал ею.

Это было уже слишком. В голове у Луиса все плыло. Это и есть смерть? Огни в голове, шум в ушах?

Он закрыл глаза, теряя любовников из виду, но шум все продолжался. Казалось, он будет длиться вечно, проникая ему в голову. Вздохи, смешки, повизгивания.

И наконец, полная тьма.

Луис очнулся на своей тайной дыбе, казалось, его тело перекорежено из-за ограниченного пространства шкафа. Он открыл глаза. Дверь его укрытия была распахнута, и обезьяна таращилась на него, ее рот кривился в попытке ухмылки. Она была обнажена, и ее тело было почти полностью выбрито. Между ключицами на его огромной грудной клетке сверкало маленькое золотое распятие. Луис сразу узнал эту драгоценность. Он купил ее для Филиппа на Елисейских Полях как раз перед войной. А теперь распятие угнездилось в пучке красно-оранжевых волос. Зверь протянул Луису

руку, и тот автоматически ухватился за нее. Жесткая ладонь вытащила его из-под тела Солеля. Он не мог стоять прямо. Ноги у него подгибались, руки тряслись. Зверь поддерживал его. Испытывая головокружение, Луис поглядел вниз, в шкаф, где лежал Солель, скорчившись, точно ребенок в утробе, лицом к стене.

Зверь закрыл дверь шкафа, где лежал труп, и помог Луису сесть.

— Филипп? — Луис с трудом понял, что женщина была еще здесь, в постели, только что проснувшаяся после ночи любви.

— Филипп? Кто это? — Она шарила в поисках таблеток на столике рядом с кроватью. Зверь одним прыжком пересек комнату и выхватил их у нее из руки.

— О... Филипп... пожалуйста. Ты что, хочешь, чтобы я пошла и с этим? Я пойду, если хочешь. Только верни мне таблетки. — Она указала на Луиса. — Обычно-то я не хожу со стариками.

Обезьяна заворчала на нее. Выражение на лице девушки изменилось, словно она первый раз за все время начала догадываться, кто это был на самом деле. Но мысль была слишком сложной для ее одурманенного разума, и она оставила ее.

— Пожалуйста, Филипп, — прошептала она.

Луис глядел на обезьяну. Она взяла фотографию с каминной полки.

Ее темный ноготь показывал на изображение Луиса. Животное улыбнулось. Оно узнало Луиса даже при том, что сорок с лишним лет прошло, вытянув столько жизненных сил.

— Луис, — повторило животное, выговорив это слово довольно легко.

Старику было нечем блевать — у него был пустой желудок, а тело его слишком занемело, чтобы испытывать хоть какие-то чувства. Это был конец века, он должен быть готовым ко всему. Даже к тому, что его, как друг его друга, приветствует выбритый зверь, вроде того, что сейчас склонится перед ним. Зверь не сделает ему ничего плохого, он знал это. Возможно, Филипп рассказал животному об их совместной жизни, приучил тварь любить Катерину и самого Луиса точно так же, как животное обожало и Филиппа.

— Луис, — вновь сказал зверь и показал на женщину (которая теперь сидела с раздвинутыми ногами), предлагая ее для развлечения.

Луис покачал головой.

Туда-сюда, туда-сюда, частью — выдумка, частью — правда.

Вот уже до чего дошло: голая обезьяна предлагает ему человеческую женщину.

Это была последняя, помоги ему Боже, последняя глава той выдумки, которую начал дедушкин брат. От любви к убийству, обратно к любви. Любовь обезьяны к человеку. Он выдумал ее, увлекшись своими вымышленными героями, рациональными и рассудочными. Он заставил Филиппа превратить эту выдумку их утерянной молодости в правду. Именно его и нужно обвинять. Уж, конечно, не этого несчастного зверя, затерявшегося между джунглями и модными магазинами, не Филиппа, жаждущего вечной молодости, ни холодную Катерину, которая с сегодняшней ночи останется абсолютно одна. Это только он. Его преступление, его вина, его наказание.

Ноги его вновь обрели чувствительность, и он заковылял к двери.

— Так ты не остаешься? — спросила рыжеволосая женщина.

— Эта тварь... — он не мог заставить себя назвать животное.

— Ты имеешь в виду Филиппа?

— Его не зовут Филипп. — сказал Луис. — Он даже не человек.

— Думай как хочешь! — сказала она и пожала плечами.

За его спиной заговорила обезьяна, произнося его имя. Но на этот раз это были не ворчащие звуки, нет, животное с удивительной точностью воспроизвело все интонации Филиппа, лучше, чем любой попугай. Это был голос Филиппа — без изъянов.

— Луис, — сказало животное.

Оно не просило, оно требовало. Оно просто называло по имени, получая при этом удовольствие, как равный равного.

Прохожие, которые видели старика, влезшего на парапет моста Карусели, глазели на него, но никто не сделал попытки помешать его прыжку.

Он застыл там на миг, выпрямился и, перевалившись через перила, рухнул в ледяную воду.

Один или два человека перебежали на другую сторону моста, чтобы поглядеть, куда несет его течение. Он выплыл на поверхность, лицо его было бело-голубым и пустым, как у младенца. Потом что-то под водой зацепило его ноги и потащило на глубину. Густая вода сомкнулась над его головой и затихла.

— Кто это был? — спросил кто-то.

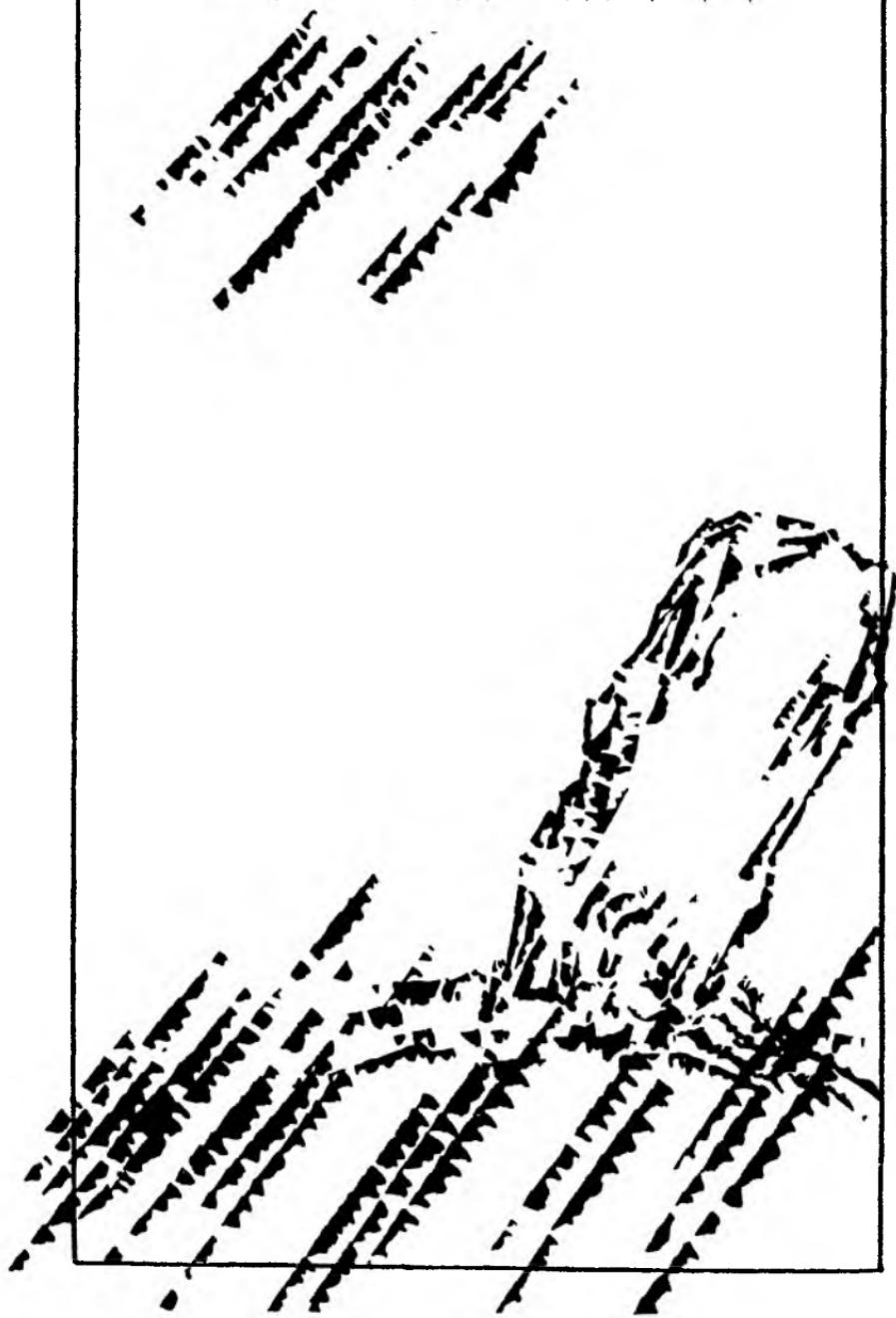
— Кто знает?

Был ясный день, последний зимний снег уже выпал, и к полудню должна была начаться оттепель. Птицы, возбужденные внезапным солнцем, кружились над Сакр-Кер. Париж начал разоблачаться, готовясь к весне, его девствен но-белый наряд был слишком заношен, чтобы держаться долго.

Поздним утром молодая рыжеволосая женщина под руку с крупным неуклюжим мужчиной медленно поднялась по ступенькам Сакр-Кер. Солнце благословляло их. Колокола звонили.

Наступил новый день.

ГОЛЫЙ МОЗГ





А.Н. Некрасов 94



ека не смогли стереть с лица Земли этот маленький городок. Время, войны, кровожадность многочисленных завоевателей, вторгавшихся в его узенькие улочки не с самыми мирными намерениями, — все это нисколько не помешало медленному течению патриархальной жизни. Грозные эпохи не раз подвергали Зел в пучины страстей и борьбу за выживание. То были века насилия, огня и булата. И ни жестокость легионеров Рима, ни военное искусство нормандских рыцарей не привели к его порабощению. Зел пал на колени перед варварами новой эпохи, перед завоевателями совершенно другого толка: они не хотели жертв и кровопролития, они пришли сюда без оружия, если не считать таковыми мягкую учтивость и твердую валюту. Другие времена — другие нравы. Такова уж была воля сил судьбы: Зел задрожал под легкой поступью воскресных отдыхающих, и, впоследствии, эта незаметная дрожь перешла в предсмертную агонию.

Для новых завоевателей Зел был превосходным объектом, расположенным милях в сорока юго-восточнее Лондона и утопающим в цветении садов и роскоши хмельных гроздей. Он был тем уголком Кентских полей, добраться до которого пешком было все же довольно утомительно, но если вы на колесах — путь покажется лишь легкой прогулкой с ветерком. И если вы почти у цели, а на небе задвигались вдруг мрачные тучи — не беда. Можно повернуть обратно и быстро очутиться среди уюта городского дома. Каждый год, с мая по октябрь, Зел превращался в курорт для изнывающих от жары лондонцев. Казалось, они стекались сюда все, словно

сговорившись, словно по команде. И управляло ими одно лишь предчувствие невыносимости знайных выходных, проведенных в городе. Они приезжали сюда сами. Они брали с собой свои надувные мячи и своих собак. Они привозили свои выводки детей и выводки детей своих детей, и, извергаясь со всем своим багажом на пьянящий простор загородной зелени, сливались с празднично возбужденной толпой других лондонцев — таких же отдыхающих, как и они сами. А под вечер они забивались в трактир «У великана», где за кружкой теплого пива делились своими дорожными впечатлениями.

Местным жителям и в голову не приходила мысль о защите: ведь новые завоеватели вовсе не жаждали расправы. Но полное отсутствие агрессии делало план вторжения еще более коварным и хитрым, скрытым и вероломным.

Горожане шаг за шагом привносили изменения в жизнь Зела. Многие захотели свить себе здесь загородные гнездышки: они были зачарованы воображаемыми картинами коттеджей из камня, окруженных зеленью дубовых рощиц. Они восхищались уже вполне реальными голубками, ворковавшими в глубинах тисовых аллей. «Даже воздух, — сказали бы они, непременно вдохнув полной грудью, — даже воздух пахнет какой-то необычной свежестью. Именно здесь он пахнет так, как должна пахнуть Англия».

И вот сначала некоторые, а потом и все закружили городок в совершенно ином ритме. Начали распродаваться некогда покинутые зелийцами домишкими, пустые сараи и перекошенные постройки. Завоеватели думали теперь о возможных способах расширения кухни, о том, где бы им поставить гараж, о том, что бы им сохранить и как-то приспособить, а что сломать и убрать с глаз долой. Хотя подобная деятельность многим пришлась по душе, которая тосковала по великолепию Кильнбернского леса, каждый год находился лишь один-другой счастливчик, купивший себе нечто действительно достойное его усилий.

Годы шли, и таких счастливчиков становилось все больше. А зелийцев, конечно же, все меньше. Они просто умирали от старости. Постепенно угроза становилась ощущимее. Она оставалась скрытой от многих, но проницательный взгляд не мог ее не заметить. Она была спрятана в многочисленных переменах, во вторжении массы чуждого и

незнакомого для древнего Зела. Перемены... Их можно было обнаружить, порывшись в газетах на складе почтового ведомства, — ну какому зелийцу понадобилось бы литературное приложение «Таймс»? На них указывали появление на узкой пыльной улочке роскошного лимузина и существование в городке Главной авеню. Они были в трактире «У великана», где собирались теперь шумные сплетники, спорившие о чем-то непонятном для местного жителя, смеявшиеся над чем-то абсолютно не смешным для него.

Но не только эти перемены принесли в Зел новые завоеватели. За ними неотступно следовали их невидимые, но вечные и злобные враги: рак и сердечная недостаточность, от которых не было спасения даже здесь. Вторжение завершилось для завоевателей исходом, не лучшим, чем для римлян или нормандцев. Никому не удавалось еще прийти сюда и построить на этой земле новую жизнь. Последние, кто попытался это сделать, оказались в этой земле.

В середине последнего для Зела сентября погода выдалась капризная и переменчивая.

У старого Томаса Гэрроу-старшего был единственный сын. Томас Гэрроу-младший усердно работал на «Поле в Три Акра». За угрожающими раскатами грома вчера последовала продолжительная дождевая буря, превратившая почву в сплошное месиво. В следующем году надо засеять — значит, сейчас, в этом году, надо вслахать землю, освободив ее от мелких камешков и всякой прочей дряни. Да еще этот трактор... Старая развалина покрылась уже толстенным слоем ржавчины — отец Томаса обошелся с техникой совсем не по-хозяйски, оставил здесь на долгое время. Новая обуза. Сегодня уже пятница, и вряд ли работа на «Поле в Три Акра» будет закончена к концу недели. «Должно быть, чертовски славные были года, — думалось Томасу, отдиравшему рыжий налет со старого трактора, — настолько славные, что отцу и эта проклятая штуковина не понадобилась — вот он и бросил ее на произвол судьбы». Томасу казалось, что трактор вряд ли был на что-то способен. Мысль эта сменилась другой, не более приятной: не придется ли оставить лучшую, самую плодородную почву невспаханной?.. Нет, он не смирится с тем, что «Поле в Три Акра» придется держать под паром. Томас жил в Англии,

где любой клочок земли сулил деньги. Господи, до чего же трудная работа ему предстоит!

И тем не менее — надо ее выполнить.

Вскоре дело наладилось. Вычищенный трактор без всяких проблем завелся и громко рычал, ползая по полю. Новый день начинался прекрасно. В утреннем небе закружились стайки чаек, прилетевших с морского берега в поисках жирных дождевых червяков — изысканный деликатес для этих вольных и шумных птиц. Они боролись за право ухватить свой лакомый кусочек с потрясающей наглостью и нетерпением. Чайки составили работнику неплохую компанию: они хрюпали и наперебой кричали, словно рассказывая ему о своей жизни, и это забавляло Томаса. Потрудившись в свое удовольствие, он забежал перекусить в трактир «У великана». Вернувшись, Томас начал было работать снова, но мотор вдруг резко фыркнул и заглох — трактор встал как вкопанный. Ничего себе подарочек, если учесть, что за ремонт этой развалины придется выложить все двести фунтов стерлингов. Был повод заплакать от досады. И тогда Томас... увидел камень.

Не просто камень — глыбу какого-то непонятного вещества, на целый фут возвышавшуюся над землей. Футов трех в диаметре. На странном камне ничего не росло — ни травы, ни лишайника. Поверхность оказалась ровной и гладкой, на ней Томас заметил какие-то причудливые канавки, наверное, следы слов, которые кто-то в незапамятные времена счел необходимым здесь выдолбить. Возможно, это было любовное письмо или, что наиболее вероятно, глупая надпись, вроде «Здесь был Килрой», под которой была проставлена точная дата ее появления. Может и так, но нельзя было разобрать и буквы. Томас подумал: будь эта штуковина хоть монументальной плитой, хоть могильной доской, она не должна здесь оставаться. Не терять же три ярда хорошей земли.

Присутствие камня таило новые загадки: почему за столько лет никто так и не соизволил выковырять эту громаду и убрать ее отсюда? Не могла же она остаться незамеченной? Выходит, на «Поле в Три Акра» уже давно не сеяли. Лет тридцать шесть, которые прожил Томас Гэрроу-младший, а может быть... все время с тех пор, как появился на свет его отец. Должно было быть какое-то

объяснение тому, что этот участок земли, принадлежащей фамилии Гэрроу, держался под паром десятки, может быть, сотни лет. В голове Томаса мелькнуло подозрение: уж не считал ли кто-то из его предков, вероятно и его отец, что с «Поля в Три Акра» приличного урожая не собрать? Нет, крапива и выюнок — эти вечные враги-спутники всякой полезной культуры — не разрослись бы тогда здесь так буйно. Почему бы и хмению не вырасти и не расцвести столь пышно? Или фруктовому саду? Сад... Ему нужна будет любовь и тщательный уход, нежность и внимательное отношение. Томас не знал, хватит ли у него этих качеств. Ничего, он сам выбирает, что посеять. Все равно он увидит, как благодарная земля щедро одарит его, породив обильные всходы.

Увидит... Если сможет выкопать этот чертов камень.

Не лучше ли взять напрокат какую-нибудь землеройную или землечерпалльную машину: их полным-полно на новой стройке в северной окраине? Пусть лучше глыбу стиснут металлические челюсти. Пусть они выдернут ее и увезут подальше. Легко и просто — он и глазом моргнуть не успеет, не то что рукой пошевелить. Однако гордость, внезапно заговорившая в Томасе, заставила его изменить решение. Проект с машиной показался ему глупым и трусливым. Признанием собственного бессилия. Истерическим криком о помоши при виде не столь уж большой опасности. Ничего страшного. Никого звать не надо. Он сам ее выкопает. Отец поступил бы так же на его месте. Это решение стало для Томаса окончательным. Он не знал, что через два с половиной часа проклянет свою опрометчивость.

Солнце вошло в зенит. Жара, разлитая в тонком неподвижном воздухе, становилась удушливо-нестерпимой. Ни ветерка, ни дуновения. Над центром городка прокатились раскаты грома — Томас слышал лишь слабый их отзвук. Не погода, а образец непостоянства... Он посмотрел вверх на небо — чистое пространство, даже чаек в нем не было. Они грелись под знаймыми лучами, прекратив свой шумный галдеж.

Все вокруг изменилось. И запах земли — приторные ароматы ее сырости рассеялись в благоухании дымки теплого воздуха, витающего над лопатой Томаса. Копать было легко. Черные стенки, окружавшие камень, разрушались

без всяких усилий. Их осколки, задержавшиеся какое-то время на поверхности лопаты, казались Томасу хранилищами миллионов исчезнувших жизней, скелетами мириад маленьких мертвцев, подпитывающих эту почву, дарующих растениям соки и энергию своего разложения. Томас даже вздрогнул от этой мысли — настолько странной она ему показалась. Он остановился, опершись о лопату. Эта чертова пинта «Гиннеса» все-таки дала о себе знать. Никогда еще она не причиняла ему таких неудобств, как отвратительное ворчащее бульканье в желудке. Томас невольно прислушался к нему: не менее мрачно, чем вид этой черной земли, чем мысли о ней...

Не надо думать обо всем этом. Ничего, кроме раздражения, такое занятие не принесет. Оставил неспокойную пинту без внимания, Томас посмотрел на поле. Привычная картина. Что уж такого особенного в неровной площадке, окруженной неухоженными кустами боярышника? Что необычного в тельцах двух маленьких пташек, умерших в их тени. Умерших так давно, что невозможно было установить — жаворонки это или что-то другое. Даже в чувстве покинутости, охватившем созерцающего Томаса, не было ничего нового или странного. Осень... Это ее предчувствие. Ощущение вступления ее в свои права. Пусть она наконец придет, пусть прогонит долгое, изнуряющее знойное лето.

Томас поднял глаза выше. Туча, похожая на голову монгола, выстреливала над далекими холмами свой запас золотистых змеек-молний. Она оттеснила полуденную ясность неба, заставив ее растечься по горизонту узкой синей полоской. Будет дождь, — Томас улыбнулся этой мысли. Холодный дождь... Может быть, такое же водное неистовство, как вчера. Освежающая процедура для прожженного зноем воздуха.

Томас перевел взгляд на глыбу неподатливого камня. Потом с силой толкнул его черенком лопаты. Никакого результата. Ничего, кроме спона белых искр.

Томас выругался. Громко и изобретательно, не забыв, наряду с камнем, упомянуть и поле. И себя заодно. Что же делать с чертовой громадиной, спокойно и невозмутимо покоившейся на дне двухфутовой ямы, которой он ее окружил? Забить под неподъемную машину колья и попробовать завести трактор, прочно их скрепив? Бесполезное занятие.

Яму следовало углубить, тогда, может быть, этот проект и будет успешным. Холодная неподвижность этой штуковины бросала Томасу вызов. Он не хотел бы проиграть в предстоящем поединке.

Проклиная судьбу, Томас снова замахал лопатой. Первая капля дождя упала ему за шиворот. Еще одна — на руку. Вряд ли он заметил их, поглощенный лишь поставленной целью. Томас знал по собственному опыту, что достичь ее можно лишь отрешившись от окружающего. Опустив очищенную от мыслей и сомнений голову, он не видел ничего, кроме земли, лопаты, камня и кусочка себя самого.

Рывок вниз, бросок вверх... Гипнотизирующая ритмика усилий овладела им полностью. Он не помнил, сколько это продолжалось. Рывок вниз, бросок вверх... Пока состояние механического транса не нарушило пошатывание камня.

Сознание и чувства снова вернулись к нему. Томас выпрямил затекшую спину, не вполне убежденный в том, что движение камня не было зрительным обманом. Но это повторилось, когда Томас покачал лопату, просунув ее под твердь громоздкой машины. Сомнений не оставалось — он может считать себя победителем. Он имеет право хотя бы улыбнуться, но мускулы изможденного лица словно окаменели, не позволяя раздвинуть губы... Томас переубедил этого упрямца.

Он чувствовал, как капли дождя приятно охлаждают разогретую кожу, смывая с нее печать усталости. «Сейчас я тебе покажу», — сказал Томас, загнав под камень еще пару кольев. «И это тоже тебе», — в землю вошел третий кол. Вошел глубоко — гораздо глубже остальных. Словно достигнув недр, он выпустил наружу отвратительно пахнущее желтоватое облачко какого-то газа. Томас отшатнулся, чтобы глотнуть земного воздуха, более приемлемого для вдыхания. Но сделать это он смог, лишь очистив горло и легкие от наполнившего их подземного «кислорода». Томас закашлялся, выколачивая из себя остатки гнилостных паров. Они выходили вместе с мокротой, выстреливая в нос режущим зловонием. Томас подумал, что запах подземных слоев напоминает ароматы давно не чищенного зверинца.

Скрепя сердце и стараясь дышать через рот, он снова приблизился к глыбе. Ему казалось, что череп слишком сильно сдавливает его мозг, что стесненное сознание хочет

выскочить на свободу, избежать своей участи быть уничтоженным давлением отяжелевшей головы.

— Вот тебе, — яростно выкрикнул Томас, и под камнем оказался еще один кол. Спину ломило так, словно она готова была вот-вот треснуть. На правой руке вскочил волдырь — укус слепня, беспрепятственно насладившегося его кровью.

Вряд ли Томас осознавал, что с ним происходит.

— Давай же, давай, давай, — зачем-то повторял он. И камень начал вращаться.

Просто так. Сам по себе, без его помощи. Затем он снялся с места, к которому так крепко прирос. Томас приблизился к лопате все еще лежащей под ожившей громадой. Он хотел спасти свою вещь, почувствовав вдруг, что она является частью его самого. Частью, находящейся в устрашающем соприкосновении с этой ямой. Он не мог бросить ее, не мог оставить в соседстве с огромным камнем, который, казалось, раскачивал зловонный глубинный гейзер, отравляя воздух желтыми испарениями, заставляющими его мозг скакать в голове.

Он дернулся ручку изо всех сил. Она не шелохнулась.

Выругавшись в ее адрес, он ухватился за нее обеими руками, вытянул их, чтобы находиться в предельно возможном удалении от ямы с камнем. Он тянул — камень вращался. Все быстрее и быстрее, расшвыривая камешки, землю и червяков.

Он сделал еще одно отчаянное усилие. Бесполезно. Не понимая, что происходит, да и не в силах это осознать, Томас продолжал бесплодный труд. Нужно только вытянуть лопату. Вытянуть свою лопату и убраться отсюда к чертовой матери.

Камень шатался и дрожал, но не отпускал ее, словно он яростно сражался за право обладания. Томас тоже отстаивал это право. Он был ее настоящим владельцем, и никакая резь в животе не способна помешать ему восстановить справедливость. Или он убежит с лопатой в руках, или...

Почва под ногами затрещала и начала сыпаться. Еще один ядовитый выхлоп — камень покачнулся и откатился к краю ямы. На ее дне Томас увидел то, что держало черенок лопаты так крепко.

Нечто ужасное.

Рука была настолько широкой, что черенок легко умешался в ладони. Рука шевелилась. Она жила.

Страшные сказки, которые старый Томас Гэрроу рассказывал когда-то своему сыну, посадив его на колени, оказались реальностью: растресканная земля, хозяин подземного королевства. Все это было рядом с ним. Здесь. Сейчас.

Нужно было бросить лопату и бежать, но он не смог этого сделать. Правила игры диктовались из-под земли — Томасу следовало им подчиняться. Пальцы не разжимались. Его пальцы. Он тянул лопату на себя, чтобы не свалиться в яму. Другого выхода не было: бороться до тех пор, пока не лопнут сухожилия или не сорвутся мышцы.

До Голого Мозга доносился запах земного неба — воздух проникал в его легкие через тонкую земляную корку. Он был слишком легок и ароматен для огрубевшего среди удручающего смрада обоняния. Слишком приятен. Он дразнил его безумными восторгами, которые сулили отвоевание его Королевства; в нем бушевала когда-то выпитая человеческая кровь. Снова на свободу после стольких лет заточения — предвкушение затопляло его волнами удовольствия.

Тысячи червей, запутавшихся в его волосах, несметные полчища красных паучков, облепивших огромную голову, — тысячи лет это угнетало и раздражало его. Особенно мучительно было шевеление лапок паучков, забравшихся в мякоть макушки. Но страданиям скоро настанет конец — его голова уже почти над поверхностью. Еще выше. Еще. Он уже мог видеть, кому обязан своим освобождением. Все, что Голому Мозгу сейчас хотелось, — это чтобы Томаса не покидали силы. Чтобы он продолжал тянуть, балансируя на краю ямы. Ему нравилось свое странное рождение на свет: медленный, дюйм за дюймом выход из могилы.

Неподвластная его усилиям тяжесть громадного камня была преодолена. Можно было спокойно выбираться из подземной темницы — никаких помех, кроме окружающей его рыхлой земли. Вот он уже высунулся по пояс: плечи раза в два шире и мощнее человеческих, чудовищная сила в покрытых рубцами ручищах. Красные кровавые разводы на них казались пигментом на крыльях только что появившейся в этом мире гигантской бабочки. Бабочки, получившей возможность заблистать в нем своей дикой красотой. Длин-

ные смертоносные пальцы извивались в земле — их наполнили жизненные соки.

Томас видел это. Он не делал теперь ничего. Только смотрел. Только смотрел, испытывая непередаваемый ужас. Это вряд ли мог быть страх, потому что смерть вряд ли всего лишь страшна. Особенno та, которую Томас и не мог себе представить.

Голый Мозг был теперь на поверхности. Весь. В первый раз за несколько веков он смог выпрямиться, разогнув спину, стоя на земле во весь свой рост, возвысившись над фигурой бедного Томаса на целые три фута. Слипшиеся комья влажной почвы срывались с его тела, падая на дно ямы.

Зловещая тень, отбрасываемая чудовищем, надвинулась на Томаса. Он все стоял, уставившись в проломленную землю. Правая рука крепко сжимала ручку лопаты. Она вернулась к нему. Но какое это имело значение? В следующую секунду он оказался висящим в воздухе — Голый Мозг поднял его за волосы. Кожа на голове треснула под тяжестью тела, оставив скальп в лапах чудовища. Тогда Голый Мозг обхватил его шею. Слишком тонкую для громадных пальцев.

По лицу Томаса бежала кровь. Смерть неминуема и неизбежна, и он понимал это. Потрясенный, он наблюдал за бессмысленным болтанием собственных ног, потом он отвел от них взгляд и посмотрел на безжалостного мучителя. Прямо в лицо.

Огромное, напоминающее диск полной луны, оно светилось, как янтарь в лучах солнца. Это было самое бледное лицо, какое Томас когда-либо видел. Самые огненные глаза из всех, существующих в этом мире, сверкали пламенем животной дикости на фоне мертвенно-тусклого сияния. Будто кто-то вырвал чудищу настоящие глаза и вставил в зияющие дыры мерцающие свечи.

Томас разглядывал поверхность страшной луны. Один глаз, другой, два влажных отверстия, служивших ей для вдыхания воздуха, рот... Томас содрогнулся: он стал входом в широкую и глубокую пещеру, разделившим сияющий лунный диск на две части. Господи, что за кошмарный рот, — эта мысль была последней в жизни Томаса. Луна снова стала полной, поглотив в себе часть его головы.

Король повернул бездыханное тело вокруг оси — неизменный ритуал, он всегда поступал так с мертвыми непри-

ятелями. С теми, кто просто оказывался на его пути. Потом он швырнул его вниз головой в ту жуткую подземную могилу, в которой, по мнению его победителей, он сам должен был находиться вечно.

Король был уже в миле от «Поля в Три Акра», когда над городком разбушевались небесные силы. Он укрылся от неистового ливневого потока, найдя убежище в конюшне Николсона. Сильный дождь не мешал жителям Зела заниматься хозяйством. Какое им дело до дождя? Какое дело до того, что в моменты их рождений созвездия располагались так, что в городке не оказалось ни одной Девы? Какая им была разница, что написали в еженедельном «Официальном бюллетене» в разделе «Звезды и ваше будущее»? Их это вовсе не интересовало. Наверное, поэтому находящимся среди них Близнецам, Львам и Стрельцам не могла прийти в голову мысль, что следовало бы несколько дней не выходить из дома, на всякий случай задвинув двери на засовы. Что следовало бы быть осторожнее, поскольку трем Львам, одному Стрельцу и одному Близнцу в прогнозе на следующую неделю была напророчена внезапная смерть. Но зелийцы ничего не смыслили в астрологии. Может быть, именно невежество спасет их?

Тучи наливались свинцом — все плотнее становилась серая завеса дождя, который свирепствовал с яростью, не характерной для этих широт. Вода лилась сплошным стремительным потоком. Она была везде — над головой и под ногами. Она заполнила собой воздух, словно вытеснив его полностью, и окружив собою людей, которые решили наконец, что стоит спрятаться.

Так подумал и Ронни Милтон, принимавший вторую за этот год дождовую ванну. Он не сделал сегодня ничего — просто стоял у разобранного кузова землечерпальной машины и наблюдал природные катаклизмы. Ураганные вихри ливня, бушующего вокруг, вывели его наконец из ленивого созерцания, наведя на мысль вернуться в дом, поболтать с женщинами и проводить скаковых жеребцов.

Три зелийца, которые околачивались около дверей, ведущих в Почтовое ведомство, раскрыв от удивления рты, наблюдали за тем, как крупные капли разбивались вдребезги об острый край крыши и как в воздухе таяла дымка мель-

чайших брызг. Через полчаса они обнаружат, что в самом низу Главной авеню теперь находится речка и что по ней уже можно плавать на лодке.

А еще дальше — вниз по течению всевозможных рек и ручейков — в церкви Святого Петра, в ее молитвенной комнате находился Деклан Эван. Священник видел в небольшое окошко, как дождь становился струящимся по холмам потоками. Как десятками они сбегали вниз, подпитывая водой маленькое море, которым смывались теперь церковные ворота. Наверное, в нем уже можно было утопиться... Что за странная мысль? — Деклан перестал изучать водные просторы и попробовал возобновить прерванную молитву. Что владело им сегодня? Он не знал. Какое-то загадочное возбуждение: он не смел, он был не в силах, не хотел, наконец, от него избавиться. Чем оно вызвано? Грозой, пробудившей воспоминания о его детских восторгах, связанных с этой стихией? Нет, нечто более глубокое и таинственное потрясло его душу. Даже не воспоминание — целая лавина переживаний, объяснить которые словами он не считал возможным. Он словно снова стал ребенком — нет ничего более сладостного и желанного для взрослого человека. Он ждал Рождества. Он знал, что скоро к нему придет Санта Клаус. Самый настоящий. Просто восхитительно. Представив, как веселый дед с белоснежной бородой смотрелся бы под сводами церкви, Деклан едва не взорвался хохотом. Он сдержался, рассудив, что священнику не стоит сотрясать стены молитвенной громким смехом. Пусть лучше тайна сама смеется внутри него. Пусть она постепенно раскрывается ему.

Лишь один человек все еще был под дождем — Гвен Николсон, промокшая до нитки и покрикивающая на брыкавшегося и шарахавшегося при каждом раскате грома пони. Что за глупое и пугливое животное было у Амелии! Завести его в конюшню оказалось делом непростым — Гвен совсем выбилась из сил и была способна только на крик.

— Зайдешь ты наконец или нет, чертова зверюга? — голос звучал так громко, что заглушал рев стихии, которая нещадно хлестала бедного пони по загривку, расправляя густые волосы вдоль шеи. — *Ho, пошел! пошел!*

Пони продолжал упрямиться. И чем чаще над двором звучали глухие удары, тем труднее было сдвинуть его с

места: страх сковывал пони все сильнее. Гвен крепко шлепнула его по заду — вряд ли животное заслуживало столь сурового наказания. Боль сделала его более послушным — теперь усилия Гвен не были напрасны.

— Теплая конюшенка, — говорила она обещающим тоном. — Входи, а то весь промокнешь. Зачем тебе стоять под этим дождем?

Пони медленно сдавался натянутому стремени. Конюшня была совсем рядом, дверь приотворена. Словно приглашает, подумала Гвен, взглянув на нее. Она была уверена, что пони тоже так считал, но, оказавшись в каких-нибудь полутора шагах от входа, животное снова заупрямилось. Пришлось подстегнуть его еще одним шлепком. Подействовало.

В помещении оказалось сухо. Пахло чем-то сладковатым, и в воздухе совсем не было металлического привкуса, которым заполнила городок буря. Привязав животное к стойлу, Гвен небрежно бросила полотенце на блестящую от влаги спину. Теперь очередь Амелии им заниматься. У них был договор. Они заключили его сразу же после того, как решили купить пони: ее дочь будет следить за чистотой скотины и ее упряжью, а Гвен — помогать Амелии всякий раз, когда она этого попросит. Сегодня ей трудновато было выполнить свою часть договора.

Паника не покидала животное. Оно было копытами. Оно вращало глазами, словно плохой трагический актер, пытавшийся подчеркнуть глубину своих переживаний. На губах выступила пена. Что же с ним? Почему оно так взволновано? У Гвен лопнуло терпение — она шлепнула ладонью мокрый бок. Паника, похоже, хотела овладеть и ей, но она быстро взяла себя в руки. Боже мой, если Амелия это видела... Гвен жалела, что погорячилась и принесла страдания живому существу, но как она будет объяснять все дочке? Только бы та не стояла сейчас у своего любимого окна в спальней, только бы не видела этой некрасивой сцены...

Внезапно дверь захлопнул сильный порыв ветра. Звуки бури, бушующей во дворе, изменились и зазвучали приглушеннее. Стало темно.

Топот пони прекратился. Гвен прекратила вымаливать у животного прощение. Ей казалось, что сердце в груди тоже прекратило свой стук.

Фигура устрашающих размеров — раза в два выше Гвен — предстала за ее спиной во всем своем величии, разворочив стог сена. Гвен почувствовала легкую дрожь, овладевшую на мгновение ее телом. Она не была вызвана испугом — Гвен не знала, что сзади нее шевелилось нечто ужасное. «Проклятые месячные», — подумала она, медленно поглаживая кругами низ живота. В этот раз они наступили на день раньше. Никогда с ней такого не случалось. Надо пойти в дом, сменить белье, вымыться.

Чудовище, изучавшее затылок Гвен Николсон, знало, что стоит легонько ущипнуть эту шею, и жалкое существо будет близко к смерти. Оно не задумываясь сделало бы это, но запах кровавого цикла приказывал не трогать это тело. Он отпугивал монстра, не смевшего притронуться к носителю запретного табу. Перед женщинами, помеченными этим знаком, он был бессилен.

Учуяv сырость ее лона, он выскочил из конюшни и притаился за стеной, окатываемый бушевавшим ливнем. Его жертвой будет пони. Пусть он еще немного подрожит от ужаса перед смертью.

Голый Мозг услышал, как повернулись женские ноги, направившись к выходу. Хлопнула дверь.

Он ждал — эта женщина могла снова вернуться. Все тихо... Прокравшись в конюшню так осторожно, как только мог, он принял стойку для атаки и бросился на животное. Копыта барабанили по его телу — пони отчаянно сопротивлялся. Для Голого Мозга это были семечки — онправлялся и с более крупными зверями, он выносил удары более страшных копыт.

Его рот открылся. Клыки вышли из кровоточащих десен, словно когти из лап кошки. Они показались на обеих челюстях, возникнув из двух рядов глубоких и ровных ямок. В каждом ряду их было не меньше двадцати. Они скрипнули, впиваясь в мясо на загривке жертвы. Густая сочная кровь наполнила горло Голого Мозга — он сделал огромный глоток, почувствовав самый жгучий вкус в этом мире. Вкус, дающий силу и мудрость. Вокруг него было множество самых изысканных деликатесов. Он отведал одно из них, но не забыл, что существуют и другие. Он перепробует все, что только пожелает, и никто не помешает его пиру. Он будет насыщаться, наливаясь могуществом.

Он не пожалеет никого. Ведь это *его земля*, и он хозяин всего, что на ней находится. Эти жалкие люди не знают пока этого — ничего, он покажет им, у кого настоящая власть! Он спалил их заживо в собственных домах, убьет их детей и, выцарапав им кишкы, сделает из них трофейный амулет. Это разубедит людей в том, что им предрешено господствовать на этой земле, что эти просторы находятся в их распоряжении. Перед его мощью бессильным окажется все, даже силы Неба. Никто и ничто не победит и не накажет его впредь.

Скрестив ноги, он сидел на полу, перебирая розовато-серую массу внутренностей пони. Он хотел разработать план, но что-то не думалось. Зачем нужны мысли, если его жизнь определяла одна лишь жажда крови. В его сущности нашли выражение чудовищная ненасытность и непрекращающийся голод. Все его поступки объяснялись и, может быть, оправдывались колоссальным аппетитом. В его бесконечном утолении, в постоянном насыщении он видел свое царственное предназначение.

Дождь лил уже больше часа.

Лицо Рона Милтона выражало нетерпение. Судьба не очень-то благоволила к нему, наградив язвой желудка и сумасшедшей работой в Агентстве дизайна. Жизнь этого человека не была столь уж простой: он считал, что большинство окружавших его людей лениво и ненадежно. Он готов был обидеться за это на все человечество. Профессия требовала от Рона молниеносных решений, быстроты действий. Он великолепно подходил для своей должности. Никто не оказал бы вам услугу в те считанные секунды, которые занимало ее выполнение у Рона. Неудивительно, что этот человек раздражался всякий раз, когда обнаруживал, что дела с обустройством его дома и сада обстоят не лучшим образом. Долго уже слышал он обещания и убеждения в том, что к середине июля все будет закончено: сад промерят и спланируют, землю разобьют на участки, выложат дорожку для подъезда машины. Но до сих пор здесь не было ничего подобного: половина окон не застеклена, входная дверь и вовсе отсутствовала. Сад имел такой вид, словно в нем не так давно проводились военные учения. Вместо дорожки — гниющее болото.

Он хотел, чтобы здесь возник его замок, который спасал бы его от постоянного присутствия в мире, не одарившего его ничем, кроме дурного пищеварения и кучи денег. Тогда он мог бы оставить деловую лихорадку города и скрыться здесь, наблюдая за поливающей розы Мэгги и детьми, резвящимися на свежем воздухе. Но мечты оставались мечтами: видимо, этой зимой придется сидеть в Лондоне. И все по вине каких-то несчастных лодырей.

Мэгги раскрыла зонтик. Она стояла рядом, защищая мужа от дождя.

— Где дети? — поинтересовался тот.

Она ответила с легкой ужимкой:

— В отеле. Наверное, уже успели надоесть миссис Блэттер.

Нельзя сказать, что Энид Блэттер были незнакомы детские шалости. У нее тоже были дети, и она любила их за непринужденное веселье и баловство. Но терпеть фокусы этих бесенят уже шестой раз за лето? Миссис Блэттер начинало это раздражать.

— Давай лучше вернемся в город.

— Что ты, не надо. Мы можем уехать и в воскресенье вечером. Прошу тебя, побудем здесь еще два дня. Сходим все вместе на праздник Урожая.

Теперь ужимка появилась на лице Рона:

— Это еще зачем?

— Рон, мы ведь здесь не одни. Я имею в виду наш городок. На празднике будет много народа — почти все местные жители. Просто неприлично быть таким равнодушным к народным традициям. Нам же жить среди них.

Ее муж выглядел обиженным мальчишкой, готовым зареветь в любой момент. Она знала, что он сейчас скажет...

— Я не хочу туда идти.

— Но у нас нет выбора.

— Мы могли бы уехать сегодня.

— Ронни, перестань...

— Что нам тут делать: детям скучно, ты становишься какой-то невыносимо занудной...

Мэгги понимала, что Рон проиграл.

— Можешь ехать, если так этого хочешь. Возьми детей, а я останусь здесь.

«Довольно хитрый ход с ее стороны», — подумал Рон. Два дня в городе, да еще в окружении детей — он не представлял, как это можно было вынести. Нет уж, тогда лучше остаться.

— Ладно, Мэгги. Считай, что ты меня уговорила. Мы идем на этот чертов праздник.

— Что за слова? Побойся Бога.

— Ты же знаешь — я уже давно ему не молюсь.

Он был в плаксивом расстройстве. Глядя на буераки, он пытался представить траву и розы. Но не мог.

На кухню вбежала белая, как полотно, Амелия Николсон. Она посмотрела на мать и упала на пол. Зеленую курточку заляпала рвота. На высоких сапожках была кровь.

Гвен позвала Денни. Их маленькая девочка дрожала и металась, словно в бреду. Она пыталась говорить, но слова проглатывались тихим всхлипыванием.

— Что с ней случилось? — Денни буквально слетел с лестницы.

— Боже мой...

Амелию опять рвало. Лицо посинело.

— Объясни же наконец, что стряслось!

— Не знаю. Она только вошла и... Лучше вызови санитарную машину.

Денни наклонился и дотронулся до щеки ребенка.

— Это шок, — констатировал он.

— Денни, санитарную машину. Скорее!

Гвен снимала с девочки курточку и расстегивала пуговицы на ее блузке. Денни медленно выпрямился и подошел к окну, ставшему матовым от потоков дождевой воды. Он все же мог разглядеть в нем свой двор: дверь в конюшню колыхал ветер. Потом мощный порыв захлопнул ее. Там кто-то был — Денни почувствовал движение внутри.

— Ради Бога, санитарную машину... — повторяла Гвен.

Но Денни не отреагировал. В его владениях находился чужой, и он знал, как следовало поступить с нарушителем.

Дверь снова открылась. До него донесся еле слышный скрип. Потом что-то скользнуло во тьму. Что ж, пора вмешиваться.

Стараясь не отводить бдительных глаз от входа в конюшню, он потянулся за винтовкой, висящей на входной двери.

Наконец она оказалась в его руках. Тогда он оглянулся. Гвен пыталась дозвониться до медицинской службы, оставив стоявшую девочку на полу. Кажется, та начинала приходить в себя. Какой-то оборванец в заляпанной одежде забрался в конюшню и напугал ее до потери сознания — вот и все. Что ж, надо выгнать его оттуда к чертовой матери.

Открыв дверь, Денни шагнул во двор. Вакханалия дождя прекратилась. Только ветер бушевал в остуженном воздухе, продувая насквозь легкую рубашку. Земля под ногами блестела черным стеклом луж. Он шел к конюшне под аккомпанемент стучащих капель, падающих с карнизов и портика.

Дверь снова печально скрипнула. На этот раз, ее не захлопнуло ветром. Денни не мог ничего разглядеть внутри. Никакого движения. Никаких звуков. Странно, не могло же все это ему почудиться...

Он присмотрелся. Да! Здесь кто-то есть... Чьи-то глаза наблюдали сейчас за ним, за винтовкой, за каждым его движением. Наверняка, в этих глазах был испуг, было волнение. Еще бы, он собирался подойти к ним поближе, приняв самый грозный вид, на который был только способен.

Он вошел внутрь уверенным и широким шагом.

Под правым ботинком хрустнул желудок пони. Повернув голову, он увидел его ногу, обглоданную до кости, сломанную у основания бедра. Копыто покрылось спекшейся кровью. От животного не осталось больше ничего. Денни чуть не вырвало. Это было уже слишком.

— Эй, ты! — вызывающе бросил он в темноту. — Вон отсюда! — он вскинул винтовку. — Ты слышал? Вон, я сказал, а не то разлетишься на мелкие кусочки.

В углу, где были сложены тяжелые тюки, что-то зашевелилось. «Попался, сукин сын», — пронеслось в голове Денни. В следующую секунду нарушитель смотрел на него уже с девятивалютной высоты.

— Бо-оже мой...

Махина стронулась с места и надвигалась на него — медленно, уверенно, без всякого страха. Он выстрелил, но пуля, попавшая, казалось, в самое сердце чудовища, не изменила его поведения.

Николосон бросился бежать. Ботинки проскальзывали на мокрых камешках — не было никакой возможности развить большую скорость. Преследователь находился уже в двух

шагах позади него. А его голова не меньше чем в одном шаге над ним. Услышав выстрел, Гвен бросила трубку телефона. Подойдя к окну, она увидела, как грузная исполинская туша настигла ее дорогого Денни. Немного согнувшись, чудовище схватило его за пояс брюк и зашвырнуло в воздух с такой легкостью, словно это было перышко. Достигнув в полете высшей точки, тело повернулось и рухнуло камнем на землю. Глухой удар отозвался в Гвен мощным сотрясением внутренностей. Гигант расплющил любимое лицо одним ударом.

У нее вырвался крик. Опомнившись, она зажала рот рукой, чтобы подавить его. Но поздно. Слишком поздно. Пронзительный звук уже гулял на свободе, уже достиг ушей чудовища. Оно обратило горящие глаза в ее сторону. Они смотрели, сверля злобными огнями оконное стекло. Силы Небесные, оно заметило ее! Голая громадина приближалась к ней, оскалив страшный рот.

Подняв лежащую на полу Амелию, Гвен крепко обхватила ее руками. Она прижала голову девочки к своей шее. Может быть, она не увидит этот кошмар. Нет, она не должна его видеть! Шлепанье тяжелых шагов становилось громче. Кухню заполнила зловещая тень.

— Укрепи мои силы, Господи!

Чудовище заслонило оконный проем. Искаженное сладострастной гримасой лицо расплющилось на мокрой поверхности стекла, которое сразу же треснуло, осыпавшись градом осколков на тело могучего исполина. Тело, которое ощущало запах мяса ребенка. Которое хотело только этого ребенка. Которое *скоро получит мясо ребенка*.

Оскол расплювившегося в ухмылке рта придавал ему вид существа, смеющегося над непристойной мыслью. Оно чавкало пастью, словно кошка, придушившая мышь и приближающая морду все ближе к лакомому блюду. С челюстей гиганта бежали слюни.

Гвен проскочила в прихожую — чудовище уже протискивалось в дом через пустую оконную раму. Запирая дверь, она слышала, как крушатся деревянные створки, как падает на кухонный пол глиняная утварь. Гвен вытащила всю мебель, которая только была здесь и начала загромождать ею вход: столами, стульями, вешалкой для пальто. В ее голову пришла мысль, что это хозяйство все равно будет раздавлено и превра-

щено в щепки, но ничем другим она не могла защититься. Амелия сидела на полу, там, где ее оставила мать. Удивление и благодарность были на ее лице.

В прихожей не стоило больше оставаться. Теперь наверх. Да, наверх. Подхватив дитя, казавшееся ей легким, словно пух, она заспешила к лестнице. Шум на кухне внезапно прекратился. Она остановилась, уже почти находясь у цели. Находясь выше, чем на середине лестницы.

Столь же внезапно ее сознание озарило сомнение в реальности происходящего, в оправданности страхов и существовании ужасного преследователя. Тишина и спокойствие царили внизу. Только пыль маленькими крупинками падала на подоконник и на медленно увядавшие цветы. Ничего другого там быть не могло. Ничего и никого.

— Мне это почудилось, — произнесла она.

Ясно как день — ей это померещилось.

Она села на кровать мужа, на которой они спали уже восемь лет. Попробовала попытаться разобраться в себе.

Наверное, она видела это во сне. В кошмаре, вызванном месячными и подсознательными фантазиями об изнасиловании, ей привиделся ужасный преследователь. Уложив Амелию на розовую подушку, набитую гагачьим пухом, она прикоснулась к холодному лбу девочки. Денни ненавидел розовый цвет, но все-таки купил это постельное белье для их спальни. Для нее одной...

— Мне это снится, — шептала она, медленно опускаясь по лестнице.

Комната погрузилась во мрак. Гвен повернулась, зная, что сон продолжается. Зная, кого она может в нем увидеть.

Он был там — герой ее кошмара. Подтягиваясь на широко разведенных паукообразных ручищах, скватившихся за раму верхнего окна, он время от времени показывал ей свои отвратительные клыки.

Амелия! Она бросилась обратно в спальню и, скватив дитя в охапку, побежала к двери. За спиной грохнуло разлетевшееся стекло, впустив в комнату холодные сквозняки. Преследователь уже здесь.

Она заметалась и рванулась к лестнице. Но он был рядом. Совсем рядом. Страшный рот издал восторженный рев, пламенные глаза были нацелены на недвижную девочку в ее руках.

Она была уже не в силах скрываться или сопротивляться. Ослабевшие руки недолго боролись за Амелию, пытаясь тянуть ребенка к себе.

Дитя вскрикнуло, глаза умоляющие смотрели на мать. Пальцы впились в ее лицо, когда Амелия почувствовала, что ее уже не держат любимые руки. Расцарапав ей щеку, они судорожно задрожали в воздухе.

Кошмар продолжался, и Гвен не могла больше его вынести — перед глазами все поплыло и закружилось. Потеряв равновесие на верхней ступеньке, она пошатнулась и начала падать вниз. Во врачающемся пространстве мелькало раздавленное лицо Амелии, хрустящее под нажимом частокола острых зубов. Голова Гвен стукнулась о перила, шея хрустнула. Оставшиеся шесть ступеней ее тело преодолело уже мертвым.

Когда над Зелом начали сгущаться сумерки, дождевая вода уже почти впиталась в капилляры почвы. В самом низком месте городка, которое еще недавно выглядело группой островков среди серой глади моря, вода возвышалась над поверхностью лишь на несколько дюймов, отражая глубины умиротворенного неба. Приятно для глаз, но неудобно для ног. Ревренд Кут тщетно уговаривал Деклана Эвана сообщить в Совет округа о засорении сточных каналов. Уже третий раз он повторял, как это важно для жителей, но Деклан застенчиво краснел и отговаривался.

— Прости, но в моем положении... Я же не...

— Я все понимаю. Но, Деклан, кто еще, кроме тебя, может нам помочь? Ты же не бросишь нас в беде?

Он сверкнул глазами в сторону священника. Приказывающий взгляд. Взгляд, пронзающий насквозь.

— Но ведь на следующий день дождь опять забьет их грязью.

Кут развел руками: как можно было спорить с этим упрямцем, использовавшим прописные истины для того, чтобы его оставили в покое, не обременяли лишними заботами. Он продолжал бы настаивать на своем, но были и другие, более злободневные вопросы, которые необходимо обсудить со священником. Прежде всего Воскресную проповедь. И загадочную причину, по которой Куту никак не давалось ее написание. Каждое слово в ней, сколь бы убеди-

тельным и возвышающим дух не считал его автор, становилось пресным и лишенным смысла, как только оказывалось на бумаге. Словно тяжесть, разлитая в сегодняшнем воздухе, давила на него и делала приземленным, затруднив возможность высоко парить. Кут подошел к окну. Он стоял к Деклану спиной и потирал ладони, которые начинал охватывать зуд. Наверное, на них снова появится налет экземы. Он не знал, как завести новый разговор, с каких слов его можно было начать. Их слишком непросто было отыскать, слишком трудно было произнести те, которые приходили на ум. У Кута было такое впечатление, что он разучился разговаривать в тот самый момент, когда это было жизненно необходимо. Ни разу за свои сорок пять лет ему не приходилось переживать это состояние.

— Мне можно уходить? — спросил Деклан.

Кут покачал головой:

— Останься на минуточку, — задумчиво попросил он, повернувшись к священнику.

Лицо двадцатидевятилетнего Деклана Эvana казалось лицом усталого пожилого человека: бледные потускневшие черты, начавшая лысеть голова.

«Как этот измученный страдальц может служить моему спасению? — думал Кут. — Чем он может помочь?» Ему стало смешно. Вот почему он затруднялся говорить: он чувствовал, что это ни к чему не приведет, что священник все равно не поймет его. Он не был ни глупцом, ни сумашедшим — он был представителем рода человеческого, посвященным в христианские таинства. И он был человеком, которому на пятом десятке жизни открылась крупица истины, которой он был одарен как чудесным подарком, ниспосланном Творцом. Деклан бы просто высмеял его, если бы Кут все это рассказал.

Он снял очки, чтобы не видеть священника отчетливо. Чтобы не обращать внимания на ухмылки, которыми будет искажаться его лицо.

— Деклан, этим утром я почувствовал нечто... Я бы назвал это... испытанием.

Деклан не произнес ни слова. Расплывшаяся фигура священника не шелохнулась.

— Не знаю даже, как это описать... Запас человеческих слов недостаточно, чтобы выразить... Но, честное слово,

никогда еще я не был свидетелем столь ясного проявления воли...

Кут сделал паузу. Он не был уверен в том, что следовало сказать что-то дальше.

— Бога, — произнес он робко.

Деклан молчал. Немного ослабевший Кут надел очки — лицо напротив было серьезно и спокойно.

— Объясни мне, в чем она выражалась? — у Деклана шевелились одни лишь губы.

Кут опустил голову. Целый день он пытался подыскать для этого слова, и не одно из них не казалось ему точным и правильным.

— На что это было похоже? — Деклан задал другой вопрос, но и на него было трудно ответить. В голосе священника была настойчивость.

Как он не может понять, что невозможно объяснить такие вещи словами. «Надо попробовать, — думал Кут. — Я просто обязан попробовать».

— Когда я стоял у алтаря после Утренней молитвы, — начал он, — что-то вдруг проникло в меня. Прошло сквозь тело, словно электричество. И у меня волосы встали дыбом... Да-да, именно дыбом.

Кут провел рукой по коротко стриженной голове, вспоминая о необыкновенном ощущении: устремившиеся вверх волоски казались ему тогда порослью жестких зерен имбиря. Он вспомнил, как наполнились дрожащим жужжанием его легкие. Его чресла. Как в них снова заиграла мужская сила, впервые за несколько лет. Признаться в этом Деклану? Нет, он не мог рассказать священнику о том, как стоял у алтаря с сильнейшей эрекцией, снова чувствуя свою полноценность, свою способность вкушать утерянные радости этого мира.

— Я не уверен... Не вполне уверен, что это было проявлением нашего Бога-Творца...

Ему хотелось, чтобы это было так. Чтобы Бог, которому он служил, оказался не только Творцом, но и Покровителем Мужской Силы.

— ...Я даже не могу ручаться, что он был христианским... Но он пришел ко мне, коснулся меня. Я чувствовал это.

Лицо Деклана оставалось непроницаемым. Кут смотрел на него несколько секунд, пораженный молчанием священника. Потом спросил, потеряв терпение:

— Ну и что?

— Что, ну и что?

— Тебе нечего на это сказать?

Деклан нахмурился — у висков собралась сеточка складок. Потом она исчезла, и он тихо произнес:

— Боже, помоги мне, — это был почти шепот.

— Что?

— Я тоже чувствовал это. Не совсем то, что ты описал, — вовсе не электрический шок... Нечто иное.

— Почему ты сказал «Боже, помоги», Деклан? Тебя что-то испугало?

Он не отвечал.

— Если в твоем переживании было что-то, чего я не испытал, — расскажи мне, Деклан... Пожалуйста. Я хочу это знать. Хочу разобраться. *Должен* разобраться.

Деклан поджал губы.

— Хорошо..., — глаза священника покинул налет холодного онемения и в них блеснул живой огонек. Не безысходность ли вызвала его?

— У нашего городка большое прошлое. Ты это знаешь — о нем ходило множество легенд. В том числе и о тех, кто когда-то здесь жил. О существах... обитавших здесь в незапамятные времена.

Кут знал, что Деклан разбирается в истории Зела. Вполне безобидное занятие для священника: прошлое есть прошлое.

— Еще до вторжения римлян, на этой земле были поселения. Никому не известно, как давно они возникли, к каким глубинам времен следует отнести их появление. Говорят, что на этом месте всегда стоял храм.

— Ничего удивительного, — Кут уверенно улыбнулся, рассчитывая на то, что Деклан решит поспорить по этому поводу. Кто знает, может, он услышит от него что-нибудь интересное. Пусть это будут и непроверенные факты — ему были бы приятны любые слова, хоть как-то связанные с той пядью земли, на которой Кут сейчас стоял.

Деклан помрачнел и продолжил рассказ:

— Еще раньше здесь был лес. Огромный и дремучий. Его называли Диким...

Кут заметил, что в глазах Деклана таилась ностальгия.

— ...Ни клочка окультуренной почвы — один лишь лес, размером в большой город. Лес, полный хищников.

— Кто же в нем водился? Волки? Медведи?

Деклан покачал головой.

— Нет, существа, некогда владевшие этой землей. Задолго до Христовой эры. Задолго до человеческой цивилизации. Потом привычные условия их жизни были нарушены. Трудно сказать, по какой причине, но скорее всего это было вмешательством со стороны людей. Многие из этих могучих чудищ погибли. Они были не похожи на нас, Кут. Не из плоти и крови, а... совсем другие.

— И что же?

— Те из них, что остались в живых, были замечены людьми и, конечно же, истреблены. Лишь одно дожило до четырнадцатого века, когда здесь уже умели писать книги, вырезая буквы на дереве и камне. Свидетельство того, что последнее из чудищ было захоронено в земле, существует. Оно на алтаре.

— Где? На алтаре?

— Да, под сукном. Я давно обнаружил его, но не придавал этому никакого значения. Но сегодня. Сегодня я... попробовал прикоснуться к нему.

Он сжал кулаки. Потом быстро выпрямил пальцы, показывая Куту свои ладони: кожа покрылась волдырями, из мест, куда только что впились его ногти, сочился гной.

— Это не опасно, — сказал он. — Ни для меня, ни для тебя. Но это впечатляет, правда? Ответь мне, Кут?

Первым делом Кут подумал, что Деклан подшутил над ним. Затем попробовал найти логическое объяснение услышанному. Потом в памяти всплыл афоризм отца: «Логика — убежище трусов».

— Люди назвали его Голым Мозгом.

— Кого?

— То существо, что они похоронили. Это даже написано в книгах по истории. У него была мягкая и мясистая голова, и она была того же цвета, что сияние Луны. У чудища не было черепной коробки и поэтому люди окрестили его именно так.

Деклан усмехнулся и продолжал, сияя широкой улыбкой:

— И еще он ел детей...

Страшное происшествие, случившееся на ферме Николсона, оставалось никем не замеченным до субботнего утра.

Мик Глоссоп, зачем-то выбравший для возвращения в Лондон не столь уж привычную для себя дорогу, увидел в левом окошке автомобиля странную картину: несколько громко мычащих коров пытались сломать задние ворота. Одна из них стояла в стороне и вращала мордой, тряся разбухшим выменем. «Ничего себе, — подумал Мик, — их не доили, наверное, больше суток». Он притормозил и вошел во двор.

Труп Денни Николсона уже покрыли полчища мух, хотя прошел всего лишь час с тех пор, как взошло солнце. Внутри дома обнаружилось то, что осталось от Амелии: клочки разорванного платья и брошенная в угол спальни ступня. Тело Гвен Николсон не было изувечено. Оно лежало около лестницы и на нем не было ни ран, ни свидетельств изнасилования.

В девять тридцать городок наполнился воем полицейских сирен. Жителям стало известно, что произошло вчера. На улицах начали спорить о том, что сделал убийца со своими жертвами: у полиции не было еще полной ясности в этом вопросе, и неудивительно, что каждый житель городка имел по этому поводу собственное мнение. Несмотря на расхождение во взглядах, все были солидарны в одном: то, что произошло, было неслыханной жестокостью. Никто не понимал, зачем убийце понадобилось тело бедной девочки. Оно тоже было пищей для споров.

Полиция решила использовать болтливость зелийцев, чтобы хоть как-то облегчить задачу отделу убийств. В трактире «У великана» был разбит штаб этого формирования: каждый мог прийти сюда и рассказать все, что хотел. Но это не прояснило дела. Никто не видел в городке посторонних, никто никого не подозревал, никто не замечал в окружающих перемен, которые могли толкнуть человека на такое убийство. Наконец все узнали еще одну новость. Ее принесла Энид Блэттер, пожаловавшаяся на то, что не видела Томаса Гэрроу-младшего уже сутки.

Его тело было найдено там, куда швырнул его гигант. В отвратительном состоянии: голова кишила червями, на ногах пристроились чайки. Голени, которые приоткрывали слегка задравшиеся штаны, были исклеваны до костей. Когда его поднимали из ямы, из ушей сыпались жучки и маленькие пауки.

В отеле тоже царила взбудораженная атмосфера. Гиссинг, сержант розыска, нашел в баре приятного и внимательного собеседника — Рона Милтона, который оказался, ко всему прочему, его земляком. Он непринужденно болтал с ним, попивая виски с содовой.

— Я двадцать лет провел на этой службе, — повторял распалившийся Гиссинг. — Ничего подобного я не видел.

Вряд ли он говорил правду. В своей жизни он видел не так уж мало ужасного. Взять хотя бы эту шлюху — вернее избранные участки ее расчлененного тела, которые обнаружила группа под его руководством в кейсе, оставленном в Агентстве пропаж. И наркомана, каждый день носившего этот кейс в Лондонский зоопарк, чтобы гипнотизировать им полярного медведя, и утопившегося в его же бассейне, когда стало ясно, что попытки тщетны. Разве не страшно было Стенли Гиссингу смотреть в его пустые мертвые глаза? Да, он повидал немало...

— Но это... было слишком ужасно, — убеждал он собеседника, — От этой жути меня чуть наизнанку не вывернуло.

Рон слушал полицейского и не знал, зачем он делает это. Наверное, лишь ради времяпрепровождения. Впрочем, нет: в молодости Рон был в партии радикалов и относился к блюстителям порядка и государственного строя, мягко сказать, не слишком по-дружески. Теперь он находил какое-то странное, причудливое наслаждение в том, что один из них раскрывал перед ним душу, признаваясь в собственных слабостях и геройствах.

— Он просто сраный псих, — говорил Гиссинг. — Поверь мне, больше он никто. Поэтому-то он от нас и не уйдет. Сцапать таких голубчиков не стоит труда. Они же не контролируют свои действия, не заметают следы. Им даже наплевать на то, живы они или нет. Он наверняка на грани самоубийства, этот придурок, разорвавший семилетнюю девочку в клочья. Видали мы таких.

— Правда?

— Еще бы. Рыдали словно дети, а сами заляпаны кровью так, словно вернулись со скотобойни. Ревели в три ручья. Слезы, истерики — будто они экзальтированные леди.

— Ну тогда вы его поймете.

— Это будет проще, чем сделать вот так, — Гиссинг щелкнул пальцами. — Это очевидно, как то, что Бог сотов-

рил яблоки. — Гиссинг остановил взгляд на циферблате своих часов. Потом на пустом стакане.

Рон не предлагал ему выпить.

— Ну ладно, — произнес тогда Гиссинг. — Мне пора возвращаться в город. Разрешите откланяться.

Он зашагал в направлении выхода, оставив Рона расплачиваться за бутылку.

Голый Мозг наблюдал за его машиной, ползущей по северной дороге, слабо освещенной огоньком на крыше. Шум мотора насторожил монстра, когда он перешагивал через небольшие холмы неподалеку от фермы Николсона. Голый Мозг был взволнован звуком, который издавал этот небольшой предмет: он рычал и кашлял так, как не мог ни один известный ему хищник. Но больше всего его поразило то, что этот зверь был укрощен человеком. Если он хотел отвоевать у людей свое Королевство, то почему бы потом не приручить, не подчинить себе самого послушного из этих зверей? Получится ли? Надо попробовать. Отогнав страх в сторону, Голый Мозг подготовился к сражению.

Он выпустил клыки.

Сон почти уже овладел Стенли, сидящим на заднем кресле автомобиля. Ему грезились маленькие девочки. Очаровательные нимфетки перебирали пальчиками складки на чулочках, перемещая их все выше и выше, — они собирались ложиться спать. Он был рядом. Он следил за их движениями и видел, как тонкая ткань медленно расправлялась на крохотных ножках, как складки исчезали над его головой. Он поднимал глаза и бросал взгляд на плотно обтягивающие бедра нижние штанишки. Этот сон часто посещал его. Стенли никому и никогда о нем не рассказывал, даже когда был пьян. И не потому, что стыдился — многие его коллеги могли поведать о гораздо менее невинных развлечениях и переживаниях, — он просто считал этот сон своим личным, предназначенным для него одного, доступным лишь ему одному. Сон был его тайной.

А на переднем сиденьи молодой шофер, работающий в полиции всего полгода, смотрел в зеркальце, не вполне уверенный в том, что глаза пожилого сержанта Гиссинга не откроются. Когда такая уверенность у него появилась, он протянул руку к приборной панели и рискнул включить радио: не терпелось узнать счет одного крокетного матча.

Австралия опять проиграла — не было повода устраивать ночное ралли. Вот где я смог бы пригодиться, — подумал он. — Надо бросать эту работу ко всем чертям.

Водитель и полицейский, занятые своими мыслями и мечтами, не заметили, что машину преследует страшное чудовище. Голый мозг, делающий бесшумные и огромные шаги, находился рядом с ревущим предметом, пробиравшимся сквозь ветер по темной дороге. Он не торопился перейти в наступление.

Наконец ярость чудовища достигла предела. Голый Мозг издал громкий и злобный рык. Под ногой вместо полевой травы оказалось гудронированное шоссе.

Шофер рванул руль, чтобы сбросить с крыши увесистую тушу монстра, впившегося зубами в сигнальную лампу.

Машина завиляла по мокрой дороге, левое крыло зацарапали ветви кустов, забивших в лобовое стекло. Спящий Стенли увидел, как девочка отпустила чулочную складочку — она поползла вниз по ноге, достигнув пола как раз в тот момент, когда автомобиль завершил свое трясущееся движение, врезавшись в железные ворота. Гиссинга выбросило на переднее сиденье, едва не задохнувшегося, но не пораненного. Водителя швырнуло через руль прямо в стекло — его нога тряслась у самого лица Гиссинга. Потом она остановилась.

Голый Мозг, соскочивший с просящего пощады зверя на дорогу, понимал, что тому пришел конец. Но он и сейчас отпугивал его: помятый бок скрипел, внутренности едва слышно шуршали, на смятой в лепешку морде продолжали гореть глаза. Однако он был мертв.

Голый Мозг выждал несколько мгновений, прежде чем подойти поближе, чтобы понюхать его раскрошенное тело. Воздух пахнул так ароматно, что дрожали ноздри. Вот что так благоухает — кровь этого железного зверя, вытекающая из разодранного живота. Голый Мозг задвигался уверенней.

Там, внутри, был кто-то живой. Он не пах мясом ребенка, что было бы лучше всего. Он пах мужским мясом. И у него были круглые бешеные глаза. И маленький рот, который он раскрывал так, словно был рыбой. Голый Мозг пнул железного зверя ногой — тот не реагировал. Тогда он выдернул кусок из его бока. Можно было вытащить из его внутренностей дрожащего укротителя. Как могло это жалкое создание

с трясущимися слюнявыми губками обрести власть над таким чудищем? Голый Мозг засмеялся и, выташив неудачного наездника за ноги одной рукой, поднял его над землей. Вниз головой. Очень высоко. Подождав, пока крики жертвы заглохнут, он просунул ручищу туда, где соединялись ее трясущиеся ноги, нащупав то, что отличало это существо от женщины. Предмет оказался небольшим. Он успел даже немного съежиться от страха. Гиссинг выкрикивал что-то невнятное, какой-то вздор. Его вряд ли мог кто-то понять. Тем более Голый Мозг, для которого лишь один звук, вырвавшийся из уст жертвы, был исполнен смысла: высокий и громкий писк, всегда следующий за кастрацией. Поступив так, как подсказывал ему инстинкт, Голый Мозг бросил Гиссинга на землю рядом с машиной.

В разбитом двигателе начал разгораться огонь. Голый Мозг знал этот запах: он не был тем хищником, которого можно было отпугнуть его жаром. Наоборот, он почтительно и уважительно относился к нему. Огонь был на его стороне — не раз он уничтожал им своих врагов, кремируя их заживо в собственных постелях.

Когда пламя, нашедшее бензин, взвилось в воздух, он чуть отступил назад. Все вокруг озарилось оранжевым маревом. Он чувствовал, как тлели волосы на его теле. Но он не беспокоился о них — его внимание поглотила картина бушевавшей огненной пляски. Пламя вобрало в себя Гиссинга, танцуя неистовым вихрем над бензиновым морем. Голый Мозг смотрел, усваивая очередной урок. Еще один урок смерти.

Кут боролся со сном. Похоже, что он готов был проиграть ему, поскольку занятие, которым он отгонял его, было бесполезным. И все-таки сегодняшний день прожит не зря. Весь вечер, закончив беседу с Декланом, он провел у алтаря. Перед тем как лечь спать он молиться не будет — просто прочитает небольшой отрывок из Библии. Он подумал об этом, когда стало ясно, что расшифровка копии свидетельства, вырезанного из дерева, ему не удастся. Он смотрел на нее, вытаращив глаза, вот уже больше часа — никакого эффекта. То ли эту штуковину мог прочитать далеко не каждый, то ли его забитая мыслями голова отказывалась воспринять, что стояло за этими буквами. В

них Кут разглядел не так уж много: только то, что захоронение когда-то имело место и что опущенный в землю превосходил своим ростом всех, кто пришел посмотреть на эту процедуру. Куту вспомнился трактир «У великана». Он улыбнулся: не в средние ли века чай-то острый ум выдумал это название?

Сбившиеся с ровного хода настенные часы в гостионой показали пятнадцать минут первого. «Уже час», — подумал Кут, оторвался от занятий, прогнувшись в позвоночнике, и погасил лампу. В наступившую темноту ворвалось холодное сияние полной луны, просачивающееся сквозь занавески. Необычайно яркое в кромешном мраке, изумительно красивое.

Кут создал для него преграду, опустив черную штору, и двинулася вдоль коридора. Звук его шагов повторяло тиканье часов. Больше ничего не было слышно, но неожиданно у холма Гуда пронзительно зазвучали сигналы санитарок.

Что случилось? Заинтересовавшись, он распахнул переднюю дверь: холм освещался мигающей иллюминацией голубых полицейских фонариков и колеблющимся светом фар других машин. В этих огнях было больше слаженности и ритмики, чем у звука часов за его спиной. На северной дороге крупная авария, а ведь шоссе еще не покрылось предательской ледяной коркой. Странно...

Холм переливался огнями, словно громадный бриллиант. В воздухе царили прохлада и сырость. Как же здесь холодно! Ему так хотелось узнать, что произошло. Если бы не этот...

Он вздрогнул: под деревьями в дальнем углу церковного двора что-то шевельнулось. В монотонном свете луны он разглядел сначала угрюмые стволы тиса, потом серые спины камней, затем и белые лепестки хризантем, разбросанных на могилах. В тени призрачно мрачных деревьев, еще более черная, чем ее покров, но вполне различимая на фоне светлого мрамора надгробных плит, стояла гигантская фигура.

Кут переступил порог.

Фигура не была одна: рядом с ней стояла на коленях другая, более напоминающая человеческую по размерам и очертаниям. Она подняла лицо, и Кут узнал его. Это был Деклан. Даже отсюда было видно, что он улыбался, смотря на чудище.

Кут решил взглянуть на эту сцену поближе. Он старался ступать бесшумно, но на третьем шагу под ногой хрустнула ветка.

Чудище зашевелилось в тени. Неужели оно оборачивается, чтобы посмотреть на него? Сердце екнуло в груди Кута. Хоть бы этот монстр оказался глухим. Господи, если ты только можешь, сделай меня невидимым!

Преклоненная фигура молилась. Другая, огромная и страшная, по-прежнему не замечала присутствия постороннего. Набравшись смелости, Кут двинулся к рядам могильных плит. Стараясь не дышать, он прыгал с одного мраморного островка на другой. Оказавшись в нескольких футах от того, что его интересовало, он увидел, как грозная фигура наклонилась над Декланом. Он слышал, как из глубин широкого горла гиганта вырывались урчащие звуки. То, что открылось его взору потом, шокировало бы любого нормального человека.

Одеяния священника были порваны и заляпаны грязью. Грудь его была обнажена. Свет луны играл на каждом ребре, на каждом мускуле. Смысл позы и внешнего вида не оставлял места сомнениям — это было поклонение и обожание обожаемому. Потом до Кута донеслось какое-то журчание. Он сделал еще шаг вперед и мог теперь видеть, как блестящая струя мочи гиганта била в лицо Деклана. Лицо, которое не хотело от нее отворачиваться, которое открыло рот, позволив жидкости клокотать в нем и пениться вокруг него, стекая ручьями по шее и животу. Глаза блестели огнями одержимой радости. Принимая наказание, Деклан болтал головой, в трансе от испытываемого осквернения и унижения.

Ветер донес до Кута запах этих отвратительных выделений: в них ощущались едкость кислоты и зловоние нечистот. Как Деклан мог вынести даже каплю этой мерзости? Но он купался в ней, словно в ванне. Кут хотел крикнуть, хотел остановить ужасное издевательство, но внушительные размеры гиганта образумили его.

Да, это он — хищник из Дикого леса, о котором рассказывал ему священник. Любитель детского мяса, — так ведь кажется окрестил его Деклан? Интересно, когда он пел этому страшилищу панегирики, знал ли он, что чудовище целиком владело его разумом? Что если оно снова бы появилось, он

бы, не задумываясь, встал перед ним на колени, уверенный в том, что перед ним настоящий Бог. «Задолго до Христовой эры. Задолго до человеческой цивилизации...» Сколько патетики было тогда вложено в эти слова! Неужели он всегда был готов с благоговением подвергнуться этой ужасной процедуре?

Да. Боже Всевышний, да!

Что же — тогда тем более не стоит рисковать. Пусть Деклан общается со своей святыней, — думал медленно отступающий назад Кут, не отводя ошарашенных глаз от происходящего. Божественная пытка прекратилась, но Деклан еще держал в дрожащих ладонях остатки пролившейся на него жидкости. Он поднес их ко рту и выпил.

В горле Кута сжался комок, заставив его сделать давящееся движение. Он закрыл глаза, чтобы не видеть эту картину. Когда они снова открылись, в них отразилась повернутая голова чудища, сверкавшая двумя дикими огнями.

— Господи Всемилостивый...

Оно увидело его. Именно теперь, когда он был так близко. Оно взревело, показав ужасную глубину пасти.

— Спаси и сохрани...

Мощное тело выгнулось с гибкостью антилопы и направилось к нему. Кут повернулся и бросился наутек: он никогда не развивал еще такой скорости. Его заносило на поворотах. Гигантскими прыжками он преодолевал возвышения могильных насыпей. Вот она! Дверь находилась всего в нескольких ярдах — слабая перегородка, за которой все же можно спастись. Ненадолго укрыться, прежде чем отыщется средство обороны. Беги же! Беги быстрее! Четыре ярда.

Он бежал.

Дверь была открыта.

Три ярда позади — впереди последний...

Достигнув порога, он молниеносно развернулся и толкнул дверь, чтобы отгородиться от близкого преследователя. Не получилось! Рука, раза в три толще человеческой, хватала когтями воздух, зажатая в щели. Она искала Кута. За дверью не прекращался злобный вой.

Кут всем телом налег на дубовую машину. Скрипящая железная окантовка билась о предплечье Голого Мозга. Вой стал бешеным и агонизирующим. В нем смешивались страдание и агрессивность — он перерос в невыносимо громкий

рокочущий шум, который разносил из одного конца Зела в другой бушевавший ветер.

Он добрался до северной дороги, где собирали и упаковывали в пластиковые пакеты Гиссинга и его шофера. Он отражался многоголосьем эха под сводами часовни Усыпания, где начинали разлагаться тела Денни и Гвен Николсон. Он был услышан теми, кто находился в своих спальнях: молодыми супругами, прижавшимися друг к другу, стариком, изучавшим рисунки трещин на потолке, детьми, мечтавшими о том, чтобы забраться обратно в материнские матки, еще не рожденными на этот свет. Он раздавался снова и снова. Все время, пока Голый Мозг корчился и неистовствовал за дверью.

Кут чувствовал, что мир плывет перед глазами. Голову охватил пожар. Рот лепетал бесконечные молитвы, но помощь небес не давала о себе знать. Силы покидали его. Мышцы дрожали в неимоверном напряжении, ноги уезжали назад, проскальзывая по безупречно отполированному полу. Каждый дюйм давался гиганту нелегко, но дверь все же медленно приоткрывалась. Толчок за толчком. Даже если бы Кут мог возвращать эти дюймы обратно, его положение оставалось бы безнадежным. Нужно было изменить стратегию, устраниТЬ безвыходность ситуации, из которой ему живым не выйти.

Кут подналег на дверь, лихорадочно обшаривая глазами предметы в прихожей. Где же оно — подходящее оружие? Этому чудищу нельзя позволить ворваться сюда, нельзя терпеть его унижения. В ноздрях Кута хозяйничал едкий запах. Ему представилось, что он преклоняет колени перед гигантом и по его голому телу начинает ползти вязкая вонючая жидкость. Воображение начинало рисовать ему другие картины. Он уже не мог усмирить воспламенившийся мозг. Сгусток отвратительных образов, перемешавшийся с воспоминаниями о недавно увиденном, опустился в глубины подсознания, выдернув оттуда дремавшие, казавшиеся ранее абсурдными мысли. Этому чудовищу требуется его служение? Он требует его, как и любой Бог? Но служение, которое будет ясным и понятным, ему больше понравилось бы, чем то, которое он до сих пор совершал. Кут продолжал защищаться, но на периферии сознания все еще раздавалось: сдаться неизбежности, колотящейся в дверь, лечь на пол и позволить ей себя раздавить.

Его имя пульсировало глухим ударами: Голый... Мозг...

Отчаяние или что либо иное, вызвавшее в нем раздвоение личности, не помешало мечущимся глазам наткнуться на стойки для одежды, стоящие слева от атакуемой двери.

Голый. Мозг. Голый. Мозг. Это имя повелевало. Оно заставляло действовать. Голый. Мозг. Голый. Мозг. Что, если загнать в такую голову палку? Наверное, это будет нетрудно. Скорее всего, она сразу разлетится на мелкие кусочки. Попробовать ее достать?

Он оторвал одну руку от дерева и выпрямил ее, чтобы дотянуться до трости, застрявшей между высокими вешалками. До своей самой любимой трости, которую он называл «Палочкой путешественника». Она была вырезана из эластичного ствола ясеня. И теперь она вновь была с ним.

Голый Мозг тоже использовал свой шанс: рука все глубже проникала вовнутрь, расшатывая полуоткрытую дверь. Острые края окантовки раскраивали его кожу, но он чувствовал лишь ткань пиджака Кута, оказавшуюся в пальцах.

Кут взмахнул своим оружием и опустил его конец на плечо Голого Мозга. Туда, где кожу приподнимала огромная кость. Средство обороны разлетелось в щепки, но свое дело сделало: снова послышался страшный вой, гигантская рука юркнула назад. Когда последний коготь исчез из поля зрения, Кут захлопнул дверь и задвинул засов. Передышка была короткой, не более двух секунд. Новая атака началась с барабанного стука кулаков, серии из двух ударов. Петли скрипели, дерево трещало. Пройдут еще какие-нибудь секунды, и чудище проломит себе вход — его силы удесятеряла ярость.

Кут быстро шел по прихожей к телефонному аппарату. «В полицию», — произнес он вслух и начал набирать номер. Сколько двоек сложится, чтобы сломать эту дверь, сколько времени потребуется чудовищу, чтобы достигнуть угла прихожей? Сколько минут осталось ему жить? Сколько секунд...

Сознание Кута металось в замкнутом круге, сотканном из молитв и вопросов. Оно хотело знать, заказано ли ему путешествие на Небеса, если он умрет самой ужасной из смертей, когда либо приходивших к викариям? Доступны ли будут райские кущи, если его внутренности выпустят наружу напротив молельной?

На полицейской станции дежурил единственный офицер — все остальные были заняты инцидентом на северной дороге. Он с трудом разбирал умоляющее бормотание Ревренда Кута и уже давно бы бросил трубку, если бы из нее не доносились доказывающие серьезность звонка звуки взламываемой двери и громкое рычание.

Он включил радиосвязь с патрульными машинами, но ответный сигнал пришел лишь через двадцать секунд — к этому моменту Голый Мозг уже выломал центральную балку двери в молельную, принявшиесь за другие. Полицейские не знали об этом. То, что они увидели здесь — обугленное тело шоferа, потерянное Гиссингом мужское достоинство, — сделало их безразличными к чужому горю. Целую минуту офицер убеждал их в неотложности этого вызова. Минуту, которая потребовалась Голому Мозгу для того, чтобы прорваться к Куту.

Из окон отеля Рону Милтону был виден парад огней, окружавших холм; он слышал доносившиеся оттуда звуки сирен. Раздался еще один звук — потрясающе громкий и рычащий. Рон недоумевал: действительно ли этот пригородный городок, который приглянулся ему, столь уж спокоен и безопасен? Он взглянул на Мэгги — она спала, но еще совсем недавно этот же шум потревожил ее. На столике рядом с ее кроватью стоял пустой пузырек снотворных таблеток. Рон чувствовал, что он должен спасти ее, предохранить от того, что могло угрожать ее жизни. Ему захотелось выглядеть в глазах Мэгги героем, но он, наверное, способен лишь рассмешить ее, ведь в то время, как он натянул себе лишний вес, съедая дорогие и сытные завтраки, его жена пропадала на занятиях по самообороне. Необъяснимая печаль наполнила его: он впервые ощущил себя слишком слабым, чтобы существовать в этом мире.

Голый Мозг вломился в прихожую молельни, весь увещанный впившимися в его тело щепками древесины. На его торсе, проколотом множеством заноз, зияли окровавленные раны. Пропитанное некогда ладаном помещение наполнил кислый запах пота.

Он жадно нюхал воздух, но не чувствовал присутствия человека. Раздосадованный, он оскалил зубы, выпустив из горла сгусток скопившихся газов. Потом он прыгающей

походкой направился к рабочему кабинету. Там было тепло, там было уютно — он знал это, хоть и был ярдах в двадцати от него. Перевернув стол кабинета и расколол об пол два стула, он грузно уселся на уцелевший, оказавшийся около камина. Выдернув его решетку, он с силой швырнул ее в стену и замер, уgomонившись. Жаркий воздух, живительный и исцеляющий, окружил его. Он проникал в пустой желудок, он согревал его конечности, он ласкал его лицо. Голый Мозг зажмурился от удовольствия: жар разливался в сосудах, разогревая в них кровь, вызывая в памяти картины полыхающих пшеничных полей.

Неприятные воспоминания снова были рядом. Он хотел прогнать их, но эта унижительная ночь все равно тревожила его воображение. Она будет с ним всегда. Вечно. Одна из коротких ночей того далекого лета, когда царила двухмесячная засуха, когда Дикий лес был усыпан обломанными сухими ветками, когда любое живое еще дерево с легкостью подхватывало поднесенный огонь. Тогда он был изгнан из своего дома, из своих владений. Тогда его, обескураженного и наполненного страхом, с красными от нестерпимой жары глазами, затянули в сети и пригвоздили острыми пиками, и он увидел *то*, чем люди хотели отплатить ему.

Они не хотели его убивать. Почему? Возможно, ими владел суеверный ужас. Нанося ему раны, они дрожали, предчувствуя гнев высших сил, который должен обрушиться на них за это. Они зарыли чудовище в землю, наградив участью еще более страшной, чем смерть. Хуже наказания, чем это, просто не существовало: чудовищу суждено было жить вечно. И навечно быть запертым во мраке подземной тюрьмы. Он должен был сидеть в ней, не зная, что одни века сменялись другими, что поколения людей рождались и умирали над его головой, давно забыв о его существовании. Может быть, лишь женщины вспоминали иногда о нем? Их запах проникал в его ноздри, когда они проходили неподалеку от могилы. Но потом исчезал. И они исчезали тоже: находя себе мужчин, они вскоре покидали с ними это место, и он каждый раз оставался в одиночестве. Именно одиночество угнетало больше всего: женщинам он был уже не нужен. А ведь когда-то он ловил их вместе со своими братьями в лесах, когда-то он обладал ими, оставляя потом лежать на земле окровавленными, но удовлетворенными. Через какое-

то время они умирали — они не могли вынашивать плоды этих изнасилований. Огромные младенцы-гибриды разрывали зубами стенки их маток и тоже вскоре погибали. Это была единственная месть ему и остальным хищникам со стороны человеческих самок.

Голый Мозг ударил себя в грудь и поднял глаза, увидев мерцающую в пламени камина репродукцию картины «Свет миру», которую Кут разместил на доске. Она не вызвала в нем желания раскаяться. Лишенные всякой сексапильности глаза страдалицы смотрели на него, удрученные горем и наполненные сопереживанием. Они не приглашали и не звали его. Осталось лишь одно место в этой фигуре, куда Голый Мозг мог направить свой возбужденный взор: та часть одежды, за которой девственница скрывала свою невинность. Семя Голого Мозга медленно потекло по стенкам камина, шипя на его горячей поверхности. Ему казалось, что мир уже лежит покоренный под его ногами. В нем было все, что он только мог пожелать: тепло, пища. Даже дети. Чтобы с ним всегда было их мясо.

Он выпрямился, облизываясь от мыслей. Его голову опьянил гнев.

Кут, укрывшийся в подземном склепе, слышал, как к молельне подъехала полицейская машина. Скрип тормозов. Шаги людей, ступающих по гравию. Их было с полдюжины — скорее всего, достаточно.

Осторожно двигаясь в темноте, он направился к лестнице.

Что-то вдруг прикоснулось к нему — он невольно вскрикнул.

— Не выходи туда сейчас, — раздался голос из-за его спины. Деклан. Он говорил слишком громко, и Кут не чувствовал себя уверенно. Существо было где-то наверху, может быть, даже совсем рядом с ними, и оно могло все узнать. Нужно быть предельно осторожными. Боже, оно не должно ничего услышать.

— Оно над нами, — прошептал Кут.

— Я знаю.

Эти слова словно вырвались из недр желудка. Но они были из горла. Горла, в котором клокотали грязные отбросы.

— Давай позволим ему спуститься сюда. Ты ему нужен, и тебе это известно. Он хотел, чтобы я...

— Что с тобой?

Лицо напротив Кута кривилось, словно это была гримаса сумасшедшего.

— Он не против того, чтоб и тебе дать свое крещение. Что ты о нем скажешь? Тебе понравилось? Ты видел, как он мочился на меня? Так вот: это еще не все, чего он хочет. О да, он хочет гораздо большего. Ему нужно все. Ты слышишь? Все.

Кут избавился от руки, державшей его. От крепкой хватки пальцев, пропахших кислым зловонием.

— Пойдем со мной, — хитрый взгляд приглашал Кута.

— Бог не велит мне делать этого.

Деклан рассмеялся. Не просто смех — в нем скрывалось искреннее сострадание к заблудшей душе.

— Он и есть Бог, — произнес он, — который существовал еще тогда, когда и в помине не было этой набитой дермом постройки.

— Собаки тоже существовали.

— Кто? Ну и что?

— А то, что я не могу только по этому позволять им себя трахать.

— А ты мудрец, я смотрю? — улыбка исчезла. — Лучше иди к нему — и ты изменишься. Ты оценишь это.

— Нет, Деклан. Я не буду делать этого. Оставь меня...

Он почувствовал, как руки Деклана сильно сдавили его.

— А ну шагай вверх, жалкая тварь. Не надо заставлять Бога ждать.

Он потащил Кута наверх, не ослабляя плотного кольца объятий. Кут искал слова, но они прятались от него. Сейчас он, как никогда в жизни, нуждался в логике, и она подсказывала ему только одно: невозможно было объяснить этому человеку, что он ошибается. Неуклюжий tandem оказался вскоре в главной башне церкви. Кут бросил взгляд на алтарь: может быть, к нему придет что-то вроде переосмыслиния? Нет — алтарь ничего нового ему не сообщил, потому что был осквернен. Обивка, грязная и распоротая, запачкана экскрементами; на ступенях полыхали молитвенники и церковные книги, сюда же были брошены крест и подставки для свечей. В удушливом воздухе летали хлопья сажи.

— И это сделал ты?

— Он хотел этого, и мне пришлось подчиниться.

— Но как он осмелился?

— Осмелился, что в том странного? Он не боится ни Иисуса, ни...

Внезапно Деклан снова бросило в пучину сомнений. Его сознание металось в недоумении и страхе.

— Но он действительно боится одной вещи. Если бы не так, он сам пришел бы сюда и сделал это своими руками...

Деклан не смотрел в сторону Кута. Его взгляд недвижно застыл.

— Чего же, Деклан? Что он не любит? Скажи же мне наконец!

Деклан повернулся к нему и плонул в лицо. Слизь поползла по щеке Кута, словно гусеница.

— Это тебя не касается.

— Ради Христа, Деклан, образумься! Посмотри, что он с тобой сделал!

— Я служу лишь тому, кого могу видеть. — Он встряхнул Кута и добавил: — И сейчас твоя очередь предстать перед ним.

Он повернул Кута лицом к северной двери. Она была открыта — на пороге стояло чудовище. Оно качало головой, словно кланялось. Впервые Кут увидел Голого Мозга при свете дня — впервые его ужас был подлинным. Он попробовал выбросить из головы эти размеры, этот взгляд, эти очертания. Не замечая их, он видел лишь медленную ровную поступь огромного зверя. Существа, которому он мог бы, наверное, служить. Оно не было уже зверем, несмотря на то, что имело гриву и скалило острые зубы. Глаза сверлили его светом, проникающим все глубже и глубже, — так не могло смотреть ни одно животное. Рот раскрывался все шире: в нем заскользили появляющиеся клыки. Они занимали уже два, затем три дюйма, но он продолжал распахиваться. Когда он заполнился, раздвинувшись на всю свою неимоверную ширину, Деклан отпустил Кута. Наверное, хотел, чтобы тот немного побегал. Но Кут не шелохнулся — над ним властновал пронзающий взгляд. Голый Мозг приподнял его. Все вокруг закружилось...

Кут ошибся ненамного: полицейских было семеро. Трое из них были вооружены согласно приказу сержанта розыска

Гиссинга. Его последнему приказу, который можно было считать теперь предсмертной волей. Семерку хранителей справедливости возглавлял сержант Айвеноу Бейкер: личность самоотверженная и даже героическая, то ли по причине склонности к риску, то ли из-за большого опыта опасной работы. Он заговорил. Его голос, обычно властный и громкий, был похож на визг, испущенный сдавленным горлом: из здания на пороге церкви показался Голый Мозг.

— Так, я его вижу.

Вряд ли кто-то не видел его. Эту девятивутовую громадину, забрызганную кровью и казавшуюся исчадием Ада. Те, у кого были карабины, вскинули их, не дожидаясь команды. Остальным оставалось целовать свои дубинки, заклиная их молитвами. Один не выдержал и бросился бежать.

— Вернуться на линию огня! — пронзительно пищал Айвеноу. Если все эти трусы разбегутся, он останется один. Дезертир подчинился, иначе ему пришлось бы почувствовать на себе, что такое гнев начальства.

Голый Мозг высоко поднял Кута над землей, держа его за шею. Ноги несчастного покачивались в фуре от нее, голова запрокинулась назад, глаза закатились. Монстр демонстрировал свое прикрытие неприятелю.

— Разрешите... пожалуйста... нам нужно застрелить эту гадость! — засуетился один стрелок.

Айвеноу слглотнул слюну, прежде чем как-то ответить хрипло:

— Мы заденем викария.

— Разве он не мертв? — спросил стрелок недоуменно.

— Мне это не очевидно.

— Он не может быть живым. Сами посмотрите...

Голый Мозг мял тело Кута, словно подушку, из которой начал высыпаться пух. Теперь Айвеноу видел, что стрелок скорее всего был прав. Голый Мозг неторопливо размахнулся и отбросил тело в его сторону. Оно врезалось в гравий, неподалеку от ворот и больше не шевелилось. У Айвеноу прорезался наконец настоящий голос:

— Огонь!

Стрелки начали выполнять эту команду еще раньше того, как заметили, что рот начальника начал раскрываться. Все, что нужно делать, и так понятно: жать на курок и как можно дольше.

На Голого Мозга посыпались пули. Некоторые попадали в него: три, четыре, вот уже пять ранений, и почти все в грудь. Пули обжигающие кусали его, заставляя защищать лицо и доблести самца. Он загородил их руками, предохраняя от неожиданно больных укусов, которые не сравнить было с ужалившей его пулей из винтовки Николсона. Страданий от ее жала он тогда не почувствовал, занятый лишь исполнением желанной мести. И сейчас она была с ним — слишком сильная, чтобы превратиться в ярость, в стратегию безжалостного нападения. Его охватил страх. Инстинкты подсказывали ему броситься на отрывистые хлопки выстрелов и вспышки взрывов пороха, но боль подавляла бурлящее желание. Он повернулся и начал вынужденное отступление, став подпрыгивающей при каждом удачном выстреле, движущейся к холмам мишенью. Он направлялся к зеленевшим за ними подлескам, надеясь, что там отыщутся подходящие для укрытия овраги или пещеры. Хоть какое-то место для спасения, где можно бы было обмозговать свою дальнейшую жизнь. Только бы уйти от преследования!

Стреляющие полицейские неслись вперед на своей боевой технике, добивая неприятеля в спину. Дух победы витал над их головами. Им даже не нужен был полководец — печальный Айвеноу остался, чтобы отыскать на могилах вазу и освободить ее от букетов хризантем.

Голый Мозг добрался-таки до середины холма. Вскоре хлопающие огоньки исчезли, и он почувствовал себя более уверенным и подвижным. Теперь нужно было раствориться во мраке, провалиться сквозь землю. Рванув по полю, он услышал, как свистят переспелые колосья, до сих пор не собранные людьми. Стебли разламывались, высypая изобилие зерен. Преследователи остановились, притормозив машину на окраине поля. Он видел их огни. Видел мерцавшее вдали синее и белое. Слышал их приказы. Голый Мозг не знал, что такое слова. Но даже если бы он понимал их смысл, они не сообщили бы ему ничего нового. Он знал, что самцы человека существа пугливые и что вряд ли они будут гоняться за ним всю ночь. То, что они кричат, ничего не означает. Они все равно испугаются темноты и подумают, что это вполне оправдывает их нерешительность. Они убедят себя в том, что раненый зверь не сможет выжить. Какие они наивные... Словно дети.

Голый Мозг вскарабкался на вершину большого холма, чтобы осмотреть окрестности. Внизу, по змейке дороги, бежали огоньки неприятельской машины: в примитивном калейдоскопе переливалось синее и красное. Больше никакого света — ничего, кроме слабого мерцания звезд. Придет день и снова восстановит пропавшую картину. Взойдет солнце, и городок окажется под ним, как на ладони. Сейчас Голый Мозг догадывался о его будущем лучше, чем кто либо из его жителей.

Он лег на спину, увидев, как в небе сорвалась с места оранжевая звезда. Потом она засверкала ярче и вспыхнула, сгорев на юго-востоке, озарив на мгновение краешек свинцового облака. Заря будет долгой и исцеляющей. Она вновь наполнит его силами. И тогда он спалит дотла все, что скрывается во мраке.

Кут был еще жив. Но смерть была так близко, что это ничего не значило. Восьмидесяти процентам его костей не суждено было, видимо, срастись. Черты лица пропали в переплетениях рваных ран, одна рука полностью раздавлена. Нет сомнений — он скоро умрет. В пользу этой версии были и время, и его желание.

Наутро жители могли убедиться в том, чтоочные звуки вряд ли были просто громким шумом. То, что выветрило вставшее над городком солнце, свидетельствовало о событиях не менее для них печальных, чем конец света: перевернутый вверх дном церковный двор, разбитая дверь молитвенной, кордоны бронированных автомобилей на северной дороге.

О празднике урожая не могло быть и речи. Его глашатаи не стояли у домишек, зазывая людей.

— Я хочу, чтобы мы вернулись в Лондон, — настаивала Мэгги.

— Еще вчера ты уговаривала меня остаться. Тебе, кажется, хотелось глубже вникнуть в суть народных традиций.

— Но вчера была пятница, и... здесь не было еще этого маньяка.

— Если мы уедем, то назад возвращаться уже не придется. Никогда.

— О чём ты говоришь? Конечно же, мы еще будем сюда приезжать...

— Если мы убежим, испугавшись этого места, — мы откажемся от него.

— Это смешно, Рон.

— Тебе хотелось показаться на глаза тем, кто здесь живет. Но сегодня мы рискуем присоединиться к тем, кто здесь погиб. Рискуем и завтра, и послезавтра. Как долго это будет продолжаться? Ты это знаешь? Нет. И если ты не хочешь узнать, закончились ли здесь эти безобразия или нет, — можешь ехать. И даже взять с собой детей. А я останусь здесь.

— Нет, Ронни.

Он тяжело вздохнул.

— Мне надо убедиться, что его поймали. Быть уверенным в том, что он больше здесь не появится. И тогда я скажу, что мы не зря выбрали это mestечко.

Она неохотно кивнула.

— Тогда давай хоть ненадолго выберемся из этих стен, Рон. Дети просто извели миссис Блэттер, я опасаюсь, не будет ли у нее истерики. Возьмем их с собой покататься на машине, а? Хоть немного подышим свежим...

— Почему бы и нет? — он стремительно встал.

Сентябрьское утро встретило их теплым благоуханием. Какие же сюрпризы может преподнести погода! По обе стороны от шоссе проносились пестрые ковры поздних цветов. Радостные птицы низко планировали над крышей машины. Небо синее, как в сказке, облака — фантазия в тонах цвета сбитых сливок. Здесь, в нескольких шагах от городка, таяли кошмары предыдущей ночи, растворяясь в изобилующей полноте дня. Настроение Рона поднималось с каждой новой милей, появлявшейся между ними и Зелом. Вскоре он даже запел.

Дебби беспокойно ерзала на заднем сиденьи: то «папа, мне жарко», то «папа, я хочу апельсинового сока». И, наконец, «папа, я хочу пи-пи».

Рон остановил машину на безлюдной ровной дороге. Пришлось играть в добренького папочку. Если и дальше ему будет отведена эта роль, то к концу дня дети избалуются окончательно.

— Итак, солнышко мое, сейчас ты сделаешь пи-пи, и мы поедем дальше, чтобы поискать тебе мороженое.

— А где же ля-ля? — спросила дочка. Это дурацкое слово было выдумано ее мамочкой.

Вмешалась Мэгги, лучше ладившая с девочкой в таких вопросах, чем Рон:

— Детка, сходи туда — на полянку около дороги. Видишь ее?

Дебби ничего не могла взять в толк. Рон обменялся с Яном полуулыбками.

Мальчик напустил на лицо смешливую гримасу. Он поддразнивал сестренку:

— Чего же ты не идешь? Давай, торопись, а то придется искать тебе более подходящее место и ты описаешься по пути.

«Более подходящее место, — думал Рон. — Что он имеет в виду? Уж не Лондон ли?»

Дебби никак не решалась:

— Я там не могу, мамочка!

— Почему?

— Меня там может кто-то увидеть.

— Что ты, никто тебя не увидит, — убеждал Рон. — Ты сделаешь, как скажет мама, и все будет в порядке.

Он повернулся к Мэгги:

— Сходи с ней, любовь моя.

Мэри не шелохнулась:

— Она и сама умеет.

— Ты же видишь — она боится. Да и как она перелезет через эту решетку?

— Тогда сходи с ней сам.

Рону не хотелось возражать — начался бы бессмысленный спор. Он выдавил из себя улыбку и сказал:

— Пойдем.

Дебби вышла из машины. Рон помог ей перебраться через железную ограду, за которой раскинулось широкое поле. Урожай с него уже был собран. Оно пахло... свежей землей.

— Ты что папа? Не смотри! — выговорила ему дочка. — Ты не имеешь права смотреть.

Как она любит командовать и управлять, а ведь ей всего девять! Она умела уже играть на его нервах не хуже, чем на фортепиано, которым занималась три года. Они оба знали это. Рон улыбнулся и зажмурился.

— Видишь? Папа закрыл глаза. Давай, девочка, делай все побыстрее.

— Только ты не вздумай подглядывать. Обещай, что не будешь подглядывать?

— Я не буду подглядывать, — торжественно продекламировал Рон.

Боже мой, она уже устраивает целый спектакль!

— Поторопись, мое солнышко.

Он обернулся в сторону машины: Ян сидел, склонив голову над страницами очередного глупого комикса, его глаза неподвижно замерли над чем-то уж очень интересным. Весь день он был угрюм и серъезен. Единственное изменение на его лице Рон заметил, когда они оба обменялись чем-то, напоминавшим улыбки. То, что отразилось на лице Яна, вряд ли было естественным — вряд ли ему хотелось улыбаться, вряд ли он намеревался посмеяться над сестренкой. Он был сегодня слишком задумчив.

Дебби стянула штанишки и присела. Она тужилась, но ничего не получалось. Как она ни старалась.

Рон окинул взглядом все поле, вплоть до горизонта. Там кружились шумные стаи чаек. Рон смотрел на них: сначала спокойно, потом со все большим нетерпением.

— Скорее, моя детка.

Рон снова оглянулся на машину: Ян смотрел теперь на него. На лице его была печать скуки. Бледное грустное лицо. Что же с ним? Какая-то безысходность сквозила во взгляде. Рон терялся в догадках. Будто бы — или действительно? — не заметив, что на него смотрит отец, он снова занялся сборником комиксов.

Дебби вдруг резко вскрикнула: в ушах у Рона зазвенело.

— Господи! — Рон полез через ограду. К ней заспешила теперь и Мэгги.

— Дебби!

Рон застал ее стоящей у самой загородки. Она уставилась вниз, что-то бормоча себе под нос. Лицо девочки раскраснелось.

— Боже мой, что случилось?

Она лишь беззвучно шевелила губами. Глаза Рона проследовали за ее взглядом.

— Что случилось? — это уже была Мэгги, которая пыталась перебраться через ограду.

— Кажется... Кажется, ничего особенного.

Это был всего лишь мертвый крот. Он лежал на земле. Его глаза выклевали птицы. Гниющим телом питались полчища мух.

— Боже мой, Рон, — Мэгги сверкнула глазами. Так, словно он сам подложил сюда труп животного.

— Все хорошо, моя сладенькая, — Мэгги толкнула Рона локтем и взяла девочку на руки.

Ребенок постепенно успокаивался. «Городские дети, — подумал Рон. — Надо приучать их к таким вещам, ведь когда-нибудь они будут жить среди этого. Здесь нет и не будет чистящих машин, убирающих с земли все и вся».

Мэгги качала малышку на руках — видимо новых слез на ее лице не появится.

— Ну вот, сейчас она успокоится, — сказал Рон.

— Конечно, успокоится. Правда, детка? — Мэгги помогла ей подтянуть штанишки. Дебби лишь всхлипывала носом, вовсе не стесняясь. Слишком большое огорчение, чтобы отстаивать свою самостоятельность.

Ян слышал концерт, закатываемый сестренкой, и пробовал сосредоточиться на комиксах. «Дайте же мне наконец собрать свое внимание», — думал он. И его желание было выполнено.

Внезапно стало темно. Слишком темно, чтобы видеть картинки.

Он отвел от них глаза и сердце бешено застучало в груди. Он был здесь — новый объект для изучения. Всего в шести дюймах от него: он заглядывал в салон машины и глаза его сверкали пламенем Ада. Ян не смог кричать — язык откашивался повиноваться. Намочив сиденье, он толкнул противоположную дверь. Она не открылась, и в тот же момент покрытые рубцами руки вцепились в его ноги, проникнув через окошко. Когти царапали лодыжки, разрывая новые носки. На землю свалился ботинок. Наконец руки победили — Ян поехал по влажному сиденью к открытому окну. К нему вернулся голос, но вряд ли это был *его* голос: слишком жалостливый и слабый для выражения смертельного ужаса, охватившего его. В этом, не столь уж необычном сне, снова был его отец. Когда окошко оказалось под животом Яна, он посмотрел в его сторону: отец размахивал руками у ограды. У него был такой смешной вид. Он карабкался через нее, он спешил на помощь. Но Ян с самого начала знал, что он не

спасет его: он столько раз уже умирал в снах именно потому, что отец не подоспел вовремя. Рот оказался еще шире, чем он мог себе представить. Он был той дырой, в которую он должен был сейчас провалиться. И непременно вперед головой. Рот вонял, как мусорный ящик, тот, что стоит во дворе школьного буфета. Как миллион таких ящиков. Подступила тошнота. Один из ящиков захлопнулся, оттяпав ему часть головы...

Рон ни разу в жизни не кричал, считая это уделом женского пола. Но сейчас, когда он увидел, как голова сына исчезла в страшных челюстях, все вокруг утонуло в звуке безумного вопля.

Голый Мозг обернулся без тени страха. Кто же смог издать такое? Он встретил чьи-то глаза. Он пронзил их своим всепроникающим взглядом, заставив их обладателя прирастить к шоссе. Это была Мэгги. Прорывавшийся сквозь ее оцепенение голос словно звучал из могилы:

— О... пожалуйста... не надо.

Рон, попытавшись не замечать этих страшных глаз, бросился к машине. К своему сыну. Но его короткой растерянности было достаточно для того, чтобы чудовище успело скрыться: Голый Мозг стремительно удалялся, не выпуская изо рта жертву, которая раскачивалась при его шагах. Спустя мгновение он исчез. Распыленные в воздухе капельки крови Яна подхватил ветер. Рон почувствовал, как его лицо оросилось мелким душем.

Неподалеку от оскверненного алтаря Святого Петра стоял Деклан. У ворот дежурила полиция. За стенами бушевало людское море. Оно было встревожено, оно требовало объяснений. Но никто не входил в церковь — все столпились около нее и кричали. Деклан понимал, что рано или поздно придется выйти, чтобы успокоить их. Угомонить. Уничтожить, наконец... Ведь его новый господин наверняка хочет этого. И Деклан должен помочь ему, пусть это даже будет стоить ему жизни. В его смерти не могло быть ничего страшного. В его жизни ничто не имело теперь значения, кроме того, что его скрытые некогда от всех, а может, и от самого себя надежды воплотились.

Той ночью, когда он поднял глаза на мочащееся в его лицо чудовище, к нему пришла таинственная радость и

счастье. Если эта процедура, показавшаяся бы ему раньше потрясающе омерзительной, была столь восхитительна, то чем же тогда может оказаться смерть? Чем-то приятным вдвойне? Да... И если Голый Мозг посчитает нужным убить его своей зловонной рукой — это только удесятерит наслаждение от нее.

Он взглянул на алтарь, у которого побывала пока только полиция, потушившая огонь. Она вцепится за него после гибели Кута. Она будет разыскивать его, но он знает десятки потаенных мест, где его не отыщут никогда. Деклан знал, что его господин был слишком большой рыбой, чтобы поместиться на их сковородке. Он собрал разбросанные листы «Молитвенного пения» и швырнул их в тлеющие угли. Подставки для свечей были покороблены пламенем. Наверное, их можно еще отличить от креста. Но где же он? Наверное, рассыпался или его решил прихватить с собой какой-нибудь клептоман-полицейский. Деклан выдернул из недогоревшей книги несколько страниц. Гимны из Псалтыря. Старинная бумага полыхнула от поднесенной спички.

В горле Рона стояли слезы — их вкуса он раньше не знал. В последний раз он плакал несколько лет назад, а рыдать же в присутствии мужчин вообще не приходилось. Но сейчас он плакал... Ему было наплевать: вряд ли в этих людях осталось что-то человеческое. Хоть капля сострадания. Они спокойно слушали его страшную, исполненную скорби историю и все время кивали, словно идиоты.

— Наши люди разосланы в радиусе пятидесяти миль, мистер Милтон, — говорило чье-то каменное лицо со всепонимающими глазами. — Они не оставят ни один холм непрочесанным. Мы схватим его, кем бы он ни был.

— Он отнял у меня ребенка, вы понимаете? Убил его на моих глазах...

Никто не выразил ужаса.

— Мы делаем все, что в наших силах.

— Но это вряд ли вам по силам. Он... вовсе не человеческое существо.

У Айвеноу все те же понимающие глаза: он-то знал, насколько нечеловеческим оно было.

— Среди нас есть представители министерства обороны. Им надо только предъявить протоколы, и они окажут нам

помощь. Тогда мы, безусловно, будем способны на большее, — спокойно произнес он. Потом гордо добавил:

— На это пойдут общественные деньги, сэр.

— Да вы просто кретин! Вы думаете только о том, во что вам обойдется его смерть. Вы что, не видите, он же не человек! Он выходец из Ада!

Айвеноу покинули мысли о благотворительности.

— Если бы он был из Ада, сэр, — сказал он, — ему не удалось бы поднять Кута за шею с такой легкостью.

Кут... Рон знал этого человека. Почему он не подумал об этом раньше? Кут...

Рон считал себя верующим, и ему всегда было трудно с ними разговаривать. Но придется стать терпимее: ему предстоит вынужденная встреча с оппозицией, с одним из ее представителей и надо выбросить из головы все существующие в ней барьеры. Это просто необходимо сделать, если он собирается отыскать орудие против Дьявола.

Надо найти Кута.

— Не пора ли поговорить с его женой? — предложил один полицейский. Мэгги, сидела безмолвно, убитая горем. На ее руках спала Дебби. Здесь они в полной безопасности и им не нужна его помощь.

Посетить Кута раньше, чем его посетит смерть...

Ревренд передаст ему то, что знает о чудовище: он лучше понимает, что такое боль, чем эти мартышки. В конце концов гибель его ребенка — дело не только полиции, но и церкви.

Он сел за руль, перед глазами стояло лицо сына. Человечка, который носил его имя — ведь после крещения Рона нарекли Яном. Сын — это был он сам, кровь от крови, плоть от плоти. Спокойный ребенок, в глазах которого таилась безысходность.

Сейчас Рон не плакал. Сейчас настало время мстить.

До полуночи оставалось минут тридцать. Над Королем взошла луна. Он сидел среди изобильного поля, что к юго-востоку от фермы Николсона. Над слабо освещенным жнивьем сгустилась тьма. Оно пахло аппетитно, но предательски обманчиво. Оно пахло землей и ее гниющими плодами. Король собирался обедать. Главным и, наверное, единственным блюдом будет Ян Милтон. Лакомство перед ним:

могло было опустить в разорванную грудь руку и прилечь на локоть, выбирая царственными перстами деликатесы.

Он пировал под серебряным навесом лунного света. Ему никогда не было так хорошо. На десерт была восхитительная коленна чашечка, легко снятая с подноса округлой кости. Голый Мозг проглотил ее целиком.

Сладко.

Боль утихла, и Кут думал, что умер, но смерть не приходила к нему. Теперь Кут не звал ее — страдания прекратились. В расплывавшихся кругах желтых стен комнаты возникло чье-то лицо. Оно молило его прислушаться к своей просьбе. Кут знал, что в посмертном мире ему придется разговаривать с Богом. Отвечать на его вопросы. Отвечать за свои грехи. Он даже мог предположить, о чем зайдет речь сначала. Но Бог произнес слова, которых он не ожидал. Они потрясли его:

— Он убил моего сына, — говорил Рон. — Расскажи мне о нем все, что знаешь. Прошу тебя. Я поверю в любые слова, которые ты произнесешь.

Им владело великое отчаяние:

— Помоги мне справиться с ним...

Картины вихрем закружились в голове Кута: унижение Деклана, облик страшного чудовища, алтарь... Он хотел помочь, он *должен* помочь.

— ...там, в церкви...

Рон наклонился ниже.

— ...где алтарь... он боится... где алтарь...

— Ты имеешь ввиду крест? Он боится креста? — Нет... он не бо...

— Господи, нет!

Кут сделал хриплый выдох и умер. На изуродованном лице появились метки смерти: радужная оболочка оставшегося глаза наполнилась красным, слюна впиталась в недвижный рот. Рон долго смотрел. Затем он вызвал сестру и тихо вышел, оставив дверь открытой.

В церкви кто-то был. Полиция закрыла дверь на висячий замок, но он был сбит, дверь приоткрыта. Рон тихонечко увеличил щель и скользнул вовнутрь. Она не освещалась свечами — вместо них горел небольшой костер, разведенный

на полу. Огонь поддерживал молодой человек, показавшийся Рону знакомым: его часто можно было встретить на улицах городка. Продолжая подкармливать пламя книгами, он оторвал взор от теплого марева:

— Чем я могу помочь? — спросил он.

— Я пришел, чтобы... — Рон затруднялся продолжить. Должен ли он говорить этому человеку правду? Наверное, нет: что-то здесь было не так.

— Я кажется задал вопрос. Так что тебе нужно?

Рон шел между рядами скамей. Прямо к огню, который все лучше проявлял черты вопрошавшего. Одежду в пятнах и покрытую пылью, глаза, впавшие так глубоко, словно мозг всосал их в себя.

— Тебе никто не давал права находиться здесь...

— А я думал, что любой может зайти в церковь, — выговорил Рон, уставившись на черневшие в пламени страстицы.

— Но только не сейчас. Сейчас ты должен убраться отсюда ко всем чертям.

Рон продолжал идти к алтарю.

— Я же сказал «ко всем чертям». Ты что не слышал? Вон отсюда!

— Мне нужен алтарь. Я уберусь только тогда, когда взгляну на него поближе.

— Ты ведь говорил с Кутом, не так ли?

— С Кутом?

— И что же наболтала тебе эта старая лживая развалина? В жизни она не произнесла и слова правды, ты знаешь об этом? За правду он держал вот что... — он швырнул на стол молитвенник.

— Я сейчас взгляну на алтарь. И тогда будет ясно, как часто он врал и врал ли вообще.

— Ты этого никогда не сделаешь!

Засунув в огонь новую стопку книг, человек преградил Рону дорогу. Даже не запах пыли исходил от него — запах дермы. Его руки впились в шею Рона со стремительностью ястреба, тот повалился на пол, и схватка началась. Пальцы Деклана пытались выдавить ему глаза, зубы яростно скрипели у самого носа.

Рон поразился слабости собственных рук, не предпринимавших никаких действий. Почему он и сейчас продолжает

оставаться тем, кем всегда считала его Мэгги? Почему в нем не взыграет кровь? Надо хоть как-то обороняться, ведь этот ненормальный может и убить.

Все вокруг озарила ярчайшая вспышка, словно чернота ночи стала внезапно блеском дня. Все, что можно было увидеть в восточном окне, залилось оранжевым светом. Отовсюду раздавались крики. Сильнейший огонь, раскрасивший все вокруг в свой собственный цвет, сделал пламя костра почти незаметным на фоне беснующегося марева.

Деклан забыл на секунду о поверженном противнике, и тот воспользовался этим: Рон оттолкнул от своего лица подбородок Деклана и, ударив в его живот коленом, с силой сбросил с себя. Соперник хотел возобновить сражение, но вторая атака не удалась: Рон рванулся к нему и, крепко схватив за волосы, повалил на землю, скав другую руку в кулак. Он колотил лицо Деклана до тех пор, пока не услышал, как ломаются кости черепа, не прекращал бить и тогда, когда из носа потекла кровь, и тогда, когда были выбиты почти все зубы и переломаны челюсти. Он останавливался и бил снова, пока из его разрезанного костью кулака не хлынула кровь.

Зел был превращен в огромный костер.

Голому Мозгу часто приходилось устраивать пожары. Бензин был новым элементом в искусстве использования огня, к нему надо было привыкнуть. Но Голый Мозг не мог ждать. Он помнил, как из раненого железного зверя вытекала огнестворная кровь, — и он просто открыл бочки, в которые она сливалась. Просто открутил навинчивающиеся крышки и пустил жидкость вниз по Главной авеню, судорожно и жадно глотая наполненный ароматом бензина воздух. Дальнейшее Голый Мозг делал уже много раз. Результат восхитил его: бурлящее море живого огня сметало растительность и животных, врывалось в дома, быстро превращая их в жаркие угли, и неслось дальше, дальше, дальше. В воздух взлетали соломенные крыши и маленькие постройки. В считанные минуты Зел превратился в жаровню.

Рон отдирал обшивку алтаря. Из его головы не выходили Дебби и Мэгги — он пытался успокоить себя тем, что полиция

должна была отвести их в безопасное место. А если нет? Какая разница, он просто обязан довести дело до конца.

Под обшивкой находилась большая коробка — лицевую часть испещрили неровные углубления. Дизайн вряд ли имел значение. Вряд ли стоит искать правду в нем, разбираясь в непонятном изображении: вой зверя уже раздавался за стенами. Совсем рядом Рон слышал боевой клич этого непобедимого существа — апофеоз его абсолютной власти. Кровь ударила в голову: выйти к нему, встать напротив него, вызвать его на поединок. Победить его или погибнуть. Что это? Не коробка ли дает ему силу? Рон чувствовал ее всем телом. В нем развивалось могущество: волсы грозно ощетинились, словно шерсть дикого зверя, мускулы налились энергией. Коробка усиливалась свое влияние. Невероятный приток крови охватил все члены, в нем забурлили игривость и почти нечеловеческое желание. Он был переполнен восторгом от собственного существования — сгустка пылающего экстаза, которым был он сейчас. Воспламененные кипящей кровью руки схватились было за коробку, но пальцы едва не обгорели прикоснувшись к ее поверхности. Рон отпрянул назад. Он был теперь воплощением боли, горячий восторг сменился страданием от страшного ожога. Он стоял, ощущая, как сознание то приходило к нему, то снова покидало. Коробка стала опасной и просто так с ней не было возможности справиться. Как совладать с могущественным предметом?

Рон решительно замотал руки обшивкой и протянул их к докрасна раскаленной огнем костра подставке для свечей. Ткань задымилась — жар пополз, двигаясь к локтию. Почти безумный от ярости, он обрушивал светящийся медный столб на алтарь. Полетели щепки — только это имело теперь значение. Рук Рон уже не чувствовал: боль в них существовала отдельно от его сознания. Спасение скрывалось в алтаре. Спасение от всего, что еще могло случиться. Получить... Получить его во что бы то ни стало!

— Иди ко мне, — Рон обнаружил, что повторяет эти слова. — Я здесь. Здесь. Иди ко мне. Иди ко мне, — словно там скрывалась любимая и страстно желанная девушка. — Иди ко мне. Ко мне.

Наконец толстое дерево фасада было проломлено, и Рон, используя ножку подставки в качестве рычага, смог вскрыть

алтарь. Он был полым внутри, на что Рон и надеялся. Полым и пустым.

Внутри не было ничего.

Только небольшой каменный шар, размером с небольшой футбольный мяч. Вот так сюрприз. Но не это ли он искал? Раскрытый алтарь по-прежнему заряжал воздух электричеством, кровь все еще бурлила в жилах. Словно ничего не произошло. Рон наклонился и взял необычный сувенир в руки.

За стенами отмечал свой праздник Голый Мозг.

Рон взвешивал в ладони небольшой предмет. Сознание его парило над улицами преданного огню городка, воображение рисовало то труп с обгоревшими ногами, то охваченную пожаром детскую коляску, то бегущую собаку, ставшую живым огненным шаром.

Неважно, были ли эти образы отражением текущей реальности или плодом пламенной фантазии: в городе хозяйничал тот, кто был способен на все.

А у Рона был только камешек.

Всего лишь полдня в его жизни были исполнены надеждой и верой в Бога. Эта вера поддерживала его, заставляла бороться до конца. Теперь она покинула Рона: он должен был противодействовать силам Преисподней, держа в руках кусок мертвого минерала. Он осматривал его со всех сторон: ничего особенного, кроме мельчайших трещин и выбоинок. Не в них ли скрывалось спасение? Могли ли они означать что-то еще?

В противоположном углу церкви послышался шум: треск, крики и, наконец, шипение бушующего снаружи пламени.

Внутрь вбежали два опаленных человека — на их спинах тела одежда.

— Он хочет сжечь городок, — произнес один из них. Рону показался знакомым этот голос: полицейский, который не верит в Ад. С ним была миссис Блэттер. Наверное, он только что спас ее, вытащив из отеля. Ночная рубашка, в которой ей пришлось бежать сюда, была прожжена в нескольких местах. Женщина не прикрывала обнаженную грудь и, видимо, не отдавала себе отчета в том, где она находилась.

— Христос да поможет нам, — произнес Айвеноу.

— Здесь нет вашего сраного Христа, — раздался голос Деклана. Он стоял на ногах, повернувшись страшным про-

ломом лица к вошедшим. Рон не видел, на что он был похож, но был уверен, что зрелище, открывшееся гостям, было не из приятных. Деклан медленно шел в сторону миссис Блэттер. Прямо к двери, у которой стояла испуганная женщина. Попытавшись было сделать шаг назад, она вдруг бросилась бежать в другую сторону и, огибая линию движения восставшего священника, оказалась вскоре рядом с алтарем. Когда-то она на его ступенях венчалась с мужем — теперь здесь был костер, разведенный священником.

Потрясенный Рон смотрел на нее: то, что он видел, не было просто телом полной женщины: это были груди неимоверных размеров, это был чудовищный живот, свисавший почти до самых колен. Это было то, ради чего он пришел сюда.

Это было то, что он нашел здесь, — его камешек. Он высвечивал для Рона образ миссис Блэттер. Он стал неподвижной статуей, неимоверно большой, увеличивающей и страшно искажавшей черты миссис Блэттер. И в ней было нечто, чего никогда не было ни у одной земной женщины: вздувшийся в разных местах живот был наполнен кричащими детьми. Внизу под ними зиял развернутый вход в глубокую пещеру. Рону казалось, что это были души, молящие об освобождении. Души, закованные на долгие века в холодном камне, что с незапамятных времен хранился в алтаре.

Рон бросился к выходу, отталкивая с дороги миссис Блэттер, полицейского и недобитого им сумасшедшего.

— Не выходи, — крикнул ему вслед Айвеноу. — Он совсем рядом.

Рон все крепче сжимал камень.

Священник за его спиной громким и скрипучим голосом бормотал что-то, обращаясь с своему Господину... Да! Он предупреждал его об опасности, он умолял его быть осторожным!

Рон распахнул дверь сильным толчком. Вокруг зверствовал огонь. Он увидел обгоревший труп младенца, обожженное мясо собаки со сгоревшей шерстью... И чудовищный силуэт среди океанов огня. Голый Мозг поворачивал голову, словно прислушиваясь к доносившимся из церкви словам. Чудовище озиралось по сторонам — казалось, оно уже понимало, что заклятье найдено.

— Сюда! — крикнул Рон. — Я здесь! Я здесь!

Оно направилось к нему, грациозно и уверенно ступая по углам. Походка владыки, сильнейшего из сильнейших.

Шаги тирана-палача, идущего к своей связанной жертве. Почему оно столь уверено в себе? Почему не замечает, что в руках Рона находится смертельное оружие?

Оно не слышит предупреждения об опасности? Оно не замечает ее?

Разве что...

О, Боже!

...Разве что Кут был неправ, и то что было у Рона — всего лишь камешек. Безобидная и глупая безделушка.

Шею сдавили пальцы.

Сумасшедший.

— Сволочь, — выстрелил в ухо голос.

Голый Мозг приближался.

Помешанный кричал ему:

— Он здесь. Возьми его. Убей его. Он здесь.

Внезапно хватка ослабла, и Рон увидел вполоборота, как Айвеноу отшвырнул сумасшедшего и припер его к стене. Священник продолжал хрипло выкрикивать:

— Он здесь! Здесь!

Повернувшись Рон увидел, что грозная фигура была рядом. Он не успел бы даже замахнуться на нее своим камешком. Но Голый Мозг шел не к нему. Чудищу нужен был Деклан. Он шел, прислушиваясь только к его голосу и запаху. Айвеноу отпустил Деклана, когда страшные пальцы, царапавшие воздух, слегка коснулись Рона. Рон не стал следить за дальнейшими событиями — он не выносил вида этих рук. Рук, которые застали священника врасплох. Но Рон не мог не слышать умоляющих воплей о пощаде, перемешавшихся со стонущими вздохами разочарования. Наконец он оглянулся: по стене и на земле было размазано то, что уже нельзя было назвать человеком...

Теперь гигант пойдет к нему. Пойдет, чтобы повторить нечто подобное или еще худшее. Огромная голова вытягивала шею и жмурила глаза, живот, набитый грузом, колыхался. Казалось, чудовище не могло разглядеть новую жертву. Огонь сильно изменил его внешность. Волосы с его тела слетали на землю, скрученные и обугленные, грива растрепалась, кожу на левой стороне лица взбивали черные, лопающиеся пузыри. Глаза, зажарившиеся в круглых ямах, плавали в затопившей

их смеси слизи и слез. Так вот почему Голый Мозг выбрал Деклана — он просто производил больше шума. Рон остался незамеченным, потому что гигант почти ослеп.

Но он должен был увидеть...

— Вот... вот... — начал Рон осторожно. — Вот я где!.. Я здесь!

Теперь Голый Мозг слышал его. Он повернулся. Он смотрел, но не видел. Глаза катились, пытаясь прояснить изображение.

— Да здесь же! Здесь я!

Голый Мозг взревел. Поврежденное огнем лицо раскальвала боль. Ему хотелось быть далеко отсюда. Там, где земля прохладна и где льется лунный свет.

Потускневшие глаза остановились на камне — человек держал его в своей маленькой ладони. Голый Мозг почти не видел его, но все знал. Воображение дополняло плохое зрение. Воображение мучило и пугало его.

Перед ним был символ менструации, знак, олицетворяющий человеческую силу. Он боялся его больше всего на свете: камень помеченный собственной кровью женщины, согревающей в своем лоне человеческие семена, которые взойдут, пополняя людское могущество, которые будут возникать в этом лоне снова и снова, не позволяя людям исчезнуть. Женщина давала человеку вечную жизнь, она была тайной, дающей вечное плодородие его семени. Эта женщина была ужасна.

Голый Мозг отпрянул от нее, запачкав ногу собственным дермом. Страх на его лице придал Рону уверенность. Зажав в кулак свой козырь, он сделал шаг навстречу зверю. Потом другой... Он медленно шел, заставляя его отступать. Он вряд ли заметил, что к нему решил присоединиться вооруженный Айвеноу, едва удерживающий себя от желания открыть огонь.

Они шли долго, оба завороженные поведением чудища. Все труднее было держать заклинающий камень. Дрогнула рука.

— Идите, — произнес Рон спокойно, обращаясь к сбежавшимся к церкви зелийцам. — Идите и возьмите его. Он ваш...

Толпа зашевелилась и стала медленно и осторожно приближаться.

Она была для Голого Мозга одним лишь запахом.

Слишком хорошо знакомым, слишком неприятным и ненавистным. Глаза его не отводили невидящего взгляда от женщины.

Он выпустил из обожженных десен свои клыки, чувствуя, что запах начал смыкаться вокруг него плотным зловонным кольцом.

Панический страх прорвал на мгновение чары, заставив сделать нападающий прыжок. Он бросился туда, где, ощущал присутствие камня. Туда, где был держащий его Рон. Атака была стремительной и неожиданной. Клыки впились в голову Рона, кровь хлынула, сбегая по лицу.

И тогда людское кольцо начало сжиматься. Человеческие руки — слабые и маленькие — вскidyвались и опускались. По позвоночнику били кулаки, кожу царапали ногти.

В ногу впился нож, разорвав коленное сухожилие. Голый Мозг отпустил Рона, издав агонизирующий вопль. Столь громкий, словно это небеса свалились на землю. Оседая под своей тяжестью, он видел, что в его сгоревших глазах вспыхивают звезды. Люди бросились на него. Он отбивался, откусывая подвернувшиеся пальцы и распарывая склонившиеся над ним лица.

Бесполезно — этим не остановить оседлавших его мучителей. Новая ненависть была подкрепленной временем ненавистью старой.

Он еще сражался, осажденный людьми, лежа под ногами штурмующих, но он уже знал — смерть близко. Ему не придется воскреснуть уже никогда и коротать свою вечность под землей не придется тоже. Он умрет не только в памяти людей. Он умрет совсем. Абсолют вечности станет абсолютом пустоты.

Успокоившись от этой мысли, он повернул незрячие глаза в сторону отца своей последней жертвы, но ощутив ответный взгляд, он не мог уже использовать свое гипнотическое влияние. Когда Рон подбежал к нему, его лицо было пустым и ровным, как поверхность полной луны.

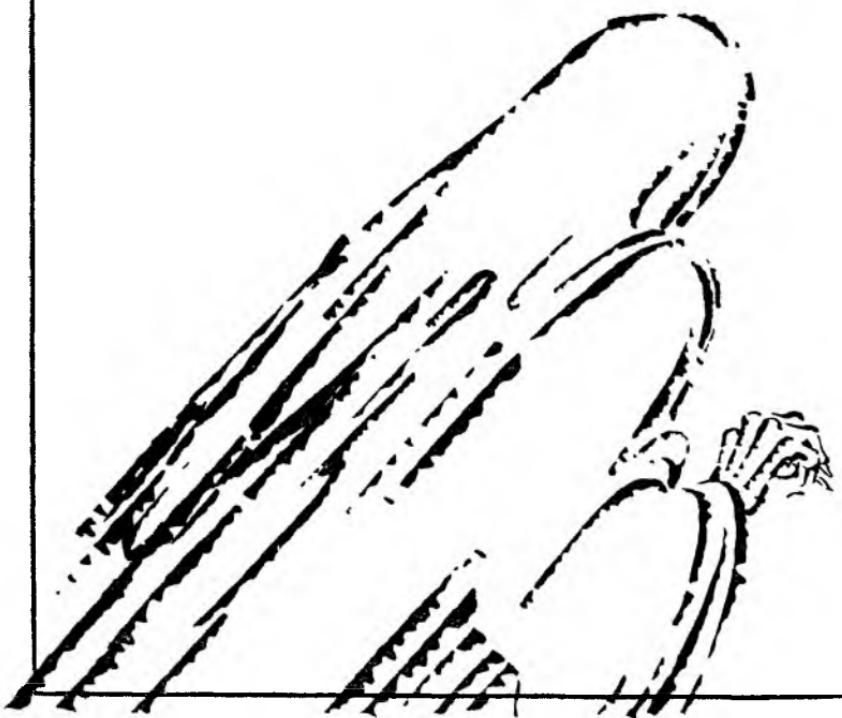
Рон отпустил свой камень. Он вошел между закрывшихся глаз, нырнув в глубину мягкой головы, которая раскрылась, расплескав свое содержимое.

Король умер. Обошлось без церемоний и оплакивания. Все было тихо. Его просто не стало.

Рон решил не трогать застрявший в середине головы чудовища камешек. Он выпрямился и, покачнувшись, поднес руку к своей голове: ломтик кожи оторвался, и Рон мог прикоснуться к своему черепу. Кровь текла не переставая, но в мире не было больше того горла, в котором она могла оказаться. Ему некого было бояться, если он уснет.

Никто не заметил, как в теле Голого Мозга лопнул пузырь. Никто не видел, как фонтанирующая моча превращалась в стекающий вниз по дороге ручеек, отклонявшийся то влево, то вправо в поисках убежища. Встретив на своем пути трубу сточного канала, он заструился по ней и вытек там, где в гудронированном полотне шоссе зияло проломленное отверстие. Там, его и впитала благодарная земля.

ИСПОВЕДЬ САВАНА





А.Н. Муратов 94



екогда он был плотью. Был человеком, был его устремлением. Казалось, с тех пор минули века. Память еще хранила картины того счастливого времени, но с каждым мгновением их становилось все меньше — они мелькали где-то в ее глубине и стирались навсегда.

Оставались лишь отдельные мазки красок — самых для него значимых, самых тревожных и мучительных. Из них начинали вырисовываться лица: светлые, словно сияющие изнутри, любимые им когда-то, и ненавидимые. Он видел их ярко и отчетливо. Их, видимо, не суждено было забыть. Никогда... В глазах его детей все та же теплота и умиротворенность. И ледяной холод умиротворенности в глазах этих скотов, с которыми было покончено навсегда.

Если бы из его накрахмаленных глаз могли течь слезы, он заплакал бы, наверное. Просто от жалости. К ним, к себе. Впрочем, нет: жалость — лишь роскошный подарок всему живому. Всему, что могло дышать и действовать. Тем, кто должен и может что-то изменить. А ему слишком поздно было о чем-то жалеть.

Он находился за всеми мыслимыми пределами. Находился, несмотря на их существование. Он прошел сквозь все границы. Когда-то для своей мамочки он был просто малышом Ронни. Теперь он был для нее мертвым. Уже три недели. Боже мой, о чём бы она подумала, увидев сейчас своего малыша...

Он хотел лишь исправить свои ошибки? Что ж, он уже сделал для этого все возможное. И невозможное. Он смог даже продолжить, дочертить отведенный ему временем от-

резок жизни. Смог собрать воедино оборванные клочья своего существования. И все, что им двигало, — это желание воплотить задуманное. Выполнить запланированное точно и аккуратно. Лишь прилежно сделать бухгалтерский расчет. Сделать то, что он так любил в жизни: работу, которую он когда-то выбрал для себя и в которой он находил радость. Она требовала как раз того, чем он обладал, — опрятности и честности. Выстраивать горки из сотен цифр, двигать их слои, пересыпать их содержимое, вытаскивая из них нагромождений несколько пенсов, на которые можно все же было существовать. Это была его игра, его развлечение. Она лишала вечерний труд его кажущейся рутинности. После работы даже подсчет книг доставлял удовольствие.

«У тебя есть все, о чем только можно мечтать».

Слова его мамочки. Она была, конечно же, права. И сейчас эти слова казались ему истиной. Сейчас, когда он мечтал только об исповеди. О том, чтобы раскрыть душу, чтобы быть прощенным. Чтобы спокойно и уверенно чувствовать себя на Судном Дне, не задрожать, как жалкая тварь, перед троном своего Творца. Раскаяться... Лишь эта мысль жила в нем, когда скамью исповедальни Собора Святой Марии Магдалины, словно скатертью, накрыло его тело. Тело, казавшееся ему сейчас пугающе ненадежным. Он стремился сохранить его. Его форму, хоть какое-нибудь ее подобие. Нет, он не мог позволить ему безвольно повиснуть здесь, на этом сиденьи, в этом месте, прежде, чем изольется тяжесть его грехов, мучительная для сотканного из полотна сердца. Он сосредоточился, усилием воли скрепив душу и тело, собрав их воедино ради этих нескольких минут. Последних в его странной жизни.

Сейчас войдет патер Руни. Они останутся вдвоем по разные стороны мелкой сетки исповедальни. Патер произнесет слова мудрого понимания и готовности простить. И тогда лишь одному ему в свои оставшиеся мгновения жизни Ронни расскажет свою историю.

Начнет он с того, что развенчает одну гнусную ложь. Его душа не запятнана этим мерзким грехом. Он никогда не был дельцом от порнографии.

Порнографии...

Это было бы абсурдом чистой воды. Даже в мыслях у Ронни этого не могло быть. Это подтвердил бы каждый, кто

знал его жизнь: никаких извращенных вкусов, даже никакого интереса к сексу у Ронни не было. В этом и заключается парадокс: он жил в далеко не безгрешном мире, но жил, казалось, безгрешно. Он был из тех немногих, наверное, людей, чья натура отталкивала от себя грех, отвергала почти с отвращением, словно боясь запачкаться грязью навсегда. В окружающем его мире все происходило совсем не так: неожиданно бурные всплески плотского вожделения всегда были в силах захватить человека, лишая его, пусть на мгновение, разума. Это случалось с людьми, которых Ронни знал и которых не знал. Это обрушивалось на них как гром среди ясного неба, как автомобильная авария. Скрытый голос плоти врезался в их жизнь и звучал пронзительный и неумолимый, зовя за собой. Ронни знал об этом. Что же из того? С ним вряд ли могло такое приключиться. Секс для него был сродни бешеной тряске и опустошающе-изнурающему воздействию американских горок: раз в год еще можно было позволить себе прокатиться. Дважды? Можно было вынести. Трижды? Подступила бы неминуемая тошнота.

Никого не удивляло, что этот добрый католик, женатый на доброй католичке уже девять лет, зaimел только двух детей. Ронни был ей любящим мужем, Бернадет ему — любящей женой. Он любил глубоко и невинно. Она разделяла с ним его индифферентность к половой жизни. Они редко ссорились. И уж совсем никогда по поводу его ленивого и безразличного члена. Ну а дети... Дети просто восхищали обоих. Саманте уже были присущи вполне взрослая изысканная вежливость и тихое смирение, а у Имоджен, хоть ей не исполнилось и двух, была скромная мамина улыбка.

Что ж, жизнь в скромном, выглядевшем немного обособленно домике, утопающем в зелени листвы Южного Лондона, была прекрасна. Небольшой садик был для Ронни тихой обителью природы, воскресным приютом для его семьи, для его души. Это была обычная жизнь, вполне достойная его честных усилий. Жизнь, к которой, казалось, не могла примешаться грязь.

Грязь. Она хоть и обходила его стороной, но все же каким-то таинственным образом забросила в душу Ронни маленького червячка жадности. Едва заметный паразит и изменил все.

Если бы не жадность, он пропустил бы между ушей предложение этого Мэгира. Проигнорировал бы его вместо того, чтобы ухватиться двумя руками. Скользнул бы взглядом по неприметной и прокуренной конторе, которая взгромоздилась на плечи магазина венгерских кондитерских изделий в Сохо, и пошел бы прочь. Но жажда процветания оказалась тогда сильнее. Она лишила его осторожности, наполнив доверием к этим людям, к их бизнесу, в котором он заметил лишь удачную возможность применить свой опыт в бухгалтерии. Бизнесу, порожденному продажностью разврата. Он вовсе не видел этих людей в розовом свете. Увертки и болтовня Мэгира с легкостью выдавали его ничтожество. В помпезности его разглагольствований о переосмыслении морали, о высокодуховном творчестве Бонсэ, о том, что детей надо любить, сквозил примитивизм его вкуса, его поклонение китчу. Самому отвратительному китчу в этом мире... Если бы Ронни мог только знать!.. Но ему наплевать было на взгляды Мэгира на жизнь, на его отношение к живописи — он просто хотел было подработать. Подсчитывать книги? Да, он согласен. Тем более что Мэгир был щедр не только на слова. Что они значили для Ронни, ведь он принял исключительно доходное предложение! Ему даже начали нравиться эти люди, сам Мэгир. Он приспособился, нет, привык к их виду и пристрастиям: к грузно двигающейся тушке Дэниса Люцатти по прозвищу Курица, к следам кондитерской пасты, не исчезавшей с его пухлых губ. И с трехпалым коротышкой Генри Б. Генри он тоже смылся. Привык к его каждодневным фокусам — не всегда только карточным, к его жаргонным словечкам. Так, ничего компания. Не цвет общества, конечно, и даже не опытные и интересные собеседники, но ведь ему не в теннисный клуб с ними ходить. Серые, безобидные люди. Серые, безобидные лица.

Безобидные... Велик был его шок, когда пелена слетела с глаз и он увидел их настоящие лики — морды зверей.

Прозрение пришло к нему совершенно случайно.

Однажды он задержался в конторе дольше обычного. Новая работа — новые расчеты. Что-то не сходилось в вычислениях — пришлось засидеться допоздна. Поймав такси, Ронни заспешил к помещениям склада. Хотелось успеть застать там Мэгира, чтобы передать бумаги лично в его руки.

Он не ездил сюда раньше и в глаза не видел этого склада, хотя его частенько упоминали в болтовне новые компании. Судя по всему, Мэгир арендовал его для хранения поступающих книг — книг о правильном и вкусном питании, о способах сервировки стола, книг о тонкостях европейской кухни. Когда Ронни добрался до цели, была уже глубокая ночь. Ночь, которая открыла ему все содержание этих «тонкостей».

Мэгира он нашел в одном из отсеков склада. Комната была выложена кирпичом и загромождена коробками и кучами еще чего-то. Над этим хламом он и возвышался. На лампочке, свисающей с потолка, не было плафона. Она разливала вокруг себя розовый свет, отражаясь в лысине Мэгира. Казалось, его голый череп светится тоже. Здесь же оказался и Курица, погруженный в очередной торт. И Генри Б. Генри — он раскладывал пасьянс. Теперь Ронни мог разглядеть это трио поближе: оно восседало среди тысяч и тысяч журналов, среди умопомрачительной глянцевитости их обложек, кажущихся чьей-то блестящей кожей. Мэгир их пересчитывал. По одному. Он не оторвался и тогда, когда Ронни подошел поближе.

— Гласс, — произнес он, погруженный в работу. Мэгир всегда называл его так.

Ронни стоял неподвижно, пытаясь понять, что являли собой эти горы. Он буквально вперил в них взгляд. И начал постепенно догадываться.

— Можешь заглянуть — они к твоим услугам, — произнес Генри Б. Генри, — Славно развлечешься.

— Да что с тобой? Расслабься, — утешительным тоном произнес Мэгир. — Ничего особенного. Это просто товар.

Приступ какого-то странного, цепенящего ужаса швырнулся Ронни к отблескивающей горе. Он взял экземпляр.

«Клиimax и эротика», — прочитал он. И еще: «Цветные порноснимки для тех, кто это понимает. Текст на английском, немецком и французском». Ронни стал листать журнал, не в силах удержать, спасти себя от этого. Не в силах бороться со смущением, вогнавшим в краску его лицо. Он слышал шуточки и скабрезности, выстреливаемые очередью Мэгирам. Слышал вполуха...

Страницы буквально кишили непристойностью. Она изливалась с них мутными потоками. Устрашающее изобилие,

которого Ронни и представить себе не мог. Всюду изображалось совокупление. Между людьми. Взрослыми людьми, давшими на это согласие. Людьми, которые не были против того, чтоб их занятие застыло здесь во всех подробностях и деталях. Проявляя буквально акробатическую ловкость, они улыбались. Одними лишь губами, глаза их остекленели, словно в них затвердела похоть, затопившая эти страницы. Похоть и нагота. Во всем без исключения. В каждом контуре и изгибе, в каждой кожной складке. В каждой ее темной прожилке и морщине. Это доводило обнажение до безобразия. До предела, ниже которого не было уже ничего. Ронни почувствовал конвульсивные судороги своего желудка.

Он захлопнул журнал, питая к нему почти физическое отвращение. Потом взглянул на другие обложки: все то же яростное совокупление, бесстыдное искусство совращения, рассчитанное на любой вкус. Здесь были «эксцентричные женщины, закованные в цепи», и «пленница резиновых одежд», и «любовник из снежного Лабрадора».

В кружившейся голове Ронни раздался голос Мэгира, словно пытавшийся подольститься, но в действительности карающий за наивность и простодушие.

Он говорил:

— Все равно, рано или поздно, тебе открылось бы это. Ты ведь не мог от этого скрыться. Может быть, для кого-то такое занятие и опасно, но оно очень забавно. Поверь мне.

Ронни встряхнулся, пытаясь избавиться от заполнившего его кошмара, от устрашающих образов, стоящих перед глазами. Увиденные ими картины ожили — они дышали, их становилось все больше. Они стремились прорваться в глубь его мозга, отвоевать у невинности, спрятавшейся в нем, каждую клетку. Взятое в плен воображение породило устрашающее видение, в котором полчища летучих мышей кружились над бескрайним скоплением плоти бесстыдных женщин, всюду натыкаясь на нее, нанося смертельные раны, купаясь в вытекающих из них потоках крови. Ронни не мог заставить эту сцену исчезнуть, и она становилась все более отвратительной, все обильнее залитой красным. Она стремилась утопить Ронни в себе. Нужно было действовать. Предпринять хоть что-то...

— Это ужасно, — лишь смог сказать Ронни. — Они ужасны... ужасны... ужасны...

Он столкнул пачку с «эксцентричными женщинами» на залапанный пол, и она разлетелась, будто карточный домик, сложившись на нем в сомнительную мозаику.

— Н-не надо этого делать, — произнес Мэгир с ледяным спокойствием.

— Ужасны, — снова повторил Ронни. — Они же ужасны!

— Правда? А у нас с ними большая дружба: они — наше дело.

— Но не мое! — выкрикнул Ронни.

— Чем же они тебе не приглянулись? Слышишь, Курица, они ему не по нраву!

Толстяк произнес, вытирая изящным носовым платком свои вымазанные в креме пальцы:

— И отчего же?

— Наверное, для него это слишком пошло.

— Ужасно, — все повторял Ронни.

— Но ты в них по горло, мой мальчик, — спокойно сказал Мэгир. Для Ронни это был голос Дьявола, говорившего с ним из этой плоти:

— Больно, но вынести придется. Ничего — стерпишь.

— Стерпишь и вынесешь, — мерзко захихикал Курица.

Ронни поднял взгляд на Мэгира. Лицо показалось ему одряхлевшим, сморщенным, жутко изможденным. Куда более старым, чем сам Мэгир. Лицо вдруг перестало быть вообще лицом: капельки пота, усики над губами — все это стало для Ронни бесстыдной задницей одной из журнальных шлюх. Она и произнесла эти страшные слова:

— Мы все здесь отпетые негодяи и мерзкие подонки, и если нас снова сцапают — терять нам нечего.

— Нечего, — подтвердил Курица.

— А ты, сопливый специалист, ты же букашка у нас под ногами. И посмей ты пикнуть хоть слово о грязных делишках — окажешься в навозной куче вместе со своей репутацией честного бухгалтера. Уж я позабочусь об этом. Ни одна тварь не предложит тебе работу. Ты понял?

Ронни трясясь от возмущения, ему захотелось ударить Мэгира. Так он и поступил. Ощущение собственного кулака, развившего скорость и врезающегося в зубы, даже понравилось Ронни. Кровь не заставила себя ждать, хлынув из разбитых губ Мэгира. Ронни проявил воинственность второй раз в жизни — ведь он никогда не дрался. Со школьных дней. Гнев

лишил бойца бдительности, и ответный удар застал Ронни врасплох. Он рухнул на грязный пол, в безразличное к его сильной боли окружение «эксцентричных женщин». Тяжесть пятки Курицы помешала ему подняться. Она сломала ему нос. Укрученный самым грубым и гадким образом, Ронни был снова поставлен на ноги, ошеломленный, но не побежденный. Его поддерживал Курица, стоявший сзади. Увешанная кольцами рука Мэгира сжала пальцы в кулак. Мерзавец не видел перед собой Ронни, он видел лишь боксерскую грушу. Мэгир колотил ее долго. Такое упражнение вряд ли выполняли боксеры на тренировках: начать бить с уровня ниже пояса, медленно продвигаясь все выше и выше.

Боль, которую испытывал Ронни, действовала на него странно и непостижимо: силы постепенно восстанавливались, душа словно освещалась вспышками какой-то нетелесной загадочности этой боли. Странно, но к концу побоев, когда он был выброшен Курицей в темноту ночи, искалеченный и избитый, на сердце его не лежал больше груз вины. Он не чувствовал ни возмущения, ни злобы — только потребность завершить то, что было начато рукой Мэгира. Очиститься от грязи полностью.

Бернадет он все объяснил тем, что на него напали сзади. Били. Хотели ограбить. Сказать ей правду? Нет, правда касается лишь его самого. Хотя он не перестал страдать, введя супругу в заблуждение. Она трогательно заботилась о нем, ласково и нежно утешая; Ронни же не чувствовал себя достойным этого. Две ночи прошли без сна. Он недвижно лежал на кровати, всего в нескольких футах от ложа своей доверчивой жены, пытаясь прояснить и объяснить свои ощущения, сбрасываясь с мыслями. Он знал, он предчувствовал, что рано или поздно истина прорвется на свет Божий, люди осудят этих подонков и их бизнес. Гнусная афера не могла не стать объектом всеобщего негодования. Что он мог для этого сделать? Рассказать полиции? Это требовало смелости, которой не оказалось в его задумчивом и ослабшем сердце. Ронни не нашел ее в себе ни в пятницу, ни в субботу. Синяки почти исчезли. Беспорядок и волнения улеглись в умиротворенной душе. И тогда, в воскресенье, на свет Божий прорвалась ложь.

Она кричала с аршинных заголовков воскресной газеты, решившейся поведать миру все об «Империи секса Рональда

Гласса», не позабыв взять на вооружение его фотографии. Она была и внутри, где Ронни, снятый при самых невинных, обыденных обстоятельствах, производил благодаря фотомонтажу отнюдь не благопристойное впечатление. Он то защищал лицо от наведенной камеры, то оказывался застигнутым ею врасплох: все могли видеть его смущение и притворную невинность. Иногда монтаж уступал место ретуши. Кожа на щеках и подбородке, никогда не остававшаяся после бритья гладкой, казалась заросшей недельной щетиной. Ежику коротко стриженных волос был придан самый что ни на есть криминальный вид. Из легкого пришпуря близоруких глаз была сконструирована самодовольная похотливая гримаса.

Ронни изучал свое же лицо, размноженное Агентством новостей. Он чувствовал приближение своего Апокалипсиса. Потрясенный, он решил испить горькую чашу до дна.

Он прочитал все, что не поленился создать чай-то двухдневный труд. Чай именно? Он не знал. Этот вопрос оставался неразрешенным и тогда, когда чаша была осушена. Было ясно, что это человек, знакомый с деятельностью Мэгира. Подробно описывался тот тайный мир, которым окружил себя этот мерзавец: порнография, публичные дома, секс-шопы, кинотеатры. Но имени главного его обитателя, стоящего в центре этого мира, не было нигде. Как и имен помощников. Не упоминались ни Курица, ни Генри. Только Гласс. Везде, во всем лишь один Гласс, к тому же еще и растлитель детей. Каждый, кто прочел эту ложь, мог обвинить его во всех смертных грехах. Обвинить его одного. И бесполезно было отстаивать свою невиновность.

Он вернулся обратно. Бернадет была дома с детьми. Какая-то скотина, наверняка в приступе своего негодования забрызгавшая слюной телефонную трубку, не погнулась пересказать ей газетные сказки.

Ронни стоял на кухне около накрытого для обеда стола. Стоял, понимая, что воскресного обеда не будет. Никто не сядет за этот стол. Никто не притронется к этой еде. Он заплакал. Слезы не полились ручьями — их утекло ровно столько, сколько понадобилось Ронни, чтобы излить горечь сожаления. Он сел и с видом честного человека, оступившегося и осознавшего свою глубокую ошибку, разработал план убийства.

В его положении раздобыть оружие было делом непростым. Пришлось пустить в ход всю свою осторожность, несколько ласковых слов и немалое количество твердой валюты. Полтора дня ушли у Ронни на подготовку. За это время ему все же удалось выяснить, где он сможет купить необходимые орудия убийства и какими ими следует пользоваться.

Наступило его время, и Ронни приступил к делу.

Первым умер Генри Б. Он был застрелен в Ислингтоне в собственном доме. На собственной кухне из соснового дерева, где он, сжимая в трехпалой руке маленькую чашку, наслаждался крепким кофе. Его лицо вдруг исказила гримаса жалкого ужаса — ужаса унизительного и взывающего к пощаде, ноней не могло быть и речи. Первый выстрел продырявил ему бок, вмяв отстрелянный клочок рубашки в рану. Крови было мало. Слишком мало даже по сравнению с той, что истекла когда-то из Ронни. Тот выстрелил еще — уже более прицельно и уверенно. Пуля оправдала его надежды, попав в шею. Ей суждено было стать смертельной. Безмолвный Генри Б. медленно подался вперед, словно актер немого кино. Уродливая рука не желала расставаться с чашкой бодрящего напитка до тех пор, пока его тело не распростерлось вниз лицом на полу, впитывающем все, что Генри Б. мог на него расплескать. Завертевшаяся волчком чашка остановилась. Ронни сделал шаг и, оказавшись над трупом, выпустил еще одну пулю в заднюю сторону шеи. Она вошла в уже выбитое им отверстие. Быстрая и аккуратная работа. Ронни пробежал через двор и скрылся за задними воротами, пораженный прежде всего тем, что совер什ить убийство оказалось не так уж сложно. У него было ощущение, что он раздавил крысу в собственном винном погребе: немного неприятно, но потрудиться все же стоило. Он испугался обыденности этой мысли. Она истощала силы, не переставая преследовать его.

В конце концов он убил не кого-то, а Генри Б. Что ж, одним «фокусником» меньше.

Обстановка, в которой отдал концы Курица, была куда интересней. На собачих бегах тот сделал верную ставку и, показывая Ронни счастливый билет, вдруг почувствовал, как между четвертым и пятым его ребром продвигается нож.

Он не мог поверить, что кто-то вздумал убить его сейчас, когда в его руках находится счастливый билет. Он с удивлением вертел головой в разные стороны, смотря на публику, непринужденно делающую вокруг него свои ставки, словно ожидая от нее дружного смеха и признания в том, что над ним лишь хотели немного подшутить. Просто разыграть по случаю приближающегося дня рождения.

Ронни провернул в ране свой инструмент убийства, зная наверняка, что это неминуемо отправит Курицу на тот свет. Тому уже стало безразлично, был с ним его счастливый билет или нет. День для него был определенно не из счастливых.

Ронни немного прогулялся с его тушей, проводя ее до вертящегося турникета у безлюдного выхода и оставил ее там. Горячий поток, хлынувший из раны, был замечен лишь через некоторое время, когда Ронни уже и след простыл.

Довольный и очищенный он возвращался домой. Бернард собирала одежду, снимала со стен и мебели ту церковную утварь, которую особенно любила. Ронни хотелось сказать: «Возьми все — для меня теперь это ровным счетом ничего не значит», но она быстро выскользнула из дома. Кухонный стол оставался все еще накрытым с того воскресенья. Приборы покрылись пылью. Особено много ее было на маленьких детских чашечках. Наполовину растопленное масло распространяло прогорклый запах. Ронни просидел неподвижно всю ночь до следующего утра. Он чувствовал сосредоточивающуюся в нем силу — власть над жизнью и смертью. Наконец он подошел к своей кровати, лег и заснул, не сняв одежды и вовсе не заботясь о том, что она может помяться. Никогда еще сон его не был таким крепким.

Мэгиру нетрудно было догадаться, кто отобрал у него Курицу и Генри Б. Генри, хотя он вовсе не ожидал такого от Ронни. Преступный мир, к мнению которого Мэгир прислушивался, был, конечно, в восторге от грязной инсценировки в газете. Но никто в нем, включая и самого Мэгира, не думал, что жертва искусного подлога станет безжалостным карателем. Некоторые слои криминальной системы — самые низшие и самые жалкие — даже приветствовали такой поступок за его кровожадность и бессмысленность. Другие предполагали, что Ронни зашел слишком далеко, и если не укротить его разнуданность, он сможет здорово перетасо-

вать их карты. Мэгир посчитал верным последнее: с Ронни следовало расправиться.

Дни, оставшиеся у Ронни, могли быть пересчитаны на трехпалой руке Генри Б.

Его взяли в субботу днем. Быстро схватили, не дав воспользоваться оружием, и, лишив малейшей возможности избежать своей участи, конвоировали на склад салами и мяса. Там, среди обледенелого спокойствия камеры, они нанизали Ронни на крюк и начали пытать. Любой, кто хоть как-то был затронут судьбами Курицы и Генри Б. Генри, получил возможность изобразить на его теле огорчение и ярость — ножом, молотком, ацетиленовой горелкой — всем, что оказалось под рукой. Кости плеч и колен оказались искрошенными в порошок. Мучители разорвали ему барабанные перепонки, содрали кожу со ступней.

Где-то около одиннадцати вечера им это наскучило. Появилась возможность для других развлечений: открывались клубы, игровые дома. Можно было расходиться.

Но тут явился сам Микки Мэгир, разодетый в лучшие свои одежды. Ронни понимал, что он здесь. Лишенный почти всех органов чувств, он мог все же разглядеть в обволакивающем тумане пистолет, поднесенный к его голове. Послышался выстрел, сотрясший неподвижный затхлый воздух импровизированной камеры пыток. В мозг Ронни вошла одна-единственная пуля, пробив аккуратную дырочку во лбу — в самом его центре. На его изуродованном лице она казалась третьим глазом. Тело Ронни дернулось в последней конвульсии жизни и умерло.

Палачи отреагировали на это событие бурными аплодисментами — похвала воздавалась прежде всего Мэгиру, который так точно и изящно завершил дело. Он принял ее с достоинством, непринужденно произнес слова благодарности и удалился для игры в карты. Тело замотали черным пластиком и бросили на окраине Эппингского леса. Было уже ранее утро. Солнечные лучи дрожали в кронах ясеней и платанов. Казалось, все было закончено. На самом деле все только начиналось.

Тело Ронни было обнаружено человеком, совершившим вечернюю пробежку вдоль опушки. Его остановил неприятный запах начавшего разлагаться трупа.

Вскоре тело было передано патологоанатому. Тот без всяких эмоций наблюдал за работой двух технических ассистентов, которые освободили тело от прилипшего пластика и рваной одежды и разложили то, что не было мертвым телом Ронни, по специальнym ящикам. Патологоанатом стоял, спокойно ожидая окончания подготовительных процедур, когда в помещении, заполненном отражениями звуков печальной деятельности его ассистентов, появилась Бернадет. Глаза ее опухли от частых слез, лицо побледнело и казалось постаревшим. Она посмотрела на мужа. Без проблеска сожаления или любви, не вздрогнув и не поморщившись, когда ее взгляд остановился на ранах. Патологоанатом мог представить себе историю непростых взаимоотношений между Секс-королем и его не ведавшей забот супругой: их фиктивный брак, бесконечную ругань, обвинения супруги в мерзости и опасности избранного им пути. Ее разочарование. Его грубую настойчивость и жестокость... Как она, должно быть, рада освобождению от кошмара совместного выживания, появившейся возможности определить дальнейшую жизнь самой. Жизнь, в которой не будет этого негодяя. Патологоанатом подумал, не поинтересоваться ли адресом вдовушки? Тихое безразличие этого смазливого личика, рассматривавшего своего распотрошенного мужа-мучителя, было для него исполнено привлекательности...

Ронни чувствовал, что Бернадет недавно была рядом и что сейчас она ушла. Он мог чувствовать и присутствие других людей, совершенно посторонних, заскочивших сюда, чтобы посмотреть на Секс-короля. И после его смерти этот персонаж не перестал быть объектом восхищения. Ронни мог предвидеть такое, но по извилинам его бывшего мозга все же прокатилась волна ужаса. Ужасом был он сам — узник, способный слышать и чувствовать окружающий мир, но бессильный действовать в нем.

С самого момента смерти ему не удавалось освободиться от этого плена. По-видимому, он обречен был вечно сидеть здесь, в своем мертвом черепе, неспособный ни к какому перемещению: ни к возвращению в мир людей, ни к воспариению на небеса, нежелательному и неоправданному, пока в нем кипит эта жажда мести — именно она заставила отложить посещение Рая, с магической легкостью заставив ту часть сознания, которая помнила о необходимом в таких

случаях перевоплощении, примириться с идеей выполнения одного земного плана. Нужно было добавить еще книг: чтобы на обеих чашах их оказалось поровну. Нет, Ронни никуда не уйдет из этого мира, пока в нем обитает Мэгир.

Круглые, окостеневшие стены его темницы начали сотрясаться. Хотелось знать, что происходит. Он собрал свою волю и попробовал двигаться.

Патологоанатом колдовал над трупом Ронни, работая с усердием разделщика рыбы. Казалось, он владел всеми тонкостями этой профессии, совершая массу резких и грубых движений, заставляя все тело дергаться. Потом он долго копался в вязком месиве, обнаруженному там, где должны быть плечи и колени. Ронни этот человек не понравился. Настоящий мастер своего дела не позволил бы себе так смотреть на женщин и быть таким безразличным и безответственным работягой. Он не казался Ронни профессионалом. Скорее он был мясником. Ронни не терпелось показать этому садисту, как надо правильно препарировать и исследовать трупы. Одной его воли оказалось для этого недостаточно. Если только не попробовать сфокусировать ее на чем-то, что приведет к освобождению. Но на чем?

Закончив возню с телом, патологоанатом небрежно зашил его толстыми нитками. Стянув с руки блестящую перчатку, он бросил ее вместе с испачканными кровью и слизью инструментами на роликовую тележку, заставленную склянками со спиртом. Потом он вышел, оставив тело с ассистентами.

Ронни слышал, как раздвижные двери ударились друг о друга. Кажется, он остался в одиночестве. Откуда-то вытекала вода, часто капая на что-то. Звук начинал раздражать Ронни.

Оказалось, что он был не один. Рядом с трупом стояли ассистенты и обсуждали ботинки. Какие еще ботинки, ради всего святого?! Это было чем-то смешным, банальным. Каким-то враждебным Ронни примитивизмом. Враждебным к самой идее жизни.

— Помнишь эти новые подошвы, Ленни? Я хотел еще приладить их к коричневым башмакам? Безрезультатно. Редкая дрянь.

— Так я и думал.

— Выложить кучу денег, чтобы... Вот гляди. Нет, ты только посмотри: стерлись в ноль за какой-нибудь месяц.

— Они же на бумажной основе.

— Да, черт их возьми, Ленни, на бумажной. Надо бы отнести их обратно.

— Я так бы и сделал.

— Значит, стоит отнести?

— Я бы на твоем месте отнес.

Бессмысленная трепотня. После часов страшной пытки, после внезапной смерти, после открытия другого бытия — как это можно было вынести?

Дух Ронни заметался по своей темной тюрьме: от стенки к стенке, из начала в конец, из конца в начало. И снова по кругу. Жужжа, словно пчела, попавшаяся в западню перевернутой банки с джемом и стремящаяся только выбраться... И жалить.

Из начала в конец, из конца в начало. Снова по кругу. Как и этот разговор:

— Основа-то бумажная, чтоб ее.

— Тогда ничего удивительного.

— Иностранцы, чтоб их. Не наши подошвы... Сделано в вонючей Корее.

— В Корее?

— Ну да. Теперь неудивительно, что основа бумажная.

Она неискоренима, глупость этих людей, их вялая, ленивая жизнь. Они могут так существовать. *Они так и существуют*, в то время как Ронни мечется в жужжащем вращении в поисках выхода, наталкиваясь лишь на разочарование. Почему? Они боятся?

— Здорово прострелен, да, Ленни?

— Кто?

— Этот закостенелый. Труп, бывший когда-то Секс-королем. Прямо в середине лба, видал?

Денни не вызвал никакого интереса у своего помощника.

Скорее всего, того переполняли навязчивые мысли о подошвах. Денни отогнул край савана:

— Посмотри-ка сюда.

Помощник обвел взглядом лицо мертвеца. Рана была вычищена благодаря усилиям патолога-анатома. Белесый контур дырочки слегка оттопырился.

— А я думал, что его в сердце. Так чаще всего застреливают.

— Его никто не убивал на улице. Его казнили, — сказал Ленни, погрузив в рану свой небольшой пальчик. — Потрясающим выстрелом. Прямо в середину лба. Словно хотели сделать ему третий глаз.

— Да...

Саван вернулся на свое место. Пчела продолжала беспокойно жужжать. Из начала... в начало... по кругу...

— Ты что-нибудь слышал про третий глаз?

— А ты?

— Кажется Стелла мне что-то о нем читала: он вроде бы расположен в центре тела.

— Ну это же пупок. Или, по твоему, на животе лоб находится?

— Н-нет, но...

— Это пупок и ничто другое.

— Может быть, она имела в виду духовное тело, а не физическое...

Собеседник на этот счет ничего не высказал.

— Он как раз где-то здесь. Где дырка от пули, — сказал Ленни, восхищаясь тем, кто умудрился убить Ронни так красиво.

Пчела перестала жужжать. Она слушала. Дырка у Ронни была не только в голове. Она была в его доме, покинутом женой и детьми. Дырки были на лицах, смотрящих со страниц журналов. Они были всюду... Вот если бы знать, какая из них ведет на свободу. Для этого нужно было отыскать свою рану.

Дух Ронни не был уже больше маленькой мечущейся пчелкой. Он расслаивался, расползался, стремясь простираться вдоль поверхности лба. Он продвигался медленно, сотрясаясь от смущения и радостного предвкушения. Впереди вдруг что-то замерцало, манящее, словно свет в конце длинного туннеля. Свет, которым была наполнена материя савана. Движение стало уверенным и легким — направление было найдено. Свет становился ярче, голоса громче. Дух Ронни, не видимый никем и не слышный, вырывался на свободу. Энергетические потоки, являющиеся его волей и окружающие незаметным сиянием клубок его сознания, встретили на ходу единственное препятствие. Дальше они не прошли. Годный лишь к сожжению окоченевший кусок мяса и спекшейся крови был покинут навсегда.

Ронни Гласс существовал в новом мире — в неизведанном еще мире белой ткани.

Второй раз Ронни суждено было родиться саваном.

Рассеянность снова привела патологоанатома в покойницкую. Он забыл здесь записную книжку с адресом и телефоном вдовы Гласс. Отыскать ее оказалось делом непростым. Он ворошил бумаги и переставлял предметы, не зная, что лучшим было бы и носа сюда не казать. Если он, конечно, дорожил хоть сколько-нибудь своей жизнью. Для него все закончится в считанные секунды...

— Что это такое? Вы с ним еще не закончили? — огрызнулся он на технических ассистентов.

Тем оставалось лишь пробормотать невнятные оправдания.

Их черепашья медлительность была обычно удачным поводом, чтобы выплеснуть раздражение, часто скапливавшееся к концу рабочего дня.

— Поторопитесь-ка убрать это отсюда, — он сорвал с тела саван и в ярости швырнул его на пол. — Этому развратнику, наверное, наскучило порядком здесь лежать и ждать, пока вы не соизволите его немного подогреть. Удивительно, что он еще здесь. Или, может быть, вы наплевательски на репутацию нашего скромного отеля?

— Да, сэр. В смысле, нет, сэр.

— Что же вы стоите? Засовывайте это в полиэтилен. Несчастная вдова хочет, чтобы тело сожгли побыстрее, а вы тут прохладаетесь. Да и мне оно тут ни к чему. Я и так уже насмотрелся на то, что надо было в нем увидеть.

Ронни лег на пол смятой громадой. Он лежал на полу, постепенно свыкаясь с новыми ощущениями. Обрести тело было не так уж плохо, будь оно даже прямоугольным и пропахшим стерилизаторами. Еще сомневаясь, можно ли им управлять, Ронни почувствовал себя его хозяином. Ему казалось, что воля и сила его желаний не могла не оживить коснное.

В свойствах этой материи была заложена полная пассивность и мертвенност — они были ее сутью, отвергающей жизнь, вовсе не пред назначенной для служения и подчинения вселившимся духам. Но Ронни не хотел сдаваться. Излучение его желания, поправ естественные законы, наполнило переплетения волокон силой и энергией и заставило их совершить первое самостоятельное движение.

Саван медленно расправился и встал вертикально.

Патологоанатом засовывал на ходу найденную наконец черную книжечку в нагрудный карман, когда на его пути неожиданно возник белый занавес. Он слегка прогнулся назад, словно желая потянуться, как человек, очнувшийся от глубокого сна.

Ронни попытался говорить. Но не издал ни звука, хоть немного отличного от шороха своего нового тела. Лишь тихий шелест белья, обдуваемого легким ветерком. Звук был слишком тонким и прозрачным — перепуганные люди вряд ли его слышали. Их оглушили бешено стучащие от страха сердца. Патологоанатом бросился к телефонному аппарату, надеясь вызвать кого-нибудь на помощь. Но нигде никого не было. Ленни с напарником ринулись к раздвижным дверям, во все горло заклиная неземные силы помочь им. Патологоанатом же вовсе не был способен двигаться — он еще в большей степени лишился рассудка.

— Сгинь с глаз моих, — произнес он.

Ронни лишь обнял его. Крепко обнял.

— Помогите, — вымолвил бледный патологоанатом. Обращался он, по-видимому, к себе самому. Те, кто могли ему помочь, неслись сейчас по коридорам, выкрикивая бог весть какую чушь. Они бежали, стараясь все время находиться спиной к ужасающему чуду, появившемуся в покойницкой. Патологоанатом был там один — завернутый в накрахмаленную материю савана, бормочущий слова, которые, по его мнению, могли послужить спасению.

— Прости меня, кем бы ты ни был. Кто бы ты ни был. Прости.

Ярость, владевшая Ронни, не принимала никаких извинений. Никакого помилования — приговор не подлежит больше обжалованию. Это всего лишь подонок с рыбьими глазенками. Незаконнорожденное дитя скальпеля, позволившее себе резать его тело и ковыряться в нем, словно в телячьем боку. Он был виновен в своем ледяняще-холодном отношении к жизни, к смерти, к Бернадет. Поэтому ему придется умереть. Здесь. Среди последних останков, над которыми орудовали его бездушные пальцы.

Из уголков савана начали формироваться руки — от Ронни требовалось лишь представить себе эти орудия возмездия. Он понял, что стоит, наверное, попробовать придать

себе прежний внешний вид. Начать пришлось с рук. Ну что ж... Вскоре удалось вырастить на них пальцы. Большие, правда, оказались немного меньше прежних. Он напоминал Адама, создаваемого Творцом из белой ткани.

Творение на время прекратилось: руки схватились за шею патолога-анатома. Они не чувствовали ее упругих мышц. Никакого сопротивления. Невозможно было рассчитать усилие, с которым следовало давить на пульсирующую кожу. Ронни просто держался за нее, решив, что давит достаточно крепко. Лицо жертвы наполнилось чернотой, темно-бордовый язык высокочил изо рта, словно его выплюнули. Ронни старался. Шея хрустнула, и голова откинулась назад, окававшись под устрашающим взор углом к туловищу. Она не могла больше произносить оправданий.

Ронни заставил все это упасть на пол, натертый протестующими ногами жертвы. Он посмотрел на свои новые руки глазами, которые были еще двумя крохотными, словно прошколотыми булавкой, дырочками.

Он почувствовал уверенность в своем новом теле. Какая же в нем была сила: нисколько не напрягаясь, сломать шею человеку! Растворенный в странном бескровном куске материи, он был свободнее, чем в оковах человеческого тела. Он жил, несмотря на то, что внутри него все было наполнено воздухом, который беспрепятственно протекал сквозь новую плоть. Можно было свободно парить над миром, быть движимым ветрами, словно планирующий лист бумаги. Можно было создать из себя страшное орудие и поставить весь мир на колени. Казалось, что возможностям предела не было.

И все же... он чувствовал, что это приобретение не останется у него навечно. Рано или поздно саван вновь захочет оставаться неподвижным, вернуть себе привычную жизнь. И если пока он позволяет себе быть вместилищем духа, необходимо мудро воспользоваться этой щедростью, всеми удивительными свойствами этой обычной вещи, взятой напрокат, чтобы совершить месть. Прежде всего, чтобы убрать Мэгира. И чтобы потом, если срок аренды не истечет, взглянуть на детей. Однако вряд ли разумным было бы для савана наносить визиты. Это более естественно для человека. Осталось лишь создать его иллюзию.

Оказалось, Ронни был способен на многие странные вещи: на смятой поверхности подушки начали появляться изобра-

жения и лица, заказываемые его желанием, его памятью. Своеобразным киноэкраном могли служить и фалды пиджака, висящего на дверном крючке. Память оживляла мир. Она творила его. Добравшись до Туринской Плащаницы, она выяснила загадочное изображение Иисуса Христа в точности такое, как на почтовой открытке, которую ему не так уж давно прислала Бернадет. Образ разворачивался перед ним во всех мистических деталях: были видны следы ран от копий и отпечатки каждого ногтя. И ему суждено было воскреснуть. Почему бы не совершившись другому чуду, столь похожему на это?

Подойдя к раковине морга, он перекрыл воду, потом посмотрел в зеркало, чтобы быть свидетелем своего превращения. По белой поверхности савана бежали воздушные волны. Ваятелю пришлось нелегко на подготовительном для настоящего творения этапе. Сначала очертилась глыбообразная голова. Вышло подобие снежной бабы: две ямки вместо глаз, грузный и обвисший нос. От создателя требовалось изменить сам материал, нарушить пределы его эластичности. Он сосредоточился. Он хотел этого изменения. Но что это? Непостижимо, но все удалось! Материал сдался: нитки за скрипели, но поддались усилию, загибаясь в ободки ноздрей, накапливаясь в тонких веках, переплетаясь в выпуклостях верхней губы. Затем нижней. Словно созерцающая трепетный образ возлюбленной, его память выносила из прошлого все черты, все мельчайшие подробности творимого лица, воплощая его в белой ткани. Вырос столбик шеи: он казался полой изящной подставкой для только что созданного. Он был наполнен воздухом, но прочно держал форму. Наконец забурись еще ниже, влившись в мускулистый торс. Быстро свернулись ноги. Готово.

Адам был сотворен заново. Ронни предстал в привычном виде. Иллюзия была соткана из белой материи — вся, если не принимать во внимание нескольких пятен. Это делало ее не вполне совершенной: плоть, имевшая вид одежды. Черты лица казались плодом деятельности кубиста, немного все же грубоватой. Им не хватало малой толики реализма, о котором свидетельствовало отсутствие волос и ногтей. Однако шедевр был завершен, получив право на существование в этом мире.

Пришло время показать его публике.

— Твой расклад бьет, Микки.

Проигрывать в покер Мэгиру приходилось редко. Он был слишком умен — это не оставляло шанса эмоциям. Усталые глаза не содержали никаких намеков. Обладатель титула победителя, он не жульничал никогда — это был контракт, подписанный им с самим собой. К тому же от нечестной игры не получить полноценного удовольствия. Пусть этим занимаются подрастающие преступники. Солидному бизнесмену такое не к лицу.

За два часа в его карманах осела уже приличная сумма. Все шло гладко. Дела с полицией давно были налажены. Щедро одаряемая, она занималась поисками убийцы, покончившего с Курицей и Генри Б. Генри, игнорируя все приказы, исходящие от менее важного начальства. И не жалела на это средств и времени. Как-то раз инспектор Уолл, давний приятель Мэгира по одной рюмочной, показал ему повинную какого-то бывшего убийцы, совершенно ненормального типа, который исчез без следа, накатав эти строки. Мэгир был весьма польщен таким поступком.

Было три часа ночи. Всем плохим девочкам и мальчикам пора бы и помечтать о завтраших преступлениях, забравшись в постельки. Мэгир встал из-за стола, обозначив этим, что игра окончена. Он застегнул пуговицы жилета. Элегантно подтянул узел шелкового галстука.

— Повторим через недельку? — предложил он.

Неудачники были согласны. Для них проигрыш своему боссу был привычным явлением, однако среди всей четверки взаимных обид не возникало. Все вместе они испытывали скорее всего одно чувство: огорчение от того, что они потеряли Курицу и Генри Б. Генри. Субботние игры были утешением и отдушиной. Сейчас за столом царило неподвижное молчание.

Первым поднялся Перльгут, оставив сигару в захламленной окурками пепельнице.

— До скорого, Мик.

— До скорого, Фрэнк. Поцелуй своих малышей и скажи, что от дяди Мика.

— Идет.

Он зашаркал прочь, потянув за собой своего братца-зайку.

— Д-д-д-до скорого.

— До скорого, Эрнст.

Братья зашагали вниз по грохочущей лестнице.

Нортон, как обычно, ушел последним.

— Погрузка завтра? — спросил он.

— Завтра воскресенье, — ответил Мэгир. По воскресеньям он не работал никогда. Этот день был для семьи.

— Нет, сегодня воскресенье, — произнес Нортон, не слишком педантично.

— Да, да.

— Погрузка в понедельник?

— Надеюсь, что так.

— Вы собираетесь на склад?

— Возможно.

— Тогда я к вам заскочу, вместе пойдем.

— Хорошо.

Неплохой малый этот Нортон. Без капли юмора, но надежный.

— Тогда до завтра.

Стальные подковы на подошвах зацокали по лестнице, словно дамские каблукки. Хлопнула нижняя дверь.

Мэгир подсчитал прибыль и, допив остатки «Куантре», потушил свет в игровой комнате. Во мраке едко пахло сигарным дымом. Завтра он попросит кого-нибудь подняться сюда и открыть окна. Пусть здесь воцарятся свежие ароматы Сохо: кофейных зерен и салями, коммерции и тонких одежд. Он любил их. Страстно, как любит младенец материнскую грудь.

Спускаясь вниз в дремлющую темноту секс-шопа, он слышал доносиившиеся с улицы краткие слова прощания, негромкие хлопки автомобильных дверей, ворчащее отбытие дорогих лимузинов. Чудесная ночь, проведенная среди хороших друзей, — чего еще желать мужчине?

В самом низу лестницы он задержался на минутку. Мигающий подсвет дорожных знаков вырвал из мрака расположенные в ряд журналы. Пластиковые обложки сверкали. Вынырнувшие из-под одежд холмы грудей и ягодиц казались изобилием перезревших фруктов. Лица, увлажненные косметикой, предлагали все для одинокого удовлетворения. Все, чем могла только располагать бумага. Но он был неподвижен — далеко позади остались те времена, когда эта чушь

могла его интересовать. Теперь в ней важны лишь деньги, содержание же стало абсолютно незначащим. Оно не отталкивало и не привлекало. В конце концов, он просто счастливый мужчина, женатый на женщине, воображение которой не выходит за пределы второй страницы «Кама Сутры». И он отец ребенка, на каждый каверзный вопрос которого он отвечал громким и увесистым шлепком.

В углу магазина, отведенного для приспособлений порабощения и подчинения, что-то выросло из пола. Что, трудно было разглядеть в этом мигающем свете. Красном, синем... Нет, не Нортон. И не кто-то из братьев Перльгут.

И все же лицо, улыбка которого застыла на фоне «связанных и насилиемых», было ему знакомо. Он понял: это был Гласс. Абсолютно белый, несмотря на цветную иллюминацию. Абсолютно живой, несмотря ни на что.

Мэгир решил не теряться в догадках. Он запахнул плащ и кинулся прочь.

Дверь была заперта, в связке болталось два десятка ключей. Боже мой, почему же их столько? От дверей складов, от дверей игровой, от дверей девочек. Не просто быстро отыскать нужный. И еще это освещение: красное, синее, красное, синее.

Он начал было лихорадочно перебирать их, но счастливый случай сразу предоставил ему верный выбор. Ключ с легкостью проскользнул в механизм замка. Дверь открылась. Впереди улица.

Но Гласс, бесшумно крадущийся сзади, был уже рядом. Лицо Мэгира запеленала странная одежда, не дав сделать и шага, окружив запахом лекарств и дезинфекции. Мэгир хотел крикнуть, но сгусток материи сильно сдавил горло. Он закупорил голосовые связки, заставив их содрогнуться в защитном рвотном движении. Коварный убийца только усилил давление.

На противоположной стороне улицы за происходящим наблюдала девушка. Мэгир знал ее как Натали-модель, согласную принять любую требуемую позу. На рассеянном лице застыл одурманенный взгляд. Раз или два она уже была свидетелем убийства. Об изнасиловании и говорить не приходится. Было поздно, и бедра ныли от усталости. Она повернулась и пошла в освещенную розовым светом подворотню, оставив сцену насилия без внимания. Мэгир отметил

про себя, что с девчонкой следовало бы разобраться в ближайшие дни. Если он, конечно, до них доживет, что не казалось сейчас очевидным. Красное уже не сменялось синим. Мозг, лишенный воздуха, был невосприимчив к свету. Руки, пытавшиеся ослабить хватку противника, лишь беспомощно скользили.

Послышался чей-то голос. Не позади него, не голос убийцы, а на противоположной стороне улицы. Нортон. Это он! Господи, возлюби его душу! Он вылезает из машины в каких-нибудь десяти ярдах, громко выкрикивая имя Мэгира.

Железная хватка ослабла, и Мэгир тяжело рухнул на тротуар. Мир кружился в глазах. Лицо побагровело, охваченное жаром.

Нортон стоял напротив своего босса, копаясь в карманных безделушках в поисках пистолета. Убийца, не решившийся вступить с ним в борьбу, отступал, быстро перемещаясь по улице. Он показался Нортону сбежавшим членом Ку-Клукс-Клан: колпак, плащ, мантия. Нортон присел на колено и, приняв позицию для стрельбы с двух рук, спустил курок. Результат выстрела ошеломил его. Фигура вздулась, словно наполнявшийся воздухом воздушный шар, тело потеряло форму, став трепещущей на ветру белой материей. На ее краях сохранился барельеф лица. Звук, сопровождавший это превращение, напоминал громкое шуршание расправляемой простыни, слипшейся после обработки в прачечной. Такие звуки вряд ли звучали на этой чумазой уличке. Обескураженный Нортон не смог ничего предпринять: белая накидка вдруг воспарила, растворившись в темном воздухе.

У ног Нортона ползал Мэгир, не в силах подняться с колен. Он говорил что-то, сквозь стоны, но распухшая горталь искажала звучание слов. Нортон нагнулся, чтобы понять, что они значат. От Мэгира пахло рвотой и страхом.

— Гласс, — хотел, по-видимому, сказать он.

Этого было достаточно. Нортон быстро кивнул головой и попросил Мэгира не издавать ни звука. Да, это его лицо он видел на простыне, — Гласса. Бухгалтера, проявившего неуравновешенность. Нортон видел, как его пытали. Он помнил, как поджаривались пятки. Помнил весь жуткий ритуал, который не пришелся ему тогда по вкусу. Что же, ясно, у Ронни были и другие друзья. И сейчас они не прочь за него отомстить.

Нортон посмотрел наверх, на небо. Но ветер уже далеко унес призрака.

Это была неудача. В первый же раз ему пришлось испытать горечь поражения. Ронни лежал на ступенях заброшенной фабрики, выходивших прямо к реке, и обдумывал события этой ночи. Паника в переплетениях ткани постепенно исчезла. Что получилось бы, если после этого трюка он потерял контроль над своей устрашающей оболочкой? Нужно было все просчитать. Учесть все варианты и возможности. Нельзя позволять воле ослаблять конгроль. Он чувствовал, что какая-то часть энергии все же покинула саван: реконструкция тела удалась с большим трудом. Для новых ошибок времени не оставалось. Ничего, в следующий раз он встретит этого человека в таком укромном местечке, где ему никто и ничто не поможет.

Полиция уже долго находилась в морге — расследование не сдвигалось с мертвой точки. Допрос Ленни затянулся до поздней ночи. Инспектор Уолл перепробовал уже все известные ему приемы дознания: мягкие слова, грубые, обещания, угрозы, обольщение, затягивание в логические ловушки и даже брань. Но Ленни неизменно твердил одно и то же, повторяя глупую историю, убеждая в том, что его напарник, очнувшись от комы, вызванной нервным истощением, не расскажет ничего нового. Инспектор, по всем существующим на то причинам, не мог принять ее всерьез. Саван, который встал и пошел? Как можно было заносить такое в протокол? Ему нужны были факты поконкретнее, и ничего, если они даже окажутся ложью.

— Можно мне закурить? — спросил Ленни, задававший этот вопрос уже бесчисленное число раз. Уолл снова отрицательно покачал головой.

— Эй, Фреско, — обратился он к человеку справа, Аль Кинсаду. — Думаю, тебе пора опять немножко поучить этого парня.

Ленни знал, что за этим последует — его снова будут бить.

Поставят к стене, ноги расставят, руки за голову... Внутри Ленни все содрогнулось.

— Послушайте... — произнес он, умоляя.

— Что, Ленни?

— Это сделал не я.

— Это сделал ты, — сказал Уолл, гордо вздернув нос. — Нам хотелось бы узнать, почему? Тебе не нравился старый развратник? Небось, он отпускал грязные шуточки в адрес твоих подружек, не так ли? За ним водился такой грешок, не секрет.

Аль Фреско ухмыльнулся.

— Может быть, ты застал его с одной из них?

— Ради всего святого, — вырвалось у Ленни. — Стал бы я рассказывать вам эту херову историю, не увидь я эту дрянь своими долганными глазами.

— Повежливее, — прошипел Фреско приказывающим тоном.

— Саваны не летают, — сказал Уолл с неоспоримой убедительностью.

— Тогда, где же он? — спросил Ленни.

— Ты сжег его в крематории, ты его съел... Откуда мне это знать, твою мать?

— Повежливее, — произнес Ленни.

Фреско, собравшийся было его ударить, отвлекся на телефонный звонок. Он поднял трубку и вскоре передал аппарат Уоллу. Затем он ударил Ленни. Легонько — появилась лишь узкая струйка крови.

— Слушай-ка, — Фреско придвинулся к Ленни так близко, словно хотел высосать из его легких воздух. — Мы знаем, что это сделал ты, понимаешь? Ты был единственным в морге живым и способным на это, понимаешь? Вот нам и хочется узнать, почему? И все. Только почему?

— Фреско.

Уолл демонстрировал трубку мускулистому атлету.

— Да, сэр.

— Это господин Мэгир.

— Господин Мэгир?

— Микки Мэгир.

Фреско кивнул.

— Он очень обеспокоен.

— Да что вы. И чем же?

— Он говорит, что на него напал человек из морга. Этот порнографический воротила.

— Гласс, — подсказал Ленни. — Ронни Гласс.

— Это же смешно, — произнес Фреско.
— И все же нам надо помнить о желаниях вышестоящих членов общества. Зайди-ка в морг, чтобы убедиться...
— Чтобы убедиться?
— Что этот мерзавец все еще там.
— Ну и ну.

Немного смущенный Фреско покорно вышел.

Ленни не мог взять в толк: каким боком все это касается его? Он опустил левую руку в карман и, используя дырочку в нем, начал играть сам с собой в биллиард. Уолл глянул на него с презрением:

— Прекрати, — сказал он. — У тебя еще будет время поиграть с собой, когда окажешься в теплой уютной камере.

Ленни медленно кивнул головой, неохотно соглашаясь, и вынул руку. Сегодня он и сам себе не хозяин.

Фреско вернулся немного помрачневшим.

— Он там, — сказал он.

— Конечно же, он там.

— Мертвый, словно Додо, — добавил Фреско.

— Что такое Додо? — поинтересовался Ленни.

Лицо Фреско озадачилось.

— Оборот речи, — процедил он с раздражением.

Уолл продолжал говорить с Мэгиром. Там, на другом конце провода, голос звучал призрачно тихо. Уолл был уверен, что убеждения начали срабатывать.

— Микки, он там и в том же положении. Ты, наверное, ошибся.

Ему показалось, что электрический разряд удариł его в ухо, вырвавшись из трубы, в которой звучал охваченный ужасом голос Мэгира:

— Я же видел его, черт бы вас побрал!

— Но он лежит там с дыркой в голове, Микки. Как ты мог его видеть?

— Я не знаю.

— Ну что ж.

— Слушай... Если выкроишь время — загляни ко мне. Тут возможно одно дело. Тебе найдется неплохая работа.

Уолл, не любивший обсуждать дела по телефону, почувствовал себя неловко.

— Позже, Микки.

— О'кей. Только ты позвони.

— Конечно.

— Обещаешь?

— Да.

Опустив трубку на рычаг, Уолл поднял глаз на Ленни. Тот продолжал свою безобидную игру. Маленькое неуважительное животное. Но Уолл знал, как с ним поступить.

— Фреско, — он придал голосу искусственную нежность. — Погордись-ка немножко поучить эту обезьянку правилам поведения перед офицерами полиции.

Мэгир плакал от ужаса, укрытый стенами своей крепости в Ричмонде.

Сомнений не было: он видел Гласса. Никакие уверения Уолла, что тело лежит в морге, не могли его успокоить. Гласс был не там — он был на свободе, вольный, как птичка, несмотря на то, что ему продырявили голову. Богобоязненный Мэгир верил в существование после смерти, но никогда не задавался вопросом, в чем оно могло выражаться. Никогда, пока не произошло это. Теперь у него был ответ: оно было озабоченным местью мерзавцем, заполненным внутри воздухом. От этого и приходилось рыдать — страшно было жить, страшно было умереть.

Заря была очень красива — воскресное утро рождалось в тихом великолепии. Ничто не в силах было потревожить его покой...

Здесь, в «Понлеросе», в его замке, выстроенном после стольких лет не столь уж честных, но и не столь уж легких накоплений. Здесь с ним был вооруженный до зубов Нортон. Здесь все ворота охранялись собаками. Никто — ни живой, ни мертвый — не осмелится бросить ему вызов, пока он на своей территории. Пока он окружен портретами своих кумиров: Луи Б. Майера, Диллинджера, Черчилля. Пока с ним его семья, его эстетический вкус, его деньги, его *предметы искусства*. Пока он здесь и чувствует себя дома. И если этот спящий бухгалтер придет за ним сюда — его планы будут разрушены. Будь он хоть трижды призраком — это *решение окончательно!*

Разве не он — Майкл Росскоу Мэгир, строитель собственной империи? Он, рожденный в нищете, победивший судьбу лишь благодаря выражению своего лица — лица достойного биржевого маклера — и своему вечно скитавше-

муся сердцу. Лишь однажды, когда другого выхода у него не было, он позволил низменным инстинктам выплеснуться наружу — на казни Гласса. От своего небольшого представления, от своей скромной в нем роли он получил тогда подлинное удовольствие. Это был *его грациозный жест*, спасавший того от мучений. Его жалость, наконец. Пусть это было даже и его насилием — оно осталось позади. В далеком прошлом. Сейчас он просто буржуа, имевший право укрыться в своей собственной крепости.

Где-то около восьми проснулась Ракель, сразу же заняв себя приготовлением завтрака.

— Хочешь чего-нибудь поесть? — спросила она Мэгира.

Он смог лишь покачать головой — так сильно болело горло.

— Только кофе?

— Да.

— Я принесу его сюда, хорошо?

Он кивнул. Ему нравилось сидеть у этого окна, открывавшего вид на зеленый газон и оранжерею. Великолепный день: пухлые, словно покрытые шерстью, громады облаков вздымались ветром, отбрасывая на зеленый ковер причудливо движущийся узор теней. Наверное, стоит научиться рисовать, думал он. Уинстон когда-то так и поступил. Он перенес бы на холст любимые природные пейзажи. Свой сад, например. Он увековечил бы в масле многое. Даже обнаженную Ракель — ее груди никогда не потеряют тогда своей формы. Лишь на картине...

Она уже была рядом, с кофе, что-то тихо мурлыча ему на ухо.

— У тебя все хорошо?

Тупая сука. Конечно же, у него далеко не все так уж хорошо.

— Да, — ответил он.

— А у тебя гости.

— Что? — Он выпрямился в кожаном кресле. — Кто?

— Трейси, — последовал ответ. — Она хочет войти и обнять своего папулю.

Он отвел рукой ее волосы, едва ли не попавшие в рот.

Просто тупая сука.

— Ты ведь хочешь увидеть Трейси?

— Да.

Маленькое несчастье — он любил так называть свое дитя — стояло у двери. Все еще в ночной рубашонке.

— Привет, папуля.

— Здравствуй, золотце мое.

Она направилась к нему. Красивая походка — ее мама в молодости.

— Мамуля говорит, что ты заболел.

— Я уже почти поправился.

— Я очень рада.

— И я тоже..

— Пойдем сегодня гулять?

— Может быть.

— Тогда мы сходим на выставку?

— Может быть.

Ее губки надулись. Очаровательный жест. Он должен был вызвать у него умиление. Все та же Ракель, все те же приемы. Не дай Бог и ей стать столь же тупой, как ее мамочка.

— Поглядим, — произнес он, стараясь, чтобы слова прозвучали, как «Да». Уверенный, что они означают «Нет».

Она забралась к нему на колени — пришлось немного побаловать ее сказками о том, каким озорником был папуля пять лет назад. Наконец он попросил заслушавшееся дитя пойти одеться. От разговоров горло ныло сильнее. Ему уже не хотелось быть сегодня любящим отцом.

Оставшись в одиночестве, он долго смотрел на вальсирующие по площадке газона фигуры теней.

Сразу же после одиннадцати послышался лай собак. Затем вновь стало тихо. Нортон был занят на кухне: помогал Трейси в приготовлении «Телеги с сеном» — любимого лакомства Ракель, состоявшего из нескольких тысяч тоненьких кусочеков. К ним вошел Мэгир:

— Что там случилось?

— Не знаю, босс.

— Так узнай же, чертов ублюдок!

В присутствии дочери он редко ругался — сейчас же готов был застрелить Нортона у нее на глазах. Тот отреагировал молниеносно, словно уловил и другое, скрытое желание босса. Он подскочил к задней двери и быстро отпер. Мэгир почувствовал свежий запах хорошего дня. Ему захотелось

выйти. Чтобы просто глотнуть чистый теплый воздух. Но лай собак все еще отдавался в его голове тяжелыми ударами — он не позволил поддаться порыву. По телу вновь побежали мураски. Трейси съежилась над творимым блюдом в ожидании проявления отцовского гнева. Но он, не сказав ни слова, направился к своему покинутому креслу.

Разместившись в нем, он увидел Нортона, покрывающего поверхность газона размашистым шагом. Собака не издавали ни звука. Нортон исчез из поля зрения, зайдя за оранжерею. Он не появлялся долго; Мэгир ждал... Терпение его достигло предела, когда Нортон вдруг возник снова — он смотрел на Мэгира и что-то кричал, пожимая плечами. Мэгир открыл дверь и, скользнув в просвет, оказался во внутреннем дворике. День окружил его исцеляющим благоуханием.

— Что ты говоришь? — крикнул он Нортону.

— Собаки в порядке, — отозвался тот.

Мэгир ощутил, как волны успокоения разлились в его теле.

Ну, конечно, они в порядке. Почему бы им не полаять — ведь они созданы именно для этого. Чего он испугался, едва не наложив в штаны? Собачьего лая? Он кивнул Нортону и зашагал по направлению к газону. Чудесный день, подумал он и убыстрял шаг. Он торопился к оранжерее, под роскошные кроны деревьев Бонсэ. Нортон ждал его у дверей, деловито нащупывая в карманах мятные конфеты. Он был готов выполнить дальнейшие указания.

— Я могу помочь вам здесь, сэр?

— Нет.

— Вы уверены?

— Абсолютно, — произнес Мэгир великолепно. — Иди-ка ты лучше домой и развлеки малышку.

Нортон оживленно кивнул.

— Собаки в порядке, — опять повторил он.

— Ну да.

— Должно быть, ветер их встревожил.

Было действительно ветрено. Сильные теплые порывы заставляли гнуться стебли красного бука, которыми была обозначена граница сада. Они дрожали, показывая небу бледную внутреннюю сторону своих листьев. Словно умоляли его остановить стихию.

Мэгир отпер дверь оранжереи и оказался под ее высоким навесом.

Навесом, казавшимся небом над Раем, созданным для его экзотических любимцев: Сарджентского можжевельника, выжившего в суровом климате горы Ишизуки, цветоносной айвы... Для его любимой карликовой елочки Йеддо, которую не просто было уговорить зацепиться слабыми корнями за гладкую поверхность камня...

Умиротворенный, он бродил среди своего волшебного мира. Он забыл о том, что рядом существует другой.

Собаки встретили Ронни озлобленно — он был для них лишь странно пахнущей игрушкой, которую можно было рвать, кусать и забрызгивать слюной. Оказавшись в стенной нише, он не мог от них избавиться до тех пор, пока вошедший Нортон не отвлек их.

Материя в нескольких местах была порвана. Ронни волновало лишь то, сможет ли он сохранить ее форму. Хватит ли сил, чтобы сделать это. Он стоял в нише, сконцентрировавшись и собравшись. Он не знал, что Нортон был рядом и лишь по счастливой случайности не заметил его.

Прятаться было опасно. Он покинул недавнее убежище. Иллюзия его материальности пострадала от схватки с собаками: на животе была большая дыра; саван то и дело распахивался медленно выпуская управляющую им энергию, она покидала его и через разорванную левую ногу; тело было замызгано собачьими слюнями и испражнениями. Пятен становилось все больше — это уже была кровь. Но желание... Желание было сильнее всего этого. Как он мог, стоя у долгожданной цели, позволить силам природы заставить его сдаться? Он, само существование которого было мятежом против этих сил? Сейчас, впервые в своей жизни — и в своей смерти, — он чувствовал избранность своей участи, своего положения, своей сверхъестественности, нарушавшей основы законов и здравомыслия. Разве это плохо? Он был залепан кровью и дермом, он был мертвым и воскресшим в куске запачканной материи. Он был каким-то абсурдом. *Но все-таки он был!* И пока его желание быть не умерло, — никто и ничто не властно над ним. Только эту мысль он мог противопоставить ослепшему и оглохшему миру, который он не хотел сейчас покидать. Он знал, что Мэгир в оранжерее. Он долго уже наблюдал за ним: враг был полностью погружен в заботу о растениях. Он даже насвистывал государств-

венный гимн, когда наклонялся над каким-нибудь из них. Тихо и нежно...

Но Мэгир не слышал этого призрачного звука. Тогда Ронни надавил лицом на стекло так, что черты его расплющились и изуродовались. Раздался скрипящий треск... Вздрогнувший Мэгир случайно задел елочку Йеддо. Она соскочила со своего ненадежного фундамента и упала на пол, расщепившись пополам.

Мэгир хотел закричать, но голосовые связки издали какой-то сдавленный визг. Он бросился к двери как раз в тот момент, когда стекло треснуло под нажимом Ронни. Что произошло дальше, Мэгиру трудно было понять.

Ему показалось, что нечто стремительное и невесомое скользнуло вовнутрь через выломанный проход и встало перед ним, представ в виде человека.

Нет, вряд ли можно было назвать это человеком... Скорее перед ним была жертва жесточайшего избиения: обвисший правый бок, оплавившие формы бледного лица. Половинки порванной ноги шевелились, словно жабры рыбы, когда существо переносило на нее центр тяжести.

Мэгир распахнул дверь, открыв путь к отступлению. Потом побежал. Странное явление последовало за ним, протягивая к нему руки, пытаясь с ним заговорить.

— Мэгир...

Оно произнесло это тихо. Гораздотише, чем тот мог себе представить. Просто почудилось? Нет:

— Ты узнал меня, Мэгир?

Как его было не узнать, хоть он и был теперь лишь пузырящейся на ветру оборванной фигурой?

— Гласс, — прошептал он.

— Да, — ответил призрак.

— Я не хочу... — Мэгир вдруг осекся. Чего он не хотел? Разговаривать с этим кошмаром? Знать о его существовании? Или...

— Я не хочу умирать.

— Но ты умрешь, — произнес призрак.

Белая материя набросилась на его лицо: словно ветер подхватил бесстелесное существо и швырнул в его сторону.

Снова этот жутковатый запах эфира и дезинфекции. Запах смерти. Объятия рук становились крепче. Опавшее лицо тесно прижалось к его щеке, словно для поцелуя.

Руки Мэгира, в защитной лихорадке царапавшие ткань савана, смогли нашупать прореху, сделанную собаками. Уцепившись за ее край, он начал тянуть. Из материи вырвался громкий стон — треск накрахмаленного вещества, произведенный его бешеным колыханием. Саван брыкался в руках, скривив рот в едва слышном Мэгиру вопле.

Ронни забился в судорогах. Казалось, он не чувствовал уже ничего. Только боль, боль, боль... Он вырвался из причиняющих страдания рук, взревев так громко, как только мог.

Мэгир бросился от него прочь, в дом. Не разбирая пути, спотыкаясь и падая, поднимаясь и снова рвясь вперед с обезумевшими глазами. Он был близок к сумасшествию. Его сознание было потрясено до основания. Но этого было недостаточно. Ронни обещал себе убить негодяя — и он еще не отрекся от этого решения.

Боль не стихала, но, поглощенный преследованием, он не замечал ее. Лишь оказавшись у самого дома, он осознал свою страшную слабость перед ветром — его всегдашим врагом. Перед ветром, который разрывал его тело и свистел в лохмотьях внутренностей. Казалось, Ронни был продырявленным боевым знаменем, покрытым пороховой пылью, пропитанным смрадом битв и горечью поражений. Знаменем, которое все равно нужно было спустить.

Если бы... Если бы ему не предстояло еще одно сражение.

Вбежав в дом, Мэгир хлопнул дверью — кусок материи смешно трепыхался в окне, скребя слабыми руками стекло. В почти стершихся чертах лица еще читалась жажда мести.

— Позволь мне войти, — говорил Ронни, — я все равно приду к тебе.

Мэгир, падая, понесся в прихожую.

— Ракель.

Где же эта женщина?

— Ракель?

— Ракель...

На кухне ее не оказалось. Из темноты лились мягкие звуки. Это Трейси. Она тихо пела. Он присмотрелся: малышка была одна. Она была поглощена своей любимой песенкой, раздававшейся из надетых на голову наушников.

— Где мамуля? — еле слышно спросил он.

— Она наверху, — ответила дочка, не снимая наушников.

Наверху... На середине лестницы он снова услышал лай собак в глубине сада. Что он мог означать? Что эта мерзость с ними делала?

— Ракель, — он вряд ли слышал свой собственный голос. Ему показалось, что теперь он единственный призрак в мире.

Все было объято тишиной. Спотыкаясь, он вбежал в ванную. Ему всегда нравилось смотреть в ее зеркало: мягкое освещение стирало с лица отпечатки лет. Но сейчас оно отказалось лгать. Он увидел в нем старого измученного человека.

Он открыл боковой шкафчик и начал прощупывать полотенце, одно за другим. Он искал пистолет, припрятанный здесь на случай крайней необходимости. Вот он! Ощущение выпуклости в руке немного успокоило его. Он проверил пистолет: все в полном порядке. Когда-то это оружие выстрелило в Гласса. Почему бы ему не покончить и с его новым появлением?

Он вошел в спальню.

— Ракель.

Ракель сидела на краю кровати.

Она еще не успела раздеться. Нортон уже вошел в нее, лаская ртом одну из ее восхитительных грудей. Он тоже был одет. Она молча оглянулась. Как обычно. Сейчас она и представить не могла, что натворила.

Он выстрелил, не раздумывая.

Открыв рот — от страсти или от неожиданности, — Ракель рухнула на кровать с внушительной дыркой в шее. Нортон, видимо чуждый некрофилии, бросился к окну. Вряд ли он понимал, зачем это делает — не умел же он лстить...

Пуля прошила его насеквоздь, пробив к тому же и оконное стекло.

Мэгир взглянул на распростертую жену: ее измена и ее окровавленное тело, его потерянная любовь и все, что творилось в его душе, — все это не имело теперь никакого значения. Он уже не был способен переживать.

Пистолет выпал из его рук.

Собаки больше не лаяли.

Выскользнув из комнаты, он тихо, чтобы не потревожить ребенка, прикрыл за собой дверь.

Только бы не потревожить ребенка... Поднимаясь по лестнице, он увидел, что обаятельное лицо глядит на него снизу.

— Папуля.

Он пристально смотрел в ее глаза, не зная, как поступить.

— Там был кто-то у двери. Я сама видела, как он проскочил за окном.

На нетвердых ногах он стал спускаться вниз, едва ли осознавая причину своей неуверенности.

— Я открыла дверь, но там никого не оказалось.

Уолл. Должно быть это Уолл. Уж он-то знает, как следует действовать.

— Он был высокий?

— Я не разглядела его. Я запомнила только лицо: оно еще бледнее, чем ты.

Дверь! Черт побери! Дверь!!! Если она не закрыла ее... Но было поздно.

Незваный гость уже стоял в прихожей. Его лицо кривилось в улыбке. Мэгир подумал, что она была худшим видением в его жизни.

Это был не Уолл...

Уолл был плоть и кровь — посетитель казался разорванной куклой. Уолл был угрем — этот тип улыбался. Уолл означал жизнь, закон и порядок. Этот пришелец не мог означать ничего подобного.

Сомнений нет — это был Гласс.

Мэгир потряс головой. Не видевшее колышущуюся на воздухе фигуру недоуменное дитя спросило:

— Я что-то сделала не так, папуля?

Эти слова еще звучали в воздухе, когда Ронни бросился в атаку. Он взлетел вверх по лестнице с неуловимостью тени. Он и был теперь тенью, окруженной трепетавшими языками оборванной одежды. У Мэгира не осталось ни намека на спасение. Даже такого желания у него не осталось. Защищаясь чисто инстинктивно, он пытался произнести какие-то слова оправдания, когда единственная оставшаяся у Ронни рука, обернутая полотном материи, схватила его за горло. Мэгир рефлекторно перехватил ее. Тщетно: рука Ронни быстрой змейкой проникла в сотрясаемую судорогами горло и, разрывая пищевод, поползла к желудку. Мэгир чувствовал ее там: она переполняла его страшной иллюзией

сытости, словно от сильнейшего переедания. Рука сотрясала стенки его желудка, стремясь схватиться за трубку кишечника. Мэгир был еще жив. Он не успел умереть от удушья — так быстро все произошло. Он не понимал, чего добивался Ронни. Он лишь чувствовал, как тот копался в его внутренностях все глубже, все ниже. Наконец он мертвой хваткой вцепился в основание прямой кишки. И тогда, когда прочным кольцом оказалось стянуто все, что только можно было удержать, Ронни вытащил руку.

Она проделала этот путь быстрее, но для Мэгира бесконечно долго. Он стонал от страшной боли рвущихся внутренностей, от их удушающего потока через горло. Весь мир, скрытый в его теле, оказался теперь снаружи. Он был покрыт смесью из желудочного сока, кофе, крови и желчи.

Ронни потащил его за собой. Наверх. Еще выше. Живот, лишенный всякой упругости, захлопал по спине. Притянутый за хвост собственных внутренностей к верхней ступеньке, Мэгир был сброшен вниз. Он оказался там, где все еще стояла его дочь. Голова мертвого Мэгира была обмотана кишечником.

Ребенка, казалось, эта сцена ничуть не встревожила. Но Ронни знал: дети часто скрывают перед взрослыми свои настоящие переживания.

Работа выполнена... Дрожащий при каждом шаге, он начал спуск вниз. Малышку все же стоило успокоить... Если это возможно. Он попытался размотать закрутывшуюся руку, чтобы быть способным на какое-то подобие человеческого прикосновения. Он дотронулся ею до руки ребенка. Она молчала... Все, что он мог сделать, — уйти из этого дома. Уйти с надеждой, что она когда-нибудь забудет этот кошмар.

Трейси осталась одна. Она поднялась наверх, чтобы найти мать. Ракель оставалась безразличной к ее расспросам. И человек, лежавший на ковре у окна, тоже. Но у него была одна вещица, которая буквально очаровала ее: толстенькая красная змейка, зажатая в раскрывшихся штанах. Трейси засмеялась — слишком маленькой и безобидной показалась ей эта штучка.

Ее смех не прекращался долго... Даже тогда, когда в доме появился инспектор Уолл. Он снова опоздал. Как полицейскому, ему надлежало констатировать совершенное преступ-

ление. Но как человеку, ему вовсе не хотелось бы присутствовать на этой частной вечеринке.

Саван Ронни Гласса все еще находился в исповедальне Собора Святой Марии Магдалины. Он был истрепан и изорван до неузнаваемости. Ронни не обнаруживал — ни в нем, ни в себе — других желаний, кроме одного: оставить свое раненое тело. Покинуть его навсегда — он уже не в силах больше оживлять неодушевленное. Он хотел исповедаться. Он страстно желал этого: рассказать все Богу Отцу, поведать обо всем Сыну, раскаяться перед Святым Духом во всех своих грехах. Грехах, которые он совершил; грехах, которые он держал когда-то в мыслях, но патер Руни не приходил. Тогда Ронни решил сам найти его.

С этой мыслью он и открыл дверь исповедальни. Собор был почти пуст. Кто пойдет сюда в эти вечерние часы? Пока у людей есть еда, которую надо приготовить; любовь, которую можно купить; жизнь, которую необходимо прожить? Кто увидит здесь Ронни? Лишь склонивший голову неподалеку от исповедальни грек-цветовод. Лишь он один видел белую фигуру, которая, пошатываясь, приближалась к молельной. Она показалась ему богохульствующим подростком, нахлобучившим на голову грязную простыню. Цветовод, ненавидящий неуважительное отношение к Творцу, хотел отчитать его. Он хотел рассказать ему, что в храме Божием не следует юродствовать и изображать из себя несчастного нищего.

— Эй, — громко крикнул он.

Саван повернулся, чтобы посмотреть на этого человека. Впавшими глазами, казавшимися огромными дырками, прощадленными в теплом тесте. Грек застыл в немом оцепенении — столько печали и удрученности было во взгляде.

Ронни попробовал открыть дверь молельной. Заперта. Он бился в нее изо всех сил, но никто не отворял.

— Кто там? — послышался наконец испуганный голос патера.

Ронни ничего не сказал. Он не знал, что ответить на этот вопрос. Ему оставалось лишь биться в дверь. Словно привидению.

— Кто там? — в голосе отца Руни было теперь больше взволнованности.

«Исповедуй меня, — хотел сказать Ронни, — Исповедуй, ибо я согрешил».

Патер Руни был занят фотографиями для личной коллекции. С ним была его недавняя знакомая — Натали. Избалованная и легкомысленная девица, говорили ему. Патер Руни не видел ничего похожего. Чистый ангел, чистая невинность... Четки на шее волнообразно окаймляли выпуклости ее груди. Ему казалось, что эта девушка недавно покинула монастырь.

Ручка двери перестала дергаться. Ну вот и хорошо, подумал патер Руни. Придут потом, если я им понадоблюсь. В этом мире нет ничего неотложного. Кроме...

Ронни пошатываясь пошел к алтарю. Наконец он смог преклонить перед ним колени.

Цветовод поднялся на ноги в негодовании: безусловно, этот парень был пьян. Теперь его не могла остановить внушавшая страх маска негодяя. Бормоча под нос какие-то непонятные гневные греческие слова, он подошел к склонившейся фигуре и схватил ее за грязную накидку.

Но под ней не оказалось ничего. Абсолютно ничего.

Он ощущал легкий трепет материи в свое руке. Трепет жизни... Издав сдавленный крик, он заметался в неистовом трансе от только что виденного. Наконец оказавшись у выхода из храма, он исчез, грозно сверкнув глазами в сторону алтаря.

Саван лежал там, где его бросил грек. Неподвижно и сморщенно. Изнутри смятой громады смотрел Ронни. Он видел только сияние алтаря, казавшееся ему лучистым и сверкающим. Даже среди сверкающих ярким мерцанием свечей. Здесь, у его подножия, он и решил попрощаться со своим телом. Не причащенный никем, но спокойный и не страшящийся осуждения, дух Ронни покинул свое измученное тело.

Час спустя патер Руни покинул молитвенную. Его сопровождала Натали. Уверенной и целомудренной походкой она направилась к выходу. Патер провожал ее. Он шел немного сзади. Попрощавшись с девушкой у ворот собора, он повернулся обратно. Глянул украдкой на помещение исповедальни — там было пусто. Святая Мария Магдалина тоже была одной из забытых женщин.

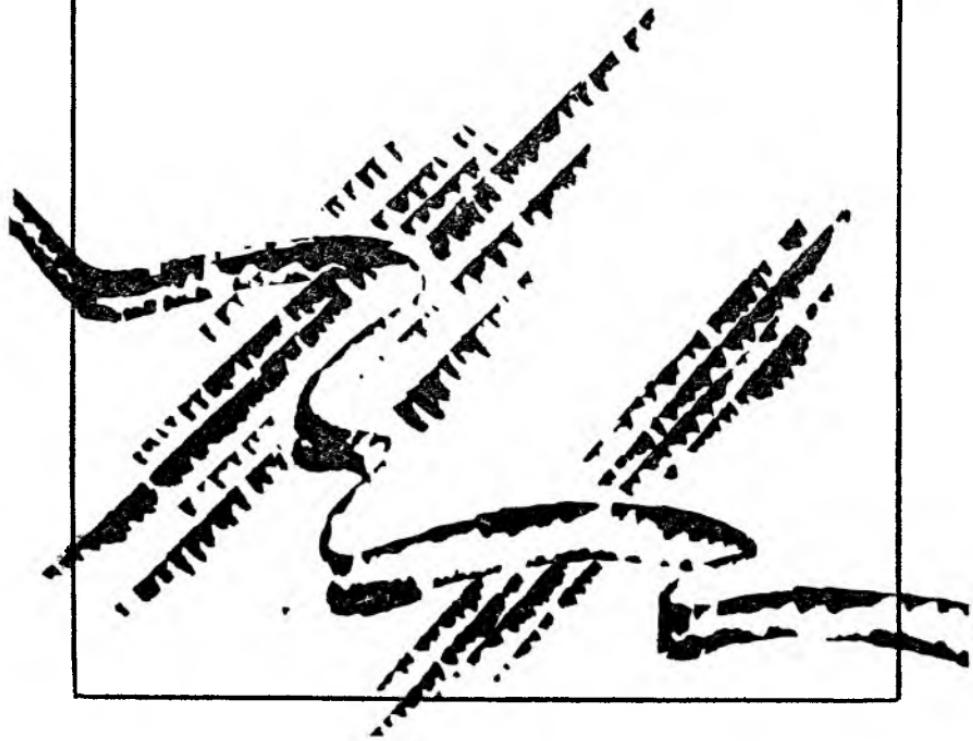
Возвращаясь обратно в приподнятом настроении, он заметил у алтаря саван Ронни Гласса. Он лежал, распростервшись на ступенях. Просто кусок грязной материи, запачкавшей пол мутными пятнами. Ничего — их еще можно стереть.

Он поднес саван к лицу и сделал глубокий вдох. Тысячи ароматов: эфира, пота, человеческих внутренностей, разбитых желаний, душистых цветов и горьких потерь. Пахло восхитительно. Пахло пестрыми толпами с Сохо. Чем-то непостоянным и, поэтому, всегда возбуждающе новым. Таинство само пришло сюда, на ступени этого алтаря. Таинство этой жизни, отмеченной страшными преступлениями, столь ужасными, что всего запаса Святой воды не хватит, чтобы отмыть ее грехи. В этой вещи не осталось ничего непорочного — оставалось только обо всем узнать.

Патер Руни поднял саван.

— Пойдем... Ты расскажешь мне свою историю, — произнес он, гася ритуальные свечи. Пальцы не чувствовали жара их огней — они были объяты другим пламенем.

АДСКИЙ ЗАВЕТ





A.H. Mysore 94



этом сентябре Ад пришел на улицы и площади Лондона, ледяной Ад глубин Девятого круга, слишком холодный, чтобы его могло согреть даже тепло бабьего лета. Свои планы он строил тщательно, как обычно, хрупкие, сложные планы. В этот раз они, возможно, были еще более изысканные, чем обычно, а каждая их деталь проверялась по два, по три раза, ибо в этот раз проигрыша не должно было быть.

Аду был присущ дух соревнования: тысячи тысяч раз он насыпал огонь на живую плоть — долгие столетия — и иногда выигрывал, но чаще проигрывал. В конце концов ставки все повышались. Ведь без людской потребности соперничать, держать пари и заключать сделки обиталище демонов могло бы заахнуть в безлюдье. Танцы, собачьи бега и игра на скрипке — все было одно для этой бездны — все было игрой, в которой, если повести себя ловко, она могла отыграть душу-другую. Вот почему Ад и пришел в Лондон в этот голубой ясный день — состязаться и победить, и выиграть, если удастся, достаточно душ, чтобы было чем заняться, предавая их смертным мукам, до следующего раза.

Камерон включил радио: голос комментатора то усиливался, то затухал, словно тот говорил не с собора Святого Павла, а по меньшей мере с полюса. До начала забега было еще больше получаса, но Камерон хотел послушать согревающие комментарии, просто для того, чтобы услышать, что там говорят о его мальчике.

«...атмосфера наэлектризована... Вдоль дорожек скопились десятки тысяч...»

Голос исчез. Камерон крутил ручки настройки, пока этот придурок не появился вновь.

«...и назван забегом года. Что за день! Разве не так, Джим?»

«Ну конечно, Майк...»

«Это Большой Джим Делани, который вверху со своим небесным глазом, и он будет наблюдать за забегом вдоль всего маршрута, давая вам обзор с птичьего полета. Верно, Джим?»

«Уж конечно, Майк».

«Ага, за стартовой чертой уже зашевелились, соперники готовятся к старту. Я могу разглядеть там Ника Лоера, он под номером три и, должен сказать, он в неплохой форме. Когда он прибыл, он сказал мне, что обычно не любит бежать по воскресеньям, но на этот раз он сделал исключение для этих состязаний, потому что это благотворительное мероприятие и вся выручка пойдет на борьбу с раком. Тут и Джузэл Джонс, наш золотой медалист, на 800 метров, и он будет состязаться со своим великим соперником Фрэнком Макклайдом. А за нашими великими парнями мы различаем и новые лица. В майке с номером пять южноафриканец Малькольм Войт, а на последней дорожке Лестер Киндерман, неожиданный победитель марафона в Австралии в прошлом году. И я должен сказать, что в этот великолепный сентябрьский денек все они свежи, точно маргаритки. О лучшем дне и мечтать было нельзя, верно, Джим?»

Джуэла разбудил кошмар.

— Все будет хорошо, кончай волноваться, — сказал ему Камерон.

Но он вовсе не чувствовал себя хорошо, его мутило и у него болел желудок. Это не была обычная предстартовая лихорадка, с ней он научился справляться: два пальца в рот, и порядок — вот лучшее средство, и оно столько раз было опробовано. Нет, это не была предстартовая лихорадка, ничего похожего. Для начала она была глубже, так, словно там, в сердце, кто-то поджаривал его внутренности.

Камерон не проявил сочувствия:

— Это благотворительный забег, а не Олимпийские игры, — сказал он, оглядел мальчика, — не валяй дурака.

Это был метод Камерона. Его медовый голос был создан для лести, но он использовал его, чтобы запугивать. Без такого запугивания никогда не было бы золотых медалей, восторженных толп, влюбленных девочек. Один из опросов показал, что Джузэл — самый популярный чернокожий в Англии. Это так приятно, когда тебя как друга приветствуют люди, которых ты никогда не встречал — ему нравилось это обожание, хоть и было оно недолговечным.

— Они любят тебя, — говорил Камерон. — Бог знает почему, но они любят тебя.

Он засмеялся, его мимолетный приступ жестокости прошел.

— Ты будешь в порядке, сынок, — сказал он. — Соберись и беги так, словно от этого зависит твоя жизнь.

Теперь в ярком дневном свете Джузэл оглядывал остальных и чувствовал себя чуть более жизнерадостным. У Киндермана было хорошее дыхание, но он не годился на средние дистанции. Вообще техника марафонского забега требует совсем другого искусства. Помимо этого, он был близорук и носил очки в металлической оправе, которые придавали ему вид удивленной лягушки. Тут опасности нет. Лоэр тоже был неплох, но это была не его дистанция. Он хороший был в барьерном беге и иногда как спринтер — 400 метров были его пределом, да и это для него было слишком. Войт, южноафриканец. Ну о нем мало что известно. С виду он неплох и нужно бы за ним поглядывать, чтобы избежать всяких неожиданностей. Но самой серьезной проблемой был Макклайд. Джузэл состязался с «молниеносным» Фрэнком Макклайдом три раза. Дважды он отодвинул его на второе место, на третий раз (увы!) все было наоборот. А теперь Фрэнки хотел бы сравнять счет, отыграться за Олимпиаду — он не любил получать серебро. Фрэнки был из тех, кто любит побеждать. Благотворительный там забег или нет, Макклайд будет выкладываться сполна ради зрителей и своей собственной гордости. Он уже был за чертой, пробуя стартовую позицию, и казалось, было видно, как он насторожил уши. Да, Фрэнки крутой мужик, это уж точно.

Какой-то миг Джузэл видел, что Войт внимательно наблюдает за ним. Это было необычно. Соперники редко глядели друг на друга перед забегом, это было что-то вроде суеверия. Лицо у Войта было бледное, линия волос отодвинута назад. Ему было, похоже, лет тридцать или больше, но тело у него

выглядело моложе, стройнее. Длинные ноги, большие руки. Словно тело и голова не подходят друг к другу. Когда их глаза встретились, Войт отвернулся. Тонкая цепочка, охватившая его шею, блеснула в солнечном луче, и распятие, которое он носил, сверкнуло золотом у основания шеи.

У Джузела с собой тоже был амулет на счастье. Защитая в пояс шортов прядка материнских волос, которую она отрезала специально для него пять лет назад, перед его первыми важными состязаниями. Год спустя она вернулась на Барбадос и умерла там. Глубокое горе и незабываемая потеря. Без Камерона он сломался бы.

Камерон следил за всеми приготовлениями со ступенек Кафедрального собора, он собирался поглядеть на старт, а потом на своем велосипеде вернуться к Стрэнду, чтобы поглядеть финиш. Он мог добраться туда раньше, чем участники соревнований, и следить за бегом по радио. Сегодня он чувствовал себя хорошо. Его мальчик был в хорошей форме, тошнит там его или нет, а состязания — идеальный способ поддерживать в парне боевой дух, не перегибая палки. Это, конечно, было приличное расстояние — через Лудгэйт, по Флит-стрит и мимо Темпля на Стрэнд, потом пересечь наискось Трафальгар и вниз по Уайт-холлу к зданию Парламента. Да и покрытие было гудроновым. Но для Джузела это был хороший опыт, и он слегка встряхнется — а это было полезным. В мальчике скрывался блестящий бегун на длинные дистанции, и Камерон знал это. Он никогда не будет спринтером — никогда не мог собраться достаточно четко. Ему нужны дистанция и время, чтобы наработать ритм, оглядеться и начать разрабатывать тактику. Он хорошо работал на дистанциях выше 800 метров, его движения были чудом экономии усилий, его дыхание и ритм были чертовски близки к совершенству. Но более того, у него был кураж. Тот кураж, который принес ему золото, тот, который вновь и вновь приводил его первым к финишу. Вот почему Джузел так отличался от остальных. Могло приходить и уходить сколько угодно технических ребят, но без куража, который дополнял бы все их умения, они быстро сходили на нет. Рисковать, когда дело того стоит, бежать, когда боль уже ослепляет тебя, — это что-то, и Камерон понимал это. Он иногда тешил себя мыслью, что у него самого было что-то в этом роде.

Сегодня парень выглядит не слишком счастливым. Камерон готов был держать пари — какие-то неприятности с женщинами. Всегда были проблемы с женщинами, особенно когда Джузэл заработал себе репутацию золотого мальчика. Он пытался объяснить парню, что у него будет полно времени для постелей, когда карьера будет идти на спад, но Джузэл не был горячим поклонником воздержания — и Камерон не мог винить его за это.

Пистолет поднялся кверху и выстрелил. Вслед за звуком, который больше напоминал хлопок, чем выстрел, вылетело колечко белого дыма. Выстрел поднял голубей со стен собора, они взлетели одной большой стайкой и беспорядочно метались в воздухе.

Джуэл великолепно стартовал. Быстро, чисто, аккуратно.

Немедленно толпа начала выкрикивать его имя, голоса звучали у него за спиной, с боков — вопли влюбленного энтузиазма.

Камерон следил за ним первую дюжину ярдов, пока участники забега распределялись по дорожкам. Лоэр шел впереди группы, хоть Камерон не знал, специально ли он туда выбрался или это получилось случайно. Джузэл был за Макклаудом, а тот за Лоэром. «Не торопись, мальчик», — сказал Камерон и убрался с линии старта. Его велосипед был пристегнут цепью к стойке на Патерностер-роад, в минуте ходьбы отсюда. Он всегда ненавидел машины: безбожные штуки, гремящие, бесчеловечные. Нехристианские штуки. А с велосипедом ты всегда сам себе хозяин. А нужно ли человеку что-нибудь еще?

«...и это был великолепный старт, который обещает нам потрясающее зрелище. Они уже пересекли площадь, и толпа там беснуется так, словно это Первенство Европы, а не благотворительный забег. По-твоему, на что это похоже, Джим?»

«Ну, Майк, я вижу, как толпа беснуется по всему маршруту вдоль Флит-стрит, и полиция попросила меня, чтобы я сказал людям: пожалуйста, не пытайтесь подъехать ближе, чтобы посмотреть забег, потому что все дороги перекрыты, и если вы попытаетесь подрулить, у вас ничего не получится».

«Кто ведет забег на настоящий момент?»

«Ну на этом этапе первым бежит Ник Лоэр, хотя, конечно, мы знаем, что на этой дистанции будет еще много тактических перемещений. Эта дистанция длиннее, чем

средняя, и меньше, чем марафонская, но все эти спортсмены — опытные тактики, и каждый будет пытаться, чтобы на первом этапе другой повел группу».

Камерон всегда говорил: пусть другие будут героями.

Это оказалось сложным уроком, как выяснил Джузэл. Когда пистолет выстрелил, оказалось трудным не вырваться вперед, не распрямиться, как пущенная стрела. И все тогда бы ушло в первые несколько ярдов, и ничего не осталось бы в резерве.

Героем быть легко, так обычно говорил Камерон. Для этого много ума не нужно, совсем не нужно. Не трать свое время на то, чтобы покрасоваться, пусть эти супермены валяют дурака. Виси у них на хвосте, чуть-чуть позади. И будь поаккуратнее, потому что они решат, что ты решил проиграть с достоинством.

И вперед. Вперед. Вперед.

Любой ценой. *Почти* любой ценой.

Вперед!

Человек, который не хочет побеждать, мне не друг, говорил он. Если ты хочешь побеждать из любви к бегу, любви к спорту, делай это с кем-нибудь другим. Только средние школы внушают, что соперничество доставляет радость, парень, для проигравших никакой радости нет. Так что я говорю?

Нет радости для проигравших.

Будь грубым. Играй по правилам, но до известных пределов. Можешь оттолкнуть кого-нибудь и пробиться — оттолкни и пробейся. И пусть эти сукины дети не морочат тебе голову. Ты здесь для того, чтобы выигрывать. Так что я говорю?

Вперед!

На Патернoster-роад радостные крики стихли, и тени зданий заслонили солнце. Стало почти холодно. Голуби все еще парили над ними, словно, раз взлетев, не могли вернуться к своим насестам. Казалось, они единственные обитатели простирающихся сзади улиц. Все остальные в этом мире смотрели на забег.

Камерон расстегнул замок на велосипеде, убрал цепь и подпорки и покатил вперед. Для своих пятидесяти лет я в порядке, подумал он, несмотря на свое пристрастие к дешевым сигарам. Он включил радио. Прием был неважным, наверное из-за стен домов, сплошной треск. Он остановил велосипед и попытался наладить антенну. Это не слишком помогло.

«И Ник Лоэр уже отстает».

Быстро. Правда, Лоер уже прошел свой расцвет два или три года назад. Пора бы уже выбросить шиповки и пусть другие, помоложе, займут твоё место. Камерон до сих пор отлично помнил, как он себя чувствовал в тридцатьтри, когда понял, что его лучшие годы уже позади. Это все равно, что стоять одной ногой в могиле — отчетливо понимать, до чего быстро стареет и изнашивается твоё тело.

Пока он выезжал с затененной улицы на солнечную, черный «мерседес», ведомый шофером, проплыл мимо так тихо, словно его несло ветром. Камерон лишь на миг успел разглядеть пассажиров. Одним из них был тот человек, с которым Войт говорил перед забегом, — длиннолицый тип, лет сорока, со ртом настолько плотно сжатым, что, казалось, губы у него были удалены хирургическим путем.

Рядом с ним сидел Войт.

Это было невозможно, но казалось, что из задымленного стекла выглянуло лицо Войта, он даже не переменил спортивной одежды.

Вид всего этого Камерону не понравился. Он видел южноафриканца пятью минутами раньше, тот бежал вместе со всеми. Так кто же это был? Очевидно, двойник. Это все отдавало поганым душком.

«Мерседес» уже исчезал за углом. Камерон выключил радио и покрутил педали вслед за машиной. Он взмок из-за проклятого солнца, пока ехал.

«Мерседес» с трудом прокладывал себе дорогу по узким улочкам, не обращая внимания на знаки одностороннего движения. Такой медленный темп был удобен для Камерона, который на своем велосипеде не терял из виду «мерседес», но не был замечен пассажирами автомобиля, хотя усилия и зажгли огнем воздух в его легких.

В маленькой безымянной аллейке к западу от Феттер Лайн, где тень была особенно густой, «мерседес» остановился. Камерон, спрятавшись за углом ярдов за двадцать от автомобиля, наблюдал, как шофер отворил двери и безгубый человек с кем-то, напоминавшим Войта, вышли из машины и зашли в невыразительное здание. Когда все трое исчезли, Камерон, прислонив свой велосипед к стене, последовал за ними.

Улица была необычно тиха. С этого расстояния доносившийся гомон толпы, сгрудившейся вдоль маршрута, казался шепотом. Казалось, она находилась в каком-то другом мире,

эта улочка. Скользящие птичье тени, закрытые окна здания, облупившаяся краска, запах гнили в застывшем воздухе. В водосточной канаве лежал мертвый кролик, черный кролик с белым воротничком, чей-то пропавший любимец. Вокруг него яростно кружились мухи.

Камерон прокрался к открытой двери так тихо, как только мог. Бродя бояться ему было нечего. Трио исчезло в темном коридоре дома уже довольно давно. Воздух в здании был застывшим и отдавал сыростью. С бесстрашным видом, но чувствуя себя испуганным, Камерон вошел в слепое здание. Обои в коридоре по цвету напоминали дермо, краска — тоже. Все это было, словно он был в желудке — в желудке мертвеца, холодном и скользком. Впереди лестница была перекрыта, блокируя доступ на верхний этаж. По-видимому они спустились вниз.

Дверь в погреб прилегала к лестничному пролету, и Камерон мог слышать доносящиеся снизу голоса.

Другого такого раза не будет, подумал он и открыл дверь настолько, чтобы просочиться в темноту внизу. Там был ледяной холод. Не прохладно, не сырое — морозно. На какой-то миг он подумал, что шагнул в холодильную камеру. Дыхание его вырвалось изо рта паром и он изо всех сил стиснул зубы, которые пытались выбивать дробь.

Теперь уже не повернуть назад, подумал он, и начал спускаться вниз по покрытым инеем ступенькам. Тут было не настолько уж темно. Где-то у подножия лестницы, очень далеко внизу, мерцал слабый свет, абсолютно чуждый дневному. Камерон с надеждой оглянулся на приоткрытую дверь за ним. Она выглядела более чем соблазнительно, но ему было любопытно, очень любопытно. Так что пришлось спускаться дальше.

В ноздри ему ударили запах этого места. У него было паршивое обоняние и еще худший вкус — любила напоминать ему его жена. Она говорила, что он не может отличить розу от чеснока, и это, вероятно, было правдой. Но этот запах что-то значил для него, раз желудочная кислота начала подниматься к горлу.

Козы. Он узнал эту вонь, ха-ха, уж он бы рассказал ей: воняло козами.

Он уже почти достиг подножия ступеней и находился на глубине двадцати, возможно, тридцати футов под землей. Голоса все еще звучали вдали, за второй дверью.

Он стоял в маленькой комнатке, стены которой были выкрашены в грязно-белый цвет и изрисованы в основном изображениями полового акта. На полу стоял семисвечник. Были зажжены лишь две свечи и они горели дрожащим, почти синим пламенем. Козий запах стал сильнее, теперь он перемешивался с густым сладким запахом, словно исходящим из турецкого борделя.

Из комнаты вели две двери, и из-за одной раздавалась беседа. Очень осторожно он пересек скользкий пол и придвинулся к двери, стараясь уловить смысл в шепчущихся голосах. В них звучала торопливость и настойчивость.

— ...поспеши...

— ...если все правильно устроить...

— ...дети, дети...

Смех.

— Надеюсь, мы — завтра — все мы...

Опять смех.

Неожиданно голоса изменили направление так, словно говорящие двинулись к выходу. Камерон сделал три шага назад по ледяному полу, почти натолкнувшись на подсвечник. Пламя задрожало и зашептало, когда он миновал его.

Ему нужно было выбирать — лестница или другая дверь. Лестница вела к побегу. Если он выберется по ней, он в безопасности, но он никогда ничего не узнает. Никогда не узнает, почему так холодно, почему синее пламя, почему воняет козами. Дверь — это возможность. Спиной к ней, не сводя глаз с двери напротив, он боролся с обжигающей холодной дверной ручкой. Она с легким скрипом повернулась, и он скрылся из виду как раз тогда, когда открылась противоположная дверь — два движения были великолепно совмещены. Господь был с ним.

Уже когда он затворял двери, он знал, что ошибся. Господь с ним вовсе не был.

Иглы холода пронзили ему голову, зубы, глаза, пальцы. Он чувствовал себя так, словно его нагим замуровали в самую сердцевину айсберга. Казалось, кровь застыла в его венах, слюна на языке замерзла, на пальцах выступил иней пота. В темноте, в холода он шарил по карманам в поисках зажигалки, и неожиданно она вспыхнула полуживым мерцанием.

Комната была большая — ледяная пещера. Ее стены, ее рифленый потолок — все сияло и вспыхивало искрами.

Сталактиты льда, острые, как лезвия, свисали над его головой. Пол, на котором он стоял, неуверенно приплясывая, вел к дыре в центре комнаты. Пять или шесть футов в попечнике, со стенками, настолько заросшими льдом, словно сюда во тьму была отведена и замурована река.

Он подумал о Ксанаду, о стихотворении, которое знал наизусть. Виды иного Альбиона...

*Там Альф — священная река,
в ущельях, темных, как века,
бежал в полночный океан.*

И точно, там, внизу, был океан. Ледовитый океан. Там была вечная смерть.

Все, что он мог сделать, это держаться поближе к стенке, постараться не соскользнуть в темную неизвестность. Зажигалка замерцала и холодный воздух задул ее.

— Дерьмо, — сказал Камерон, оказавшись в темноте.

То ли его голос насторожил это трио снаружи, то ли Бог полностью покинул его в этот миг, позволив им отворить двери, он никогда не узнает. Но дверь распахнулась так резко, что бросила Камерона на пол. Слишком закоченевший, чтобы удержаться на ногах, он скорчился на ледяном полу и козлиный запах заклубился в комнате.

Камерон полуобернулся. Двойник Войта стоял в дверях и шофер тоже, и тот, третий, который был в «мерседесе». Он носил шубу, видимо, сшитую из нескольких козьих шкур. С них все еще свисали копыта и рога. Кровь на мехе была коричневая и густая.

— Что вы тут делаете, мистер Камерон? — спросил одетый в козьи шкуры человек.

Камерон едва мог говорить. Единственное, что он ощущал, — это острая, агональная боль посередине лба.

— Какого дьявола тут происходит? — сказал он, с трудом заставляя двигаться замерзшие губы.

— Вот именно, мистер Камерон, — ответил человек, — дьявол идет сюда.

Когда они пробегали мимо собора св. Марии-на-Стрэнде, Лоэр оглянулся и запнулся. Джузэл, который бежал на добрых три метра позади лидеров, видел, что парень сдает.

Но почему-то чересчур быстро, что-то здесь не то. Он замедлил шаг, пропустив мимо Макклауда и Войта. Они не слишком спешили. Киндерман здорово отстал, не в состоянии соревноваться с этими быстроногими парнями. В этой гонке он был черепахой, это уж точно. Лоера обогнал Макклауд, потом Войт, и, наконец, Джонс и Киндерман. Дыхание Лоера неожиданно сбилось, а ноги точно налились свинцом. Что еще хуже, он почувствовал, что асфальт под его кроссовками треснул и пальцы, точно беспризорные дети, вылезали из земли, чтобы коснуться его. Похоже, никто больше этого не замечал. Толпа просто продолжала гудеть, тогда как призрачные руки вырывались из своей асфальтовой гробницы и цеплялись за него. Он корчился в их мертвых пальцах, его юность увядала, а сила ускользала. Эти хищные пальцы мертвецов продолжали цепляться за него даже тогда, когда врачи унесли его с беговой дорожки, оглядели и дали ему успокоительное.

Лежа на горячем гудроне, он знал, почему эти руки вот так вцепились в него. *Он оглянулся. Вот почему они сюда явились. Он оглянулся.*

«...и после того, как Лоер сенсационно потерял сознание, забег продолжается. Теперь ведет молниеносный Фрэнк Макклауд, он прямо-таки ускользает от этого новичка, Войта. Джузэл Джонс отстал еще больше, похоже, он даже не пытается бороться за лидерство. А ты как думаешь, Джим?»

«Ну, либо он сам уже выдохся, либо просто выжидает, когда выдохнутся они. Помни, что на этой дистанции он не новичок...»

«Да, Джим».

«И, может, поэтому он позволил себе расслабиться. Разумеется, ему придется здорово поработать, чтобы выдвинуться со своего третьего места, которого он держится сейчас».

У Джузэла кружилась голова. В какой-то миг, наблюдая, как Лоер начал отставать, он услышал, как парень молится вслух. Молится, чтобы Бог его спас. Он был единственный, кто слышал слова:

*Если я пойду долиной смертной тени,
не убоюсь я зла, потому что Ты со мною,
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают
меня...*

Теперь солнце пекло все жарче, и Джузел уже начал чувствовать знакомые голоса своих усталых ног. Гудрон под ногами был жестким и бежать было трудно, суставам приходилось нелегко. Он попытался выкинуть отчаяние Лоера из головы и сконцентрироваться на сиюминутном.

Бежать еще придется много, забег не был завершен и наполовину. Достаточно времени, чтобы прижать всех этих героев, полно времени.

И пока он бежал, его мозг странным образом вернулся к молитвам, которым научила его мать на случай, если в них возникнет нужда. Он пытался вспомнить их, но годы разъели их — все они ушли.

— Меня зовут, — сказал человек в козьих шкурах, — Грегори Бурджесс, член парламента. Вы меня не знаете. Я стараюсь держаться в тени.

— Член парламента? — переспросил Камерон.

— О, да. Независимый. Очень независимый.

— А это — брат Войта?

Бурджесс поглядел на «второе я» Войта. Тот даже не дрожал в этом чудовищном холде, несмотря на то, что был одет только в тонкую майку и шорты.

— Брат? — сказал Бурджесс. — Нет, нет. Он мой — как бы это сказать? — знакомый?

Слово напомнило ему что-то, но Камерон не был начитанным человеком. Что значит — знакомый?

— Покажи ему, — сказал Бурджесс многозначительно.

Лицо Войта вздрогнуло, кожа, казалось, начала стягиваться, губы сократились, обнажив зубы, зубы растаяли, точно белый воск, ушли в глотку, которая, в свою очередь, превратилась в сверкающий серебристый столб. Лицо было теперь не лицом человека — даже не лицом млекопитающего. Оно было пучком ножей, и лезвия сверкали в пробивающемся из-за двери пламени свечей. Но как только это новое лицо возникло, оно вновь начало меняться, ножи расплавились и потемнели, пробился смех, появились и выпучились, точно воздушные шары, глаза. На этой новой голове пробились антенны, появились жвалы, и вот на шее Войта возникла огромная, но абсолютно точная копия пчелиной головы.

Бурджесс явно наслаждался зрелищем; он похлопал затянутыми в перчатки руками.

— Оба мои знакомые, — сказал он, показав на шофера. Тот снял кепку и копна каштановых волос рассыпалась по его — ее — плечам. Она была потрясающе красива, то лицо, за которое не жаль отдать жизнь. Но это была иллюзия, как и у того, второго. Без сомнения, способность менять личину.

— Оба мои, разумеется, — гордо сказал Бурджесс.

— Что? — Вот и все, что мог выговорить Камерон, он надеялся, что сможет удержать все теснящиеся в его голове вопросы.

— Я служу Аду, мистер Камерон. И, в свою очередь, Ад служит мне.

— Ад?

— Вон там, за вами один из входов в Девятый круг. Знаете Данте, а? «Оставь надежду, всяк сюда входящий!»

— Зачем вы тут?

— Выиграть эти гонки. Или, вернее, мой третий знакомец как раз выигрывает эти гонки. На этот раз он придет первым. Это будет событие для всего Ада, мистер Камерон, и мы не постоим за ценой.

— Ад! — вновь сказал Камерон.

— Ты же веришь в это, верно? Ты добродетельный прихожанин. Все еще молишься перед едой, как любая богообязненная душонка. Боишься подавиться за обедом.

— Откуда ты знаешь, что я молюсь?

— Твоя жена сказала мне. О, твоя жена много чего рассказала о тебе, мистер Камерон, она буквально раскрылась передо мной. Очень удобно. Я опекаю одного покладистого психоаналитика. Она дала мне так много... информации. Ты добрый социалист, как и твой отец, а?

— Теперь политика...

— О, политика это нечто, мистер Камерон. Без политики мы бы погрязли в дикости, верно? Даже Аду нужен порядок. Девять великих кругов, и в наказании должен быть порядок. Погляди вниз, сам увидишь.

Камерон спиной ощущал эту дыру — ему не было нужды туда заглядывать.

— Мы стоим за порядок, знаешь ли. Не за хаос. Это всего лишь небесная пропаганда. А знаешь ли, что мы выиграем?

— Это — благотворительный забег.

— Меньше всего нас интересует благотворительность. Мы бежим этот забег не для того, чтобы спасти мир от рака. Мы бежим его для правительства.

Камерон почти ухватил суть.

— Для правительства? — переспросил он.

— Один раз в сто лет проводятся состязания от собора Святого Павла до Вестминстерского Дворца. Часто они проводились под покровом ночи, необъявленные, не привлекая внимания. Сегодня мы бежим при полуденном свете, на нас смотрят тысячи. Но каковы бы ни были обстоятельства, это всегда то же самое состязание. Ваши атлеты против одного нашего. Если вы победите, еще сто лет демократии. Если же мы... как это и будет... конец мира, знаете ли.

Камерон всей спиной почувствовал дрожь: выражение лица Бурджесса изменилось внезапным образом — уверенность помрачилась, спокойствие сменилось нервным возбуждением.

— Ну, ну! — воскликнул он, хлопая руками, точно птица крыльями. — Мне кажется, нас посетят высшие силы. Как почетно...

Камерон повернулся и уставился на край дыры. Теперь уже не имело значения, интересно ему было или нет. Он был у них в руках и мог видеть все то же, что и они.

Волна ледяного воздуха выплеснулась из круга вечной тьмы, и в этой темноте он увидел, как к нему приближается нечто. Движения его были уверенными, а лицо запрокинуто вверх.

Камерон мог расслышать его дыхание и увидеть черты его лица, подобные пульсирующей ране, которая виднелась в темном, маслянистом костяном отверстии, которое, в свою очередь, открывалось и закрывалось, напоминая ротовое отверстие краба..

Бурджесс упал на колени, два «знакомца» распластались на полу по обе стороны от него, уткнув в землю лица.

Камерон знал, что другого шанса у него не будет. Он встал, с трудом шевеля онемевшими конечностями и поплелся к Бурджессу, закрывшему глаза в почтительной молитве. Скорее случайно, чем преднамеренно, он поддел коленом под челюсть Бурджессу, и тот растянулся на полу. Подошвы Камерона, скользнув, пронесли его мимо ледяной пропасти и вынесли в освещенную светом свечей переднюю комнату.

Комната за ним наполнилась дымом и шумом, и Камерон, точно жена Лота, пораженная разрушением Содома, огля-

нулся только один раз на запрещенное зрелище за его спиной.

Он появился из колодца, его серая туша заполнила отверстие, освещенная каким-то исходящим снизу светом. Его глубоко посаженные в голую кость глаза на слоноподобной голове встретились сквозь отворенную дверь со взглядом Камерона. Казалось, они присосались к нему в поцелуе, проникли сквозь зрачки в самый мозг.

Но Камерон не вернулся. С трудом отведя взгляд от того лица, он скользнул через прихожую и начал карабкаться по ступеням, проскакивая зараз по две, по три, падая и снова карабкаясь, падая и карабкаясь. Он потащился вдоль стены коридора, тело его болело от судорожной дрожи.

Но они не погнались за ним.

День снаружи был слепяще ярким, и он почувствовал возбуждение беглеца, только что ускользнувшего от смертельной опасности. Ничего похожего он раньше не чувствовал. Быть настолько близко и выжить. Должно быть, все же Бог не оставил его.

Он, спотыкаясь, побежал по дороге назад к своему велосипеду, намереваясь остановить забег, рассказать всему миру...

Велосипед его стоял нетронутый, руль был теплым, точно руки его жены.

И когда он перебросил ногу через раму, взгляд, которым он обменялся с Адом, запалил в нем огонь. Тело его, не замечая пылавшего мозга, продолжало свое дело, поставило ноги на педали и покатило прочь.

Камерон почувствовал разгоравшийся в его голове пожар и понял, что умирает.

Этот взгляд, эти глаза, глядевшие в его глаза... Жена Лота. Точно глупая жена Лота!

Молния скользнула меж его ушей быстрее мысли.

Череп треснул, и раскаленная белая молния вырвалась из оболочки мозга. Глаза в глазницах выгорели и стали словно черные лесные орехи, свет полился из его рта и ноздрей. Это пламя в одну секунду превратило его в столб обгоревшей плоти — внутреннее пламя, без языков, без признаков дыма.

Тело Камерона было полностью обуглено, когда его велосипед съехал с дороги и ударился в витрину ателье, где

обгорелые останки легли, точно манекен, вниз лицом, на присыпанные пеплом костюмы. *Он тоже оглянулся назад.*

Толпа на Трафальгарской площади так и кипела энтузиазмом. Приветствия, слезы и флаги. Казалось, что этот скромный забег был для всех людей чем-то особенным — ритуал, смысла и значения которого они не знали. Однако каким-то образом они чувствовали витавший в воздухе сернистый запах, они ощущали, что их жизни приподнимались на цыпочки, чтобы достичь небес. Они бежали вдоль маршрута, выкрикивая неразборчивые благословения, и на лицах отражались все их страхи. Кто-то выкрикивал его имя.

— Джуз! Джуз!

Или он вообразил это. Может, вообразил он и то, что слышал молитву, сорвавшуюся с губ Лоера, и сияющие лица младенцев, которых держали на руках повыше, чтобы они могли видеть проносившихся мимо бегунов.

Когда они повернули к Уайт-холлу, Фрэнк Макклауд быстро оглянулся, и Ад забрал его.

Это произошло внезапно и очень быстро.

Он споткнулся, ледяная рука в груди выдавливала из него жизнь. Лицо у него было красным, на губах выступила пена. Джуз, пробегая мимо него, замедлил бег.

— Макклауд, — сказал он и остановился, чтобы взглянуть в худое лицо своего великого соперника.

Макклауд глядел на него из-за дымки, подернувшей его серые глаза и превратившей их в черные. Джуз склонился, чтобы помочь ему.

— Не прикасайся ко мне, — застонал Макклауд, кровеносные сосуды его глаз набухли и кровоточили.

— Судорога? — спросил Джуз. — Это судорога?

— Беги, ты, ублюдок, беги, — говорил ему Макклауд, пока петля, накинутая на его внутренности, выжимала из него жизнь. Теперь он кровоточил всеми порами кожи, у него текли кровавые слезы. — Беги. И не оглядывайся. Ради Христа! *Не оглядывайся!*

— Что это?

— Беги! Это твоя жизнь.

Эти слова были не просьбой, но приказанием.

Беги!

Не за золото, не за славу. Ради жизни. Всего лишь.

Джуэл поглядел вверх, неожиданно ощущая, что за его спиной маячит какая-то тварь с огромной головой и дышит холодом ему в шею.

Он поднялся на ноги и побежал.

«Ну, похоже, что дела у наших бегунов не очень-то хороши, Джим. После того, как Лоэр так сенсационно сошел с дистанции, теперь и Фрэнк Макклауд сдал. Я никогда не видел ничего подобного. Но, казалось, он перекинулся несколькими словами с Джузелом Джонсом, когда тот пробегал мимо, так что с ним должно быть все тип-топ».

К тому времени, как за ним приехала «скорая», Макклауд был уже мертв. Он сгнил к следующему утру.

Джуэл бежал. О, Боже, как он бежал! Солнце яростно было ему в лицо, вымывая все цвета радостной толпы с лиц, с флагов. Все слилось в один монотонный шум — гул человечества.

Джуэл знал это ощущение, которое охватывало его сейчас, — чувство потери ориентации, которое сопровождало усталость и перенасыщение тканей кислородом. Он бежал точно в оболочке своего сознания, думал, потел и мучился сам, для себя и ради себя.

И не так-то плохо — быть одному. Его голову начали наполнять песни — обрывки гимнов, нежные фразы любовных песен, грязные стишки. Его «я» растворялось и его сны, неназванные и бесстрашные, взяли верх.

Впереди, омытый тем же белым дождем света, бежал Войт. Это был враг, это существо он должен был обойти. Войт, с его качавшимся, сверкающим на солнце распятием. Он мог это сделать, только нельзя смотреть туда... смотреть туда...

...назад.

Бурджесс открыл дверцу «мерседеса» и влез внутрь. Время было потеряно даром, драгоценное время. Он должен был быть в Парламенте, у финишной прямой, готовый приветствовать вернувшихся бегунов. Это был спектакль, который он должен был сыграть, показав мягкое, улыбающееся лицо демократии. А на следующий день? Ну, уже не такое мягкое.

Руки его от возбуждения сжимались, а его новый с иголочки костюм провонял козьими шкурами, которые он

обязан был носить в той комнате. Однако, никто этого не заметит, а даже если и заметят, какой англичанин будет настолько невежлив, что скажет собеседнику, что от него воняет козлом?

Он ненавидел Комнату Любовников, этот вечный лед, этот проклятый черный зев с дальним отзвуком утраты. Но теперь все кончено. Он выполнил свои обязательства, он выказал яме свое уважение и обожание, теперь настало время потребовать вознаграждения.

Пока они ехали, он думал — сколько всего принес он в жертву своим амбициям? Сначала по мелочам — котята и щенки. Позже, он обнаружил, насколько идиотскими, с их точки зрения, выглядели подобные жесты. Но поначалу он был невинным, не знающим, что давать и как это давать. Потом шли годы, они начали ясно выражать свои требования, и он, в свою очередь, обучился практическому этикету продажи своей души. Все изменения его «я» были тщательно спланированы и решительно выполнены, хоть и оставили они его без всякой надежды на то, что дают человеку дети. Это была худшая боль, однако постепенно к нему приходила сила. Он был в первой тройке выпускников Оксфорда, жена, одаренная его мужской силой свыше всякого воображения, место в Парламенте, и скоро, очень скоро — вся страна.

Прижженные культи его больших пальцев болели, как всегда, когда он нервничал. Рассеянно, он засунул палец в рот.

«Ну, теперь мы находимся на завершающей стадии забега. Сущий ад, а не забег, верно, Джим?»

«О, да, вот это зрелище, верно? Войт идет впереди и держится вдали от своих соперников без особых усилий. Разумеется, Джузэл сделал благородный жест, остановившись возле Макклауда, чтобы проверить, все ли с ним в порядке после такого неудачного падения, и это его задержало».

«И это помешает Джонсу выиграть, верно?»

«Думаю, что да. Думаю, что он проиграет этот забег».

«Но ведь это всего лишь благотворительный забег».

«Именно. Это не та ситуация, когда нужно победить во что бы то ни стало».

«А уж это как относиться к игре».

«Верно».

«Верно».

«Ну вот, они оба уже в виду здания Парламента и обходят Уайт-холл. А толпа приветствует своего парня, но я и вправду думаю, что пропавшее его дело».

«Имей в виду, в своей сумке он привез из Швеции кое-что особенное».

«Это уж точно. Это точно».

«Так может, он снова это сделает».

Джуэл бежал, и разрыв между ним и Войтом начал сокращаться. Он сконцентрировался на спине парня, глаза его сверлили тому рубашку, изучали ритм, искали слабые места.

Он замедлил темп. Парень уж не так скор, как раньше. В его движениях появилась неуверенность, верный признак усталости.

Он может взять его. Немного куражу, и он его возьмет.

И Киндерман. Он забыл про Киндермана. Джуэл бездумно оглянулся через плечо и поглядел назад.

Киндерман все еще упорно бежал сзади. Походка марафонца не изменилась. Но что-то там еще было за спиной у Джуэла: еще один бегун, он почти наседал на Джуэла, призрачный, огромный.

Он отвел глаза и уставился вперед, проклиная свою глупость.

С каждым рывком он нагонял Войта. Парень явно выбился из ритма. Джуэл знал наверняка, что может взять его, если постарается. Забудь о своем преследователе, кем бы там он ни был, забудь обо всем, думай лишь, как обогнать Войта.

Но то, что маячило за его спиной, никак не выходило из головы.

«Не гляди назад», — сказал Макклайд. Слишком поздно. Он уже сделал это. Лучше знать, что это за фантом.

Он вновь оглянулся.

Поначалу он ничего не увидел, лишь Киндерман трусил сзади. И потом появился призрачный бегун, появился снова, и он знал, что именно он поверг Макклайда и Лоера.

Это не был бегун, живой или мертвый. Это вообще был не человек. Дымное тело, черный зев вместо головы, это сам Ад напирал на него.

«Не смотри назад».

Его рот, если это был рот, открыт. Дыхание такое холодное, что у Джузэла перехватило дух. Так вот почему Лоэр бормотал на бегу молитвы. Хорошо же это ему помогло — смерть все равно пришла за ним.

Джуэл поглядел в сторону, словно ему было все равно, что Ад подошел так близко, пытаясь не обращать внимания на внезапную слабость в коленях.

Теперь Войт тоже оглянулся. Его взгляд был темен и тяжел, и Джузэл каким-то образом знал, что тот принадлежит Аду, что тень за его спиной была властелином Войта.

— Войт, Войт, Войт — Джузэл выдыхал это слово с каждым толчком.

Войт услышал, как произносят его имя.

— Черный ублюдок, — сказал он громко.

Толчки Джузэла слегка удлинились. Теперь он уже был в двух метрах от адского бегуна.

— Погляди... назад... — сказал Войт.

— Я видел это.

— Оно... пришло... за тобой.

Все эти слова звучали мелодраматично, плоско. *Он* был хозяином своего тела, верно ведь? И он не боялся темноты — он носил ее цвета. Что, это делало его меньше человеком, как считали многие люди? Или наоборот, больше человеком — больше крови, пота, плоти. Больше рук, больше ног, головы. Больше силы, больше аппетита. Что может Ад с ним сделать? Пожрать его? Вкус у него наверняка мерзкий. Заморозить его? Он был слишком горячим, слишком быстрым, слишком живым.

Ничего его не возьмет, он был варваром с манерами джентльмена.

И ни день, и ни ночь.

Войт страдал: боль прорывалась в его изношенном дыхании, в его дергающейся пробежке. Они были лишь в пятидесяти метрах от ступеней и финишной черты, но лидерство Войта явно подходило к концу — с каждым шагом Джузэл настигал его все ближе.

Тогда началась торговля.

— По... слушай... меня...

— Что ты такое?

— Сила... я дам тебе силу... только... дай... нам... победить...

Теперь Джузэл бежал с ним бок о бок.

— Слишком поздно.

Ноги его были сильными, мозг радовался. Ад за спиной. Ад рядом — какое ему дело? Он может бежать.

Он миновал Войта, суставы его были гибкими — невесомая машина.

— Ублюдок, ублюдок, ублюдок, — говорил знакомый голос, лицо искажено агонией напряжения. И не замерцало ли это лицо, когда Джузэл пробежал мимо? Казалось, черты его расплывались, на мгновение теряя человеческое подобие.

Потом Войт оказался у него за спиной, и толпа приветственно завопила и все краски вновь вернулись в мир. Впереди лежала победа. Он не знал, почему, но все равно — победа.

Там был Камерон, теперь он его видел, он стоял на ступеньках рядом с человеком в костюме в узенькую полоску. Камерон улыбался и кричал с нетипичным для него энтузиазмом, приветствуя Джузэла со ступеней.

Он бежал, если это возможно, еще быстрее по направлению к финишной черте, вся его сила сконцентрировалась на лице Камерона.

Тогда это лицо начало меняться. Может, это горячий воздух пошевелил ему волосы? Нет, кожа на его щеках начала вздуваться, на его шее, лбу появились быстро темнеющие пятна. Теперь волосы его приподнялись над головой и уничтожающий свет полился с лысого черепа. Камерон горел и все еще улыбался, все еще махал рукой.

Джуэл внезапно почувствовал отчаянье.

Ад сзади. Ад — впереди.

Это был не Камерон. Камерона нигде не было, значит, Камерон мертв.

Он чуял это всем нутром. Камерон мертв, а эта черная пародия стояла там и улыбалась ему, и махала рукой — это его последние мгновения, повторенные к удовольствию обожателей Джузэла.

Шаг Джузэла сбился, ритм толчков был утрачен. За своей спиной он слышал чудовищное, натужное дыхание Войта, все ближе, ближе.

Все его тело внезапно взбунтовалось. Желудок пытался вывернуть наружу содержимое, ноги скрутила судорога, мозг не мог больше думать — лишь страшиться.

— Беги, — сказал он сам себе. — Беги. Беги.

Но Ад был впереди. Как мог он вбежать прямо в руки этой мерзости?

Войт сокращал разрыв между ними и был уже у его плеча, нагоняя по мере того, как Джузэл терял темп. Победу вырывали из рук Джузэла легко, точно конфету у ребенка.

Финишная черта была лишь в дюжине рывков, и Войт вновь забрал лидерство. Вряд ли соображая, что он делает, Джузэл потянулся и на бегу ухватил Войта за фуфайку. Это было мошенничество, и все вокруг это ясно видели. А как насчет Ада?

Он изо всех сил вцепился в Войта, и оба они споткнулись. Толпа расступилась, когда они скатились с дорожки и тяжело рухнули, Войт упал сверху.

Рука Джузэла, которую тот вытянул, чтобы предотвратить слишком тяжелый удар, оказалась под весом двух тяжелых тел. Ее защемило, кость предплечья хрустнула, и Джузэл услышал этот треск прежде, чем почувствовал боль, а уж потом из его рта вырвался крик.

На ступеньках Бурджесс вопил, как дикарь. Ну и представление! Камеры стрекотали вокруг него, комментаторы комментировали.

— Вставай! Вставай! — кричал мужчина.

Но Джузэл ухватил Войта своей здоровой рукой, и ничто на свете не заставило бы его отпустить Войта.

Двое катались по гравию, каждый толчок все больше сокрушал руку Джузэла и вызывал спазмы в его желудке.

Для Войта все это было слишком. Он никогда не был таким уставшим, не готовым к напряжению гонки, которую велел ему бежать его властелин. Он сорвался, потерял контроль над собой. Джузэл обонял дыхание на своем лице — это был козлиный запах.

— Ну покажись, — сказал он.

Глаза твари лишились радужки — теперь они были полностью белыми. Джузэл выхаркнул ком слизи из своего разбитого рта и плюнул в знакомое лицо.

И тварь сорвалась.

Ее лицо растворилось. Казалось, плоть пыталась принять новый облик — всепожирающая воронка без глаз и носа, без ушей и волос.

Толпа вокруг них отпрянула назад. Люди заорали, кто-то упал в обморок. Джузэл ничего этого не видел, но удовлет-

воренно различал вопли. Такое превращение не просто было выгодно ему, оно несло знание для всех. Они все увидят это, всю правду, всю мерзкую, лживую правду.

Рот твари был огромным, покрытым рядами зубов, точно глотка какой-то глубоководной рыбы, — уродливо огромным. Здоровая рука Джузэла сомкнулась под нижней челюстью, просто пытаясь удержать этот чудовищный рот подальше, пока он звал на помощь.

Никто не решился подойти.

Толпа стояла на вежливом расстоянии, все еще глазея, все еще крича, не желая вмешиваться. Это всего-навсего зрители, пришедшие на спектакль «борьба с Дьяволом». Отсюда помохи ждать нечего.

Джуэл чувствовал, как уходят его силы — его рука больше не могла удерживать этот рот на расстоянии. В отчаянии, он чувствовал, как зубы вцепляются в его лоб и подбородок, как выгрызают плоть и кости. Наконец, когда рот вцепился ему в лицо, белая ночь поглотила его.

«Знакомец» поднялся над трупом, из его зубов свешивались клочья с головы Джузэла. Оно стянуло с него лицо, точно маску, оставив окровавленную массу трепещущих мышц. В отворенной дыре рта Джузэла дрожал язык, словно пытаясь что-то сказать.

Бурджессу уже было все равно, как все выглядело в мире. Эта гонка была — все, а победа — это победа, как бы она ни была добыта. Да и Джонса в конце концов обошли.

— Давай! — визжал он «знакомцу». — Давай!

Оно повернуло к Бурджессу окровавленное лицо.

— Иди сюда! — приказал ему Бурджесс.

Их разделяло всего несколько ярдов: еще несколько шагов к финишной черте, и забег выигран.

— Беги! — орал Бурджесс. — Беги! Беги!

«Знакомец» устал, но он знал голос своего хозяина. Он поплелся к финишной черте, слепо двигаясь на зов Бурджесса.

Четыре шага... три...

И мимо него к финишной черте пробежал Киндерман. Близорукий Киндерман, обогнав Войта всего на шаг, выиграл забег, не зная, что это за победа, даже не взглянув на простершийся у его ног ужас.

Когда он пересек финишную прямую, все молчали. Ни аплодисментов, ни поздравлений.

Воздух на ступенях, казалось, потемнел, и странный холод витал в нем.

Виновато тряся головой, Бурджесс упал на колени.

— Отче наш, отец не небесный, тот, чье имя да не святится...

Такой старый трюк. Такая наивная реакция.

Толпа начала пятиться. Кое-кто уже побежал. Дети, знающие природу темных сил, с которыми они недавно соприкоснулись, были самыми спокойными. Они взяли своих родителей за руки и повели их со ступеней, точно ягнят, уговаривая их не оглядываться, и родители их, смутно помнящие темное лоно, первый тоннель, первый исход с освященного места, первый чудовищный порыв оглянуться и умереть, покорно шли за своими детьми.

Только Киндермана, казалось, это не трогало. Он сидел на ступеньках и протирал очки, улыбаясь собственной победе, не ощущая холода.

Бурджесс, понимая, что его молитв недостаточно, резко развернулся и ушел в Вестминстерский Дворец.

Предоставленный самому себе «знакомец» потерял всякое сходство с человеком и стал самим собой. Колеблющийся, бесцветный, он выплюнул мерзкую плоть Джузела Джонса. Полупрожеванное лицо бегуна легло на гравий рядом с его телом. Знакомец растворился в воздухе и вернулся в тот Круг, который он называл своим домом.

Воздух коридоров власти был спретый: ни жизни, ни помощи.

Бурджесс был не в себе, и его бег скоро перешел на шаг. Неверный шаг в коридорах, обшитых темным деревом, почти бесшумный благодаря плотно уложенному ковру.

Он не совсем понимал, что делать. Ясно, что его будут обвинять в том, что он не смог предусмотреть всех случайностей, но он был уверен, что тут он сможет за себя постоять. Он даст им все, что они потребуют, за свое неумение предвидеть обстоятельства. Ухо, ногу — ему нечего терять, кроме своей плоти и крови.

Но он должен был тщательно разработать планы своей защиты, потому что они ненавидели слабую логику. Если он придет к ним, лепеча бессвязные извинения, это будет стоить ему больше, чем жизни.

За его спиной возник холод — он знал, что это было. Ад следовал за ним по молчаливым коридорам даже в этой утробе демократии. Но он еще мог выжить, если только не обернется, если будет идти, уставившись в пол или на свои прижженные, лишенные суставов большие пальцы на руках, тогда с ним не случится ничего плохого. Это был один из первых уроков, которые нужно усвоить, когда имеешь дело с темными силами.

В воздухе стоял мороз. Бурджесс видел свое дыхание, и голова его раскалывалась от холода.

— Мне очень жаль, — искренне сказал он своему преследователю.

Голос, который отзывался ему, был мягче, чем он ожидал.

— Это не твоя вина.

— Нет, — сказал Бурджесс, черпая уверенность в этом сочувственном тоне. — Это была ошибка, и я продолжу. Я недоучел Киндермана.

— Это была ошибка. Мы все их совершаляем, — сказал Ад. — Но в следующее столетие мы вновь попробуем. Демократия все же новый культ, она еще не потеряла своего первоначального блеска. Мы дадим им еще столетие, и тогда возьмем лучших из них.

— Да.

— Но ты...

— Я знаю.

— Никакой силы для тебя, Грегори.

— Нет.

— Это еще не конец мира. Погляди на меня.

— Не сейчас, если вы не возражаете.

Бурджесс все еще шел, один аккуратный шаг за другим. Спокойнее, смотри на это рационально.

— Посмотри на меня, пожалуйста, — позвал Ад.

— Позже, сэр.

— Я ведь только прошу тебя поглядеть на меня. Такой маленький знак внимания будет хорошо оценен.

— Обязательно. В самом деле, обязательно. Позже.

Здесь коридор разделялся. Бурджесс выбрал тот из них, который шел по левую руку. Он подумал, что это слишком символично. Это оказался тупик.

Бурджесс стоял, упервшись взглядом в стену. Холодный воздух обволакивал его, а обрубки больших пальцев болели. Он снял перчатки и изо всех сил пососал их.

— Погляди на меня. Повернись и погляди на меня, — сказал любезный голос.

Что ему делать теперь? Вернуться назад в коридор и найти другой путь — вот самое лучшее. Ему просто нужно ходить вот так, кругами, пока он не найдет для своего преследователя достаточно аргументов, чтобы тот оставил его в живых.

И, пока он стоял там, перебирая возможные решения, он почувствовал режущую боль в шее.

— Погляди на меня, — вновь сказал голос.

И горло его сжалось. Затем, странно отздавшись в его голове, раздался звук кости, трущейся о кость. Ощущение было такое, словно в основание его черепа проникло лезвие ножа.

— Погляди на меня, — сказал Ад еще один, последний раз, и голова Бурджесса повернулась. Не тело. То стояло, отвернувшись к тупику, к его слепой стене.

Но голова его медленно поворачивалась на своей хрупкой оси, невзирая на здравый смысл и анатомию. Бурджесс кашлянул, когда его горло подобно сырой веревке обкрутилась вокруг самой себя, его позвонок рассыпался, хрящи распались. Глаза его кровоточили, в ушах взорвался гул, и он умер, глядя на это хладное лицо.

— Я же сказал тебе, погляди на меня! — сказал Ад и пошел своим горьким путем, оставив тело стоять в тупике до тех пор, когда демократы, перебрасываясь словами, не натолкнутся на эту загадку в коридоре Вестминстерского дворца.

С о д е р ж а н и е

КНИГА КРОВИ	5
Перевод М.Массура	
ПОЛНОЧНЫЙ ПОЕЗД С МЯСОМ	21
Перевод М.Массура	
ЙЕТТЕРИНГ И ДЖЕК	55
Перевод М.Массура	
СВИНИЙ ТИФЕРДАУНА	83
Перевод М.Массура	
СЕКС, СМЕРТЬ И СИЯНИЕ ЗВЕЗД	123
Перевод М.Массура	
В ГОРАХ, В ГОРОДАХ	167
Перевод М.Массура	
ВОССТАНИЕ	199
Перевод В.Эрлихмана	
ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ	231
Перевод М.Галиной	
КОЖА ОТЦОВ	273
Перевод М.Галиной	
НОВОЕ УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ	311
Перевод М.Галиной	
ГОЛЫЙ МОЗГ	345
Перевод И.Никанорова	
ИСПОВЕДЬ САВАНА	407
Перевод О.Лежниной	
АДСКИЙ ЗАБЕГ	449
Перевод М.Галиной	

Литературно-художественное издание

Клайв Баркер
КНИГА КРОВИ

Сдано в набор 08.01.94. Подписано в печать 30.10.94 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Гарнитура Таймс. Бумага книжно-журнальная.
Объем усл. печ. 25,2 п. л. Печать высокая. Тираж 10 000 экз.
Зак. 165.

ЛР № 061592 от 07.09.92.
Издательство «Кэдмэн» 140160 г. Жуковский М. О. а/я 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АО «Санкт-Петербургская
типография № 6». 193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 10.

КЛАЙВ БАРКЕР

В качестве приложения к серии «Мастера остросюжетной мистики» издательство «КЭДМЭН» выпускает собрание сочинений известного английского писателя Клайва Баркера в восьми томах.

Клайв Баркер знаменует собой новую эру в мировой литературе. Критики сравнивают его с Кингом и Толкиеном, поскольку он блестяще совмещает стили «horror» и «fantasy».

По романам Клайва Баркера поставлены известные фильмы «HELLRAISER» (Восставший из ада) и «NIGHTBREED» (Ночной народ).

Содержание томов:

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 1 том | Племя тьмы. Восставший из ада |
| 2 том | Явление тайны |
| 3 том | Проклятая игра |
| 4 том | Книга крови I |
| 5 том | Книга крови II |
| 6-7 тома | Имаджика |
| 8 том | Сотканный мир |

Все права на издание на русском языке произведений Клайва Баркера принадлежат издательству «КЭДМЭН».

Издательство «КЭДМЭН» представляет российскому читателю произведение известного современного писателя Клайва Баркера, сочетающего в своих книгах безудержную фантазию Толкиена, виртуозное владение приемом саспенса в духе лучших романов Стивена Кинга и интеллектуальный блеск Умберто Эко.

«ИМАДЖИКА»

Роман Клайва Баркера «Имаджика» — лучший роман жанра «ФЭНТЭЗИ» в 90-х годах. Имаджика — это вселенная, состоящая из Пяти Доминионов, четыре из которых представляют собой единый океан чудес, тайн, новых возможностей и сущностей, магии и любви, а Пятый — Земля — отделен от них непреодолимой гранью и, задыхаясь в собственном рационализме, неотвратимо близится к катастрофе. Роман Клайва Баркера — о магии. Но магия — это не только заговоры и заклятья, ритуалы и чудеса, видения и откровения. Для Баркера — магия есть не что иное, как метафора благословленного мира, в котором нет грани между реальностью и воображением, духовным и телесным, повседневностью и чудом. На канве этой метафоры Баркер и создает чудо из чудес — свой роман.

*По вопросам приобретения книг издательства
обращайтесь к дилерам:*

<i>Москва</i>	(095)	360-99-40 378-27-57 208-21-87
<i>Санкт-Петербург</i>	(812)	226-39-98 156-81-63
<i>Воронеж</i>	(073)	2-50-40-24
<i>Ярославль</i>	(085)	2-44-58-88 2-23-21-41
<i>Калуга</i>	(084)	22-3-14-44
<i>Львов</i>	(032)	2-52-63-73



Эти рассказы составляют Книгу
Крови — карту черной дороги,
ведущей из жизни неизвестно куда.
И некоторым придется избрать именно ее.
Большинство продолжит свой мирный
и безопасный путь по освещенным
улицам жизни.
Лишь те, кто избран темными силами,
пойдут по дороге проклятий.

Так читайте. Читайте и учитесь.

Так как, в конце концов, лучше готовиться
к худшему и заранее учиться ходить,
пока у вас еще есть время...